

# Антонин Ладинский

## Анна Ярославна – королева Франции

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

Несмотря на непредвиденные задержки в пути и огромные расстояния от Парижа до русских пределов, послы короля Франции благополучно прибыли в Киев. Посольство возглавлял епископ шалонский Роже. Он ехал впереди на муле, худой, горбоносый, со старческой синевой на бритых впалых щеках. Аскетическую худобу его лица еще больше подчеркивали глубокие морщины по обеим сторонам плотно сжатого рта, как бы самой природой предназначенного изъясняться по-латыни, а не на языке простых смертных.

Пока посольство медленно приближается к Золотым воротам, следует воспользоваться удобным случаем, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, жизнь которого весьма показательна для той темной эпохи, куда мы, со всей осторожностью благоразумного путника, вступаем ныне, как в некий черный лес, полный волков и страшных видений.

Даже на лопухом муле епископ сидел с таким достоинством, что одной посадкой доказывал свое благородное происхождение. Отцом его был Герман, граф Намюрский. Чтобы не дробить владения между наследниками, граф посвятил младшего сына церкви в надежде, что благодаря знатности рода молодой монах рано или поздно получит епископскую митру. Вот почему Роже не пришлось прославить себя на полях сражений. Однако и на винограднике Божьем он проявил блестящие способности управителя, сначала в сане аббата в монастыре Сен-Пьер, а позднее сделавшись пастырем Шалона. Отличаясь умом практического склада, сей светильник церкви в бытность свою аббатом одного из самых бедных французских монастырей добился для него многих королевских щедрот. Ему удалось выпросить у короля в кормление монахам соседний городок с его ежегодной ярмаркой, на которую купцы приезжали не только из Шампани и Бургундии, но даже из отдаленных немецких земель. Кроме того, аббатству были предоставлены важные привилегии, в том числе исключительное право топить общественную печь для выпекания хлеба и позволение ловить сетями рыбу в Марне. По ходатайству Роже монастырь получил несколько селений с сервами и пашнями, а также мельницу, пчельник и обширные виноградники. Аббату даже удалось завести монастырскую меняльную лавку, где производились различные денежные операции и при случае ссужались под верные заклады деньги в рост, ибо все это служило к вящей пользе Святой Церкви. В те же годы Роже построил в аббатстве новую базилику, возложив на ее алтарь серебряный ковчежец с останками св. Люмьера. К сожалению, от этого почитаемого мученика остался нетленным один только левый глаз, но и такая реликвия привлекала в монастырь значительное число паломников, что весьма увеличивало его годовой доход.

Незадолго до утомительного и не лишено опасностей путешествия в Киев епископ Роже совершил благочестивое паломничество в Рим, и Вечный город произвел на него тягостное впечатление своими обветшалыми церквями и заросшими плющом руинами, по которым бродили пастухи в широкополых соломенных шляпах и прыгали дьявологлазые козы. В Латеранском дворце жил папа. О его непотребстве много рассказывали смешливые простолудины в римских тавернах. Впрочем, Роже утешал себя тем, что в каждом человеке живут две натуры, божественная и животная, и что рано или поздно первая превозможет

вторую.

По возвращении из Рима Роже возглавил шалонскую епархию, где тотчас же занялся искоренением манихейской ереси, получившей в то время большое распространение во Франции, и суровыми мерами пытался с корнем вырвать это губительное зло. Но по-прежнему лучше всего удавались епископу всякого рода земные предприятия, и, ценя его дипломатические способности, король Генрих неоднократно посылал Роже с ответственными поручениями в Нормандию и даже к германскому императору. Когда же король, после смерти королевы, стал вновь помышлять о женитьбе, он не мог найти лучшего посредника в таком деле, чем шалонский епископ.

Однако Роже не отличался глубокими познаниями в богословии, а во время переговоров в Киеве предстояло затронуть и некоторые церковные вопросы, в частности о приобретении мощей святого Климента, поэтому вторым послом в Россию отправился Готье Савейер, епископ города Мо, человек совершенно другого склада, малопригодный для хозяйственных дел, но весьма ученый муж, прозванный за свою начитанность Всезнайкой. Если не говорить о склонности прелата к чревоугодию, к чаше золотистого вина и к некоторым другим греховным удовольствиям, вроде чтения латинских поэтов или, может быть, даже допросов под пыткой полунагих ведьм, обвиняемых в сношении с дьяволом, когда в человеческой душе вдруг разверзаются черные бездны, то это был вполне достойный клирик, изучивший в молодости не только теологию, но и семь свободных искусств.

Насколько епископ Роже представлялся худощавым, настолько Готье Савейер отличался, напротив, дородностью. Его широкое, сиявшее вечной улыбкой лицо заканчивалось двойным подбородком, а плотоядные губы и довольно неуклюжий нос свидетельствовали о любви к жизни. Маленькие, заплывшие жиром глаза епископа светились умом.

Сопровождавший посольство сеньор Гослен де Шони, получивший повеление защищать епископов от разбойных нападений на глухих франкских дорогах, был рыцарем до мозга костей. Не очень высокий, но широкий в плечах, уже несколько отяжелевший и, как подлинный представитель знатного рода, белокурый и светлоглазый, де Шони, несмотря на сорокалетний возраст, со страстью предавался охоте и не ленился в воинских упражнениях, поэтому сохранил подвижность и ловкость. Его красноватое, обветренное лицо украшали длинные усы, а во взгляде у рыцаря явственно выражались ненасытная жадность и чувство превосходства над людьми, не обладающими рыцарским званием. Гослен де Шони надменно смотрел перед собой, не утруждая себя никакими размышлениями; по его мнению, всякая умственная работа более приличествовала духовным особам, чем рыцарю, понимающему толк в конях и охотничьих псах. Однако Гослен де Шони отличался многими достоинствами: отлично владел мечом, метко стрелял из арбалета и считался самым неутомимым охотником в королевских владениях. В молодости он состоял оруженосцем при графе Вермандуа, получил от него за заслуги небольшое поместье с двумя десятками сервов, был произведен в рыцари и принес сюзерену положенную клятву. Несколько позже граф разрешил ему перейти на службу к королю. Одновременно Гослен де Шони удачно женился на соседке и получил за ней, единственной дочерью старого сеньора, вскоре отдавшего Богу душу, еще одно селение и различные угодья. Жена родила ему трех таких же голубоглазых, как и он, сыновей, и у рыцаря были связаны с потомством самые радужные надежды относительно округления своих владений. Получив королевский приказ сопровождать епископов в далекую Россию, славившуюся, если верить менестрелям, золотом, мехами и красивыми девушками, Гослен де Шони из этого путешествия также надеялся извлечь немалые выгоды, и в частности привезти для супруги несколько соболей, какие ему приходилось видеть на ярмарке в Сен-Дени. Как известно, меха весьма украшают женщин, хотя справедливость требует отметить, что рыцарь мечтал о приобретении мехов не столько из нежности к своей Элеоноре, сколько из тех соображений, что ее наряды будут свидетельствовать перед людьми о богатстве фамилии.

Жене, преждевременно располневшей, с багровым румянцем на щеках, с неискусно наложенными белилами и с большими, почти мужскими руками, он предпочитал юных поселянок, застигнутых случайно где-нибудь на укромной лесной тропинке во время охоты на оленей. В свою очередь и супруга, огрубевшая в ежедневных заботах о птичнике и скотном дворе, давно забыла о нежных чувствах к своему господину и порой, разгоряченная на пиру чашей вина, вздыхала неизвестно почему, бросая затуманенные взоры на литые торсы молодых оруженосцев, прислуживавших ей за столом. От них пахло мужским потом и кожей колетов!

Будучи страстным охотником, Гослен де Шони рассчитывал принять участие в прославленных на весь мир русских ловах и в пути настойчиво расспрашивал переводчика Людовикуса, на каких зверей охотятся в России.

Переводчик объяснял:

– О, эта страна покрыта дремучими лесами.

– Какие же звери водятся там?

– Олени, лоси, вепри. В степях носятся табунами дикие кони. Но князья предпочитают охотиться на лисиц, енотов и бобров.

– На бобров? – смаковал название редкой дичи Шони.

– Их очень много живет там на реках.

– Еще на каких зверей охотятся русские рыцари?

– На выдр и соболей. Меха находят большой спрос в Константинополе. Поэтому Ярослав собирает дань с покоренных племен шкурами зверей.

– На кого охотятся его сыновья, чтобы показать рыцарские достоинства?

– На медведей. Однако самой благородной забавой в России считается охота на диких быков, которых называют турами. Она требует от охотника большой отваги, и князья передаются ей при всяком удобном случае.

– Хотелось бы принять участие в подобной охоте, – произнес Шони не без зависти.

– О, я уверен, что русские воины убедятся в твоей прославленной храбрости!

Людовикус хорошо изучил слабости человеческой природы и затронул слабую струнку Шони. В ответ на слова переводчика рыцарь горделиво разгладил усы. Он был в темно-красном плаще, застегнутом на груди серебряной пряжкой, которую снял в одной счастливой стычке с убитого нормандского рыцаря под замком Тийер.

После разговора с переводчиком сеньор искренне пожалел, что его охотничьи псы остались в родовом шонийском замке, построенном из грубых полевых камней и бревен. Собаки теперь находились под присмотром жены, в нижнем помещении башни, служившем одновременно поварней и жилищем для слуг. Здесь псы вечно грызлись из-за брошенных им костей.

Однако необходимо сказать несколько слов и об этом таинственном человеке, каким представлялся окружающим Людовикус. По обстоятельствам своей жизни то торговец, то переводчик, то посредник, он с юных лет странствовал и переезжал с одного места на другое и поэтому хорошо знал все большие города, расположенные на торговых дорогах, в том числе Регенсбург, Киев и Херсонес. Людовикус успел также побывать в Константинополе, сарацинской Антиохии и даже в Новгороде, изучив во время этих скитаний несколько языков. Но никто не знал, откуда он однажды появился в парижской харчевне «Под золотой чашей», да и сам этот бродяга уже позабыл, из какого города он родом, считая, что родина там, где лучше живется. Этот человек отличался житейской ловкостью, хотя ему и не везло в торговых предприятиях. В Париже Людовикус случайно повстречался с послами, собиравшимися в далекую Россию, и епископ Роже нанял его переводчиком, как знающего русский язык. С той поры он не переставал оказывать ценные услуги посольству во время трудного путешествия.

Может быть, следует упомянуть и двух ирландских монахов, Брунона и Люпуса,

отличавшихся гортанным выговором и рыжими волосами. Последний, кроме того, был известен неудержимой болтливостью. Они плелись в задних рядах на мулах и тоже вдоль и поперек исколесили Европу, проповедуя слово Божье и приторговывая христианскими реликвиями, пользуясь тем, что аббаты охотно закрывали глаза на обман, приобретая по дешевке какой-нибудь сомнительный голгофский гвоздь. Монахи выполняли также всевозможные поручения, добывали хлеб насущный перепиской книг или даже собирая подаяние. Впрочем, подобные люди возили из одной страны в другую не только кости мучеников, которых никто не мучил, но и украшенные драгоценными миниатюрами Псалтири или еретические трактаты, попутно передавая сообщения о рождении младенцев с двумя головами, что, как известно, предвещает войну, или известие о смерти императора. В Германии у ирландцев находились многочисленные подворья, но таким бродягам, как Брунон и Люпус, было скучно сидеть на одном месте, и они с удовольствием пристали к французскому посольству, чтобы побывать в знаменитом городе.

Послов сопровождали мало чем примечательные рыцари, оруженосцы, конюхи. Воины ехали в длинных кожаных панцирях с медными бляхами и в таких же штанах ниже колен, в кованых шлемах с прямыми наносниками, прикрывающими от удара нос, эту самую благородную часть рыцарского лица. Копья у франкских воинов были тяжелые, а щиты таких размеров, что хорошо защищали все тело.

Епископских мулов вели под уздцы – скорее для большей торжественности, чем по необходимости, так как это были животные весьма мирного нрава, – два конюха, веселые румяные парни в коротких плащах, в серых тувиях<sup>1</sup>, перевитых ремнями обуви, и в коричневых колетах. У одного из них на поясе висел деревянный гребень, чтобы время от времени расчесывать космы и в благопристойном виде прислуживать господам, у другого – окованный медью рог и нож с костяной рукояткой.

Послы покинули Париж ранней весной. Это произошло на рассвете, когда над Секваной, как латинисты называли Сену, еще стлался туман и в воздухе стояла ночная сырость. Едва епископы выбрались из городской тесноты и под подковами прогремел настил крепостного моста, как парижское зловоние сменилось свежестью весеннего утра, в тишине которого уже пробуждались и щебетали птицы...

Оставив пределы Франции, послы пустились в путь по той проторенной торговой дороге, по которой издавна восточные купцы привозили из Херсонеса и Киева в Регенсбург и Майнц, а оттуда на прославленные ярмарки в Сен-Дени и Париж всевозможные товары, в том числе перец, пряности, греческие миткали и русские меха, а на восток везли знаменитые франкские мечи, вино, серебряные изделия, фландрские сукна. По этой дороге порой гнали табуны длинногривых венгерских коней.

Добравшись до Регенсбурга, послы вынуждены были остановиться в этом богатом городе на продолжительное время и воспользоваться гостеприимством приора монастыря св. Эммерама, так как епископ Роже неожиданно заболел опасной семидневной лихорадкой. Когда он выздоровел, посольство со всей поспешностью снова двинулось в путь, заменив на Дунае выючных животных ладьями. Проплыв мимо Линца, Эмса и Пассавского леса, путешественники очутились в Эстергоме, чтобы отсюда уже направиться через Прагу и Краков в русские пределы. Это не был кратчайший путь в Киев, но зато самый удобный и безопасный для торговцев и паломников, и епископ Роже решил, что благоразумнее воспользоваться именно этой дорогой, тем более что Людовикус знал здесь каждую корчму.

Замедляли передвижение посольства также повозки с дарами, посланными Генрихом королю России, и со всякими припасами, так как передвижение на свежем воздухе вызывает у людей особенную потребность в пище. Роже, которому были доверены деньги на путевые расходы, без большого удовольствия развязывал кожаный кошель, чтобы платить за мясо, хлебы, сыры и пиво для своих спутников, за ячмень и сено для животных. Он предпочитал

пользоваться бесплатным угощением в каком-нибудь богатом придорожном монастыре или в замке, где житницы ломились от запасов.

Как было сказано, епископы совершали путешествие на мулах, что более приличествует лицам духовного звания, а сопровождавшие послов рыцари и оруженосцы – на жеребцах, считая недостойным для себя садиться на кобылиц. Конюхи, погонщики, повара и прочие слуги ехали на кобылах, тряслись на повозках или бежали рядом с конем господина, держась за его стремя. Они с любопытством смотрели по сторонам и убеждались, что повсюду в мире установлен один и тот же порядок: бедняки жили в лачугах и питались ячменным хлебом да вареной репой, а сеньоры обитали в замках, выезжали с соколами на охоту или вдруг мчались куда-то среди ночи, освещенные тревожным заревом пожаров, и в переполохе женских воплей и детского плача не без удовлетворения смотрели, как их воины поджигают факелами хижины поселян и топчут посевы, чтобы причинить врагу, обычно соседнему барону или епископу, возможно больший ущерб. Везде, где бы ни проезжало посольство, крестьяне чаще возделывали землю мотыгами, чем плугом, запряженным волами.

В пути произошел такой случай. Среди челяди, сопровождавшей повозки с кладью, были двое конюхов из Шалона, по имени Жако и Бартолеми. Однажды, возвращаясь с реки, куда их послали за водой, сервы стали дерзостно рассуждать о самом Господом установленной на земле иерархии. Не подозревая, что за кустом сидели на лужайке и завтракали господа, отдохавшие после тяжелого подъема в гору, хотя с телегами возились, конечно, не епископы, а погонщики, Жако говорил приятелю:

– Бартолеми, куда бы мы ни пришли, всюду богатые живут в свое удовольствие, а бедняки страдают.

Другой конюх, не мучивший себя подобными вопросами, лениво ответил:

– Значит, так уж устроено, чтобы нам страдать до самой смерти.

Епископ Готье Савейер, отправляя в рот куски жирной колбасы, только вздохнул с прискорбием при этих словах, удивляясь грубости простолюдинов, а с другой стороны, признавая в глубине души, что не все на земле подчиняется принципу справедливости. Но рыцарь Гослен де Шони тотчас вскочил на ноги, готовый покарать сервов, осмелившихся произносить подобные речи. Однако, поняв свою оплошность, конюхи убежали, бросив ведра и с шумом раздвигая кусты. Поиски крамольников ни к чему не привели. В дальнейшем, догадываясь, какая их ждет участь, они уже не вернулись к исполнению своих обязанностей, и никто больше ничего не слышал, что с ними случилось. Когда же справедливое возмущение от этих нечестивых высказываний несколько утихло и завтрак возобновился, епископ Роже с горечью произнес:

– Откуда им знать, что не все люди имеют одинаковое назначение. Рыцарь сражается за догматы церкви и охраняет труд поселянина, епископ молится пред престолом Всевышнего, а крестьянин трудится на ниве, чтобы пропитать их. Иначе в мире не было бы гармонии и никто не мог бы выполнять своих священных обязанностей.

– Твоими устами, святой отец, говорит сама истина, – с жаром заявил Шони, обсасывая жир на пальцах, – однако жаль все-таки, что не успели схватить этих негодяев, чтобы расправиться с ними, как они этого заслуживают. Впрочем, рано или поздно я спущу с них три шкуры!

Вспомнив, что писал достопочтенный Пьер, приор прославленного аббатства в Ключни, о судьбе бедняков, епископ Готье Савейер опять сокрушенно пожевал губами. Ведь у просвещенных людей сердце не закрыто на ключ для человеческих страданий. Епископ даже хотел привести несколько строк из этого нашумевшего в свое время сочинения, но раздумал и ограничился смущенным покашливанием, так как давала себя знать приятная тяжесть в желудке.

Роже был другого мнения.

– Эти ленивцы только и думают о том, как бы избавиться от работы, и бегут куда глаза

глядят, – ворчал пастырь. – Они воображают, что новые господа будут лучше старых.

– Твоими устами, святой отец, говорит сама истина, – повторил рыцарь, пережевывая колбасу.

Возмущение епископа Роже можно было понять по-человечески: бежавшие погонщики принадлежали к его сервам, и поэтому он огорчался вдвойне. Что касается Готье, то этот образованный человек уже думал о других вещах. После сытной еды толстяк любил припоминать латинские вирши и засыпал под их сладостные словосочетания...

Как бы то ни было, посольство приближалось к своей цели. По обеим сторонам дороги проплывали рощи, засеянные пшеницей поля, зеленые лужайки, холмы; порой показывалась на реке водяная мельница с большим неуклюжим колесом и склоненными к воде дуплистыми ивами; в ярмарочный день шумел на пути торговый город; или вдруг возникал за дубравой обнесенный частоколом замок местного барона, более похожий на логово разбойника, чем на жилище защитника вдов и сирот. У подножия мрачного сооружения ютились хижины крепостных. Время от времени у дороги попадались аббатства, где, как муравьи, хлопотали многочисленные монахи. Порой путники встречали караван восточных купцов, спешивших добраться до захода солнца в соседний городок, за стенами которого их товары находились в относительной безопасности, хотя за убежище приходилось платить пошлину у городских ворот, как, впрочем, и на всех мостах, у переправ и просто на дорогах, и еще благодарить судьбу, что удалось избежать разбоя и грабежа.

И вот в одно прекрасное утро, даже не заметив, что пересекает какую-то государственную границу, посольство очутилось в русских пределах. Никаких пограничных знаков там не оказалось, если не считать выбитого на камне креста. Проехав еще две мили, франки увидели непривычные бревенчатые избушки, в беспорядке разбросанные подле дубовой рощи. Одна из них, более значительная по размерам и с деревянной дымницей, служила жилищем мытника. У стены его дома виднелось беззаботно прислоненное копье.

Ведал заставой упитанный человек с окладистой белокурой бородой. Судя по тому, как проворно бегали у мытника глаза, можно было предположить, что от него ничего нельзя скрыть ни в одном мешке. Переговорив с этим представителем власти, Людовикус объяснил епископам, что им предлагают отдохнуть, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Подобное приглашение вполне совпадало с планами Роже, желавшего привести в надлежащий вид людей и животных, поэтому возражений с его стороны не последовало.

Здесьние жители, как на подбор рослые, с длинными усами или такими же светлыми бородами, как у мытника, смотрели на чужестранцев необыкновенного вида с любопытством, но миролюбиво, хотя многие франки имели при себе мечи. В свою очередь толстый Готье с интересом наблюдал окружающий мир. Епископ вспомнил, как перед отъездом посольства из Парижа король Генрих, по обыкновению хмурый и вечно чем-то недовольный, спросил, что представляет собою страна, куда едут за его невестой. Откашлявшись в кулак и приняв надлежащий вид, он объяснял королю:

– Руссия, или Рабасция, – огромное царство. У Птоломея упоминается народ, называвший себя рабасциями. Возможно, что это предки русских. В их стране находится город Синтона, а к востоку возвышаются Рифейские горы. Но зимою в тех пределах выпадает так много снега, что для путника затруднительно попасть в северные области. Некоторые писатели предполагают, что дальше уже обитают люди с песьими головами, а также амазонки.

В ответ на объяснения король погладил бороду. Генрих не очень интересовался латинскими хрониками, однако до него дошли слухи о плодовитости русских принцесс. Когда умерла королева, по рождению своему дочь германского императора, французский король решил найти себе новую подругу. Между тем почти все соседние монархи уже состояли с домом Гуго Капета в кровном родстве, а церковь сурово карала за брак на родственниках до седьмого колена. Тогда Генриху пришла в голову счастливая мысль

обратиться в поисках невесты к далекому русскому властителю, о котором во Франции стало известно, что он уже выдал одну дочь за норвежского короля, а другую – за венгерского. Кроме того, Генриха уверяли, что у русского короля лари набиты золотыми монетами, и это обстоятельство еще более усилило влечение к далекой русской красавице.

В тот день, беседуя с королем, епископ Готье очень гордился своими географическими познаниями. Теперь он убедился, что в русской стране нет ни амазонок, ни людей с песьими головами, ни циклопов, сведения о которых он черпал в пыльных фолиантах знаменитой Реймской библиотеки. Все вокруг дышало миром. Над лужайками высоко в воздухе пели жаворонки, такие же, как во Франции, и с такими же волшебными горошинами в маленьких птичьих горлышках. Но русские оказались весьма любопытными людьми, и Людовикус едва успевал переводить их вопросы и ответы епископов. В свою очередь франки хотели знать, сколько дней пути осталось до Киева, где в настоящее время находится король Ярослав, и в добром ли здравии его прекрасная дочь. Готье интересовали другие вопросы: подчиняются ли здешние жители в церковном отношении Константинополю и читают ли греческие книги, хотя отлично понимал, что бесполезно спрашивать об этом простодушных мытников. Роже больше занимали житейские дела. В частности, ему захотелось узнать, какое содержание получает мытник, и тот деловито объяснил Людовикусу:

– Ежедневно две курицы, а на неделю – семь ведер солода и половину говяжьей туши или барана. Или же деньгами, сколько все стоит. Еще хлеба и пшено. А в среду и пятницу – по сыру...

Из этих слов епископ понял, что слугители киевского владыки живут неплохо.

Мытник тоже любопытствовал насчет того, что путешественники везли на возах, и, когда ему показали дары, которые франкский король слал своему будущему тестю, белокурый великан похвалил великолепные мечи, со знанием дела пощупал сукна и взвесил в опытной руке серебряные чаши, с большим искусством сработанные парижским мастером. Епископы не знали, что в Киев уже ускакал гонец, чтобы сообщить о прибытии послов. Поплотнее надев на золотую голову шапку из греческого миткаля, отрок помчался на сером гривастом коньке по щебнистой дороге, то спускаясь в овраги, где еще журчали весенние ручьи, то поднимаясь на бугры, то пересекая зеленые луга, щедро осыпанные желтыми цветами. Дубравы встречали его прохладой, вечером в роще защелкал соловей, а когда на небе высоко поднялся серп полумесяца, гонец уже подъезжал к спящему Киеву.

Когда регенсбургские купцы прибывали в Киев и, задрав носы и придерживая обеими руками суконные шляпы, обшитые лисьими хвостами, смотрели на великолепное сооружение Золотых ворот, они изумлялись, что человеческие руки способны поднять тяжкий камень на такую высоту. По сравнению с хижинами предместья воротная башня казалась огромной, и, чтобы еще более усилить впечатление величия и в то же время легкости, хитроумный строитель несколько сузил ее кверху, так что построенная на высоком забрале церковь уже как бы висела в воздухе, витала в облаках, медленно проплывавших по небу. Башня была из розового кирпича, церковь сияла на солнце белизной стен, на куполе блистал золотой архангел. Дубовые створки ворот, обитые листами позолоченной меди, приводили в восхищение диких печенегов, считавших, что это – чистое золото. Никогда еще не видели люди ничего подобного в полуночных странах, и казалось удивительным, что внизу все оставалось простым и обычным: лужайки, одуванчики, пыльная дорога, выбоины от колес, свидетельствовавшие об оживленной торговле.

Под гулким сводом ворот, вдруг нависавшим над головою, беспрестанно проходили путники и с грохотом проезжали колесницы. На одних повозках доставляли в Киев солому или бревна, на других – горшки, глиняные корчаги с медом и дубовые бочки с солодом. Горделиво поглаживая светлые усы, ехал на горячем коне варяжский наемник в красном плаще на желтой подкладке. Смиранный дровосек нес на спине вязанку хвороста, чтобы продать топливо на торжище и купить хлеба. Обожженный солнцем и с длинным посохом в

руках, усталый паломник возвращался из далекого странствия в свое отечество. Еще на одном возу немецкие купцы везли дорогие товары. Жизнь была ключом.

Среди этой суеты, недалеко от городских ворот, широко раздвинув ноги, оплетенные ремнями обуви, сидел на земле седобородый слепец и, перебирая когтистыми пальцами струны, пел дрожащим голосом о битве под Лиственном, прославляя подвиги Мстислава, как будто с тех пор не случилось ничего примечательного на Руси.

Старец берег гусли, как сокровище, – единственное свое утешение на закате дней и средство для пропитания, – и в непогоду прятал их под овчиной, накинутой на плечи. Но почерневшая доска, на которой были натянуты струны, блестела от многолетнего пользования и в одном месте дала трещину. Слушатели вспоминали с печалью, что на этих гусях играл некогда сам великий Боян, ныне уже покинувший землю.

Прислонившись к каменной стене, подле гусяра стоял румяный и голубоглазый отрок; на голове у него ветерок шевелил копну русских волос, а на босых ногах еще остался прах дальних дорог. На странниках были холщовые рубахи до колен, вшитые в рукава повыше локтей красные полосы выгорели от солнца. Юноша привел слепца в Киев из Чернигова, чтобы вести его отсюда в Смоленск или в далекую Тмутаракань – всюду, где русские люди слушают песни и награждают певцов пенязями, усаживают за стол, полный яств, и предоставляют ночлег на душистой соломе.

Певец не протягивал руку за подающим, а брал деньги, как орел берет добычу когтями, однако прохожие редко бросали в деревянную чашку серебряные монеты и чаще клали кусок ячменной лепешки с добрым пожеланием. Голос у певца с годами стал немощным, у отрока же еще не чувствовалось сладостного умения в повторях, и богатые люди, постояв немного, проходили своей дорогой; им приходилось слышать на княжеских пирах более голосистых певцов, а бедняк мог только поделиться куском хлеба. С церковных папертей слепца прогоняли за призывы к древним богам, ему остались в удел лишь торжища и городские ворота.

Струны переливчато рокотали, и под их звон старик начал песню, которую сложил Боян, взирая с холма на ночное сражение в ту грозовую ночь, когда созревали рябины и синие молнии непрерывно освещали жестокую сечу:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная,  
Шумела битва под Лиственном,  
Гроза грохотала на небесах.  
Когда синие молнии озаряли  
Мечи, поднятые в сраженье,  
Неподвижными они казались  
На мгновение ока...

Эту песню не любили в киевских палатах. Листвен был связан для Ярослава с воспоминаниями о страшном поражении, когда князь, спасая брентную жизнь, бежал в Новгород, а ярл Якун потерял на поле битвы свой знаменитый золотой плащ. Боян воспевал храбрость Мстислава, но наступили новые времена, и ныне певцы, если у них в груди билось русское сердце и трепетало в горле соловьиное дыхание, прославляли не победителей в княжеских усобицах, а победы над печенегами. Ведь сегодня один князь сидел на златокованом киевском столе, завтра – другой, а Русская земля будет вечно стоять под солнцем. В борьбе за великое княжение одержали победу разум и терпение Ярослава; песню, сложенную о подвигах храброго черниговского князя, забыли, и только монастырский книжник взял из нее несколько строк, чтобы украсить риторическим цветком летописное повествование о братоубийственном сражении:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная...

Обманув бдительный материнский надзор, Анна поспешила к Золотым воротам. Она накинула на голову зеленый шелковый плат, чтобы спрятать взволнованное лицо от нескромных взоров, но встречные узнавали ее, останавливались и говорили с улыбкой:

– Здравствуй! Будь счастливой, Ярославна!

Люди охотно разговаривали с Анной, и она всегда ласково отвечала им – старикам, женщинам, мужам; но сегодня княжна была в смущении и торопилась пройти незамеченной.

Киевляне никому не улыбались так при встрече – ни мудрому ее отцу, ни ее горделивой матери, ни ее красивому брату Изяславу, ни другим братьям – заносчивому Святославу и благочестивому постнику Всеволоду, а только трем сестрам – Елизавете, Анне и Анастасии. Но надменная Елизавета, прозванная за тонкий стан Шелковинкой, уже была в холодной Скандинавии, замужем за норвежским королем Гаральдом; Анастасия уехала жить в страну угров, на синем Дунае. А теперь приехали послы, чтобы увезти третью дочь Ярослава во Францию.

Княжну сопровождали подруги, участницы ее детских игр, – Елена, дочь Чудина, и Добросвета, племянница ослепленного греками воеводы Вышаты. Елена была светловолосая девушка с зелеными глазами и белыми ресницами, как это часто бывает у женщин, что живут у Варяжского моря; Добросвету отличали темные лукавые глаза и пушок на верхней губе. Девушки тоже волновались, им не терпелось подняться на забрало, чтобы смотреть оттуда на приезд франкских послов.

От торопливых движений плат Ярославны упал на плечи и открыл золотистые косы, за которые скандинавские скальды называли в своих стихах дочь русского конунга Рыжей. Но косы Анны не висели за спиной, как у поселянок, и не лежали на груди, как у знатных подруг, а, по заморскому обычаю, были уложены на голове в виде высокого венца. С такой прической приезжали на Русь греческие царевны.

По обеим сторонам улицы рубленые дома богатых людей, с красивыми пышками на кровлях и петушками на оконных наличниках, стояли вперемежку с построенными из дерева и глины лачугами бедняков. Толкались и шли по своим делам киевляне и чужестранцы. Здешние жители были в белых рубахах с красными полосами на рукавах, арабы и персы – в чалмах и пестрых одеждах, немецкие купцы – в широких лисьих шапках, кочевники – в заячьих колпаках.

Когда Анна и ее смешливые подруги прибежали к воротам, до них донеслись звуки гуслей. Слепец, отрешенный среди своей вечной ночи от суетного мира, пел:

Стояла осень,  
Была ночь рябинная...

Но, почувствовав вокруг себя какие-то перемены и людское волнение, он замолк.

В длинном проезде под воротами воздух был гулок, как в пустой бочке. В стене виднелась небольшая дубовая дверь, за которой лесенка вела вверх, в церковь Благовещенья. Черный монах, выполнявший обязанности привратника, отпер дверцу огромным ключом. Железо заскрежетало на крюках, и Анна, едва сдерживая волнение, взбежала по скрипучим деревянным ступенькам на забрало. Над головой прошумела стая спугнутых голубей. Взволнованно дыша и предвкушая необычное зрелище, вслед за Ярославной на башню поднялись подруги и несколько знатных женщин, сторавших от нетерпения увидеть посланцев далекого короля. Случилось так, что и пресвитер Илларион тоже взошел с медлительностью зрелого возраста на забрало. У него имелись свои причины

для любопытства. Гонец, прискакавший с пограничной мытницы, сообщил, что на этот раз едут не купцы, а латинские епископы. Иллариону было хорошо известно, что латыняне совершают евхаристию на опресноках и причащаются облатками, а не из чаши, но его сердце наполнялось гордостью при мысли, что слава русского государства достигла самых отдаленных пределов земли, долетела до Рима и франкского королевства, доказательством чего служил приезд посольства.

Илларион был великий постник, и продолжительное сидение за перепиской книг, с чернильницей в одной руке и заостренным тростником в другой, повредило его здоровью и сделало дыхание затрудненным. Когда пресвитер поднялся наконец на вымощенную каменными плитами площадку, женщины уже сгрудились у забрала, наполняя воздух звоном золотых ожерелий. Но Анна смотрела не туда, где пылила дорога, а вниз. У въезда в воротную башню сидел на белом жеребце молодой ярл Филипп, в красной русской шапке с меховой опушкой и в голубом плаще, падавшем широкими складками на круп коня. Дорога к Золотым воротам, выходя из дубравы, постепенно поднималась мимо городского вала и капустников. Вскоре из-за дубов показался конный отряд. Впереди ехали три всадника, за ними – другие, а позади двигались повозки. Кони и колеса поднимали пыль, и ветер относил ее в сторону; наверху он порывисто играл шелковыми женскими одеждами.

Анне хотелось крикнуть Филиппу:  
«Посмотри же на меня!»

Но ярл не отрываясь глядел в ту сторону, откуда приближались франки. Опечаленная Анна тоже перевела туда свой взгляд и увидела, что всадник, ехавший между двумя епископами, был ее брат Всеволод. Епископы сидели на странного вида ушастых животных, оба в черных монашеских одеждах и серых плащах с куколями, оба бритые, с венчиками седых волос вокруг розоватых губенцев.

Перед величественными воротами послы невольно остановили мулов, и Всеволод не без гордости пояснил:

– Золотые врата... Наподобие константинопольских...

Готье удивленно посмотрел на мощное сооружение, а рыцарь Шони не преминул заметить, что у въезда в город стоят, опираясь на копья, многочисленные русские воины в железных кольчугах и остроконечных шлемах, с красными щитами. Некоторые из них выглядели совсем юными, другие, наоборот, гордились седыми бородами. Их предводитель – судя по длинным белокурым волосам, падавшим на плечи, молодой знатный скандинав – гордо сидел на белом жеребце. Спокойное и на редкость красивое лицо его ничего не выражало. Это был наемник, который верно служит всякому, кто щедро платит. Но воины взирали на франков любопытствующими глазами. С не меньшим любопытством разглядывали чужестранцев светлоглазые женщины в красных и синих сарафанах, с пышными полотняными рукавами, расшитыми в долгие зимние вечера пестрыми узорами. Был праздничный день. На груди у киевлянок позвякивали от каждого движения тяжкие мониста из серебриков. Эти драхмы или денарии лежали на прилавке у менялы, ими платили за мех или мед, награждали за службу, ради них проливалась человеческая кровь, а теперь они украшали русских красавиц. Со всех сторон к воротам сбегались стаи белоголовых босоногих ребятишек.

Поучительно и любопытно попасть в чужую страну и наблюдать там иные нравы. Некоторое время епископы обсуждали величие и прочность киевских ворот и одобрительно кивали головами. Не в каждом городе они видели подобное. Всеволод смотрел на них с понимающей улыбкой. Потом всадники стали один за другим въезжать в ворота.

Молодой большеглазый русский воин сказал другому, с широкой рыжей бородой:

– Смотри, Братило, доспехи у них не такие, как наши. Закрывают все ноги кожей и железом.

Старый воин рассудительно ответил:

– Нам такие не подходят. Нам надо быть легкими как птица. А такой доспех – большая тяжесть для коня. Если конь устанет в поле, как ты догонишь печенега?

Но посольство уже направлялось по кривой улице, кое-где вымощенной бревнами. Весело стучали подковы. Впереди показались два монастыря, обнесенные каменной оградой.

Всеволод все с той же благостной улыбкой, перенятой у греческих царедворцев, с которыми ему часто приходилось иметь дело, объяснял:

– Конвентум<sup>2</sup> святого Георгия... Конвентум святой Ирины...

Илларион называл Всеволода пятиязычным чудом, но без привычки молодому князю было трудно изъясняться по-латыни, и он старался составлять возможно короткие фразы. Епископы понимали его и одобрительно кивали головой.

По сравнению с Готье Савейером Всеволод казался хрупким, как девушка. Это был княжич с юношеской рыжеватой бородкой, орлиным носом и красивыми, широко расставленными, как у всех Ярославичей, глазами. Одевание его составляли – воинский плащ малинового цвета, под которым виднелись голубая рубаха с золотым оплечьем и штаны из красного скарлата<sup>3</sup>, засунутые в мягкие сапоги из зеленой багдадской кожи. На бедре у Всеволода висел и слегка покачивался от мерного шага коня прямой длинный меч в ножнах с серебряными украшениями. Этот яркий наряд и парчовая шапка с бобровой опушкой, надетая слегка на правое ухо, говорили о богатстве и желании покрасоваться, и, как бы чувствуя это, княжеский конь вдруг стал гарцевать, косясь на спокойных длинноухих мулов, на которых не без торжественности восседали епископы.

Народу на улице собиралось все больше и больше, но люди особого удивления при виде проезжавших чужестранцев не выражали. Здесь уже не раз смотрели на латинских священнослужителей в плащах с куколями, греческих посланцев в скарлатных скуфьях, а кроме того, немецких и арабских купцов, моравов, хазар, евреев и жителей Персиды. Впрочем, ушастые мулы вызвали некоторое веселие.

Наконец посольство очутилось на площади, с одной стороны которой стояла огромная розовая кирпичная церковь, а с другой – виднелось несколько каменных зданий. На некотором подобии триумфальной арки, вроде тех, что Роже видел в Риме, взлетала ввысь четверка бронзовых коней. На мраморных колоннах стояли статуи, запачканные голубиным пометом.

– Откуда попали сюда эти великолепные кони? – спросил епископ Готье Всеволода. – Вероятно, из Константинополя?

– Из Херсонеса... Военная добыча... – ответил княжич.

– А статуи?

– Из того же города. Одна из них изображает греческую богиню Афродиту. Так объяснили мне приезжие греки. Две другие – какую-то древнюю женщину. Она считалась покровительницей Херсонеса.

– Если мне не изменяет память, это Гикия, – вспомнил всезнающий Готье.

– Гикия? – переспросил Роже. – Такой мученицы я не знаю.

– Этим именем звали не мученицу, а языческую женщину, спасшую Херсонес от боспорцев.

– От боспорцев?

Обстоятельства мешали епископу Готье рассказать о прославленной античной героине, хотя Всеволод с большим вниманием слушал его латинскую речь. Молодой княжич был любителем подобных повествований. Однако впереди уже выплывала навстречу розовая громада Софии.

## II

Великий князь Ярослав спускался иногда из своих покоев, стуча жезлом по каменным ступеням лестницы. Это происходило в дни совета с дружиной или когда он совершал паломничество в Вышгород, чтобы поклониться гробницам мучеников Бориса и Глеба. Но в день приезда послов старик не пожелал покинуть свои палаты. Ему приходилось слышать от лукавых греков, что владыка, таящийся в молчаливом дворце и появляющийся перед народом только в особо торжественной обстановке, при звуках труб и органов или пении церковных псалмов, производит на людей более сильное впечатление, чем доступный для всякого правитель, что бродит по торжищам, как простой смертный. Кроме того, в связи с приездом послов необходимо было предварительно посоветоваться с пресвитером Илларионом.

Когда посланный мытником гонец прискакал к Лядским воротам, в городе только что пропели первые петухи. Известие, доставленное с рубежа, вызвало в доме воеводы ночной переполох. Дело не допускало промедления. Старый князь требовал, чтобы обо всех важных событиях ему докладывали немедленно, не считаясь ни с поздним вечером, ни с расстоянием, ни с дурной погодой. А посольства приезжают не каждый день.

Седоусый воевода, ленивый дородный варяг, разжиревший на русских хлебах, мучительно чесал волосатую грудь, и в расстегнутом вороте белой рубахи при свете свечи, которую держал в руках отрок, поблескивал золотой крест с синей финифтью. Рядом с мужем, разметав на розовой подушке русые косы и широко раскинув нагие горячие руки, спала на пуховой постели боярыня, такая же дородная, но молодая и нежная, и стыдливо улыбалась какому-то приятному сонному видению. От стука в дверь, от ночного разговора она проснулась, подняла заспанные, ничего не понимающие глаза, посмотрела на свечу, на гонца, на супруга, вздохнула и снова уронила тяжелую голову на шелк подушки, прикрывая беличьим одеялом круглое теплое плечо, чтобы соблюсти женскую стыдливость и не вводить в напрасное искушение отрока, уже невпопад отвечавшего на вопросы.

Воевода морщился, почесывался, с неудовольствием думая, что ничего не остается, как покинуть супружеское ложе, чтобы поспешить в княжеский дворец, и стал натягивать на длинные ноги красные штаны.

– Коня! Поедем к конунгу Ярославу среди ночи! – сказал он в сердцах отроку. Воевода считал ниже своего достоинства даже на близкое расстояние ходить пешком, да в ночное время и городские псы могли повредить одежду или разбойник подстеречь в темном переулке с ножом в руке. Старый муж не видел, что жена наблюдала за ним с женским притворством сквозь лукаво опущенные ресницы.

Подковы глухо зацокали. Воевода громко зевнул и равнодушно посмотрел на прекрасные небеса. На небе сияли звезды. То дружно принимались лаять, то вдруг умолкали собаки. Уже начинало светать. Позади ехал молчаливый отрок.

В княжеском дворце воеводе прежде всего пришлось разбудить дворецкого. Этот константинопольский евнух, родом тоже варяг, но попавший в плен к грекам и оскотенный по жестокой прихоти василевса, долго крестился и шептал молитвы, прежде чем сообразил, что от него требуют. На Русь он приехал недавно с дочерью Мономаха, ставшей супругой княжича Всеволода, и по совету Иллариона великий князь взял скопца к себе на службу, из тех соображений, что он хорошо знает греческие дворцовые порядки.

Итак, некоторое время ушло на совещание с евнухом. Воевода хмуро объяснил ему в конце концов, что случилось. Уже давно по киевскому торжищу ходили всякие слухи, но послов в Киеве еще не ждали, и никто толком не знал о цели посольства, хотя немецкие купцы и русские путешественники, побывавшие в Регенсбурге с мехами, уверяли, что франки едут за Ярославной и мощами святого Климента.

Зная привычки старого князя, воевода спросил:

– Бодрствует?

– Читает даже в ночи, – отвечал шепотом скопец, прикрывая рот рукою, как будто бы сообщая некую важную государственную тайну.

– Как нам поступить?

– Передать эпистолию. Иначе будет гневен.

– Тогда поднимемся в опочивальню.

Ярослав страдал бессонницей и, чтобы скоротать ночные часы, читал книги, лежа в постели, и это вошло у него в привычку. Ведь столько хотелось узнать повестей, что на это не хватило бы времени днем, когда нужно советоваться о государственных делах, разбирать тяжбы, присутствовать на богослужениях, выезжать на звериные ловы. Так он полюбил книжное чтение паче жизни и часто говорил сыновьям:

– Книжные словеса суть реки, напоющие вселенную...

В тихой княжеской ложнице потрескивала в серебряном подсвечнике толстая восковая свеча, наполовину сгоревшая, и ее трепетный свет казался человеку, еще помнившему о лучине в светце, вполне достаточным, чтобы разбирать письма. Ложе было узкое, почти монашеское, но под навесом из тяжелой парчи на четырех точеных позолоченных столбиках. У одной из стен, обитых желтой материей, стоял раскрытый ларь, наполненный книгами в переплетах из кожи, из алого или синего, как васильки, сукна. Каждая такая книга, иногда украшенная разноцветными камнями, осыпанная жемчужинами, с серебряными коваными застежками, представляла собою целое сокровище, но люди бережно брали ее в руки не столько ради высокой цены жемчужин и серебра, сколько из уважения к искусству писца. Труд переписчика считался таким же святым, как труд пахаря. Следующее можно сказать о книгописании: бывает доволен купец, получив прибыль, и кормчий, пристав с кораблем в затишье, и странник, вернувшись в милое отечество; так же радуется переписчик, доведя до конца свое предприятие.

При всей бережливости Ярослав тратил огромные деньги на покупку и переписку славянских и греческих книг, и не мудрено, что ларь оковали железом и устроили в нем хитроумный замок.

На скамье лежала одежда князя и поверх – боевой меч в потертых кожаных ножнах с серебряным наконечником. Так он мог спокойнее спать на случай народных возмущений или вероломства со стороны бояр.

В углу висела икона, написанная молодым киевским художником. Лик Богоматери живописец изобразил не таким темным и суровым, как это делали обычно в далеком Царьграде, а как бы освещенным нежной зарей. Она склоняла голову к своему младенцу, прижимая его к груди... Всякий раз при виде этой иконы Ярослав вспоминал странные глаза художника, как бы ищущие в мире некую скрытую прелесть. Такое же беспокойство о красоте светилось в них и тогда, когда живописец писал в Софии лики княжеской семьи и с какой-то тайной тревогой смотрел, стоя на высоком помосте, с кистью в руке, то на Анну, пришедшую подивиться труду его, то на сияющее краскам изображение дочери Ярослава.

Лежа на боку, чтобы удобнее было больной ноге, которая все больше и больше стала напоминать о себе при перемене погоды, Ярослав одной рукой подпирал голову, в другой держал раскрытую книгу. Он читал «Притчи Соломона».

Вглядываясь в красные буквы, четко написанные рукою писца Григория и украшенные цветами и прихотливыми знаками юным художником, кому, казалось, сами ангелы подарили это необыкновенное искусство, Ярослав шептал, едва двигая губами:

– «Не премудрость ли взывает и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенном месте, при дорогах и на распустьях. Она взывает у городских ворот, при входе в город и у дверей дома...»

Ярославу послышались какие-то шорохи за дверью или на лестнице, ведущей в опочивальню. Князь перестал читать и прислушался. Нет, все было тихо среди ночи, и он знал, что у двери стоят на страже преданные отроки с мечами на бедре, бодрствуют и, может

быть, приглушенными голосами переговариваются между собою.

Эти странные слова, не похожие на обычную человеческую речь, напоминали звон гуслей. Но они открывали сердцу, что мир не застыл в оцепенении, а полон жизни и движения.

– «Не разум ли возвышает голос свой?..» – со вздохом повторил старый князь.

Ярослав оторвался от книги. Где родились люди, писавшие подобное? Но разве Илларион не рождал в тишине кельи такие же сладостные слова, украшая свои мысли книжными цветами? Князь знал греческий язык, ему объяснили еще в юности, что такое метафора, и он умел оценить великолепие слога и мудрость писательского замысла.

– «Когда был дан устав морю, чтобы волны не преступили пределы его, и положено основание земли, и тогда я уже трудилась художницей на земле и была радостью каждый день...»

Все представлялось смутным в этих строках, однако сквозь туман древних слов, опьяняющих, как церковный фимиам, светилась мысль, что мир полон неизъяснимой красоты. Какими возвышенными казались эти строки по сравнению с ежедневными маленькими заботами, отвлекающими человека от помышлений о величии мироздания.

Но чтение утомило глаза, заглавные буквы из красных сделались голубыми. Ярослав отложил книгу, и тогда мысли князя, цепляясь одна за другую, возвратили его к действительности, к жизни, прошедшей в большой тревоге. Горница наполнилась видениями.

Уже достигнув преклонного возраста, отец, великий царь Владимир, захворал и лежал на одре болезни в своем любимом берестовском дворце. Ярослав сидел посадником в Новгороде, в том северном городе, который так удивлял греков бревенчатыми банями, где люди бичевали себя березовыми ветвями, хотя делали это не для мучения, а для омовения. Любимцами старого князя считались самые младшие сыновья – Борис и Глеб. К Ярославу отец особой нежности не питал. Еще с тех дней, когда в лучших своих чувствах была оскорблена мать, гордая Рогнеда, он тоже затаил в сердце зло против родителя. Отец возвратился из Корсуни с греческой царицей, красота которой заключалась не в нежности румянца на щеках, не в соболиных бровях, а в белилах, в шуршащем шелке одежд, в жемчугах. Она привезла с собою драгоценные скляницы, полные благовоний и притираний, и ради всего этого Владимир забыл о Рогнеде. Но мать с презрением отвергла предложение выйти замуж за какого-нибудь знатного дружинника, заявив с гневом, что, будучи госпожой, она не желает стать женою раба, и маленький Ярослав воскликнул, рукоплеская:

– Поистине ты царица царицам и госпожа господам!

Когда Ярослав подрос, отец отослал его подальше от себя, и молодой князь жил на новгородском дворе, как в осажденной крепости, под охраной варяжских наемников. Время от времени свободолюбивые новгородцы избивали их, если те совершали какое-нибудь насилие. Молодой посадник старался жить в мире со всеми: варяги охраняли его покой, а у новгородских купцов в ларях звенели серебряные и даже золотые монеты. Но когда однажды жители перебили варягов на дворе некоего Парамона, он разгневался и лукаво велел сказать горожанам:

– Ну что ж, мне их уже не воскресить!

Лучшие мужи явились к нему, а он предательски казнил их, мстя за своих наемников. И в ту же ночь пришла весть о смерти великого князя.

Уже некоторое время тому назад Ярослав, не ладивший с отцом, построил новый дворец в Новгороде. Затратив на него немало денег и понимая, что городские доходы ему на пользу, он отказался посылать в Киев ежегодную дань в размере двух тысяч гривен. Там это почли за явное неповиновение отцовской воле, и начитанные люди вздыхали при мысли, что еще раз повторилась на земле история с Авессаломом, проявившим непокорство отцу своему Давиду. Охваченный гневом, не терпевший никаких противоречий, старый князь решил наказать мятежного сына вооруженной рукой и отдал приказ готовиться к походу на

Новгород.

– Чините дороги и мостите мосты!

Уже смерды приступили к наведению путей, стали рубить деревья и класть гати в непроходимых болотах, чтобы киевское войско могло пройти в новгородские пределы, но во время военных приготовлений Владимир совсем расхворался и умер в Берестове.

Ярослав, только что избивший новгородцев, собрал вече и сказал, вытирая слезы:

– О, милая моя дружина! Вчера я ее перебил, а сегодня она оказалась мне нужна. Отец мой умер, Святополк сидит в Киеве и убивает братьев моих.

Новгородцы, наделенные государственным разумом, ответили:

– Хоть ты и иссек наших братьев, но будем бороться за тебя.

Борис, предполагаемый преемник отца на золотом киевском столе, находился в те дни в далеких печенежских степях, гоняясь с дружиной за кочевниками, осмелившимися вновь нападать на русские пограничные селения. Бояре совещались втайне, не зная, как поступить при таких обстоятельствах, и не объявляли о смерти князя, опасаясь потрясений. Однако трудно было скрыть печальное событие от народа в продолжение длительного времени, и тогда они решили предать усопшего земле.

По русскому обычаю тело князя не вынесли из опочивальни в дверь, а спустили на двор, разобрав крышу дома. Также во исполнение другого древнего обряда, мертвеца повезли в Киев не на конях и на телеге, а на саних, запряженных волами, хотя было летнее время. Но известно, что волы самые чистые и мирные животные в вертепе и не способны потревожить последний сон человека брыканьем.

Когда гроб привезли в город, со всех сторон стали сбегаться люди, чтобы в последний раз взглянуть на великого князя, и горько плакали, ударяя себя в грудь. Монахи же утверждали, что отныне вдовы и сироты остались без покровителя. Под рыдание всего народа и пение псалмов старого князя Владимира Святославича похоронили в каменной гробнице, в прекрасной Десятинной церкви, недалеко от гроба греческой царицы Анны, его супруги.

У Владимира было много сыновей. Но Борис замешкался в степях в тщетных поисках печенежских становий; Ярослав выжидал событий в Новгороде; Мстислав сидел в далекой Тмутаракани, Святослав – в Деревях, Глеб – в богатом пушным зверем лесном Муроме, где часто смущали народ волхвы; Судислав правил в рыбном и грибном Плескове, на берегах реки Великой. В Киеве в те дни оказался лишь Святополк, сын той пленной гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял на свое ложе после смерти брата ради красоты ее лица. Воспользовавшись отсутствием братьев, Святополк захватил власть в Киеве, окружил себя легкомысленными отроками, упивался на пирах греческим вином, услаждал свой слух музыкой.

Борис, еще безбородый юноша, красавец с огромными глазами, с тонким станом, как у девушки, любимец отца, возвращался с дружиной из печенежских степей, ничего еще не зная о том, что произошло в столице. Святополк же явился ночью в Вышгород, где у него нашлись приверженцы, и велел им убить брата. Имена этих дружинников такие: Путша, Толец, Олович и Ляшко. А отец им – сатана.

Борис остановился на ночлег, поставив воинские вежи <sup>4</sup>на реке Альте. Злодеи поспешили туда и услышали, как княжич, один в шатре, пел ночью часы, так как даже в походы брал с собою богослужебные книги. Подождав, когда Борис кончил молиться и лег спать, завернувшись в овчину, убийцы ворвались к нему с обнаженными мечами в руках. Никто не оказал им сопротивления; многие воины Бориса, не желая жертвовать своею жизнью ради княжеских усобиц, разбежались, другие крепко спали в шатрах, и только некоторые отроки пытались прийти на помощь княжичу. Среди них был любимый оруженосец Бориса, по имени Георгий, родом угр. Видя, как враги пронзили Бориса мечом, и

слыша его предсмертные стоны, он воскликнул:

– Если погибает мой князь, пусть умру и я!

В ночном переполохе вышгородцы убили и оруженосца, а потом отрубили ему голову, чтобы удобнее было снять с шеи золотое ожерелье, которое Борис подарил этому преданному воину. Самого княжича, который еще дышал, злодеи завернули в рядно, положили на повозку и под покровом темноты повезли в Вышгород. Но, узнав, что брат только тяжело ранен, Святополк послал двух варягов с приказом прикончить Бориса. Они так и сделали. Когда вновь наступила ночь, окровавленное тело несчастного княжича привезли в город и тайно похоронили около церкви.

Глеб был в это время далеко, в муромских лесах. Святополк отправил к нему гонца со словами: «Приезжай не мешкая, ибо отец твой умирает!»

Не подозревая, что за этими словами кроется предательство, Глеб поспешно и с малой дружиной отправился в Киев. В Смоленске он оставил коня и поплыл в ладье. Но здесь Глеба встретил посланец Ярослава и открыл ему глаза на истинное положение вещей. Узнав о кознях Святополка, княжич решил искать спасения в бегстве, однако убийцы уже настигали свою жертву, и собственный кухарь, подкупленный Святополком, убил Глеба тем самым ножом, которым резал к обеду петухов и барашков.

– Как агнца невинного, – вздохнул Ярослав, вспоминая страшные дни. – Месяца сентября в пятый день, в понедельник. В тот час над Русской землей зажглись два дивных светильника.

Но горницу уже посетили другие кровавые призраки. Ярослав вспомнил о своих тогдашних волнениях и страхах. Сестра его Предслава уведомляла в предостерегающих письмах обо всем, что происходило в Киеве. Ярославу оставалось выбирать: или бежать к варягам, как некогда поступил при таких же обстоятельствах отец, и спастись за морем, где жила семнадцатилетняя Ингигерда, о которой молодой князь неоднократно слышал от скандинавских скальдов, воспевавших ее красоту и хозяйственность, или же начать братоубийственную войну.

Ярослав знал, что варяги обвиняли его в скопидомстве, хотя и уважали за ум и представительную наружность. Но теперь не приходилось жалеть денег, чтобы прибегнуть к помощи наемников. Как раз в те дни в Новгороде очутился ярл Эдмунд, тоже бежавший от грозившей ему опасности, когда конунг Олаф, по прозванию Святой, стал истреблять своих соперников. Слепив самого опасного врага, ярла Рерика, он сделался единовластным господином страны, и Эдмунд опасался, что и с ним будет поступлено так же. Слеплению варяги научились у греков, у которых этот обычай считался чуть ли не человеколюбивым, так как лишение возможности видеть мир обычно заменяло в Константинополе смертную казнь. Ярл покинул Скандинавию и, по примеру многих других товарищей по несчастью, поспешил в Гардарик, или страну городов, как варяги называли Русь.

Беглецы были радушно приняты в теплом дворце новгородского посадника. На первом же пиру в их честь, за чашей меда, среди подогретых хмельными парами повествований о подвигах и любовных приключениях, начался торг с наемниками. Но Ярослав хотел точно знать, на каких условиях Эдмунд предложит в его распоряжение мечи своих храбрых воинов.

Ярослав запомнил мельчайшие подробности разговора. Ведь речь шла тогда не о пустячных вещах, а о жизни и смерти. Вдали сияли синие глаза Ингигерды. Судя по рассказам варягов, приходивших в Новгород, молодой князь считал, что эта северная красавица могла бы стать для него достойной супругой и что не лишне породниться с ее влиятельным семейством, чтобы во всякое время получать помощь от варяжских ярлов. Он чувствовал себя полным сил, хотел бороться за свое будущее, хотя с детства не отличался крепостью мышц, был хром и напор сердечных чувств привык сдерживать и проверять разумом, действовал всегда с осторожностью, свойственной дальновидным людям.

Заметив, что воск обильно стекает на серебро светильника, Ярослав поспешил похлопать пальцы

и снял со свечи нагар. Воспоминания теснились в его душе... В обширной, но низкой горнице пахло тогда гарью факелов и перебродившим медом. На столах стояли деревянные блюда с огромными кусками говядины. Желаящие отрезали острым ножом сколько нужно, клали мясо на ломоть хлеба, солили по вкусу, опуская персты в солонку, и насыщались, прерывая еду только для того, чтобы послушать очередного скальда. Певцов было несколько, русских и скандинавских, и перед тем, как петь, они долго перебирали струны арфы или гуслей, точно в ожидании вдохновения, а потом услаждали слух гостей сильными и красивыми голосами, за какие одинаково ценят певцов воины и женщины.

Лишь два человека оторвались на время от этого песенного мира и держали себя как настоящие купцы, ведущие трудный торг.

Ярослав был очень осторожен в выборе выражений, зная, что каждое сказанное слово будет принято как написанное в грамоте с семью печатями. Кроме того, рядом с ним сидел на пиру седобородый новгородец, тысяцкий Гюрята, с которым приходилось считаться, потому что он предводительствовал сильным новгородским ополчением и в его распоряжении была богатая городская казна.

Эдмунд прилично обратился к Ярославу и сказал:

– Мы хотели бы сделаться защитниками твоего дела. Нам ведь известно, что произошло в Киеве. Нельзя сказать, чтобы жизнь твоя находилась в безопасности, а мои товарищи – опытные воины и способны оказать тебе большие услуги в трудную минуту.

– Не думай, что я так уж нуждаюсь в вашей помощи, – ответил со смехом Ярослав. – У меня тысячи новгородских воинов.

– Не спорю, они неплохо владеют боевыми топорами, но ведь мирные плотники и хлебопашцы не любят покидать свои нивы. А мы готовы служить тебе, пока ты не справишься со всеми врагами.

– Я знаю, что вы храбрые воины. Но все зависит от того, сколько вы потребуете за службу.

У Ярослава была круглая, темная, подстриженная по константинопольской моде борода. Так ее носили греческие цари и те патрикии и магистры, что приезжали иногда на Русь с посольскими поручениями, Эдмунд же, по старому обычаю, отпускал длинные усы и брил подбородок.

Торг продолжался. Ярл подумал немного и заявил:

– Во-первых, – загнул он мизинец на левой руке указательным пальцем правой, – ты пожалуешь нам с Рагнармом и всем нашим спутникам подходящие помещения и не откажешь ни в каком добре из своих запасов.

– На такое иждивение я согласен, – ответил Ярослав, переглянувшись с Гюрятой. Старик покраснелся от меда, но неизвестно, о чем думал в этот час.

– Сверх того, – загнул Эдмунд еще один палец, – согласен ли ты платить по унции серебра в месяц каждому воину, а начальникам ладей назначить двойную плату? На таких условиях мы согласны сражаться впереди твоего знамени. И позволь тебя уверить, что за нашими щитами ты будешь чувствовать себя в полной безопасности.

Варяг не очень высоко ставил воинские качества Ярослава, еще не проявившего себя на полях сражений, и считал, что предлагает очень выгодную сделку, но молодой князь, наделенный более тонким восприятием человеческих отношений, чем грубоватый наемник, нахмурился. Он не собирался прятаться за чужими щитами! Кроме того, условия варягов показались ему малопривлекательными. Ярослав посмотрел на Гюряту, как бы прося у него поддержки, и ответил:

– На это я не могу согласиться.

Однако Эдмунд вел себя так, как будто бы всю жизнь занимался торговыми делишками, что было недалеко от истины.

Он вздохнул.

– Жаль... Впрочем, если тебе затруднительно сейчас платить деньгами, – сказал варяг после некоторого размышления, – то мы согласны принять плату за службу мехами. А если у нас случится военная добыча, ты заплатишь серебром.

Молодой посадник обдумывал выгодность соглашения. Ценные меха бобров и соболей он мог и сам с выгодой переправить в греческую землю, где зябкие красавицы кутались в соболиные шубки... Но требовалась помощь наемников. С одними новгородцами рассчитывать на успех не приходилось. Особой нежности к своему князю они не испытывали. Эдмунд прав. Эти миролюбивые люди брались за оружие только в случае крайней нужды, когда на них нападали. А богатым купцам, как Гюрята, нужен только свободный путь от Новгорода до Царьграда...

Ярослав стучал пальцами по столу. Гюрята протянул чашу отроку, чтобы тот налил меду.

– Пожалуй, на такие условия мы можем согласиться? – вопрошающе посмотрел на него князь.

Польщенный, что молодой Владимирович ничего не предпринимает без его совета, старый тысяцкий погладил степенно бороду и ответил:

– Ты мудро решил. Новгород поможет тебе.

Соглашение было заключено. Варяги вытащили свои птицеобразные ладьи на берег, чтобы зимовать в Новгороде. Ярослав велел предоставить им хорошо натопленные дома, а горницу, в которой поселились Эдмунд и Рагнар, его седоусый сподвижник, обить красной материей. Воины стали немедленно вносить в нее оружие, меха, железные уключины, весла, неводы для ловли рыбы – все, что могло пропасть без присмотра, и вскоре это жилище превратилось в обжитое логово воинов, где топится очаг, пахнет овчиной и железом, куда днем рабы носят мед в глиняных кувшинах, а ночью приводят женщин.

В течение всей зимы никаких военных действий не предпринималось. Наступила весна. Снова выглянуло солнце, и быстрые ручейки побежали вдоль холмистых новгородских улиц, изливаясь с веселым журчанием в Волхов. Ярослав по-прежнему выжидал, а Святополк продолжал свое каиново дело. Святослав, княживший в Деревях, ближе всех к Киеву, узнав, что и ему угрожает опасность со стороны немилосердного брата, надумал бежать в Угорщину, но где-то уже у самых голубых Карпатских гор его настигли посланные вдогонку печенеги и безжалостно убили.

В конце концов Ярославу ничего не оставалось, как выступить с оружием в руках.

Встреча новгородцев с войсками Святополка произошла несколько позже, когда уже стал замерзать Днепр. Это случилось у города Любечь, где противники расположили свои станы на разных берегах реки. Однако время проходило в бездействии. Ни Ярослав, ни Святополк не решались переправиться через реку. Дружинники Святополка, большие любители пенного меда и веселья, кричали с противоположного берега, надсмехаясь над новгородцами:

– Эй, плотники! Зачем пришли сюда с вашим хромцом? Вот мы вас заставим рубить нам хоромы!

Ярослав в детстве покалечил себе ногу, слегка припадал на нее. Но новгородцам подобные шутки были не по душе. Они стали требовать от своего князя:

– Чего ты ждешь? Перейдем на ту сторону! А кто не пойдет с нами, того мы убьем.

В лагере Святополка находился тайный друг Ярослава, и осторожный князь послал к нему согладаясь спросить:

– Что нам делать? Меду мало, а дружины много...

Благожелатель велел передать князю:

– Настал час поить дружину медом!

Святополк впервые на Руси привел против христиан печенегов. Он стоял со своей конницей между двух озер, не давая себе отчета, что всадникам трудно действовать в

болотистой местности. Повязав головы белыми убрусами, чтобы можно было отличить в темноте своих от врагов, новгородцы в полночь переправились на противоположный берег, а ладьи оттолкнули, отрезая путь отступления малодушным. Началась ночная битва. Эдмунд с варягами сражался на другом крыле. Впоследствии он уверял конунга, что это его храбрецы, а не новгородские мужики решили участь сражения. Но, вспоминая с книгой в руках ту страшную битву, Ярослав видел все, как было. Перед его умственным взором вновь возникла суматоха сражения. Ярл пререкался с Гюрятой и убеждал его поставить стражу у ладей, а не сталкивать их в реку. Но ладьи все быстрее скользили по черной воде в темноту ночи. Варяги негодовали на такую опрометчивость, и новгородцы осыпали наемников обидными словами.

– Какое войско так поступает! – взывал Эдмунд.

– А ты за что служишь? За гривну в месяц? – смеялись над ним новгородцы, вдруг превратившись из мирных плотников в кровожадных барсов.

Благодаря их мужеству Святополк потерпел жестокое поражение и бежал с остатками своих союзников в степи, а оттуда темными окольными дорогами перебрался в Польшу, Ярослав же отпраздновал победу и сел на киевском столе.

Но русского князя ждали новые затруднения и опасности. Святополку удалось завязать союзнические отношения с польским королем Болеславом, и по их наущению печенеги в огромном числе напали на Киев. Кочевников этот город манил сказочным богатством, горами мехов и серебряными ожерельями киевлянок, и они рвались к городским воротам. Только к вечеру Ярослав одолел печенегов, погнав в степь и там рассеял, как прах. А вскоре другие бедствия обрушились на Русскую землю. Киев опустошали чудовищные пожары. Угроза со стороны польского короля не исчезла, а срок договора с варягами кончался. Жалованье им часто задерживалось по нескольку месяцев, и однажды Эдмунд спросил конунга, желает ли он возобновить соглашение. Надеясь, что полученные в Киеве известия о смерти Святополка соответствуют истине, и зная о неладах поляков с немцами, Ярослав отвечал уклончиво. Но ярл настаивал на определенном ответе.

Тогда князь сказал:

– Полагаю, что в настоящее время у меня уже нет необходимости в твоих людях.

– Как знаешь, – ответил ярл, кусая ус.

– А если бы я вновь захотел прибегнуть к вашей помощи, то какие твои условия?

– Мы требуем теперь по унции золота на человека, не считая платы начальникам ладей, – развязно заявил Эдмунд.

– Тогда ты можешь считать наш договор оконченным.

– Это в твоей власти, конунг.

Великий хитрец и дальновидный человек, Ярослав только делал вид, что может обойтись без варягов, чтобы подешевле заплатить за их услуги. Однако ярл тоже понимал толк в торговых сделках. Он ехидно спросил:

– Но действительно ли ты уверен, что Святополка нет в живых? Тогда мы знали бы все подробности о таком важном событии. А между тем где же его могила? Приличные ли были устроены ему похороны? Что-то ничего не слышно о поминках.

– Может быть, мы еще услышим, – пробормотал князь.

– А люди, наверное, знали бы о местоположении могилы знаменитого воина, – не унимался Эдмунд. – Купцы, что приходят из Польши, рассказывают много всяких историй, но об этом не говорят ни слова. Не правда ли, странно, конунг? Боюсь, что твои люди только из раболепства убеждают тебя, что Святополк умер, чтобы сделать приятное своему господину, а на самом деле тут происходит нечто иное.

– Тебе известно что-нибудь? – не выдержал Ярослав.

Настало время вести игру ярлу. С деланным равнодушием он стал рассказывать:

– Я сам ничего не видел, но люди говорят разное. Осведомленные путешественники, которым я вполне доверяю, передавали, что твой брат жив и зиму провел в степях, собирая

там воинов. А ты сам отлично понимаешь, для чего они нужны ему.

Положение Ярослава оставалось еще весьма непрочным, поэтому приходилось считаться с этими жадными до золота наемниками, и договор был возобновлен. Ярослав даже постарался завязать отношения с немецким императором Генрихом и заключил с ним союз, но польский король и Святополк разбили немцев. Позднее оба напали с поляками, уграми и печенегами на Русь. Летом они расположились на реке Буге. Туда пришли и полки Ярослава. Но он, по своему обыкновению, медлил начать военные действия, не стремясь проливать человеческую кровь. В этом сказывался его русский характер: никогда не начинать драку первым.

Зато варяжский воевода Блуд, дядька Ярослава, известный задира и насмешник, разъезжая на коне по берегу, издевался над непомерно толстым польским королем:

– Вот мы тебе скоро проткнем копием брюхо!

Такая похвальба не нравилась русским воинам, в большинстве своем хлебопашцам. Они любили сражаться в открытом поле, строй на строй, и уважали врага, чуждого вероломства, но битву горестно сравнивали с жатвой или с сельскими работами на гумне, где цепи стучат по снопам. Так и война веет душу от тела.

Повода для войны не было. Ярослав читал книги и предавался рыбной ловле. Однажды он оставил войско и удил на реке щук, радуясь счастливому улову. Воспользовавшись этим, Болеслав по наущению Святополка напал на киевское войско, и сам Ярослав едва спасся после этого разгрома. С немногими воинами, бросив все на произвол судьбы, он опять бежал в Новгород. Дорога на Киев была теперь открыта для врагов, и поляки вступили во главе со своим тучным королем и Святополком в притихшую столицу. Короля встретил у ворот и передал ему в виде добычи церковные сосуды тот самый Анастас, что некогда послал из Херсонеса стрелу в русский лагерь с указанием, где надо перекопать подземные трубы, доставлявшие в осажденный город воду. Владимир сделал Анастаса епископом и поручил ему Десятинную церковь, и вот он изменил Русской земле, как Иуда.

Ярослав уже считал, что все теперь потеряно, и в полном отчаянии собирался плыть за море, но упрямые новгородцы порубили секирами княжеский корабль, снаряжавшийся в морское путешествие, и решительно заявили князю:

– Хотим еще биться с Болеславом!

К счастью, скоро обстоятельства изменились в пользу Ярослава. Вражеские отряды, стоявшие в русских городах, вели себя разнузданно и были один за другим перебиты восставшими жителями. Болеслав поспешил уйти в Польшу. Святополк остался в Киеве с одними печенегами, и от него все отвернулись, так как русские люди не любили этого князя, зачатого в прелюбодеянии и пришедшего в Киев с иноплемениками.

Между тем богатые новгородцы снова собрали необходимые средства, чтобы нанять в помощь себе варягов, и двинулись на освобождение Киева. Знаменитая битва, о которой долго говорили в самых отдаленных краях Русской земли и после которой многие жены плакали в печенежских степях, произошла на реке Альте. Сеча была ужасной. Наступила пятница, и всходило солнце, когда обе стороны начали бой. Сходились трижды, воины рубились, хватали друг друга за руки, и кровь ручьями текла по оврагам. К вечеру Святополковы знамена пали, и новгородские воины отерли с чела трудовой пот, точно закончили обильную жатву. Святополк бежал с остатками печенежских войск, и Ярослав вступил в Киев...

Свеча догорала, и в полумраке стали выползать из темных углов опочивальни страшные тени. Ярославу припомнилась еще одна беседа с Эдмундом. Дело происходило так...

Однажды ярл спросил его в явном смущении:

– Скажи, конунг, как нам поступить с твоим братом, если он случайно попадет в наши руки? Не разумнее ли убить его? Ведь никогда не настанет тишина в государстве, пока он будет жить на земле и замышлять против тебя всякие козни.

Ярослав вздрогнул. Он знал, что Эдмунд прав, что Святополк – брат лишь по отцу, а может быть, и не брат – много зла сотворил на Руси и не перестанет и впредь проливать христианскую кровь ради своего честолюбия. Но все-таки они были с ним из одного гнезда. Уклоняясь от прямого ответа и глядя в сторону, князь сказал сквозь зубы:

– Не могу никого подговаривать на убийство Святополка.

Он ушел поспешно в опочивальню, чтобы прервать неприятный разговор. Ах, почему память так цепко хранит проклятые подробности былых деяний? Есть ли прощение в будущей жизни за братоубийство?

А ярл Эдмунд подумал, что разгадал тайные мысли и опасения русского конунга. Вскоре после этого, рано утром, Эдмунд позвал своего побратима по оружию Рагнара и еще десять отборных воинов, среди которых оказались оба Торда, Бьерк и другие храбрецы, и велел им седлать коней. Всем было приказано одеться в платье торговых людей. Двенадцать всадников, позевывая на утреннем холодке, отправились в дубовый лес очередной скандинавской саги.

Позднее варяги рассказывали Ярославу всякие небывлицы. Якобы, нацепив бороды из пакли, они проникли в лагерь Святополка, скрывавшегося в те дни с остатками своего войска в далеких степях. Выдав себя за купцов, Эдмунд с товарищами ворвались ночью в шатер князя и убили его предательским образом. Затем поспешили обратно в Киев, и у одного из всадников болтался притороченный к седлу мешок с головой Святополка. Настало утро. Эдмунд явился в княжеский дворец. Этот наемник, для которого убить человека, даже не такого презренного, как Святополк, было так же просто, как раздавить муху, спросил Ярослава, довольный своей ловкостью и удачей:

– Узнаешь?

И вытряхнул из мешка страшную мертвую голову, упавшую на пол с непереносимым стуком.

Ярослав затрепетал и закрыл лицо обеими руками. От волнения оно налилось кровью...

Даже теперь, спустя много лет, князь выронил книгу из рук и застонал. Будучи ребенком, он жалел птенцов, выпадавших из гнезда, порой ему становилось жаль до слез слепцов и убогих. И вот столько крови пролилось на земле ради него! Когда же настанет конец человекоубийству?

Впрочем, мысли о мире стали приходить в голову Ярославу уже после того, как он упрочил свое положение. О мире говорилось в книгах, которые князь прочел. Но в те дни он еще находился весь в ожесточении борьбы за власть. И все-таки сердце его тогда мучительно сжалось. А Эдмунд, как будто речь шла о самых обыденных вещах, спокойно сказал:

– Прикажи похоронить эту главу с подобающими почестями!

– Опрометчиво ты поступил, – прошептал князь, и слезы полились у него из глаз.

Голова человека, которого книжники называли Окайным, являла собою ужасное зрелище: искаженное лицо с оскаленными зубами, борода в запекшейся крови, сведенный на сторону рот; одно тусклое око было приоткрыто, точно мертвец подмигивал своим врагам и убийцам. Впрочем, присутствовавшие при этой беседе воевода и бояре смотрели на страшный трофей без большого волнения. Даже испытывали некоторое христианское удовлетворение: Бог еще раз покарал зло! Чтобы лучше рассмотреть, воевода повернул голову ногой в зеленом сапоге...

Однако на этом еще не кончилась междоусобная война. В Тмутаракани сидел другой брат Ярослава, храбрый и веселый Мстислав, любимец своей, набранной из всяких бродяг, дружины.

Тмутаракань, таинственный город, лежала в далеком краю Русской земли, у подножия Кавказских гор. Удобное сообщение по морю связывало его с Херсонесом и Константинополем и весьма благоприятствовало торговле. В этом разноплеменном поселении обитали русские и греки, восточные купцы и хазары; сюда стекались беспокойные

люди и беглые рабы; здесь рекой лилось доступное всякому вино, потому что на холмах, со всех сторон обступивших город, росли тучные виноградные лозы; на улицах часто слышалась греческая речь, и на базарах продавались странные для северян южные плоды – дыни, финики и рожки. Здесь уже веял с моря свежий ветер, надувая паруса больших торговых кораблей, и еще от тех времен, когда в этих местах обитал сильный, но исчезнувший с лица земли народ, в Тмутаракани остались вымощенные плитами улицы, кирпичные дома с внутренними двориками и глубокие каменные водоемы, а на городской площади возвышалась огромная статуя, искусно высеченная из мрамора рукой каменотеса, однако не пощажена временем. Некий философ, случайно попавший сюда, рассказывал на пиру Мстиславу, что этот памятник воздвигла в честь своего мужа, боспорского царя Перисада, некогда владевшего областью, его верная супруга, оставшаяся вдовицей. Разговор происходил за чашей вина, и присутствовавший за столом русский певец внимательно слушал грека, с трудом объяснявшегося по-славянски, а потом использовал рассказ в одной из своих песен, и позднее другой певец заимствовал у него упоминание о тмутараканской статуе, освещая нам черную ночь давних времен.

Жизнь в Тмутаракани, приятная и полная перемен, так нравилась Мстиславу, что он не желал перебираться в Киев. Это был человек, который холил свое сильное тело и больше всего на свете любил свою дружину. Воины тоже почитали князя за храбрость в бою и щедрость на пирах. На дворе у него годами жил великий Боян, русский соловей. Певец назвал Мстислава Храбрым, воспел подвиги победителя Редеди и порой подсмеивался в своих песнях над хромоногим Ярославом, так как в Киеве скупилась на пенязи, не любили тратиться на пиры. А потом книжники предали эти песни забвению и прославили Ярослава, наделив его образ благородными чертами и приписав ему христианские добродетели за любовь к церковным людям.

Мстислав отличался красотой, огромными глазами и не знал страха смерти. Однажды он пошел войной на соседних косогов, чтобы наказать их за ночные набеги, во время которых эти разбойники часто убивали жителей Тмутаракани и угоняли скот. Услышав об этом, косожский князь Редедя прислал сказать ему:

– Зачем мы будем проливать кровь наших воинов? Хочешь, сразимся друг с другом, и если ты одолеешь, то возьмешь мои сокровища и моих жен, а если я одолею тебя, то ты отдашь мне все, что тебе принадлежит.

Мстиславу понравилось такое предложение, и он крикнул через поле, разделявшее два воинских строя:

– Выходи на единоборство!

Редедя был великан с мощными руками и бычьей шеей. Надеясь на свою непомерную силу, он предложил русскому князю не биться на мечах, а бороться врукопашную. Мстислав согласился и на это, хотя был тонок станом и не такого роста, как косог. Они схватились посреди поля, и Редедя стал одолевать, а косожские воины поощряли своего предводителя дикими криками, но Мстислав напряг в последнем усилии мышцы, стиснул противника железными руками и ударил о землю, вызвав бурю криков на русской стороне. Выхватив нож, он зарезал Редедю. Тогда косоги побежали, и княжеская дружина далеко преследовала их в поле.

Так была избавлена Тмутаракань от опасности.

В память этого события Мстислав построил в городе каменную церковь, которая стоит до сего дня.

Сражение, которое должно было решить, кто сядет в конце концов на золотом киевском столе, произошло под Лиственном. Мстислав поставил в чело свой полк северян, как обычно называли жителей Чернигова, а дружину, набранную из ясов и косогов, – на правом и левом крылах. Воины Ярослава вышли на поле широким строем, развернули голубое княжеское знамя с изображением архангела, предводителя небесных сил, и с железным лязгом

обнажили мечи. В воздухе стояла тишина, как перед грозой.

Битва началась по звуку певучей серебряной трубы. Ярл Якун, военачальник Ярослава, высокий белоусый воин в привлекавшем все взоры золототканом плаще, величественно сидел на белом коне. Он махнул рукой в железной перчатке, и варяги мерным шагом пошли на смерть. Им заплатили за два месяца вперед. Это были как на подбор храбрые воины, предпочитавшие гибель в бою медленному умиранию в болезни на соломе. Ярл ехал позади строя, чтобы удобнее наблюдать за ходом сражения. В какой-то давней стычке под Антиохией, когда он еще служил греческому царю, сарацинская стрела пронзила ему левый глаз, и с тех пор Якун носил черную повязку на лице, и его прозвали за это Слепым.

Была осень, стояли воробьиные ночи. На высоких рябинах уже поспевали красные ягоды, низкие тучи ползли по небу, весь день шел дождь, освежавший разгоряченные тела воинов. Но битва не прекращалась даже ночью, когда вдруг разразилась гроза и ветвистые синие молнии стали беспрестанно ударять в землю, а на небесах не умолкая гремел гром.

При вспышках небесного огня поднятые для удара мечи казались в это мгновение неподвижными в ослепительном сиянии. Знамена намокли от дождевой воды и беспомощно повисли на древках.

Всю ночь варяги рубились с черниговцами. Но в минуту, подстереженную с большим воинским разумением, когда уже стало видно, что наемники изнемогают, Мстислав обрушил на врагов всю свою конницу. Скандинавы не выдержали стремительного натиска, сопровождаемого диким воем, и побежали, устилая под ударами кривых сабель мертвыми телами землю. Когда воинский строй превращается в беспорядочное стадо, нет ничего страшнее для пешего воина, чем блеск клинка в руке вражеского всадника.

Понимая, что битва проиграна, Ярослав искал спасения в бегстве. Вслед за ним помчался ярл Якун, оставив на поле сражения свой знаменитый плащ, производивший такое впечатление на молодых воинов и русских летописцев. Потом этот прославленный воин уплыл за море и вскоре умер там, не перенеся позора поражения и гибели товарищей по оружию...

Ярослав закрыл книгу и тяжело вздохнул, вспоминая слова Мстислава, о которых ему передавали впоследствии, не без насмешки над его жалким бегством. Будто бы Мстислав, объезжая под утро поле битвы, сказал:

– Ну как мне не радоваться! Вот лежит северянин, а вот – варяг... Моя же дружина цела.

Ярослав смотрел на догоравшую свечу и ясно представлял себе веселие тмутараканского князя. Что значили для этого легкомысленного любителя пиров и блудниц заботы о государстве? Мстислав думал не о Русской земле, а лишь о своем приятном житии, об охотах на туров и о блестящих, хотя и бесполезных, победах. Между тем наступили иные времена. Илларион вразумительно объяснил всем в своих сочинениях, что земля, и люди, и все, что стоит на земле, – города, погосты, церкви, гумна, все произрастающее на ней – составляют государство, и за это придется дать ответ перед судом потомков.

Ярослав сел, опираясь руками о постель, и еще раз увидел то осеннее утро, когда он, спасая свою жизнь, как безумный, проскакал в тумане мимо Листвена. Если бы князь оглянулся, то увидел бы, как над полем сражения уже кружатся черные птицы, готовясь сесть на трупы и выклевывать глаза у мертвецов. Победители, как это везде было в обычае, стягивали с убитых кольчуги, одежду и обувь, собирали уроненное оружие и стрелы и весело перекликались на поле, радуясь добыче. Ярослав не оборачивался. Он спешил в Новгород. Новгородские мужи понимали, что сила государства в единении всех русских областей, и могли с одинаковым упорством сражаться за Киев и Тмутаракань, как и за свой город и его торговые пути.

Но Мстислава не тянуло на берега Днепра. Он велел сказать Ярославу:

– Садись в Киеве, ты старший брат, а мне будет та сторона.

Границей между двумя владениями стал Днепр. К Ярославу отошли Киев, Новгород, Ладога, Смоленск, Полоцк и многие другие города, к Мстиславу – Чернигов, Любечь, Переяславль и милая его сердцу Тмутаракань, где уже плескалось теплое море. Окончательный мир был подписан в Городце.

Никто не мог оспаривать великолепную победу Мстислава. В упоении своим величием, окруженный певцами и тоненькими, как тростинки, кавказскими красавицами, молодой князь весело пировал, и его подвиги под Лиственном воспел седоусый певец с косматыми бровями и цепкими, как у орла, пальцами, рвавшими струны на княжеских пирах. В ту ночь, когда происходила битва под Лиственном, Боян стоял под дубом на соседнем холме и видел, что при вспышках молний поднятые для удара мечи казались на мгновение неподвижными.

Была осень,  
Стояли ночи рябинные...

На пиру присутствовал константинопольский царедворец, прибывший в Тмутаракань с тайным поручением от греческого царя, и, поблескивая черными ласковыми глазами, пил небольшими глотками вино из чаши, чтобы продлить удовольствие, вместе с другими внимая певцу. Патрикий знал русский язык, так как по матери он происходил из знатного болгарского рода Николицы. Его звали Кевкамен Катакалон. Потрясенный песней Бояна, он сказал:

– Поистине это русский Гомер!

Грек, в нарядном красном плаще с золотым украшением на груди, хвалился белыми холеными руками, тяжелыми перстнями, унизывавшими его пальцы. Он говорил вкрадчивым голосом, но больше слушал. В Константинополе хорошо знали о недоброжелательном отношении Ярослава к ромеям, и патрикия Катакалона послали в Тмутаракань с повелением еще раз поднять Мстислава против брата. В Священном дворце решили, что легче иметь дело с этим падким на удовольствия молодым князем, чем с расчетливым и недоверчивым Ярославом. Патрикию казалось, что песня о победе подогрела мечты амфитриона о подвигах и что наступил благоприятный момент завести речь о борьбе за первородство. Улучив минуту, когда старый певец подкреплялся чашей пенного меда, грек шепнул князю:

– Вот ты пируешь, а не имеешь никакого представления о том, что происходит в Киеве!

– Какое мне дело до того, что творится в Киеве?

Князь нахмурился, недовольный, что с ним заводят серьезные разговоры на пиру, в час веселия.

– А между тем твой брат собирает воинов, чтобы захватить Чернигов.

– Кто тебе это сказал?

– Так рассказывали греческие купцы, пришедшие из Киева в Херсонес.

– Брат не любит войну.

– Но желает быть единовластным во всей вашей стране.

– Он клялся на кресте.

– Клятву часто нарушают, если она не выгодна.

– Не верю, чтобы Ярослав стал клятвопреступником.

– Но почему ты не хочешь предупредить события?

Мстислав скривил губы, казавшиеся еще более яркими от белокурой бороды. Он презирал соглядатаев и наушников. К чему утруждать себя заботами, когда за столом сидят друзья и глаза женщин полны неги. Патрикий понял, что поторопился, и, по-змеиному облизнув губы, поднял чашу, звякнув о нее золотыми перстнями...

Но вскоре в Тмутаракани умер сын князя Евстафий, а некоторое время спустя, простудившись на охоте, преставился и сам Мстислав. Его положили в церкви Спаса, стены которой тогда были выведены на такую высоту, сколько можно достать рукою, сидя на коне.

Теперь уже ничто не мешало Ярославу объединить русские земли от Тмутаракани до Карпат. Снова Русская земля стала единой.

Происходили и другие события в жизни Ярослава. Было столкновение с неразумным племянником Брячиславом, осмелившимся напасть на Новгород и похитить в св. Софии золотые церковные сосуды, светильники и облачения. Но на реке Судомири его настигла карающая десница Ярослава, пленные и добыча были возвращены в Новгород. Позднее Ярослав ходил войною на поляков, ятвягов и литовцев и неизменно возвращался с победой. Польскому королю Казимиру он помог подавить восстание язычников и посадил его в Гнезно на престол.

Короткая ночь проходила за книжным чтением и в воспоминаниях. За окном пропели вторые петухи. Князю снова послышался шум шагов, приглушенный разговор.

У дверей княжеской ложницы в ту ночь стояли на страже отроки Янко и Волец. Они то дремали, сидя на полу, то шепотом рассказывали друг другу разные небылицы. Оба были сильные безбородые юноши, их клонило ко сну в этой дворцовой тишине. Но каждую минуту мог явиться ярл Филипп, начальник охранной стражи, и спать они опасались.

Волец шептал о том, как у них в клети чудил однажды домовый.

– Каков же он собою? – со страхом спрашивал Янко.

– Весь волосами оброс, мукой осыпан.

– Ты видел?

– Нет, не видел. Мать видела.

– Говорил что-нибудь?

– Домовой?

– Он.

– Шипел добродушно.

– А еще что?

– Ничего больше не случилось в тот час.

В свою очередь Янко стал рассказывать, как на реке в лунную ночь смеются и плачут русалки.

– Луна светила, как днем. Дерево склонилось к воде. На его суку сидела нагая дева, качалась, расчесывала волосы зеленого цвета.

– Нагая?

– Звала меня, лаская свои нежные перси.

– А ты?

– Мне страшно стало. Русалка звала, обещая лобзанья, но я знал, что она в омут манила.

Это было на реке Сетомле.

У Янко кипела молодая кровь, отроку не терпелось жениться на румяной боярской дочери, всюду ему мерещились девические лики. Он родился сыном знатного дружинника, по возмужании ему предстояло сидеть в княжеском совете.

Волец же случайно попал в отроки: его взяли в дружину по просьбе пресвитера Иллариона, которому князь ни в чем не мог отказать. Отец отрока был простым плотником из Курска, усердно работал по церковному строению и этим снискал себе любовь священника, и это он устроил юношу в дружину. Но курянин еще не привык к дворцовой тишине, и ему казалось, что сапоги его слишком громко стучат по лестницам и переходам. Вольца часто обижали боярские сыновья, хвалившиеся своей знатностью и богатством, и тогда ему хотелось уйти в один из тех городов на реке Роси, что защищают русские пределы от печенегов, или в Тмутаракань.

Он мечтательно говорил об этом городе:

– Рассказывают, там свобода. Всякий человек волен, как ветер. Вот почему туда бегут рабы.

– Ты же не раб, – заметил Янко.

- Не раб, и мой отец свободный, и дед. Потому мы и бережем свободу.
- Здесь легче снискать милости.
- Здесь смеются над моей бедностью. Лучше бы я был плотником, как отец...

Приятели умолкли и схватились за мечи. По лестнице кто-то осторожно поднимался. Оба вздохнули с облегчением, когда увидели, что это скопец и с ним ярл Филипп и толстый воевода...

Ярослав стал прислушиваться. Теперь у двери явственно слышались голоса, звон оружия.

- Отроки, кто там? – крикнул князь, протягивая руку, чтобы взять меч.

Но за дверью раздался знакомый голос скопца. Как в Священном константинопольском дворце, он гнусаво забормотал благочестивой скороговоркой:

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа...
- Аминь, – сказал князь.
- Беспокою тебя, светлый князь.
- Что тебе?
- Важные вести.

Ярослав опустил ноги на пол и босой, отчего еще больше хромал, подошел к двери и отодвинул дубовый, прочный, как железо, засов.

Слабый свет свечи, которую он держал в руке, озарил желтое, морщинистое лицо дворского Дионисия, напоминавшее увядшее яблоко, а за ним седые усы воеводы и необычайную красоту ярла Филиппа, волосы которого напоминали об архистратиге Михаиле. Позади стояли державшие ночную стражу отроки, взволнованные, но довольные, что нечто произошло во время их службы, о чем можно будет рассказать приятелям.

– Что случилось? – повторил князь, по привычке хмурясь, когда говорил с людьми, зависевшими от него.

- Эпистолия!

Евнух протянул ему кусок бересты, на которой было кое-как нацарапано несколько слов. Князь поднес послание к свече и не без труда прочитал его. Мытник сообщал, что шлет гонца, и упомянул его имя.

- Гонца зовут Лестник? – спросил князь.

Скопец посмотрел на воеводу, и тот ответил поспешно:

- Лестник.
- Что говорил?
- Прибыли послы от франкского короля.

Послы от франкского короля! Отпустив людей, Ярослав бережно положил книгу в ларь и запер его. Ключ со звоном повернулся в искусно сработанном замке. В окне уже занималось утро. Наступило время умыть руки и пройти по деревянному переходу на каменное гульбище, шедшее вокруг св. Софии, а оттуда через дверцу – в кафизму, чтобы слушать утреню. Ярослав с удовольствием вспомнил, что сегодня должен служить пресвитер Илларион. С ним надо будет посоветоваться о многих вещах. Митрополит Феопемпт, изнемогая от недугов, в этот час еще нежился в постели и, по своему высокому церковному званию, совершал богослужение только в особые дни.

Ярослав не любил этого человека с дурным дыханием изо рта, хотя в глаза называл святым отцом и верил, что от его молитв зависит спасение души. Как это ни странно, но немощный митрополит обладал огромной властью над людьми, потому что за ним стояли Вселенские Соборы и апостолы. Без епископов невозможно создать христианскую церковь на Руси, и князь чувствовал себя как в духовном плену. Разорвать эти цепи еще не пришло время. Но пусть греческий царь не простирает руки на Русскую землю.

Теперь приходилось подумать о многом: какие выгоды можно извлечь из нового брачного союза и не даст ли родство с франкским королем возможность завязать сношения с

далеким Римом, чтобы при случае оказывать давление на заносчивый Царьград? Как поступить? Поскорее послать за Всеволодом, чтобы подготовиться к приему послов, а пока сообщить Ирине, как назвал князь жену, о полученном известии. Меньше всего Ярослав думал о том, чтобы обо всем уведомить дочь. Участь всякой девицы – подчиняться родительской воле, жить в послушании.

Одеваясь с помощью евнуха, великий князь перебирал в памяти, сколько волнений он испытал, когда отправил послов к немецкому кесарю Генриху, в город, который называется Гослар, с предложением заключить союз и жениться на Анне, и как он негодовал, когда посланцы привезли обидный отказ и сообщили об этом, потупив глаза. Теперь обида будет отомщена. Утешало также, что и другие браки совершены достойным образом. Любимый сын Всеволод женат на дочери греческого царя Константина Мономаха. Она недавно приехала на Русь, и было сладко принять в своем отеческом сердце такую нежную женскую красоту, озаренную ласковой улыбкой. Святослав уже много лет тому назад женился на Оде, дочери графа Штадского, родственника Бурхарда, епископа трирского и ближайшего советника кесаря Генриха; Изяслав – на Гертруде, дочери маркграфа Саксонского; сестра Доброгнева стала польской королевой, выйдя замуж за Казимира, который в вено за нею отдал восемьсот пленников, захваченных Болеславом в несчастном сражении на Буге; дочь Елизавета была за норвежским королем Гаральдом, другая дочь, Анастасия, – за венгерским королем. Эти браки укрепляли дружбу и мир, а тишина и мирное житие благоприятствуют сельским работам и переписке книг. Когда война, пахарю не до плуга, а книжнику не до тростника для писания.

### III

Ингигерда, при крещении нареченная Ириной, выбрала для опочивальни горницу, соединенную с ложницей Ярослава низенькой дверцей. В тот год, когда старый муж оставил все земные помышления, княгиня перебралась сюда со своими подушками, а после отъезда сестер и Анна спустилась к матери из девичьего терема, где ей стало скучно и страшно в одиночестве, и теперь спала вместе с родительницей на широкой постели под беличьим покрывалом.

Отцом Ингигерды был конунг свевов, а матерью – дочь храброго ободритского князя, поэтому княгиня с детства знала славянский язык. В юности она получила скандинавское воспитание и до конца жизни тосковала по далекому северу, где стоят голубые ели. В те дни она была влюблена в норвежского ярла Олафа, которого потом стали называть святым в награду за услуги, оказанные церкви, и за деятельную борьбу с язычниками. Но красивую, статную девушку предназначили выдать замуж за богатого русского конунга, хромоногого Ярослава. Он дал ей в вено Ладогу, и молодая княгиня назначила в этот тихий город посадником своего родственника, ярла Рагнвальда. При таких обстоятельствах, в слезах, но покорная родительской воле, Ингигерда стала госпожой Гардарика, как скандинавы называли Русь, хотя ей порой казалось, что она не господствует в этой стране, а кто-то другой распоряжается ее жизнью и она лишь несется в потоке событий, не зная, куда и с какой целью.

Это произошло вскоре после того, как ярл Эдмунд прибыл вместе с верным побратимом Рагнаром и многочисленными товарищами в Новгород, где они нашли применение своим воинским талантам. Но варяжские ярлы считали, что если не было войны, то следовало возможно приятнее проводить время за пиршественным столом, с чашей греческого вина в руке, или в объятиях красивой и пламенной женщины, потому что жизнь человека коротка и нужно ловить ее сладостные мгновения. Эту жизнь украшали песни скальдов, воспевавших подвиги героев и морские путешествия. В некоторых занимательных сагах упоминалось о хозяйственных способностях и твердости духа Ингигерды. Правда, уже прилетел с юга

теплый ветер, и все стало хрупко в этом скандинавском мире, напоминавшем ледяные узоры на зимних окошках. Уже не представлялись такими убедительными блаженства Валгаллы, и порой эти бродяги, служившие то русскому конунгу, то византийскому императору и вообще всем, кто мог заплатить по унции золота в месяц на человека, кончали жизнь, если им удавалось избежать сарацинской стрелы или печенежской сабли, благочестивым путешествием в Иерусалим и даже монастырем.

Однажды Олаф, конунг Норвегии, гостил в Киеве у Ярослава и Ингигерды. Вместе с Олафом приехал его сводный брат Гаральд, по прозванию Смелый, в тот год впервые увидевший гордую Елизавету. Анне тогда исполнилось двенадцать лет.

Киевский князь, может быть желая поскорее избавиться от слишком красивого гостя, присутствие которого явно волновало Ингигерду (разве не слышали люди ее женские вздохи?), помог Олафу вернуться на родину, где тогда взяли верх язычники, и норвежский конунг начал борьбу за свои права на престол. Однако в морской битве при Стикльстеде Олафа сразила вражеская стрела. Гаральд, тоже принимавший участие в этом сражении на одном корабле с убитым, еще раз отправился в Киев и привез туда Магнуса, малолетнего сына конунга. Юный ярл нашел радушный прием во дворце, где хозяйкой стала близкая ему по крови Ингигерда, взявшая на себя заботы о воспитании мальчика. Воспользовавшись этим случаем, Гаральд просил руки Елизаветы, но Ярослав не испытывал большого желания отдать красивую дочь замуж за бродягу, у которого не было ни двора ни кола, а надменная девушка в ответ на слова любви только еще выше подняла соболиные брови. Отвергнутый жених некоторое время начальствовал над княжеской сторожевой дружиной, а затем отправился в Константинополь, в надежде, что сердце неприступной русской девы, знавшей цену своей красоте и с большим достоинством носившей наряд препоясанной патрикианки, смягчится, если он прославит свое имя подвигами, достойными героя...

Ингигерда тяжело ворочалась на постели, и ее ставшее уже грузным тело утопало в жаркой лебяжьей перине. В ту ночь княгиня тоже не могла сомкнуть глаз. А рядом крепко спала Анна, уткнувшись лицом в розовую шелковую подушку. В углу горницы, на подостланной рогоже, глубоко дыша во сне, лежала служанка по имени Инга, пятнадцатилетняя девушка из северной страны, рабыня, готовая вскочить каждое мгновение с жесткого ложа и бежать, куда ее пошлют. Ингигерда часто поднимала ее среди ночи за хлебным питьем или за сладостями, от которых женское тело становится ленивым в движениях. Бедняжке приходилось тогда бегать в кладовую по темному переходу, где на полу лежали и сидели отроки, охранявшие ложницу старого князя. Они хватали Ингу за крепкие икры, а девушка отбивалась и напрягала все силы, чтобы не вскрикнуть. За нарушение тишины и недостойное поведение рабыню могли отослать на поварню и заставить до конца дней молоть пшеницу на ручных жерновах.

Когда благополучно закончилась война за Киев и солнце вновь взошло над Русской землей, Ингигерда перебралась из Ладоги на берег Днепра. Однажды Ярослав показывал молодой супруге свой каменный дворец, каких она никогда не видела, проводя молодость в скромных бревенчатых домах скандинавских ярлов. Дворец был построен еще при княгине Ольге, матери Святослава, которую книжники называли денницей, утренней зарей новой жизни. Пиршественную залу украшала живопись, и греческий художник изобразил на стенах не только христианские праздники, но и различные сцены охоты, корабли на море и пальмы. Ингигерде стало обидно, что ни у ее отца, ни у Олафа, – а она все еще не могла забыть свою первую любовь – не было ничего подобного. Из гордости она сказала в ответ на хвастливые речи мужа:

– Та зала, где принимал гостей Олаф, хотя и устроена на деревянных столбах, но украшена приятнее и больше мне по вкусу.

– Такие слова обидны для меня, – нахмурившись, воскликнул Ярослав. – Они доказывают, что ты до сих пор думаешь о норвежском конунге.

В гневе князь даже замахнулся на жену, но, опомнившись, отвел руку. Это возмутило Ингигерду. Она прошептала:

– Между тобой и Олафом такая же разница, как между землей и небом.

Ингигерда долго помнила эту обиду, и Ярослав тоже любил ее без нежности, ревнуя к конунгу. Но время дарит забвение и залечивает сердечные раны, и княгиня рожала мужу одного за другим здоровых детей. Сначала появился на свет Владимир, потом Изяслав, Святослав, Всеволод и Вячеслав, и всем сыновьям были даны русские имена, а при крещении – греческие, о которых княжичи вспоминали только во время причастия, когда подходили с трепетом к митрополиту, державшему в немощных руках тяжкую золотую чашу. В те годы родились и три дочери: Елизавета, Анна и Анастасия. И вот дети подросли и стали взрослыми, и у каждого из них была теперь своя жизнь. Они говорили между собою о непонятных для матери вещах, но эта властная женщина, привыкшая на севере к другому укладу жизни, чем это житие с трогательными разговорами, считала, что назначение мужей – война и охота, а участь женского пола – деторождение. Между тем что она видела! Не расставался с книгой ни днем, ни ночью старый супруг, сыну Владимиру переписывал пророческие книги в Новгороде некий поп, по имени Упырь Лихой, странный человек, неизвестно откуда взявшийся и говоривший как жидовин; был полон книг дом Святослава; читает славянские и греческие книги Всеволод; и даже Анна, вместо того чтобы заниматься рукоделием или хозяйственными делами, как это надлежит делать каждой благонравной деве, проводит часы за книжным чтением, а потом смотрит куда-то вдаль ничего не видящими глазами и не отзывается на свое имя, когда мать зовет ее.

Ингигерда видела, что наступили иные времена. Теперь князья не стремятся на поля сражений, а предпочитают битвам беседы с греческим митрополитом или чтение Псалтири; люди не заботятся о том, чтобы убить возможно большее число врагов, захватить богатую добычу и продать ее с выгодой или разделить между товарищами по оружию, а помышляют о приобретении сел. Она сама слушала утрени и обедни, раздавала милостыню убогим и нищим, ибо так полагается поступать супруге конунга в христианской стране, но сердце ее было чуждо милосердия. Ведь под солнцем ни на один час не прекращалась борьба за власть и богатство, и каждый воин должен был думать о славе.

Ингигерда огорчалась при мысли, что ее сын Всеволод не наделен крепким здоровьем, не любит ездить на ловы, травит лишь жалких зайцев, а Изяслав не имеет склонности к воинским трудам. Только Святослав живет как воин: считает войну привычным делом, устраивает часто пиры. Книги не мешают ему радовать свое сердце охотой. Это он научил Анну гоняться за оленями, глубоко дышать лесным воздухом и проводить время с охотниками у костра, на огне которого жарят тушу убитого зверя. Пламенная, беспокойная душа дочери напоминала Ингигерде безвозвратно ушедшую молодость.

Но по ночам старую княгиню посещали страшные думы. Что ждет ее за гробом, ад или рай? Илларион грозил, что адский пламень неугасим, и она не раз созерцала в церкви картину Страшного суда: на ней праведники веселились, грешников пожирал огромный зеленый сатана, и у него из розовой пасти вырывались желто-красное пламя и дым; другие крошечные человечки мучались в котле с кипящей смолой, некоторых пронзали трезубцами хвостатые черти. С наступлением утра детские страхи отлетали прочь...

Княгиня вспомнила, как супруг сказал ей однажды:

– Неужели ты не в состоянии постигнуть это?

– Не понимаю, о чем ты говоришь.

– Бог поручил мне Русскую землю, чтобы я и мои сыновья хранили все, что на ней. Ее процветание и нам с тобой на пользу.

Княгиня знала, что подобные мысли внушает мужу пресвитер Илларион, вышедший из черного народа.

– И смердов тебе поручил Бог? – усмехнулась она.

– И смердов, и коней их, и крестьянские нивы, и гумна.

Ингигерда мысленно пожимала плечами. Стоило ли сокрушаться и не спать ночи напролет по поводу смердов, которые не желают трудиться на своего князя и знатных дружинников, проливающих за них кровь?

Ее воспитывали по-иному. В ранней юности она принимала участие в деятельном труде, хозяйничая в оставленном на ее попечение доме, возясь с коровами и овцами. Судьба наделила ее смелым сердцем и сильными руками. Приходилось ей бывать и в опасных положениях. Порой она усердно помогала мужу, была его советчицей в трудную минуту, когда речь шла о житейских вещах.

Однажды варяги покинули Ярослава и отказались служить ему, недовольные тем, что конунг стал скуп на жалованье. Ярослав считал, что наемники уже не нужны ему, и равнодушно отнесся к их отъезду. Теперь он мог рассчитывать на русскую дружину и на ополчение, в рядах которого храбро сражались смерды, защищая от врагов государство и свое достояние. Но одна из прислужниц Ингигерды, красивая и болтливая девушка из Упландии, была наложницей Эдмунда, и от нее княгиня узнала, что варяги собираются плыть в Полоцк, в тот самый город, который при некоторых обстоятельствах мог стать киевскому князю поперек дороги.

– Уверен ты, что тебе не придется и впредь столкнуться с Эдмундом в какой-нибудь битве? – спросила Ингигерда своего мужа.

Действительно, варяги уже снаряжали ладьи, названные именами любимых женщин или благородных птиц и зверей, готовясь к отплытию и намереваясь добраться по рекам и волокам до Полоцка, чтобы поступить на службу к Брячиславу, неоднократно проявлявшему непокорство воле киевского конунга.

Ярослав размышлял, получив неприятное известие. Эдмунд обманул его, уверяя, что вкладывает меч в ножны и возвращается в свой оставленный дом. Оказывается, он направлялся в Полоцк! Этот город легко мог стать соперником Киева; отсюда рукой подать до Варяжского моря и удобно везти товары в Поморие и Скандинавию, минуя Новгород.

Он спросил жену:

– Может быть, еще не поздно вернуть Эдмунда?

– Попробуем перехитрить его.

– Но как это сделать?

– Позволь мне взяться за это.

– Хорошо, ведь они твои сородичи.

– Во всяком случае, они почитают меня и не опасаются, что им может грозить что-либо с моей стороны.

– Это ты хорошо надумала, – сказал Ярослав.

Ингигерда ошибалась, варяги считали ее способной на всякие козни, но она была милее им, чем этот вечно нахмуренный русский конунг, который рассчитывает на сто лет вперед, когда жизнь так коротка.

Между тем Ингигерда не мешкая спустилась со своим двоюродным братом Рагнвальдом, сыном Ульфа, с которым ее связывала прочная дружба, к варяжским ладьям. Она заметила, что Эдмунд сидел у реки на большом камне, вдали от своих, погруженный в глубокую задумчивость, может быть размышляя, не прогадал ли он, оставив конунга. Ингигерда поспешила к нему. По всему было видно, что ладьи с носами в виде птичьих клювов или звериных пастей готовы отчалить от берега, а воины уже заканчивали последние приготовления к отплытию. Однако под ногами в той части берега расплзалась вязкая глина и мешала Ингигерде и Рагнвальду быстрее идти.

Только что начало светать. Эдмунд все так же продолжал сидеть на камне, и его дорожный плащ с тесемками вместо дорогой запонки напоминал о том, что он покидает Киев.

– Здравствуй, ярл, – сказала Ингигерда.

– Здравствуй, госпожа, – ответил Эдмунд, удивленный, что жена конунга спустилась в такой час к реке.

Ингигерда и Рагнвальд уселись рядом с варягом и повели лукавую беседу, притворно расспрашивая ярла, не передумал ли он и не хочет ли опять поступить на службу к Ярославу. Скандинавские воины суетились далеко у ладей, поблизости никого не было, кто мог бы рассказать, что здесь произошло.

Но скальды придумали потом, что Ингигерда пыталась с помощью Рингвальда пленить Эдмунда, запутав его в складках плаща. На самом деле все представляется проще. Ярл увидел, что с высокого берега уже спускались русские воины, увязая в глине, чего не предвидела супруга конунга, и побежал к своим, оставив, как новый Иосиф, плащ в руках Ингигерды, и, воспользовавшись тем, что княжеские отроки были еще далеко, Эдмунд и его товарищи оттолкнули ладьи и уплыли на середину реки.

Рагнар спросил Эдмунда:

– Хочешь, мы вернемся и попытаемся захватить Ингигерду?

Но ярл понимал, что за такой поступок Ярослав найдет его на дне моря, и покачал головой:

– Не хочу нарушить дружбу с госпожой.

– А как поступила она с тобой?

– Женщины коварны от рождения. Коварство – их сила.

– Как знаешь, – сказал Рагнар. – Но откуда им стало известно, что мы отплываем в Полоцк?

– От Хелги.

– Разве она не возлюбленная твоя?

– Я обещал подарить ей золотое ожерелье.

– И не подарил?

– Проиграл его в кости Феодору, греческому патрикию, что привез Ярославу дары из Константинополя.

– Погубят тебя когда-нибудь кости, – рассмеялся Рагнар. – Или женщины...

Варяжские корабли уплыли в северном направлении. Ингигерда видела, как спутники Эдмунда поставили мачты и подняли паруса – четырехугольные, с огромными изображениями звезд, или трех поджарых львов, или птиц с коронами на голове. Потом издали донеслась песня:

Я поднял парус на ладье,  
Прощай, красавица, прощай,  
Навеки расстаемся мы...

Вот в каких предприятиях осмеливалась принимать участие Ингигерда, когда у нее еще было глубокое дыхание и она могла не хуже любого воина держать в руке боевую секиру. Но этой знатной женщине не доставало той широты ума, что позволяет охватить как бы орлиным взором все происходящее в мире: посевы и жатвы, круговорот золота в торговле и заботы о грядущих поколениях. Ее удивляло, что муж не ищет славы. Он говорил:

– Из пустого славословия не сошью себе даже шапку. А моя задача – наполнить богатством духовные житницы. За это меня будут прославлять в грядущие века певцы и книжники...

Сон не приходил к Ингигерде. Заложив руки за голову, она лежала, перебирая в памяти прошедшее. Рядом спокойно дышала Анна и не слышала даже, как мать позвала рабыню:

– Инга! Проснись!

Служанка вскочила со вздохом, в котором выразился весь ее детский страх перед

строгой госпожой и усталость молодого тела, требовавшего отдыха после хлопотливого дня, полного трудов и суеты.

– Я здесь! Я здесь! – лепетала бедняжка спросонья, поправляя по привычке одежду, протирая кулачками глаза, чтобы они открылись.

На девушке белела рубашка из грубого полотна, поверх Инга носила синий сарафан, в котором и спала, никогда не раздеваясь, чтобы каждую минуту быть готовой выполнить любое приказание госпожи. Ничьи ноги не бегали так проворно по лестницам, она летала, как пушинка, из горницы в горницу, а госпожа считала, что Инга ленивица.

По племени своему рабыня была из какого-то северного края, на границе с Югрой, где люди объясняются знаками и за один железный нож дают кучу великолепных мехов. Ее еще девочкой привезли вместе с полонянками в Ладогу, когда новгородские воины усмиряли в лесной глуши возмущение, поднятое волхвами против христианской веры. Эта черноволосая и белозубая девочка случайно попала на глаза Ингигерде, и она взяла ее к себе в услужение. С той поры маленькая Инга стала жить в киевском дворце, удивляя всех своим трудолюбием и проворством. Только старая княгиня была недовольна ею.

– Побеги в кладовую, – сказала Ингигерда, – и принеси горсть фиников. Ты знаешь, что это такое. Но не вздумай полакомиться чем-нибудь, или я накажу тебя.

Девушка бросилась вон из горницы. Проскользнув мимо сторожевых отроков, она побежала в дальний конец перехода, и вскоре ее босые ноги затопали по лестнице. Инга легко находила дорогу в дворцовых закоулках даже во мраке. В пахучей кладовой она знала каждую полку, каждый бочонок. Там хранились сладковатые, с блестящими семечками рожки, сушеные и нанизанные на мочалу смоквы, мед в деревянных кадушках, обыкновенные лесные орехи и те, что растут в греческой земле, и прочие сладости. Инга сняла с полки глиняную корчагу с финиками, которую нашла на ощупь, взяла полную горсть редкого лакомства, положила липкие плоды в деревянную миску и поспешила назад, едва удерживаясь от искушения съесть хотя бы один финик и испытать, в чем же заключается эта сладость, за которую платят так дорого. Она знала, что другая прислужница, по имени Предслава, часто брала всякое добро и ела, и, когда однажды Инга увидела это и затрепетала от страха, дерзкая прошептала:

– Им не съесть всего до самой смерти, а наша жизнь горька, как полынь.

Уже на обратном пути, пробегая переходом, Инга увидела при тусклом свете лампы, висевшей под потолком, что у двери княжеской ложницы стоит кучка людей. Кроме сторожевых отроков здесь еще появились дворский, толстый, как боров, воевода и ярл Филипп. На красавца в Киеве засматривались все женщины, от боярынь до простых рабынь.

Прижимаясь к стене, Инга старалась незаметно пройти мимо и слышала, как скопец, о котором рассказывали ужасно смешное и неправдоподобное, объяснял ярлу, очевидно поднявшемуся сюда позднее других:

– Гонец прискакал средь ночи. Послы прибыли на заставу.

– От кесаря? – спросил ярл, позевывая.

– От короля Франкской земли.

– От короля Франкской земли? – с тревогой переспросил Филипп.

– Это очень далеко, – неопределенно махнул рукой скопец. – За морями и за горами.

– Зачем приехали?

– Разве не знаешь? За Ярославной.

– Кто сказал?

– Гонец.

Инга успела рассмотреть, что на освещенном лампадой лице молодого ярла отразилось при этих словах изумление, потом оно стало печальным, как будто этот человек переживал горе. Но скопец уже стучал согнутым перстом в дверь княжеской опочивальни, и рабыня со всех ног кинулась в горницу, где ее с нетерпением ждала госпожа.

Рабыня протянула княгине финики, и та взяла один из плодов, которые привозили в Киев на горбатых животных, называемых верльблудами, из далекой аравийской земли. Укладываясь снова на свою жалкую подстилку, Инга сказала тихим голосом, чтобы не разбудить спящую Анну:

– Говорят, послы приехали.

– Какие послы? – приподнялась княгиня, забывая даже о финиках. В голове у нее мелькнула мысль о сватовстве франкского короля. Об этом зимою принесли весть приезжие купцы.

– Не знаю, – замотала головой Инга. – Дворский сказал. Когда проходила мимо отроков, притаилась и слышала. Там был воевода и ярл Филипп стоял. Дворский ему говорил о послых.

– Что говорил?

– Говорил, что послы приехали за Ярославной.

Княгиня не могла больше выдержать и стала тормошить дочь за плечо. По сравнению с ее опухшими пальцами это обнаженное плечо олицетворяло девическую нежность. Вокруг жили неискушенные люди, а если бы глаза у них были более внимательными, такими, как у художника, который изобразил на обыкновенной доске трогательную Богоматерь и ее страдание, они сравнили бы красоту Анны со статуей Афродиты, стоявшей на торжище. Иногда живописец втайне любовался этим мраморным видением. Но ему не суждено было увидеть Ярославу во всей ее прекрасной наготе.

Княжна открыла глаза. В опочивальне стоял мрак, и девушка не понимала, почему прервали ее сладкий сон. Она спросила:

– Почему ты разбудила меня? Печенегии напали на нас?

– Не печенегии напали. Важное случилось в твоей жизни.

Голова Анны снова клонилась на подушку. Но мать настаивала:

– Проснись же скорей!

– Скажи, что случилось?

– Послы приехали из далекого королевства.

– Из какого королевства?

Спросенок Ярослава плохо соображала, но, когда мать объяснила ей, что это сваты прибыли из франкского королевства, княжна проснулась окончательно, точно она не спала, и схватилась со вздохом за то место под маленькой грудью, где билось у нее сердце.

– Из франкского королевства?

– Инга слышала, как дворский Филиппу говорил.

– Филиппу?

При упоминании этого имени Ярослава села на постели и сжала руки.

– Ярлу Филиппу? – прошептала она.

– Что с тобой? – изумилась княгиня. – Разве ты не знаешь ярла Филиппа, начальника стражи?

Анна ничего ей не ответила.

– Что же ты молчишь?

– Что я могу сказать тебе, мать?

– Радуйся, ты будешь королевой!

Ингигерда, в крайнем нетерпении, уже поспешила босыми ногами к двери, которая вела в опочивальню мужа, чтобы из его уст услышать обо всем, что сообщил воевода.

Когда Анна поднялась с подругами на забрало Золотых ворот, чтобы наблюдать оттуда, как франкские послы будут въезжать в город, первое, что она увидела, взглянув вниз, был ярл Филипп. Красная шапка, голубой плащ...

Анна пыталась привлечь на себя его взгляд, но молодой воин не отрываясь смотрел на дорогу, над которой поднималось легкое облако пыли, и ей стало невыразимо грустно, что

недогадливый не поднимет свои прекрасные глаза к забралу. Ярославне казалось, что никакими словами нельзя передать ее боль и печаль, и слезы стали застилать зрение.

Когда посольство въехало в ворота, Филипп повернул коня и поехал впереди, как бы показывая послам путь. Девушки перебежали на другую сторону башни, и перед ними, среди крыш, деревянных церквей и деревьев, заблестали вдали золотые купола Софии. Ярл все так же горделиво ехал, ни разу не оглянувшись, и белый конь, покачивая крупом, мерно стегал себя жестким длинным хвостом. Слепца у ворот уже не было. Должно быть, отрок увел его на торжище, где они часто пели свои песни.

Анна родилась в Новгороде, в один из тех годов, когда Ярослав, опасаясь брата Мстислава, хоронился за крепкими бревенчатыми стенами гордого своим богатством города. Но когда был подписан братский мир, стало ясно, что Мстислав не добивается киевского княжения, и Ярослав перебрался со всей семьей и дружиной на берег Днепра. Анне было мало лет, и она едва помнила новгородские бревенчатые мостовые и выдолбленные из дерева трубы, по которым обильно лилась вода на княжеском дворе. Смутно запомнился шум на торговой площади, оживление на волховской пристани и теплый утренний звон белых и золотоглавых церквей.

Детские ее годы прошли в Вышгороде, среди прекрасных дубовых рощ, или в Берестове, любимом селении Ярослава, где он построил церковь во имя Апостолов. Там она училась вместе с братьями, Святославом и Всеволодом, у священника Иллариона и прочла первую книгу, которая называется Псалтирь. С такими книгами она не расставалась потом ни на один день, потому что в них были волнующие душу слова.

На всю жизнь запали ей страшные стихи детской азбуки:

Аз словом сим молюся Богу,  
Боже всея тверди и зиждителю  
Видимым и невидимым,  
Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Илларион часто говорил о грехах, о милосердии, об адских муках. Но Анне совсем не хотелось думать о смерти и о гробовых червях. Жить было сладко. Она росла в холе и довольстве, дышала чистым воздухом, пила прозрачную воду, питалась здоровой пищей, в которой было много целительного русского меда и пшеничного хлеба, и ее вкус услаждали то грибы, то серебристая рыба, то упоительно пахнущая и собранная на пригретых солнцем лужайках земляника.

Порой ласковая рука отца ложилась на ее детскую голову, иногда порицали ее строгим взглядом холодные глаза матери. Запомнились долгие богослужения в св. Софии. Анне становилось жутко, когда священники закрывали ей грудь малиновым причастным платом и черный, как ночь, греческий епископ осторожно брал на ложечку немного вина и несколько крошек хлеба из тяжелой золотой чаши и давал ей проглотить, шепча молитву на непонятном языке. Илларион объяснял ей, что это не вино и не хлеб, а кровь и плоть Христа, и все было так странно и непонятно, что она радовалась, когда покидала храм и вновь видела над головой сияющее солнце.

Юность Анны тоже была связана с Вышгородом. Брат Всеволод говорил ей, что об этом городе даже упоминал в каком-то сочинении греческий царь, а Илларион называл Вышгород святым, честным и блаженным. Но этот книжник плохо разбирался в земных делах, и его мало интересовала вещественная жизнь, а у Ярослава в Вышгороде находилось большое княжеское хозяйство, стояли многочисленные житницы и медуши, погреба и голубицы, и под бревенчатыми городскими стенами широко раскинулись огороды с яблонями и пахучие капустники, полные белых бабочек.

Когда Анна подросла, князья стали брать ее с собой на охоту, и она научилась ездить верхом, но во время ловов князю привлекала не столько богатая добыча и охотничья удача, сколько переживания, что вызывают в сердце захватывающее преследование зверя или погоня за оленем, когда ветер шумит в ушах, дубовые ветки хлещут по лицу и хочется всей грудью вдыхать осенний воздух, полный грибных запахов и тления вянущей листвы. Весной дубраву наполняли другие ароматы, и среди них Ярославна ничего не знала более прекрасного и упоительного, чем благоухание ландышей, которое напоминает девушкам о счастье.

Анна стала ловкой наездницей, полюбила коней и охотничьих соколов. У нее были длинные ноги и маленькие груди, и однажды приезжий грек, царедворец, надушенный, как женщина, патрикий, глядя на возвращавшуюся с лова Анну, сказал, красиво разводя руками:

– Артемида!

Она услышала это слово и потом спросила у Всеволода, знавшего все написанное в книгах, что оно означает. Брат объяснил, что так называли древнюю греческую богиню охот.

Но как эти благородные забавы, восхищение иноземцев и ожидание необыкновенного счастья не были похожи на унылые школьные стихи:

Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Выезжая в поле, Анна забывала обо всем, даже о книгах. Она запрокидывала голову, с увлечением следя за полетом сокола, настигавшего в далекой синеве ширококрылую лебедицу, и рыжие волосы Ярославны принимали на солнце блеск полноценного красного золота. Сердце начинало учащенно биться. В нем просыпалась жестокость предков, воинов и охотников, не знавших пощады ни к врагу на поле сражения, ни к зверю во время лова. Но вокруг сладостно пахло дубовыми листьями, грудь наполняло глубокое дыхание, и в душе рождалось смешанное чувство, в котором выражались радость жизни и сострадание к прекрасной растерзанной птице.

Осенью в оврагах поспевали красные ягоды рябин. Когда охотники возвращались домой, с пажитей летели липкие паутинки, радужные в лучах заходящего солнца, и слышалось, как на гумнах соседнего селения смерды мерно ударяли цепями, молотя ячмень. Было сладко и в то же время грустно жить на земле. Но таилась в душе Анны и гордыня. Разве не принадлежала она к роду, который вел свое начало от героев? Разве не из ее семьи явились мученики, стоявшие у престола Всевышнего? А Илларион говорил при всяком удобном случае о ложном благополучии сего мира и о тщете человеческого существования...

Анне немало пришлось пережить под кровлей родительского дома, но ее еще не было на земле, когда Русь потрясали страшные события междоусобной войны и произошло вероломное убийство Бориса и Глеба. Княжичей объявили Христовыми мучениками, во имя их стали строить церкви, и даже в константинопольских церквях убиенных изображали на иконах с поднятыми горе! глазами, хотя патриарх с неудовольствием утвердил новоявленных святых. Однако Ярославу хотелось, чтобы в сонме небесных угодников находилось хотя бы несколько мучеников, говоривших по-русски. Впрочем, князь Святослав Владимирович, убитый при таких же обстоятельствах, не удостоился подобной чести, может быть потому, что его христианство находилось под великим сомнением.

Анна знала об этих событиях только по рассказам старших. Семья собиралась в зимние вечера у очага, и, глядя на огонь, люди вспоминали прошлое. Но Анне было уже двенадцать лет, когда к Киеву подступили печенеги, и ей на всю жизнь запомнилось, как горожане переругивались на стенах с врагами и грозили им секирами. Под валами кружили тысячи кочевников. Они стреляли в русских, и стрелы летели, как туча, затемняя солнце, но по большей части втыкались в частоколы без всякого вреда и потом наполняли колчаны

княжеских отроков.

Далеко на другом берегу Днепра пылили степные дороги и ржали мохнатые печенежские кобылицы. То двигались на Русь новые орды, ханы спешили в скрипучих повозках за добычей. С башен было видно, что там, где небо сходилась с землею, поднимались черные столбы дыма. Это горели селения хлебопашцев. Они стекались со своих пепелищ под защиту городских укреплений и в справедливом гневe рассказывали о постигшем их несчастье. Подобные слова накаляли воздух. На валу стоял гул взволнованных человеческих голосов, и в этом сплошном шуме от криков, ржания коней, скрипа колес и верблюжьего рева люди с трудом слышали друг друга.

Косматый монах, стоявший на стене, кричал, указывая перстом на печенегов:  
– Злодеи! Исчадие ада! Будете вы ввержены, как плевелы, в огненную печь!

Отец казался Анне величественным в своей железной кольчуге, в сияющем шлеме. Он грузно сидел в седле под голубым шелковым стягом, и конь не слушался поводыев. День был бурный, на знаменном полотнище трепетал архангел с желто-красным огненным мечом в руке. Под крышами бревенчатых башен завывал ветер. Анна прижималась к матери, вышедшей на крыльцо, чтобы проводить князя на битву, но душа девочки сгорала от любопытства к тому, что происходит в городе и за его стенами, и совсем не испытывала страха.

Дождавшись часа, когда распаленные жадностью печенеги с воем бросились на городские валы, киевляне отворили дубовые ворота и вышли с мечами и секирами на широкое поле. Началась сеча, молчаливая и беспощадная. Из окна высокого терема виднелась часть равнины, на которой происходило сражение, и Анна могла рассмотреть, как над русским полком покачивается голубое знамя. Там сражался ее отец. Даже на княжеский двор доносился гул далекой битвы.

На валах, укрепленных частоколом, стояли женщины в серебряных мнистах и смотрели на сечу, в которой рубились их мужья и сыны. А когда солнце стало склоняться к западу, непривычные к долгим сражениям в пешем порядке печенеги не выдержали и побежали, и русские воины далеко гнали их в степь. Многих они изрубили секирами, других потопили в реке Сетомле или взяли в плен. Уже в полночной темноте Ярослав вернулся в город, в котором в ту ночь никто не спал. Воины несли убитых товарищей, и женщины встречали их с плачем, а некоторые бежали в поле и там искали трупы близких.

Анна не раз видела сборы братьев в полюдьe, когда они надевали теплые бобровые шубы и уезжали за данью, кто – в Дерева, кто – в Муром, кто – к вятичам. А однажды русское войско уплыло на ладьях в греческие пределы, в синее море, на страшные медные трубы, что выхаркивают огонь, горящий, как адский пламень, даже на воде.

В те полные событий годы навеки уходила простая жизнь, когда князь и рядовой воин жили как братья, спали в походе под одной овчиной, ели мясо от одного вепря и одинаково думали о том, что происходит в мире; в любой час дня и ночи каждый мог войти в княжеские хоромы и просить суда. Теперь у ворот дворца стояли вооруженные и легкие на издевку отроки, и князя стало так же трудно увидеть, как солнце в дождливую погоду за облаками. Его окружали теперь разодетые пышно бояре, епископы, дворские, мечники и вирники. В Киеве появилось много людей, каких раньше никто не видел на его улицах, – монахи и свечегасы, писцы и учителя церковного пения. На глазах у Анны все чаще появлялись в родительском доме не виданные раньше вещи – мыло, издающее приятный запах, золотая и серебряная посуда, книги, чернила, свечи, пергамент, лекарственные снадобья, сладкое греческое вино. Мир, лежащий за пределами Русской земли, уже не казался таким неведомым, как прежде, и многие из тех людей, которых ежедневно видела Анна, успели побывать в Константинополе и даже в Иерусалиме.

Событием в жизни Анны было каждое посещение св. Софии. Княжеская семья слушала обедню в кафизме. Так называлось устроенное наверху по образцу константинопольской

Софии помещение, забранное решеткой и закрытое пурпуровой завесой. Ярославна смотрела отсюда украдкой на стоявших в церкви людей. Внизу молился простой народ. Но впереди обычно занимали места богатые люди с женами в золотых ожерельях. Они приходили в церковь, чтобы показывать людям свои наряды, приобретенные у греческих купцов.

Анна часто наблюдала, как внук приводил к вечерне седоусого воеводу Вышату, ослепленного царем во время неудачного похода за море. Рядом с ним некогда стоял певец Боян. Сюда приходили румяные новгородские торговцы и приезжие греки в красных плащах. Потом для знатных устроили по их просьбе особую галерею, чтобы они могли молиться Богу, не смешиваясь с чернью.

Однажды, отведа рукой шелковую завесу и бросив по обыкновению любопытный взгляд туда, где стояли молящиеся, Анна увидела незнакомого воина. Его волосы цвета спелой пшеницы, по скандинавскому обычаю, падали ему на плечи длинными локонами; так носили их молодые ярлы или северные скальды. Можно было догадаться, что это знатный человек, стоявший даже в храме с гордо поднятой головой. На нем был красивый голубой плащ, из-под которого виднелись желтые сапоги. Анна не могла видеть лица воина, обращенного туда, где находился алтарь, но как бы предчувствовала его красоту, угадывала в девических мыслях, что под широким плащом незнакомец строен, как те пальмы, с которыми сравнивают воинов в книгах. Это было все, что она рассмотрела из кафизмы, но ее сердце почему-то забило тревожно, как голубка, неожиданно попавшая в сети птицелова. А между тем в ту весну ноги Анны красиво округлились, наметились под полотном рубашки маленькие груди, и она томилась в лунные ночи, сама не зная почему...

Мать и Гертруда, жена брата Изяслава, и Мария, жена Всеволода, вместе с Елизаветой и Анастасией сидели на обитой золотой парчою скамье, устроенной вдоль стены, так как на клиросе читались бесконечные часы и по церковным правилам в это время разрешалось отдыхать от стояния. Поэтому никто из близких не видел, на кого смотрела Анна с таким вниманием. Только немного спустя, может быть для того, чтобы лучше слышать чтение, к завесе бесшумно, как кошка, подошел в мягких сапогах брат Всеволод. По его лицу было видно, что он погружен в благочестивые мысли. Молодой князь стоял с закрытыми глазами и слушал унылые слова о смерти и тщете человеческого существования. Потом просветлел лицом и, оторвавшись от своих горестных размышлений, вынул из-за пояса синий шелковый платок и стал вытирать влажный лоб. Анна знала этот платок: на нем привлекало взор золотое солнце, окруженное красными пылающими языками. Она шепотом спросила у брата:

– Кто этот воин, что стоит там, около слепого Вышаты?

Всеволод, с неохотой спускаясь из благолепия молитвенных помыслов, переспросил:

– В голубом плаще?

– В голубом плаще.

– Ярл Филипп.

– Откуда он прибыл к нам?

– Из-за моря. А ныне отправляется с Гаральдом в Царьград.

Чтение долгих часов окончилось. Все поднялись со скамьи. По другую сторону от Анны молился брат Изяслав, высокий человек с широко расставленными большими глазами, но с угнетенным выражением лица, точно он ежечасно ждал и опасался ударов судьбы, и рядом с ним другой брат, Святослав. Это был щеголь, любитель хорошо переписанных книг и всяких драгоценностей, статный воин. На нем и в тот день был обычный его наряд: синий плащ на красной подкладке, малинового цвета рубаха, черные штаны. Блюдя древний обычай, князь носил не бороду, а длинные усы. Святослав почитал просвещенных людей и беседовал с греками на философские темы, но любил также веселые пиры и охоту. Он отличался громоподобным голосом, рычал, как лев, когда какой-нибудь игумен осмеливался порицать его греховное времяпрепровождение, рвал в гневе обличительные эпистолии и топтал их зелеными сапогами, украшенными жемчугом.

Старшего брата, Владимира, в Киеве не было, он сидел посадником в Новгороде. Вячеслав в те дни охранял с дружиной пороги. Отец тоже находился в отъезде – строил города на реке Роси.

Анне хотелось еще многое узнать о красивом скандинаве, но разговор пришлось прекратить, потому что наступило время совершения таинства. Алтарь отделялся от молящихся только мраморной оградой, и Ярославна могла видеть, как священники, взявшись за углы малинового плата, который назывался «воздухом», поднимали и опускали его над золотой чашей. Это походило на волшебство, и девушке становилось жутко. Вся жизнь теперь наполнялась фимиамом, церковным пением, молитвами.

Анна снова взглянула вниз, но молодой ярл исчез, – очевидно, ему наскучило стоять в церкви. Ярославне стало грустно... А снизу, с амвона, как из тумана, доносился глуховатый, но торжественный голос Иллариона. Пресвитер не упускал ни единого случая, чтобы наставлять людей в христианских добродетелях, хотя это было весьма нелегким предприятием: богатые погрязли в грехах, бедные не хотели забыть языческих богов.

Но Анне показалось, что слова Иллариона обращены к ней, и она прислушалась. Священник взывал:

– Не хвались своим происхождением, благородный! Не говори: отец у меня боярин, братья мои – Христовы мученики, а мать знатного рода. Сказано: овцы пойдут одесную, а козлища ошуюю, ибо коза не приносит доброго плода, овца же творит волну и все потребное для человека...

Анна заметила, что при этих словах Святослав дернул в гневе ус и сказал Изяславу:

– Уже довольно мне этих упреков. Я не монах, чтобы жить в смирении. Как ты полагаешь?

На лице Изяслава ничего не отразилось. Тихий Всеволод сокрушенно вздохнул. Оглянувшись на мгновение, Анна увидела, что мать с каменным лицом смотрит прямо перед собой, а Мария, жена Всеволода, улыбается неизменно счастливой улыбкой и шепотом переговаривается о чем-то с сияющей красотой Елизаветой.

Как опытный оратор Илларион возвысил голос в том месте, где это требовалось по правилам риторики:

– И дуб высок величием своим и прекрасен лиственным, но без полезного плода для человека, ибо желуди потребны лишь для свиней, а малый злак, едва видимый на земле, родит нам зерно. Это – сильные мира сего, если они не творят добрых дел, и трудящиеся в поте лица...

Святослав опять с раздражением посмотрел на Изяслава, и под тонкой кожей у него заходили на щеках желваки. Но брат по-прежнему уныло смотрел перед собою, точно не понимал немого вопроса.

Илларион вздымал руки в патетическом жесте, будто перед ним стояли не простые воины и простодушные горожане, а воспитанники риторских школ. Этот русский книжник бывал в Константинополе, посещал училище при церкви Сорока Мучеников, встречался со знаменитым греческим писателем Михаилом Пселлом. Он громил богатых и возгордившихся:

– Были двое возниц, мытарь и фарисей. Последний запряг двух скакунов – добродетель и гордость, но гордыня помешала добродетели, колесница его разбилась, и сам он погиб. Мытарь запряг других коней – свои грешные дела и смирение – и не отчаяние получил, а спасение...

Илларион вспоминал, может быть, в эти минуты константинопольский Ипподром, где однажды на его глазах разбился насмерть возница. Святослав цедил сквозь зубы в княжеском высокомерии:

– Смирение! Смирение!

Анне эти слова священника тоже казались досадными. Она нахмурила соболиные

брови, точно не понимая, чего от нее требуют. Кто может отнять у нее право хвалиться своим происхождением, родством с греческими царями? Впрочем, все было смутно в тот день в ее душе. Илларион жаловался:

– О богатый, ты зажег свечу на свечиле! Но придет обиженная тобой вдовица, вздохнет и вздохом своим погасит свечу...

Бедная вдовица!

На сердце у Анны пели жаворонки, она испытывала благожелательство ко всему миру. Но странно... Ей казалось, что это чувство родили не выспренние слова Иллариона, а красота воина, что стоял в церкви. Пусть все люди живут в радости!

Молодого ярла в голубом плаще уже не было внизу, а где-то в таинственных глубинах женского сердца рождалась любовь, древняя, как пробуждение природы, как вешняя гроза, когда Перун мечет молнии и потрясает небеса громом, орошает землю теплым дождем и она вздыхает о жатве...

#### IV

Гаральд и Филипп и многие другие варяжские воины уплыли в Царьград. Вскоре после этого Анну сватали за немецкого кесаря, но в жизни ее не произошло никаких перемен, и она часто вспоминала молодого ярла в голубом плаще. Однако годы текут, как вода, и в один прекрасный день Гаральд возвратился с богатой добычей и победой в Киев. Вместе с ним вернулся Филипп. В честь их приезда в княжеской гряднице был устроен пир.

Гаральд, сын Сигурда Сира, брат Олафа, по прозвищу Смелый, поэт и воин, сражался с пятнадцати лет, и его жизнь была полна приключений. Но в ней не случилось ничего примечательного, пока он не встретил Елизавету. С тех пор не было на всем пространстве от варяжских фиордов до счастливой Сицилии ни одного знатного воина, ни одного скальда, который не знал бы, что молодой герой влюблен в дочь русского конунга, отвергшую его любовь. В крайнем огорчении Гаральд отправился в Константинополь и поступил на императорскую службу, чтобы снискать себе воинскую славу или погибнуть на поле сражения... Так пели о нем скальды, ибо иначе песни их не были бы достойны внимания слушателей. Им полагалось воспевать только высокие чувства – пламенную любовь и готовность ее заслужить, мужество и верность до гроба.

Гаральд водил корабли в Эгейское море, сражался с сарацинами на берегах Евфрата и под Мирами Ликийскими, принимал участие в походе протоспафария Текнея в Нильскую долину, а также в военных действиях в солнечной Сицилии, под начальством прославленного полководца Георгия Маниака. За эту войну Гаральд получил от императора почетное звание спафарокандидата. В Сицилии он встретился с патриkiem Кевкаменом Катакалоном, который впоследствии был послан на Русь. Когда императору удалось установить длительное перемирие с египетским халифом, владевшим тогда Палестиной, по совету Катакалона Гаральда послали с многочисленными рабочими в Иерусалим для восстановления храма Христа. Но по возвращении в Константинополь он был обвинен в сокрытии военной добычи и заключен в темницу.

В Киеве утайка от греческого царя сокровищ, захваченных у врагов, не могла рассматриваться как особенно тяжкое преступление, и когда Гаральду во время трагических событий, связанных с ослеплением Михаила Калафата, удалось покинуть Константинополь и вернуться в город, где жила гордая Елизавета, его встретили там с почетом и пиршество в его честь устроили на скандинавский лад. Пол обильно посыпали соломой, но залу осветили уже не древними смолистыми факелами, наполнявшими некогда помещение дымом и копотью, а восковыми свечами. Они горели в трех паникадилах, как три солнца висевших под потолком. Чтобы капли расплавленного воска не падали на сидящих за столами и не обжигали нежных красавиц, свечи были вставлены в серебряные чашечки, сделанные в виде раскрывшихся

райских цветов. Это было чудо сереброкузнечной работы, и ее выполнил знаменитый в те дни киевский художник, имя которого затерялось, к сожалению, во мраке времен.

На пир позвали только самых знатных людей и самых богатых чужестранцев. По примеру царского константинопольского дворца, пиршественные столы, как некие церковные престолы, были покрыты драгоценными парчовыми скатертями и уставлены серебряной посудой.

Анне исполнилось тогда восемнадцать лет, и в тот день она впервые приняла участие в пире, рядом с сестрой Елизаветой. А еще не отошел в область предания древний северный обычай, когда женщины сидели за столом попарно с мужчинами и воин пил вино из одной чаши с соседкой, если он был мил ее сердцу, хотя греческие епископы и боролись всячески с такой распущенностью, требуя, чтобы на трапезах читались жития святых, а не распевались грешные песни о прелюбодеяниях и пролитии человеческой крови.

Ярослав избегал ссориться с митрополитом и побаивался суровых обличений Иллариона, но на этот раз князя удалось убедить устроить празднество так, как это делалось в дни Святослава и великого Владимира, когда на Руси еще не было ни церквей, ни фимиамного дыма.

Анну облачили на пиршество в греческий наряд, привезенный из Константинополя, и сама Мария учила ее, как надо приподнимать подол длинной одежды, чтобы она не мешала ногам при ходьбе или на ступеньках высоких лестниц. Щеки Анны впервые нарумянили, а косы уложили вокруг головы и украсили ниткой жемчуга. Когда девушка в смущении появилась в шумной гряднице, какой-то седоусый дружинник воскликнул:

– Ярославна, ты как утренняя заря!

За столами надменно сидели знатные люди, которых Анна часто видела в церкви: Никифор, Перенег, Чудин, Братислав, тучный воевода Микула из Новгорода. Гаральда посадили рядом с Елизаветой. Всеволод, как всегда, не разлучался с супругой. Мария, по своему обыкновению улыбаясь и щуря глаза, переводила любопытные взоры с одного гостя на другого, а он пожимал ей украдкой под столом маленькую горячую руку. Возле Ярослава тяжело опустилась на скамью его величественная супруга, которую Илларион в проповедях называл благоверной. Впрочем, так неизменно называли всех греческих цариц, даже прелюбодеек и отравительниц. По лицу княгини люди могли судить, что ее уже не занимают подобные собрания.

Но все были полны веселия, шумно усаживались за столы. Только Ярослав хмурился, поглощенный важными мыслями. Для него этот праздник и предстоящий брак дочери являлись государственными делами. Немного огорчали расходы, связанные с устройством празднества, однако пиры и женские прелести иногда могут сделать больше для укрепления мира, чем мужской ум, золото, тысячи воинов, закованных в железо. Ярослав с гордостью посмотрел на Елизавету. Ей шел двадцатый год, красота ее была в полном расцвете. Так стоит весной бело-розовая яблоня в ожидании золотых пчел. На нежной шее у дочери блистало тяжелое ожерелье, привезенное Гаральдом из Царьграда. Ярл уверял, что его носила императрица Зоя. Как оно могло попасть ему в руки? Но пусть будет так, и никто не посмеет подумывать, что сподвижник Олафа похитил эту драгоценную вещь.

С пылающим лицом, опустив ресницы, рядом с Елизаветой сидела Анна. Девушку волновало, что возле нее случайно оказался человек, которого она некогда увидела из кафизмы, и теперь в ее чистом и доверчивом сердце вновь вспыхнули волнующие чувства. Анне в голову не приходило, что за эти два года молодой ярл держал в своих объятиях продажных распутниц и неверных жен.

Ярл Филипп мог выгодно жениться на любой богатой константинопольской вдове и даже на дочери самого логофета, которую однажды ему пришлось переносить через ручей, когда обрушился каменный мост на дороге во Влахернский монастырь. Девица прижималась к воину и не сводила с него глаз. Но, увы, была худошава и длинноноса. Одним словом, ярл

ни на ком не женился, хотя ему уже стукнуло двадцать восемь лет. За эти годы Филипп никого не полюбил, сердце его осталось свободным, и Анна могла стать его царицей, если бы пожелала, а она не смела поднять взора на соседа, чувствуя всем существом своим, что рядом с нею сидит человек, о красоте которого шепотом переговариваются женщины за столом. Наконец, чуть скосив глаза, Ярославна увидела снисшедшее ей порой лицо, все такие же золотистые локоны, как бы в беспорядке упавшие на плечи зеленой рубахи. Ярл возмужал, у него резче стали выступать сильные скулы и более четко обрисовался крепкий бритый подбородок. Светлые усы падали вниз.

Филипп тоже бросал украдкой взгляды на княжну. Впрочем, он знал суровый характер Ярослава и не решался заговорить с Анной, а она молчала. Ярлу очень хотелось сделаться воеводой охранной дружины в Киеве, что дало бы ему много денег, села, рабов. Но неудовольствие киевского конунга можно было вызвать одним неосторожным словом.

Ярослав, его сыновья и многие гости сидели на пиру в красивых русских рубахах – красных, голубых, синих – с золотыми или серебряными оплечьями, а другие дружинники, по старому обычаю, – в белых. Замужние женщины пришли в шелковых убрусах, в парчовых сарафанах, красуясь дорогими ожерельями. Все это были румяные, белозубые красавицы, и только у некоторых славянская белизна уже смешалась со степной смугловатостью; у таких глаза стали чуть скошенными, казались лукавыми, и эти женщины особенно нравились северным ярлам...

Гаральд не спускал влюбленных глаз с Елизаветы, и по ее улыбке можно было предполагать, что на этот раз она не отвергнет его любовь. Всем сделалось известным, что в ближайшее время ярл отправлялся в сопровождении многочисленных воинов завоевывать принадлежащий ему по праву норвежский трон.

Гости ели мясо, в изобилии лежавшее на столе, и вытирали руки о расшитые полотенца, которые им подавал проворный отрок, а когда насытились и утолили жажду медом, стали разговорчивее. Только Ярослав все так же грустно-снисходительно оглядывал сидевших за столом людей, легко забывающих во время пиршества о том, о чем надлежит помышлять христианину. Ингигерда по-прежнему сжимала властные губы. Всеволод, отпив половину вина из чаши, угощал супругу и влюбленно смотрел на нее. Глаза Марии стали еще таинственнее и темнее от блистания восковых свеч. По другую сторону от молодого князя сидели Гаральд и Елизавета, а за ними Анна и Филипп. Это был стол конунга, полный яств. Напротив находились Изяслав и Гертруда, Святослав и Ода, пресвитер Илларион, а рядом с ним – поп Иван из церкви, построенной в Чернигове Святославом, беспутный человек, но тоже великий книжник.

Филипп много пил, и вино разогрело даже его холодное сердце: вдруг у него проснулась нежность к этой прекрасной деве с рыжими косами. Но Анна ни разу не подняла на него глаза, боясь осуждения матери, сидевшей поблизости, а он думал, что дочь конунга не удостаивает его своим вниманием, и пил чашу за чашей.

Ярослава интересовали события, которые произошли в последние годы в Царьграде, и Гаральд рассказывал ему со всеми подробностями о том, как один царь сменял в Священном дворце другого царя. По словам ярла, он лично принимал участие в этих кровавых событиях, и слушать его было занимательно.

Держа обеими руками прохладную серебряную чашу, Гаральд осушил ее и тотчас протянул отроку, чтобы тот снова наполнил сосуд вином. В Константинополе ярл тоже стал носить небольшую бороду, хотя и оставил длинные усы. На бритье подбородков в Священном дворце косились, считая это варварским обычаем, недостойным христиан. Но ношение бороды или безбородые лица – это только вопрос переменчивой моды: сам великий Константин был брит, как цирковой плясун.

– Что же случилось тогда в царском дворце? – торопил рассказчика Ярослав.

– Послушай мою повесть, конунг! Обо всем расскажу по порядку. Ведь я наблюдал это

своими собственными глазами и видел, как царь Роман лежал на смертном одре, в последний раз облаченный в пурпур. Лицо у него было распухшее и почерневшее. Дворцовые служители рассказывали мне шепотом, что он утонул в бане. Но люди не тонут в купели без особой причины. Я много другого слышал во дворце, отчего волосы становятся дыбом даже у смелого человека. Преемником Романа был Михаил, любовник царицы Зои. Он еще продолжал разыгрывать из себя влюбленного, пока толпы народа не встретили его приветствиями на Ипподроме как нового императора, но, добившись того, к чему стремился, честолюбец показал себя во всей своей низости. Впрочем, спустя непродолжительное время умер и Михаил, и на престол взошел его племянник. Об этом царе ходили недобрые слухи. Его прозвали Калафатом. Так по-гречески называют на пристанях тех людей, что смолят корабли. Тогда я был этериархом. Под моим начальствованием служил ярл Филипп, и он поправит меня, если я в чем-нибудь буду не совсем точным.

Молодой ярл закивал головой в знак согласия. Филипп благоговел перед своим удачливым начальником.

– Новый василевс, – продолжал Гаральд, – возненавидел Зою, не знаю за что, и обвинил царицу в попытке отравить его. Госпожу сослали, как преступницу, в сопровождении одной только служанки, на отдаленный остров, где заточили в монастырь, и по повелению императора ей остригли волосы. Помнишь, Филипп? Они еще и тогда казались золотыми. Как у тебя, милая Елизавета!

О, сколь приятно было слушать такого любезного рассказчика!

Сидевший за дальним столом седоусый варяг, верный сподвижник Гаральда, рассказывал своим соседям:

– Это было на Ипподроме... Но еще до того, как свергли Зою. Мы смотрели на представление. На арене плясали ученые медведи. Трудно придумать что-либо забавнее этого зрелища. Они поднимали то одну лапу, то другую и потом приседали, ударяя в бубен... В это время мимо нас прошла царица, почему-то покидавшая праздник. Откуда мне это знать! Может быть, у нее заболел живот? И что же? Увидев еще раз длинные волосы Гаральда, она заявила, что хотела бы получить прядь на память о таком знаменитом воине...

Рассказчик прыснул со смеху и закрыл рот рукой.

– А Гаральд? Как же он поступил тогда? – спрашивали слушатели.

– А он...

Седоусый не мог продолжать от душившего его смеха.

– А он...

– Что же он ответил?

– Мы все выпили изрядно вина... Гаральд ответил... Ха-ха!

Должно быть, это была какая-нибудь очень грубая шутка, потому что воины, сидевшие за столом, разразились громовым хохотом.

Ярослав взглянул в ту сторону, и смех мало-помалу прекратился.

Впрочем, ненадолго. В гриднице делалось все шумнее и шумнее. Мед развязывал языки.

– И что же? – спросил опять старый князь.

Гаральд, разглаживая светлые усы, смотрел куда-то себе под ноги...

– Мне привелось присутствовать при отплытии корабля, так как во дворце опасались народного возмущения, и нам приказали, чтобы мы охраняли доступ к морю. Императрица поднялась на корабль, протянула руки к видневшемуся за кипарисами дворцу и промолвила сквозь рыдания: «Мою главу еще в колыбели украсили знаками царственного достоинства, меня некогда держал на коленях великий Василий, и я надеялась, что буду жить для счастья. Но увы, ошиблась. И теперь страшусь людей и моря». И другие слова говорила. Помнишь, Филипп?

– Она говорила, что живой ложится в гроб, – подхватил Филипп. – В тот день мы

испытали немало волнений. Народные толпы бушевали и готовы были ворваться во дворец и все предать огню. Мы едва сдерживали их напор...

– А царица надула губы, точно избалованный ребенок, – прибавил Гаральд.

Анна тоже слушала с большим вниманием рассказ о царьградских событиях. Судьба этой женщины не могла не взволновать ее. А Гаральд, в приподнятом настроении, чувствуя, что на него обращены взоры всех присутствующих, вдохновенно описывал сцены дворцового переворота.

– Но Зоя была любимицей народа. В Константинополе вспыхнул мятеж. Все были в отчаянье, что императрица томится в изгнании, и проливали слезы. Даже простые ремесленники и корабельщики. Особенно негодовали женщины. Они вопили на улицах: «Где-то она теперь, единственная благородная душа в стане злодеев?»

Ярослав усмехнулся в бороду:

– Я слышал другое.

– Да, Зоя была способна на все. Ослепляла, не очень-то разбираясь, кто прав, кто виноват. И все-таки чернь любила ее. Мне передавал об этом некий патрикий Катакалон. Мы с ним вместе воевали в Сицилии. И еще я слышал кое-что от одного царедворца. Его имя – Михаил Пселл. Так что все, что я рассказываю, вполне соответствует истине.

– Тебе приходилось встречаться с Михаилом Пселлом? – удивился Илларион, смущавшийся немало на этом собрании вельмож, которых он часто обличал в греховном поведении.

– Я имел случай беседовать с протоспафарием, – не без удовольствия произнес трудный титул Гаральд, довольно знавший греческий язык, чтобы объясняться не только с простыми воинами, но и с придворными чинами. – Но позволь, конунг, продолжать повествование. Итак, Зоя уплыла на корабле в изгнание, и тогда в столице возмутился народ. Дома многих советников царя были разграблены. Филипп хорошо помнит эти беспорядки.

Молодой ярл кивнул головой, и Анна позавидовала варягам, испытавшим столько приключений, видевшим Царьград и Иерусалим и этот, похожий на сон, остров Сицилию, о котором Гаральд рассказывал Елизавете.

Филипп добавил, может быть желая обратить на себя внимание Ярославны:

– В тот день мои воины стояли на страже в Священном дворце. Он был пуст, все разбежались. Император спрятался в своей опочивальне и дрожал от страха. Я хотел...

Но Ярослав желал слушать Гаральда. Не подобает молодым перебивать старших, и князь приказал:

– Продолжай, Гаральд!

Филипп умолк. Он привык к повиновению, однако на лице у него выступили красные пятна. Гаральд продолжал прерванный рассказ:

– Помню, что в тот день был понедельник. Я вышел из дворцовых ворот посмотреть, что же происходит на улицах. Вижу, мимо скачет на коне знакомый протоспафарий. Тот самый Михаил Пселл, о котором я упоминал...

Илларион знал Михаила Пселла по его писаниям и даже два или три раза слышал, как знаменитый писатель говорил в их школе о риторических красотах Демосфена.

– Я окликнул его, и протоспафарий остановил коня. Я спросил, куда он стремится с такой поспешностью, и Михаил ответил, что на Ипподроме бушуют толпы и он хочет увидеть все воочию, чтобы потом описать события в своей хронике. И ускакал. Когда же я вернулся в притихший дворец, мне сказали, что к императору прибыл через потайную дверь его дядя Константин, по рассказам мужественный человек. Позднее мне представился случай убедиться в этом. По совету магистра Зою немедленно вернули из монастыря в Константинополь и показали на Ипподроме живой и невредимой народу. Я близко видел царицу. Бедняжка дрожала от страха. Однако послушайте, что произошло дальше. Ее появление еще больше распалило гнев людей. Мятежники вообразили, что между

ненавистным Калафатом и Зоей произошел сговор, и отвернулись от любимицы. Все устремились в монастырь, где жила в тишине ее сестра Феодора, не ждавшая, что судьба готовит ей такие перемены.

– Ты хорошо рассказываешь, – заметил Ярослав, – и внимать твоему рассказу поучительно.

– Но чтобы вам стало яснее положение, – заметил польщенный ярл, – надо сказать, что у Зои две сестры. Одну зовут Евдокией. Она прокаженная и навеки спрятала свое несчастье в монастыре. Вторую, как я уже говорил, зовут Феодорой. Она тоже была монахиней. Но насколько Зоя привлекательна по внешности, даже теперь, когда ей шестьдесят лет, настолько Феодора некрасива, худа, с предлинным, как у ослицы, лицом, с неуклюжим телом. Кроме того, она скупа, а болтлива, как сорока. Но послушайте, что произошло потом! Феодору извлекли из кельи и потащили в монашеском одеянии в храм Софии, чтобы провозгласить там под клики народа императрицей. Воспользовавшись тем, что его на время оставили в покое, Михаил Калафат бежал вместе со своим родственником Константином в монастырь, называемый Студион. Но Георгий Маниак, который всем распоряжался во дворце от имени перепуганной Феодоры, послал вдогонку воинов с приказанием доставить беглецов в Священный дворец.

– Он меня отправил за ними, – с удовольствием пояснил Филипп, что дало повод Анне поднять на него глаза.

– Да, сначала туда поспешил с малым отрядом мой молодой друг. А когда во дворце стало известно, что к Студиону движутся огромные толпы народа, я сам отправился в монастырь, и за мною увязался этот сочинитель хроник, что всюду сует свой нос. В руках у него была навошенная табличка и красивая палочка из слоновой кости. Он ею записывал что-то...

Михаил Пселл действительно всюду хотел быть и все видеть. Это таилось в его характере. Нетрудно догадаться, почему протоспафарий водил дружбу с дворцовыми варягами и часто угощал их вином.

Гаральд рассказывал:

– Писатель надеялся, что мы будем сообщать ему обо всем, что видим в Священном дворце. Но я сам больше узнал от этого болтуна, чем рассказал ему, хотя протоспафарий вечно что-то записывает на восковых дощечках. Между тем я уже явился в Студион, и Филипп сказал мне, что Михаил и Константин нашли прибежище в алтаре церкви. По греческим обычаям, никто не может схватить человека и вести его в темницу или на казнь, если он успеет войти в алтарь. Даже если это преступник. Мы видели с Филиппом, как оба они трясущимися руками срывали с себя царские инсигнии и поспешно облачались в черное монашеское одеяние, которое постарались принести монахи. Михаил цеплялся дрожащими руками за витые колонки престола. В Студийской церкви он сделан из литого серебра. И что же мы увидели? Подле согбенного царя стоял Константин и с презрением смотрел на нас. Я хотел войти в алтарь и увести обоих во дворец, однако монахи воспротивились этому, уверяя, что за подобное святотатство нас покарают небеса. Я уступил и стал ждать распоряжений. Ожидать пришлось недолго. Вскоре в церкви появился запыхавшийся эпарх. Так называется вельможа, которому поручено ведать городом. Его звали Никифор Кампанар. Он привез повеление, подписанное рукой Феодоры пурпуровыми чернилами, в коем предписывалось, чтобы царь и его дядя немедленно покинули храм. Тогда мы выволокли обоих на монастырский двор...

– И у тебя поднялась рука на помазанника? – спросил Всеволод, слушавший рассказ о константинопольских событиях в крайнем волнении. Это был единственный человек в семье, не считая Марии, который полагал, что надлежит быть в хороших отношениях с Царьградом. Странно, что, невзирая на такие взгляды, отец любил его больше всех других сыновей.

Гаральд смутился. Он мог бы умолчать о своем участии в этом деле, но вино развязало

ему язык и породило желание рассказывать о тех потрясающих событиях. Ярл сказал в свое оправдание:

– Мы только исполняли то, что нам было приказано. Если ты, светлый конунг, повелишь своим воинам сделать что-либо, они обязаны выполнить это немедленно, иначе за что же они получают от тебя награду?

Однако слушателям не терпелось узнать, что происходило дальше, и слышались голоса, требовавшие продолжать. Гаральд посмотрел на Ярослава и, получив от него молчаливое разрешение, но не желая восстанавливать против себя этого святошу Всеволода, продолжал уже с меньшим увлечением:

– Потом произошло ужасное. Мы с Филиппом только присутствовали при этом и были не в силах помешать казни.

– Что же случилось? – спросил Ярослав.

– Когда мы вели схваченных по улице, нас сопровождали монахи, которым эпарх Никифор дал слово, что ничего плохого не сделают с царем и Константином... Но едва мы достигли площади, называемой Сигма, как встретили посланных из дворца палачей с орудиями ослепления. Они быстро развели огонь в переносном горне и раскалили на нем страшное железо. Василевс бился в руках мятежников, но палач спокойно продолжал под рыдания Михаила приготовления к казни. Какой-то сенатор, не опасаясь того, что может поплатиться за свое милосердие собственной головой, утешал несчастного. Когда василевсу связали цепью руки и раскаленное железо коснулось его зениц, он завыл, как зверь. Ослепленный стал биться на земле и царапать лицо. Константин держал себя мужественнее. Он сказал палачу, указывая на обступивших его людей, не желавших ничего упустить из такого зрелища: «Разгони эту чернь, чтобы все добропорядочные видели, как я перенесу казнь». И отказался от цепей, которыми обычно связывают ослепляемых, чтобы они не бились и не причиняли себе напрасных страданий. Затем Константин лег на землю. Он перенес казнь без единого стога! Помню, что рядом со мной стоял Пселл. Он шептал мне за плечом: «Утром еще они повелевали всем миром, а вечером стали жалкими слепцами!»

Гаральд был певцом, поэтом, играл на арфе и поэтому умел красиво рассказывать о том, что ему привелось увидеть во время своих странствий.

– И вот тогда-то, – воскликнул ярл, – и взошла на греческие небеса звезда Константина Мономаха!

Он знал, что Мария была дочерью василевса от первой жены, уже покинувшей мир. В этом месте рассказа требовались пышные хвалебные выражения: речь шла не только о том, чтобы получить в награду прелестную улыбку греческой красавицы, но и снискать расположение Всеволода, который имел большое влияние на отца. Кроме того, не лишним было и пробудить ревность Елизаветы. Как опытный соблазнитель, Гаральд знал цену этому страшному чувству. Мария же достаточно понимала русский язык, чтобы оценить панегирик отцу.

– Василевс, ныне царствующий в Константинополе, происходит из Далассы. Красота его напоминает статую...

Анна представила себе Константина Мономаха в образе Филиппа и затаив дыхание слушала рассказ.

– Семь долгих лет героя держали в ссылке. Семь лет он прозябал в изгнании, потому что при его появлении на улицах Константинополя народ приходил в неистовство. Но Пселл говорил правду, когда уверял меня, что природа сделала у этого царя крепость мышц только основанием здания. Потому что мощь василевса Константина не в мышцах, а где-то в глубине сердца. Однако десница его тоже отличается необычайной силой. Помню, однажды он с увлечением пожал мне руку за какую-то оказанную услугу, и я потом чувствовал это рукопожатие несколько дней, а ведь никто не может сказать, что я хилый человек. Но, кроме того, как он умеет очаровывать одинаково и мужчин и женщин своими улыбками!

От удовольствия Мария тоже улыбку улыбнулась рассказчику. На мгновение на смугловатом лице блеснули чудесные, как жемчужины, зубы. На правой щеке темнела родинка...

– Против таких улыбок не может устоять самое каменное сердце. И вот ради пользы государства этот красавец стал супругом стареющей Зои.

Анна внимала, не пропуская ни одного слова. Зоя уже старуха! А сколько она слышала об этой необыкновенной женщине, об ее умении пользоваться благовониями и притираниями! Как бы хотелось посетить Царьград, о красоте которого столько рассказывали брат Всеволод, и Илларион, и другие люди, побывавшие там. Недаром она и сестры одевались, подражая знатным гречанкам, а торговцы привозили им из Константинополя редкостные вещи. Но Анну вывел из задумчивости громоподобный голос брата Святослава:

– Отец, не довольно ли уже об убийствах и ослеплениях! Посмотри вокруг себя! Гостям хочется послушать певцов. Пусть Гаральд споет ту песню, которую он пел вчера за моим столом! Гаральд!

Святослав был в красной шелковой рубахе с богатым золотым оплечьем. Он поднялся со скамьи и счастливыми пьяными глазами, позабыв о своих болячках и скучной жене, оглядывал сидевших за столом, и все отвечали ему веселыми улыбками и шутками. От горящих свеч, медленно оплывавших на серебряные чашечки светильников, от разгоряченного вином человеческого дыхания в пиршественной зале становилось жарко. Перебродивший мед напоминал о пчельнике. Почтенные бояре, уже упившиеся вином, осоловелыми глазами поглядывали на соседей. Те, что помоложе, шумели, вскакивали со скамей и, поднимая турий рог, полный пенистого меда, были готовы под любым предлогом затеять драку, вырвать у соперника клоч борода. Но их белотелые жены звенели золотыми ожерельями, раздумялись и похорошели на пиру. Им хотелось веселиться, слушать музыку. Гаральд окинул взглядом собрание, точно спрашивал себя, оценят ли здесь его песню, сложенную с таким волнением в честь любимой русской девы. Потом поманил рукой одного из отроков. Прислонившись к притолоке двери, скрестив руки на груди, тот задумчиво смотрел на пирующих. Но юноша уловил знак и подошел к Гаральду, с полной готовностью служить такому знаменитому мужу.

– Друг, принеси арфу! – сказал ярл.

Когда Гаральду вручили ее, изогнутую как лебединая шея, он стал настраивать золоченые струны опытной рукой, точно поджидая вдохновение, которое посещает певца в счастливые минуты. Мало-помалу наступила тишина. Елизавета, зная, что сейчас будет прославлена ее красота, отвернулась и опустила глаза. Но все другие устремили взоры на скальда. Теперь ярл носил кроме длинных усов коротко подстриженную бороду. Левая бровь у него взлетела выше, чем правая. Большие белые руки с редким искусством перебирали струны. Он был сложен как Тор, бог войны, в которого еще верили старики и старухи в глухих селениях Упландии, где весной является на заре в березовых рощах зеленоглазая Фрейя.

Гаральд подбирал на арфе мелодию, и вдруг его сильный, но мягкий голос пропел знаменитые стихи о корабле, миновавшем Сицилию...

Наш корабль миновал Сицилию,  
мы были в красивых одеждах,  
как подобает воинам.  
Быстроходный корабль с высокой кормою  
нес воинов к славе.  
Не думаю, чтоб малодушный  
решился уплыть так далеко.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Гаральд перестал петь, печально склонил голову набок и смотрел вдаль, точно вспоминая минувшие годы и еще раз переживая свою любовную тоску. Некоторое время он перебирал среди мертвой тишины звонкие струны, потом вздохнул, посмотрел на Елизавету и, запрокинув голову, продолжал:

Мы смело построились перед трандами,  
хотя было их больше числом, нежели нас.  
Поистине там разыгралась ужасная битва,  
с их королем бился я в единоборстве  
и убил его в этом сраженье.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Снова раздался рокот арфы. Послышался чей-то женский вздох. Лицо Гаральда стало суровым, но он уже не смотрел на Елизавету и не видел, как высоко вздымалась ее грудь от взволнованного дыхания, которое вызывается любовью.

Шестнадцать нас было, милая дева!  
Средь бури мы черпали воду в ладье,  
волны тяжелый корабль заливали.  
Не думаю, чтоб малодушный  
решился заплыть так далеко.  
Но русская дева с золотым ожерельем  
мною пренебрегает...

Теперь Елизавета не постыдилась повернуть свое лицо к певцу и, подарив его сияющей улыбкой, прошептала:

– Гаральд, я не пренебрегаю тобой...

Обращаясь к ней, он пропел:

Я родился там, где упландцы натягивают луки.  
Теперь я правлю боевым кораблем среди скал,  
гроза сарацин...

Наградой воину за стихи были восторженные восклицания. Слушатели поднимали за его здоровье рога, наполненные медом, женщины улыбались, а некоторые рукоплескали, научившись этому у приезжих греков, которые имеют обыкновение так выражать одобрение певцам и музыкантам. Лицо Елизаветы пылало.

Тогда арфу взял из рук Гаральда скальд Теодульф, чтобы прославить его своей песней:

Смелым, Гаральд,  
тебя называют,  
ты в тишине  
не умрешь на соломе,  
ты среди битвы паришь,  
как орел...

Ярослав был доволен пиром. Но Ингигерда, устав от шума и духоты, покинула собрание в сопровождении прислужниц. Тогда старый князь предложил Гаральду пересечь

поближе к нему. Он решил, что Елизавета еще успеет наговориться со своим возлюбленным, а ему хотелось расспросить ярла о некоторых благочестивых предметах.

– Слышал я, что ты был в Иерусалиме? – спросил старый князь.

– Я был в этом святом, а ныне несчастном городе.

– Что же ты видел там?

– Я видел страшное запустение. После войны греков с сарацинами Иерусалим лежит в развалинах. Храм, построенный на Голгофе, разрушен до основания. Василевс послал меня в Иерусалим, чтобы восстановить рухнувшие стены этого здания, и каменщики трудились много месяцев, прежде чем удалось выполнить повеление.

– И сарацины не чинили препятствий?

– Даже помогали нам, доставляя строительные материалы. А сам халиф присылал мне прохладительные напитки, так как в той стране в летнее время стоит невыносимая жара.

– Пришлось ли тебе видеть Иордан?

– Я искупался в этой реке, чтобы омыть грехи. В том месте проходит дорога в город Иерихон. На ней разбойники безнаказанно нападали на путников, отнимая у них ослов и одежду. Но халиф дал мне воинов, и я очистил путь от разбойников. Теперь все желающие могут направляться туда в полной безопасности.

– А еще что видел ты? – любопытствовал Ярослав.

– Еще я видел Мертвое море. Воды его полны серы, упавшей с небес, когда были истреблены Содом и Гоморра, и в этой черной воде не может жить никакая рыба.

– Много видели твои глаза, – с грустью сказал Ярослав.

Когда за столом уже началось целование между мужчинами и женщинами, Илларион поспешил уйти из гридницы, как того требовал церковный устав, и вслед за ним удалились Ярослав и Всеволод с Марией. Повинуясь знаку отца, Елизавета и Анна тоже встали из-за стола. Анна видела, что все были сыты и веселы. Женщины громко смеялись. Перед тем как покинуть пиршественную залу, она посмотрела с нежностью на молодого ярла. От этого взгляда его лицо залилось румянцем. Девушка улыбнулась ему и, еще не отдавая себе отчета в том счастье, которое вдруг наполнило ее сердце, с горестным сожалением оставила пир.

Заметив, что Илларион удалился, поп Иван пустился в пляс, при всеобщем одобрении и смехе.

Позднее, когда Анна расплетала наверху косы, в тихой горнице, где спали сестры, появилась сердитая мать, поговорила с Елизаветой, а потом пронзительно посмотрела на другую дочь и сказала:

– Хотела бы я знать, почему ты так смущалась за столом, медлила прикоснуться к пище?

Анна взглянула на мать с волнением, страшась, что тайна ее будет открыта.

– Почему же ты молчишь? – настаивала княгиня.

– Я не знаю, о чем ты говоришь. Мне нездоровилось.

– Нездоровилось? Вот почему так горело твое лицо? И теперь горит. А не потому ли, что ты лжешь матери?

– Я не лгу тебе.

Но мать не верила ей.

## V

Едва умолк шум пира, как была устроена большая охота на вепрей. Эти звери водятся в большом количестве там, где растут дубы, дающие диким свиньям обильную пищу в виде желудей, а Киев со всех сторон окружали дубравы. В приготовлениях к забаве деятельное участие принимал Святослав, как всегда довольный собою, своим богатством, конями и оружием, хотя по-прежнему весьма страдавший от болячек на шее, от которых его не могли

излечить лучшие армянские и сирийские врачи.

Всеволод, по обыкновению, от этого лова уклонился, ссылаясь на недомогание, а другие братья находились в отъезде. Зато Гаральд и Филипп приняли приглашение на охоту с восторгом, предвкушая удовольствие вонзить копьё в оцетинившегося вепря и вдохнуть ноздрями острую, мускусную теплоту звериной крови. Никогда человек, казалось им, не чувствует так явственно жизнь, как наблюдая смерть врага или зверя. Пожелали отправиться на лов и обе сестрицы, Елизавета и Анна. По просьбе матери Святослав должен был позаботиться, чтобы с ними не случилось чего-нибудь худого.

Накануне отправления на охоту, услышав, что брат действительно занемог, Анна навестила болящего. Молодой князь обитал с супругой в ограде княжеского дворца, но в отдельных хоромах. У него были свои вооруженные отроки и отдельный домоуправитель. Анна направилась в дальний конец двора, занимавшего такое обширное пространство, что на нем иногда собиралось народное вече и устраивались конские ристания. Сейчас на нем стояла тишина, все заросло крапивой. На траве лежали собаки и щелкали зубами, ловя злых осенних мух. Псы вежливо помахали хвостами, когда Анна проходила мимо. Кое-где рабы лениво выполняли ежедневные работы – один колот дрова у поварни, другой нес воду в ведрах на коромысле, некоторые проветривали меха. Над колючими цветами, которые называются лепками, кружились белые мотыльки. Хвосты у собак были полны этих шишек, и Анна вспомнила, что в детстве играла с братьями, бросая эти колючки, легко прилипавшие к одежде.

Мария, жена Всеволода, встретила свойственницу радостными поцелуями. Ярославна тоже с удовольствием прижалась щекой к ее прохладной щеке, спрашивая о брате. С улыбкой, стесняясь своего произношения, гречанка ответила, что у больного врачи.

Привыкшая к пышности Священного дворца и общению с воспитанными людьми, дочь царя, приехав в страшную скифскую страну, воображала, что мужем ее будет какой-нибудь огромный варвар, в объятиях которого ей придется трепетать, как птичке в пасти зверя, а он оказался тонким и болезненным юношей. С первых же дней Мария привязалась к нему со всей женской нежностью, возвращенной в гинекее. Когда Всеволод хворал, она сама готовила для него отвары, какие предписывал врач, и проводила ночи у его изголовья. Но болезнь проходила, и тогда большой дом наполнялся смехом влюбленных супругов.

Молодой князь страдал печенью и всякий раз, как выпивал на пиру слишком много меду, болел.

Когда Анна появилась на пороге горницы, Всеволод улыбнулся ей. Он лежал на широкой деревянной кровати, под меховым покрывалом, невзирая на теплую погоду. У одра болящего стояли двое врачей.

Один из них, красивый, чернобородый, но предрасположенный к полноте человек, был армянин по имени Саргис, по каким-то причинам покинувший город Ани, вероятно спасаясь от неверных, и поселившийся в Киеве, где лечил всю княжескую семью: Ярослава от бессонницы, Святослава от нарывов, Ингигерду от сердечного томления, а Всеволода от колотья в боку. В умных глазах лекаря можно было прочесть гордость своей великой наукой, дававшей ему возможность взирать с аристотелевских высот на простых смертных, считавших, что недуги – лишь наказание, посылаемое за грехи, тогда как все объясняется сухостью или влажностью человеческого организма, обилием слизи или слабостью почек и прочими естественными причинами. Некогда врач изучал медицину в знаменитой Муфаргинской школе, которую прославили на весь мир два армянских врача – Бусаид и Иессе. Саргис хорошо говорил по-гречески и по-арабски, изучал Аристотеля и привез из Армении трактат Немесия «О природе человека», переведенный на арабский язык. Имена великого Гиппократы и Галена не были для него пустыми звуками, но в среде знатных людей он остерегался прибегать к сильнодействующим средствам, ограничиваясь рвотными снадобьями, кровопусканием и приятными отварами, от которых не могло произойти в

таинственных недрах тела опасных изменений.

Увы, приходилось быть осторожным с гневливыми воинами, хотя русские дружелюбно относились ко всем чужестранцам.

Когда Анна вошла в горницу, Саргис стоял у постели и держал двумя пальцами запястье князя, точно прислушиваясь к чему-то, доступному только слуху. Рядом находился другой врач, родом грек, по имени Евлампий, привезенный в Киев митрополитом Феопемптом. Этот человек, хотя и лечивший других, сам имел весьма болезненный вид, с неопрятной всклокоченной бородой, в монашеском одеянии. В течение многих лет Евлампий врачевал русских купцов в предместье св. Мамы и научился их языку.

Может быть, для того чтобы посрамить грека своим глубоким знанием врачебных тайн, Саргис бережно опустил руку Всеволода на одеяло и сказал:

– Что такое тело человека? Повозка, запряженная теплом, холодом, сухостью и влажностью. Это те же четыре элемента. Огонь, вода, воздух, земля. Поэтому лечить болезни нужно, сообразуясь с природой человека.

Женщины ничего не поняли из того, что сказал врач. Только Всеволод улавливал в его словах некоторые мысли, так как привык читать греческие книги, в которых говорится о подобных вещах. Но грек, лечивший митрополита и прочих духовных особ освященным елеем, не признавал гиппократовских тонкостей. Он возразил Саргису:

– Болезни надо изгонять из человеческого тела постом и молитвою или помазанием елеем. Ибо всякий недуг – зловерный дух.

– Не спорю, – благоразумно ответил Саргис.

– К чему эти ухищрения? – негодовал грек. – Если Господь не поможет совладать с недугом, не исцелят никакие снадобья.

– Не спорю, – дипломатично повторил армянин, – но что говорит об этом Гиппократ?

– Гиппократ! – презрительно поморщился Евлампий.

– Да, Гиппократ! Неугасающее светило! Он, например, говорит, что зевота или потягивание происходят отнюдь не от влияния нечистой силы, а от усталости тела. Конечно, бывает, что злые духи овладевают человеком, особенно во сне, принимая в сонном видении образ соблазнительной женщины или даже крылатого чудовища. Однако чаще всего это объясняется слишком обильной пищей, принятой во время позднего ужина...

Всеволод не без удовольствия выслушивал важные разглагольствования врачей, хотя и морщился от покалывания в боку.

– Тебе больно? – в крайнем огорчении спрашивала мужа Мария.

Князь застонал в ответ. Но Анна догадалась, что так он поступал для того, чтоб лишний раз вызвать в сердце любимой супруги нежность.

– Молись святому Пантелеймону и будешь здоров. Господь лучше знает, какая у тебя болезнь.

Грек ушел. Проводив его взглядом, Саргис сказал:

– Для чего же нам дан разум? Не для того ли, чтобы распознавать болезни и лечить больных травами, произрастающими на земле? Что мы лечим у тебя? Болезнь печени. Ее признаки налицо. Боли в боку, в спине и правом плече. Правая рука у тебя отяжелела? Отяжелела. Как обычно бывает у тебя в таких случаях. Судя по биению жилы, тебя лихорадит. Причина всему – вино, поглощенное свыше меры. Я уже тебе говорил. Пьянство – не для тебя.

Всеволод терпеливо выслушивал советы врача, в надежде, что он и на этот раз избавит его от ноющей боли...

– Что предписывает в подобных случаях искусство врачевания? Покой, полынные отвары. Хорошо также пить настой из барбарисовых ягод или питье, приготовленное из меда с небольшим количеством уксуса.

– Князь не спал всю ночь, – пожаловалась Мария.

– И от бессонницы существуют средства. Вот что давай больному. Возьми головки мака, положи их в сосуд, налей в него воды, чтобы все было покрыто жидкостью, и вари на медленном огне, как похлебку. Затем процеди варево через чистое полотно. Храни этот отвар в глиняном горшке и давай выпить князю перед сном небольшое количество, предварительно разведя снадобье наполовину водой. Но ни в коем случае не позволяй больному вкушать ни жирного мяса, ни перцу.

– А вино? – спросил Всеволод.

– Разрешается, но в небольшом количестве. Оно пламенем сжигает человеку печень. Еще Иоаннес, выдающийся врач, писал, что у пьяниц сердце и печень ослабевают и находятся в состоянии угнетения. Вино вызывает тяжесть в желудке и гнилую отрыжку. Не говоря уже о том, что душа у опьяненного человека не способна приобщиться ни к чему разумному и как бы находится во мраке.

Всеволод вздохнул. Он подумал о том, что его братья пьют на пирах мед и вино и потом не испытывают ни малейшего страдания, а он прикован к постели за лишнюю чашу.

Саргис развел руками, как бы намекая на ограниченность человеческих сил.

– Ты знаешь, светлый князь, о моей готовности служить тебе. Если меня зовут к одру болящего, я спешу, не спрашивая, богат он или беден и может ли заплатить мне. Для меня безразлично, рублище на нем или золотое покрывало. Я лечу. Надеюсь, что тебе и на этот раз поможет полынное питье.

Анна видела, что эти врачи, приехавшие из Армении или Сирии, берут в свою руку кисть больного и определяют таким образом болезнь.

– Как ты можешь по биению жилки распознать недуг? – с уважением спросила она врача.

Армянин, потирая пухлые, опрятные руки, стал объяснять:

– Чем чаще бьется жилка, тем больше жар у человека. В юности я учился в далеком городе Муфаргине, неподалеку от Эдессы...

Названия этих далеких городов ничего не говорили Анне.

– Там я постиг арабскую науку врачевания. Потом я слушал в городе Ани учение о лекарственных травах. Один ученый человек, по имени Григорий, изучавший философию в Константинополе, основал с разрешения нашего царя школу, и от него я тоже узнал много полезных вещей. Но еще более я научился врачевать у некоего Кириака. Однажды я слышал, как он сказал Григорию, что его интересуют не звезды, не их влияние на судьбу человека, не движение небесных светил в зодиаках, а вопрос, каким образом соки пищи превращаются в кровь. Эта мысль так поразила меня, что с тех пор я стал задумываться над состояниями человеческого тела. Если мы откроем эту тайну, то возможно будет излечивать все недуги.

Врач получил мзду и удалился. Анна села на край постели. Мария же вынула засунутый за пояс белый платочек и с нежностью отерла пот со лба мужа.

– Скоро ты покинешь нас, – сказал Всеволод сестре.

Анна ничего не ответила. Мария смотрела на нее понимающими глазами.

Охотники пробудились задолго до рассвета. В городе пели охрипшие петухи. Поеживаясь от предутреннего холода, Святослав, Гаральд, Елизавета и Анна проехали по темным, кривым улицам. В хижинах уже просыпались трудолюбивые люди. Пастухи гнали коров к городским воротам. Горластые псы лаяли на всадников, и кони с умной предосторожностью косили на собак прекрасные глаза.

Святослав выехал на охоту в своем неизменном синем плаще на красной подкладке. От князя пахло потом и константинопольскими духами, которые привозили ему в подарок греки из Херсонеса, зная слабость русского князя к благовониям. Вместо меча на бедре у Святослава висела кривая печенежская сабля в простых кожаных ножнах с медными бляхами. Князь снял ее с убитого печенега после какого-то счастливого сражения и уверял, что никто не может выдержать молниеносного удара этим оружием.

Никогда еще Анна не испытывала такого волнения во время сборов на охоту, как в тот день. Она была уверена, что встретится сегодня с Филиппом.

После пира, разгоряченная впервые выпитой чашей греческого сладкого вина, а еще больше посетившим ее чувством, Анна без сил бросилась в постель, в своей неопытности не подозревая, что в тот вечер уже пришла к ней любовь. Она долго думала о прекрасном ярле, а потом уснула, сжимая в руках пуховую подушку. Наутро ее разбудил голос Елизаветы:

– Анна! Анна!

Ярославна проснулась, и первое, что ей пришло на ум, было вчерашнее пиршество, когда рядом с нею сидел за столом Филипп. В одно мгновение вспомнив все мельчайшие подробности, она так и осталась сидеть на постели с блаженной улыбкой на устах.

Сестра спрашивала ее со смехом:

– Что с тобой?

– Ничего, – ответила Анна, погруженная в свои сладкие воспоминания.

Она размышляла о том, что рассказывали вчера о царице Зое. Потом снова Филипп встал перед ней как живой, в широкой зеленой рубахе, сияющий, как крылатый архангел. Она повторила шепотом:

– Ничего.

Елизавета погрозила ей пальцем...

И вот по пути на охоту, в тусклом рассвете прохладного утра, Анна иногда оборачивалась или тайком смотрела в ту сторону, где рядом с Гаральдом ехал Филипп, и ей казалось, что она ловила на себе его взгляды. При мысли об этом у нее несколько раз щемило в груди. Она еще не знала, что бедное женское сердце способно так сладко замирать. И вдруг неожиданная радость наполняла все ее существо. Ей хотелось смеяться, неизвестно почему, так, без всякой причины, а потом вдруг становилось грустно до слез.

Когда охотники переправлялись вброд через неглубокую серебристую речку, извивавшуюся по долине, Анна улыбнулась Филиппу в ответ на его тревогу, с какой он посмотрел на нее, когда серая кобылица неловко поставила ногу на камень и поскользнулась. Анна едва не упала в воду. В этот миг ярл невольно подался вперед, широко раскрыл глаза, как бы в ужасе от того, что видел перед собою, и положил руку на сердце. Это движение выдало его с головой.

Анна догадалась, что Филипп любит ее, и в порыве бессознательного лукавства подняла руки и стала поправлять на голове зеленый шелковый плат, под которым, как золото, лежали закрученные вокруг головы рыжие косы. Она была в широком сарафане из синего миткаля, с золотыми позументами, шитом для охот и верховой езды, чтобы в случае нужды удобнее сидеть в седле по-мужски и чтобы ничей нескромный взгляд не увидел ее белые девичьи ноги... Из-под золотой каймы подола виднелись красные сафьяновые сапожки.

Ярославна чувствовала себя молодой, красивой, способной покорить весь мир.

Переправившись через речку, свернули с дороги к дальним курганам, за которыми на расстоянии нескольких поприщ уже начинались дубравы, обильные крупной дичью. Там водились лоси, олени, косули, вепри. Псы весело бежали впереди, принюхиваясь к крепким осенним запахам, довольные своим существованием, предчувствуя опьяняющую борьбу с клыкастыми зверями. Загонщики своевременно сообщили, что в дубраве за старым мостом замечен большой выводок диких свиней. Охота обещала богатую добычу. Мясо вепря, вскормленного горькими желудями, – прекрасная еда. Искусные повара сдабривают эту пищу перцем, шафраном, имбирем. Но охотники знали, что загнанный в трущобы кабан яростно защищает свое звериное существование, и поэтому все, кроме Елизаветы и Анны, выехали в поле с оружием. На вепрей обычно охотятся с копьями в руках.

Когда над туманным Днепром забрезжил рассвет, охотники стали трубить в рога, и псы, как безумные, бросились выгонять кабанов из чащи. Звери искали спасения в густых зарослях папоротника, но собаки с радостным заливистым и злым лаем, захлебываясь от

нетерпения, помчали их в овраги, как будто бы понимая, что там охотникам будет легче всего настигнуть добычу. Кони сами неслись вдогонку за стадом злобно хрюкающих вепрей. Непрестанно слышались волнующие звуки охотничьего рога. В опьянении погони людям хотелось трубить, кричать бессмысленно, мчаться через препятствия, настигать зверя и пронзать его копьём.

Анна скакала вместе со всеми. Сидя по-мужски на небольшой, но быстроходной кобылице с плавным степным бегом, она вдыхала всем своим существом упругий осенний воздух, бивший в лицо, и запах лесной свежести. Ветер шумел в ушах, и от его шума сердце наполнялось ликованием. Порой нежная паутина прилипала к щеке. Рядом мчалась Елизавета и улыбалась сестре, разделяя ее радость. Святослав кричал им издали, оборачиваясь и сверкая глазами:

– Ликует стрелец, настигающий зверя! Так и я!

И они махали ему рукой.

Как и надеялись охотники, псы загнали несколько вепрей в глубокий овраг, где приходилось скакать с осторожностью, из опасения покалечить коням ноги. Анна заметила, что брат Святослав не расставался с Гаральдом, с которым он подружился в последние дни, покоренный его щедрыми дарами в виде двух огромных серебряных блюд. На одном полунагая женщина высыпала из рога изобилия плоды и цветы, на другом юный Давид пас овец и играл на кифаре. Тяжкое серебро мелькнуло в памяти Анны, но блеск металла тотчас погас: Святослав очутился перед огромным черным кабаном. Перед другим, таким же клыкастым, стоял Гаральд. Оба они в охотничьем порыве соскочили с коней и обнажили мечи, не имея копий, которыми лучше всего поражать этих зверей.

– Святослав! – крикнула Анна, не подумав, что может отвлечь внимание брата. К счастью, опытный охотник не обернулся на окрик.

В эти мгновения Ярославна находилась на самом краю оврага, едва сдерживая свою Ветрицу, под копытами которой осыпались комья земли, и хорошо видела все, что происходило внизу. Рядом с усилием натягивал поводья Филипп, чтобы не свалиться вместе с конем в глубокий провал.

Вепри, если они не ранены и не боятся за своих детенышей, предпочитают обычно искать спасения в бегстве, но стены оврага оказались слишком обрывистыми, чтобы им возможно было взобраться наверх, и загнанным зверям ничего не оставалось, как вступить в смертный бой. Псы с громким, но уже хриплым лаем, не прекращающимся ни на одно мгновение, и в остервенении, ничего равного которому нет на земле, смело бросились на добычу. Вепри выставляли страшные клыки; из мокрых разверстых пастей исходило огненно-зловонное дыхание... Вот один из особенно неистовых псов уже завыл и покатился с распоротым брюхом, обагрив кровью траву. Остальные собаки отшатнулись, умолкли на миг и потом с новой яростью продолжали драку. Среди этого смятения охотники ждали удобного случая, чтобы расправиться с опасными животными в заманчивом единоборстве. Но вдруг один из кабанов, черный, как бы опаленный адским огнем, покрытый невероятной щетиной, расшвыряв в последнем усилии собак, летевших от него в разные стороны, как жалкие щенки, изловчился и, понуждаемый ужасом смерти, прыгнул на торчавшее корневище, послужившее для него мостом, чтобы выбраться из оврага. Ни Святослав, ни Гаральд не могли помешать ему, так как обоим пришлось сражаться с другим свирепым зверем. А выбравшийся из оврага вепрь, неожиданно почувствовав себя на свободе, уже помчался с торжествующим хрюканьем в соседний орешник. Пока Гаральд убивал мечом второго кабана, собаки прыгали и пытались взобраться на корневище, но оно обрушилось, засыпая псов землею... Уже запахло мускусной кабаньей кровью. Оставленные без присмотра кони, встревоженные этим запахом, умчались, закусив удила, в другой конец оврага, вызвав всеобщий переполох и сердитую брань Святослава.

Едва вепрь очутился в орешнике, как Анна, даже не отдавая себе отчета в том, что

делает, тут же повернула Ветрицу и кинулась за зверем в погоню. С нею не было ни оружия, ни псов, и охотница вспомнила об этом уже во время преследования кабана. Он мчался теперь к дубовой роще, и кобылица, легко выбрасывая ноги, скакала за ним сквозь ореховые кусты. Иногда Ярославна видела среди низкорослых папоротников подпрыгивающую спину зверя. Вепрь то скрывался в кустах, то вновь появлялся на очередной лужайке.

Однако Анне стала мешать неровность почвы, и расстояние между нею и кабаном увеличивалось с каждым мгновением, а впереди уже манила дубрава, где зверь жаждал найти спасение. Лишь теперь девушка услышала, что кто-то скачет позади. Она обернулась на миг. Это был Филипп. Ярл мчался на расстоянии полета стрелы...

Анна даже успела рассмотреть оскаленные желтые зубы белого жеребца. Филипп скакал, несколько склонившись набок, чтобы лучше видеть Ярославну, и голубой плащ развевался над ним, как крылья огромной птицы. Дева еще раз оглянулась, и ей показалось, что она прочла в глазах ярла любовь. От этого взгляда, полного мужского любования, ее сердце возликовало. Во время скачки Анна потеряла зеленый плат, которым были повязаны закрученные косы, и теперь волосы рассыпались у нее по плечам, вздымаясь от встречного ветра золотым руном, и если бы Филипп находился поближе, она могла бы услышать, как ярл шепчет пересохшими от волнения губами:

– Валькирия! Валькирия!

Вепрь стремительно бежал к роще, и приходилось удивляться, что его короткие ноги способны на такую быстроту и столь неутомимы, но потом вдруг бросился в сторону, спустился в ложину и пропал из поля зрения. Когда Анна выехала на открытое место, зверь уже исчез. В то же мгновение ее догнал Филипп.

– Где вепрь? – спросила Анна, едва справляясь со своим дыханием.

Ярл придержал коня.

– Разве найдешь его теперь среди дубов?

Лошади их очутились рядом. Белый жеребец почувствовал нежность к молодой серой кобылице и стал кусать розовыми губами ее холку. Должно быть, он ощущал сладостный запах пота Ветрицы, потому что неожиданно заржал от обуревавших его чувств. Но Филипп безжалостно вздыбил его и, изо всех сил натягивая поводья, заставил повернуться несколько раз на одном месте, и тогда скакун снова подчинился власти человека. Анна с невольной улыбкой восхищения смотрела на ловкого всадника.

Не тревожась более об ушедшем вепре и уже не думая о наслаждениях охоты, Ярославна ехала, сама не зная куда, без всякой цели, по тропинке, едва видной среди редких и поэтому казавшихся особенно величественными дубов. Красота каждого из них была создана природой по особому замыслу, как красота человека. Деревья застыли в солнечной тишине; они созерцали мироздание, в котором существовали сотни лет. Им не было дела до того, что происходит в мимолетном времени людской жизни.

В мире людей все казалось хрупким и бранным и не могло устоять против бури. Анна тоже чувствовала себя былинкой, что несется в потоке неизвестно в какое море. Ее душу наполняли неведомые доселе ощущения, каких она еще никогда не испытывала в жизни, самые радостные, какие только существуют на земле, и самые печальные, когда хочется умереть. Она не могла бы выразить их на скудном человеческом языке. Это все возможно передать только первым поцелуем, молчаливым взглядом, шепотом в лунную ночь.

Филипп тихо ехал позади, на расстоянии полета стрелы. Хотя он и был всего лишь варяжский наемник, смотревший на женщин как на временную утеху воина, но чувствовал сейчас, что ему не надо приближаться к Ярославне. И вдали от него Анна спрашивала себя: что же она делает? Разве она не дочь могущественного князя? Что ей до этого варяга, который сегодня служит здесь, а завтра в другой стране? Она повела плечом. Но оглянулась, и снова ее охватила сладкая грусть.

После погони за вепрем, когда порой захватывало дыхание, во рту у Анны пересохло, и

ей захотелось пить. Это родилась огненная, ни с чем не сравнимая жажда. По некоторым признакам можно было догадаться, что где-то поблизости протекает ручей: там, где долина понижалась, росли ракиты, любящие близость влаги. Анна, даже не спросив, желает ли ярл следовать за нею, повернула коня в ту сторону. Вскоре она с радостью заметила прозрачную струйку воды, торопливо бежавшую по белым камушкам, как это часто бывает в местах, где растут дубы. Трава в ложбине, по которой протекал ручей, еще оставалась зеленой, и из нее с кряканьем вылетели дикие утки, в отчаянье вытягивая длинные шеи, но на лужках и под дубами злаки уже поблекли и все было усеяно желудями – привольное пастбище для диких свиней. Кое-где последние цветы, колокольчики и еще какие-то, названия которых Анна не знала, робко поднимали синие и розовые головки. Над ними хлопотали вялые осенние пчелы, осторожно опускались на цветы, счастливо склонявшиеся от этой ноши, и, неловко перебирая лапками, точно сердясь на свою немощь, собирали остатки летней сладости. Листья на ореховых кустах совсем пожелтели, и по сравнению с ними дубы казались покрытыми великолепной зеленью. С них шумно падали желуди и порой тихо слетал побуревший лист. Золотые и розоватые осины трепетали в предчувствии зимы.

Анна, держа коня за повод, спустилась к ручью. В одном месте вода лилась через камень и казалась особенно прозрачной. Девушка стала черпать ее рукою, пила из горсти и так делала до тех пор, пока не утолила жажду. Рядом наклонился к струе Филипп. Но он не черпал воду, а лег на землю и жадно пил, как зверь, – прямо из ручья.

Вероятно, им обоим было здесь хорошо. Ни она, ни он не беспокоились о том, чтобы предпринять поиски дороги, вовремя вернуться к охотникам. Известно, что влюбленные – как дети, а звуки рогов, очевидно, не долетали в эти чащи. Филипп ушел в орешник, и Анна видела, как он рвал с кустов орехи, и потом принес их полную шапку.

В нерешительности, не зная, что сказать друг другу, они сидели под дубом, и рядом лежала красная шапка с орехами. Филипп срывал только самые крупные гроздья. Анна вынимала орех из побуревшего гнезда, клала в рот, зажмуривалась на мгновение и с сухим треском разгрызала скорлупу молодыми зубами, чтобы вынуть из нее шершавый спелый орешек.

– Может быть, мы услышим звуки рогов? – спросила она.

Но вокруг стояла благодатная тишина. Ярл сидел рядом и молчал. Вспомнив рассказ Гаральда о Царьграде, Анна сказала ему:

– Расскажи мне еще о царице Зое.

Благодаря родству с Гаральдом и своему знатному происхождению Филипп уже двадцати лет от роду сделался начальником отряда дворцовой стражи, набранной из северных варягов, из которых многие были седоусыми воинами. В те дни взошел на престол Константин Мономах.

– О царице Зое мне известно не многое, – ответил Филипп.

– Расскажи мне о ее красоте.

Однажды Филипп стоял на страже в Священном дворце, и мимо прошла с приближенными женщинами и евнухами императрица, ставшая уже старухой. Она посмотрела на красивого варяга, стоявшего у двери, как статуя, выставив вперед правую ногу в высоком желтом сапоге. Императрица вздохнула и проследовала дальше, оставляя за собой легкое облако благовоний. Кто знает, если бы эта короткая встреча произошла двадцать лет тому назад, Филипп, может быть, надел бы на голову императорскую диадему? Но после дворцовых нарядов его поджидала в своей опочивальне пылкая жена старого патрикия, посланного с важным государственным поручением в далекую Армению, и молодой варяг не думал ни о каких диадемах.

– О царице я знаю не многое, – повторил он.

– Все говорят, что она красавица.

Ярл стал припоминать черты лица Зои.

– Она белокура и голубоглаза. Не очень высокого роста. Скорее это приятная полнота, чем худоба. Даже теперь у царицы сохранилась нежная и белая кожа, но от волнений сторбилась спина и трясутся руки.

– Ты часто видел ее?

– Я видел ее иногда во дворце или на Ипподроме, во время торжественных выходов.

– Что такое Ипподром?

– Ипподром – место, где происходят конские ристания и всякого рода развлечения. В этом огромном здании помещаются сто тысяч зрителей. Люди сидят на каменных скамьях и смотрят на колесницы, на плясунов, на ученых медведей. Когда же на трибуне появляется император, все приветствуют его рукоплесканиями и громкими криками. Потом народу раздают хлеб и вино.

– А что такое трибуна?

– Ответить на твой вопрос могу так. Трибуна походит на то помещение с шелковой завесой, где ты слушаешь с братьями церковные службы.

Анна уловила легкий шум и, подняв голову, увидела, что на соседнем дубе прыгает с ветки на ветку проворная белка. Не опасаясь людей, она спокойно уселась на суку и, держа орех в лапках, с уморительным старанием принялась грызть его, чтобы полакомиться вкусным плодом. Анна помахала рукой, желая спугнуть зверюшку, чтобы полюбоваться на ее легкие прыжки в воздухе. Белка, оставив орешек, внимательно посмотрела вниз маленьким, черным и блестящим, как бусинка, глазом, но преспокойно продолжала заниматься своим делом, может быть убедившись, что у этих пришельцев нет тех страшных орудий, что посылают смерть в виде пернатых стрел. Угадав мысль Анны и желая сделать ей приятное, ярл громко крикнул, и лесной зверек, уронив в испуге орех, молниеносно исчез среди листвы.

Ярл молчал, переводя глаза с Анны на дуб и обратно, а потом видя ее вопрошающий взгляд, затуманенный мечтами об этом далеком городе, в котором живут прекрасные царицы в жемчужных диадемах, продолжал свой рассказ:

– Мне передавала жена одного патрикия, что Зоя в молодости не любила пышных облачений из парчи, как у епископов, а предпочитала носить легкие шелковые одежды, приятно обрисовывающие тело. С малых лет все у нее было направлено на то, чтобы нравиться. Ее опочивальня до сих пор напоминает лавочку торговца восточными ароматами. Одна рабыня месит какое-нибудь миндальное тесто для притираний, другая варит в медовом соку пшеничные хлопья для освежения лица, третья приготовляет в медном тазу новую смесь благовоний.

– И ты видел все это?

Ярл пожал плечами.

– Видел, когда приходилось проверять стражу у покоев императрицы. Но о многом я узнал от жены патрикия.

– Кто эта женщина?

Ярл в смущении пояснил:

– Одна патрикианка... Живущая там...

– Приближенная царицы?

– По положению своего мужа ее неоднократно приглашали к царскому столу. Эта женщина рассказывала мне, что Зоя всегда была очень зябкой и больше всего на свете любила тепло, меха и жаровни с раскаленными угольями, на которые в Константинополе льют аравийские благовония. Император оказался желчным человеком. Зое стало скучно с ним, и она влюбилась в юношу, которого звали Михаил... Говорят, он краснел, как девочка, когда влюбленная до безумия императрица, забавляясь, усаживала молодого человека на трон и украшала его чело диадемой. Однажды Гаральд видел такую картину. И многие другие воины.

– А ты?

– Нет, я этого не видел.

– Что же было потом?

– Потом? Вскоре император Роман умер, утонув в купели. Кто знает, может быть, его утопили по приказанию Зои? И тогда Михаил сделался императором. Достигнув же высшей власти, он резко переменился в своем отношении к любовнице. Ведь Зое уже перевалило за пятьдесят лет. А этот баловень судьбы был молод. Справедливость требует сказать, что он отличался и некоторым величием духа. Прошло немного времени, и Михаил опасно захворал. Но перед тем, как окончить свой жизненный путь, пожелал принять монашеский чин. Когда уже настал час зажигать светильники и петь стихиры, чтобы постригать его, оказалось, что иноческая обувь еще не сработана башмачником. И можешь себе представить! Василевс не захотел идти к Богу в пурпуровых кампагиях. Это такие высокие башмаки, присвоенные царскому званию. Он предпочел пойти босыми ногами по каменному полу, изнемогая от лихорадки. Очевидцы рассказывали мне, что в монастырь явилась и Зоя. Пешком, в покаянной одежде. Она пожелала еще раз взглянуть на того, кто вызвал в ее душе такую бурю.

Сочинять стихи Филипп учился у Гаральда. Но он не обладал даром певца. Зато рассказывать ярл умел не хуже своего начальника и видел во время своих странствий немало.

– Еще я узнал о Зое от того царедворца, о котором Гаральд говорил на пиру. Этот человек намного старше меня. Он писатель, занимает высокое положение во дворце, но мой руководитель верно заметил, что любопытство Пселла не знает границ. Поэтому он водит дружбу не только с важными людьми, а даже с простыми воинами, в надежде узнать от них о том, что происходит в священных палатах во время ночной стражи. Он и со мной был всегда любезен. Впрочем, сам не скупился на всякие истории. О Зое однажды царедворец выразился так... Это происходило в цирке... Позволь, как же он сказал тогда? Да, будто бы характер царицы напоминает бурное море, волны которого то поднимают корабль к небесам, то низвергают в морские пучины. Запомнил эти слова. Он прав... Зоя никогда не знала предела своим страстям. Во всяком случае, всем известна ее расточительность. В один день царица способна потратить на женские украшения или шелковые одежды целый кошель золота.

– Теперь она стала женой Константина?

– Да, ведь ты слышала, как Гаральд рассказывал об этом на пиру. Хотя входы и выходы во дворце охраняются днем и ночью воинами с оружием в руках, но смерть проникает туда безвозбранно, и юный Михаил тоже умер, пораженный болезнью, как мечом. Царскую корону возложил на свое чело другой Михаил, по прозванию Калафат. Тогда на престол взошел Константин, и Зоя в третий раз сделалась императрицей. Впрочем, это не принесло ей счастья. У нее оказалась соперница...

– Склирина!

Мария рассказывала Анне об этой любимице отца, но ограничивалась пристойными словами или намеками, чтобы не унижить его царственное достоинство.

– Склирина. Он сделал любовницей племянницу, из знатного рода Склиров. Ее сопротивление Константин победил подарками, а также своей красотой. Это случилось, когда царь был еще простым смертным и томился в изгнании, где она поделила его участь и утешала в несчастье.

– Разве эта женщина красивее Зои?

– Может быть, Склирину нельзя назвать красавицей... Но Пселл уверяет, что в ней бездна очарования. Так однажды он разглагольствовал перед всеми. Будто бы она любит читать стихи, и особенно того певца, который прославил подвиги некоего воина по имени... Ахиллес или как-то в этом роде. Пселл даже называл имя того скальда, но я забыл. Знаю только, что он был слепец. Он воспел красоту одной гречанки... Ее звали Елена. Из-за этой жены в отдаленные времена вспыхнула какая-то ужасная война.

– Троянская война. Разве ты не читал в книге?

– Я не читаю книг.

– Что же произошло?

– Когда Константин стал императором, он женился на Зое, чтобы укрепить свои права на престол, но все его помыслы были направлены на возлюбленную. Сначала он поселил Склирину в загородном доме. Затем решил построить великолепный дворец для нее, а потом переселил к себе, и Склирина появляется теперь на всех церковных выходах рядом с ним и императрицей.

– И Зоя терпит это?

– Перемены судьбы так утомили царицу, что она уже относится ко всему с полным равнодушием.

– Разве возможно подобное во дворце? – изумилась Анна.

– Многие сначала негодовали, потом привыкли. Кроме того, у Склирины такая благородная душа, что люди охотно прощают ей грехи. Теперь эту наложницу в глаза и за глаза называют царицей. Жена патрикия...

Анна с недоумением посмотрела на Филиппа:

– Все та же самая? Почему ты так часто вспоминаешь эту женщину? Как ее зовут?

– Феодора... Она относилась ко мне... как сестра или как благодетельница. И вот рассказывала, что во время одного выхода Пселл, отличающийся большой ловкостью в придворном поведении, назвал Склирину Еленой, намекая на красавицу, которую прославил слепец...

– Елену Троянскую?

– Кажется, так. Склирина услышала и улыбнулась царедворцу. За это он получил от Константина очередное звание и кожаный мешочек, полный золотых монет. Но я опасаюсь, что Склирина поражена каким-то недугом.

– Откуда тебе известно это?

– Об этом тоже мы узнали от Пселла. «Посмотрите, – сказал он как-то Гаральду и мне, когда мы явились, чтобы приступить к запираанию дворцовых дверей, а он в тот вечер почему-то задержался в Священном дворце, – посмотрите, как пылают у Склирины ланиты! Это недобрый знак!» В это время Склирина, скромно потупив глаза, прошла мимо нас.

Между тем погода неожиданно изменилась. Начавшийся таким блистательным утром, сияющий день потемнел, и солнце спряталось за облаками. С запада напоздали низкие черные тучи. Анна посмотрела на них и подумала, что может пойти дождь. Только теперь она вспомнила о Святославе, о сестре и стала прислушиваться, не трубят ли рога. Нет, вокруг стояла та зловещая тишина, что бывает перед бурей. Ярославна как бы очнулась, заторопилась и в тревоге спрашивала ярла, что им теперь делать. Филиппу хотелось побыть наедине с дочерью конунга, однако, повинуясь ее желанию, он старался сообразить, в какую сторону надо ехать, чтобы присоединиться к охотничьему стану. Поглядывая время от времени на небо, ярл и Анна сели на коней и поднялись из ложбины. Им казалось, что стоит только пересечь дубраву, и за нею уже будет тот овраг, где убили вепря. Теперь отроки, вероятно, зажгли там костры и жарили его мясо. После охоты требовалось накормить людей и псов. Но, очевидно, зеленоглазая Фрейя, покровительница влюбленных, желала, чтобы Анна и Филипп заблудились. Когда они наконец выбрались из дубравы, перед ними неожиданно выросла другая роща! А листья дубов уже зашумели под крупными каплями дождя. И вдруг налетела гроза. В мире стало совсем темно, тотчас синяя молния сверкнула среди деревьев и раскатистый гром наполнил на несколько мгновений страшным грохотом гулкое лесное пространство, хотя начиналась осень и время Перуна миновало.

– Милый Филипп! Что с нами будет! – вскрикнула Анна.

Кони прибавили ходу. В поисках спасения от бури всадники углубились в рощу, под сень величественных дубов. И тогда, как это бывает только в книжных повествованиях,

Ярославна увидела перед собой бревенчатую избушку.

– Здесь кто-то живет! – с тревогой произнесла Ярославна.

Опережая Анну и успокаивая ее улыбкой, в которой блеснули его белые зубы, Филипп подъехал к хижине. Два передних зуба у ярла были крупнее других, и это придавало его лицу несколько хищное выражение, даже когда он улыбался.

У избушки, глядя в черную дыру раскрытой двери, грубо сколоченной из нетесаных досок и перекладин, ярл крикнул:

– Эй, кто тут прячется от людей?

В ответ на голос из хижины вышел бедно одетый простолюдин, в длинной холщовой рубахе без всяких вышивок и в таких же домотканых портах с заплатами на коленях. У человека была всклокоченная борода, а руки почернели от копоти. В искривленных от труда пальцах он держал секиру и с недоумением смотрел подслеповатыми глазами на неожиданно явившихся к нему незнакомцев, осторожно проводя пальцем по острию топора. Но, увидев, что молодой воин при мече и в нарядном плаще, а девица в красных сапожках, понял, что это знатные люди, каким-то чудом занесенные в лесную трущобу, где никого не было, кроме диких зверей.

– Кто ты? – строго спросил ярл. – Или ты волхв?

Как многие скандинавы, Филипп хорошо говорил по-русски.

– Я не волхв, – ответил, нахмурившись, поселянин.

– Добро. Ты разбойник?

– Нет, я не разбойник.

– Тогда что же ты делаешь в дубраве?

Всякая бедная одежда, заплаты, босые ноги немедленно вызвали в душе у этого знатного человека подозрение, недоверие и вместе с тем желание повелевать.

– Я добываю себе пропитание рубкой дерев, – отвечал поселянин.

– Это княжеская дубрава, и здесь никому не позволено рубить деревья.

– Я рублю только сухие деревья или поваленные бурей.

Филипп привык разговаривать со смердами с высоты, сидя в седле, однако почел, что уже достаточно проявил себя, и слез с коня. Анна тоже последовала его примеру, так как дождь пошел сильнее.

Она сказала дровосеку:

– Нам надо укрыться у тебя от бури.

– Да, начинается непогода, – почесал голову лесной человек. – Только в моей хижине темно и дымно.

Анна с опаской заглянула в дверь. В маленькой избушке было действительно темно от копоти, хотя и чисто; в ней едва могли бы поместиться три человека. В углу виднелся сложенный из грубых камней очаг, и на нем, в котле, подвешенном на железном крюку, готовилось грибное варево; в другом углу дровосек устроил из свежих веток подобие ложа; перед очагом стоял чурбан. Это составляло все убранство избушки, если не считать ларя с причудливой резьбой, за которой хозяин хижины, вероятно, коротал долгие зимние вечера при свете лучины.

Дым из очага уходил в отверстие, сделанное в тростниковой крыше. Дыру зимой приходилось затыкать. В хижине было тепло. Еще Анна заметила, что на деревянном гвозде висела сеть для ловли птиц.

– Ты – красавица, – неожиданно сказал дровосек, разглядывая Анну.

Она рассмеялась, и этот смех пробил лед между страшным человеком с секирой в руке, у которого Бог знает какие были мысли на уме, и дочерью могущественного князя.

– Для чего ты рубишь деревья? – спросила Анна.

– Дрова готовлю.

– Где же дрова?

– Ношу каждое утро вязанку в город и там продаю, а на полученные медные деньги покупаю пшено и хлеб и так живу.

– Где твоя жена? – опять спросила Анна.

– Жену мою застрелил стрелой злой печенег.

– А дом?

– Дом сгорел, а когда был мор, умерли и дети, и их похоронили в скудельнице.

– И ты остался один?

– Один.

Потом с видимым страхом прибавил, подняв корявый палец и прислушиваясь:

– Слышишь, как Перун гневается? Найдите в моей хижине приют, пока не отшумит буря, а коней я привяжу к дубку.

– До Киева отсюда далеко? – спросил Филипп.

– Если выйти в путь, когда солнце еще не поднялось над лесом, то прийдешь в святой Киев до того, как оно станет на полдень. Сколько это будет, я не считал.

– Когда перестанет дождь, покажешь нам дорогу, – сказал ярл.

– Сделаю все, что ты мне повелишь, – согласился смерд.

– Как тебя зовут? – любопытствовал на всякий случай Филипп.

– Анастас.

– Крещен ли ты? – спросила в свою очередь Анна.

– Верую в Святую Троицу.

– Почему же ты Перуна вспоминал, языческого бога?

– Так осталось у нас от прошлого. Гроза – Перун, молния – его семя.

Но, желая из благоразумия переменить разговор, дровосек прибавил:

– Если хотите утолить голод, то у меня варится грибная похлебка. А вот хлеб. Похлебка же моя сварена с душистыми травами.

– Есть ли ложки у тебя?

– Две ложки.

Дровосек засуетился у очага, где огонь уже угасал. Смерд налил поварешкой варева в деревянную миску и достал две таких же ложки с искусно вырезанными ручками в виде птичьих голов с раскрытыми клювами.

Анна проголодалась и стала есть из одной миски с Филиппом грибы, и никому из них не пришло на ум предложить поесть и Анастасу. Дровосек взял секиру и вышел на дождь, может быть не желая мешать молодым людям забавляться любовью. Вид у этого человека был такой дикий, что его в самом деле можно было легко принять за волхва. Анастас оброс волосами, руки его огрубели и стали похожи на корневища. Но в этой дикости таилась добрая человеческая душа, испытывавшая страдание. Однако Анна подумала об этом лишь много лет спустя, когда уже ничем нельзя было отблагодарить хозяина хижины за те блаженные минуты...

Обжигаясь, Анна стала есть похлебку, и вместе с нею, держа в одной руке ложку, а в другой кусок ячменного хлеба, пристойно утолял голод Филипп. За едой Ярославна вспомнила историю некоей книжной красавицы. Оставленная мужем и жестокосердно изгнанная из родительского города к лесным зверям, она воспитывала сына в такой же бедной хижине, по соседству с медведями и волками.

Гроза утихла, но дождь не прекращался. Его шум как бы отделил избушку от всего мира. Дровосек пропал в лесу, и Анна чувствовала себя на краю света. Горьковато пахло дымком. Ярославна явственно ощущала вещи, что находились вокруг, но ею постепенно овладевала какая-то истома. Все ее существо тянулось к воину, с которым она очутилась наедине. А ярл строго смотрел в сторону, опустив голову, точно страшился того, что должно было совершиться. Оба молчали некоторое время, прислушиваясь к дождю, и, чтобы нарушить эту тишину, Анна попросила Филиппа:

– Расскажи мне еще что-нибудь!

Ярл вздрогнул и погладил рукою лоб. Его холодное северное сердце медленно разгоралось в любви, но даже оно теперь закипело.

– Что тебе рассказать?

– О себе.

– Могу удостоверить, что наш род древний. Я сын упландского ярла Эрика, сына Ульфа.

– Жив твой отец?

– Нет, он рано погиб в одном морском сражении, а мать не вынесла разлуки с ним и умерла, когда я еще был ребенком, и меня воспитала старая Элла. Старуха верила в древних богов и учила меня в детстве, что выше всех на небе бог Один и его сын Тор, воитель. У него есть другой сын, которого зовут Тир. Это – бог воинской мудрости. Элла говорила, что самое счастливое для всякого воина – умереть на поле битвы, чтобы попасть в Валгаллу.

– Я не знаю, что такое Валгалла, – покачала головой Анна.

– Я объясню тебе. Это – небесный дворец, где пируют умершие с оружием в руках. Хотя в нем пятьсот дверей, но в них происходит вечная давка. Столько воинов погибает на полях сражений ежечасно! И тогда Один посылает за их душами прекрасных Валькирий. Они сидят рядом с пирующими в Валгалле. Те же, что умирают на постели, идут в мрачное царство Геллы. Так называется богиня смерти. Но у Одина много детей. Среди них – Бальдер, бог милосердия, и Фрейя, богиня любви. Вот что рассказывала мне старая Элла. Говорят, она была колдуньей.

– Но разве боги существуют? Есть только христианский Бог! – воскликнула Анна.

– Не знаю, что выдумка и что правда в словах Эллы. Но так она говорила. Будто бы боги враждуют между собою, и, когда они сразятся друг с другом, весь мир погибнет в огне. Солнце потускнеет, земля уйдет в море, блестящие звезды упадут с небес, и все будет снова как при сотворении мира, когда ничего не было. А что существовало, то нельзя назвать ни землей, ни морем, ни песком, ни ветром, ни бурей.

– Никогда не видела моря, – вздохнула Анна.

– Придет час, и увидишь.

– Почему я увижу море?

Филипп усмехнулся:

– Может быть, станешь женой датского короля? Или короля Британии? Путь к ним – на корабле.

Но Анне не хотелось думать в эти минуты о королях. Ей ничего не надо, кроме этой бедной хижинки!

– Расскажи мне еще о том, что тебе говорила Элла, – просила она.

– Я узнал от нее много любопытного. Как первая травка пробилась на земле. Солнце бросало свои левые лучи на луну, а правые на зеленую лужайку. Тогда боги разделили день на утро, полдень и вечер, а мраку дали название ночи. Уже тогда люди жили на земле. Она постепенно устраивалась. На ней шумело огромное дерево. Под ним рождались и умирали азы.

– Азы?

– Предки всех людей.

– Так верят в твоей стране?

– О, теперь многие уже стали христианами. К нам приходят проповедники из Рима. Те же, кому не хочется расстаться со старыми верованиями, уплывают на отдаленный остров льдов. Там холодно, но нет церквей.

– Еще расскажи мне что-нибудь!

Анна взяла в свою руку пальцы Филиппа, длинные и белые, чтобы лучше рассмотреть золотой перстень. На кольце не было никакого камня, но его украшало изображение какого-то крошечного зверька.

- Что это? – спросила она.
- Выдра... Хочешь послушать об этом кольце?
- Хочу.

Рассматривая свой перстень, как будто бы увидев его впервые, Филипп стал рассказывать:

– Это случилось очень давно, когда боги еще жили на земле как простые охотники.  
– Как могут быть боги охотниками?  
– Так говорила старая Элла.  
– Хорошо... Это случилось, когда боги были охотниками...  
– Когда боги были охотниками. Пришлось как-то Одину и еще другому богу, которого звали Локки, проходить мимо водопада. Может быть, мимо того, что шумит в стране Карелы. У воды лежала выдра и, зажмурив глаза, пожирала пойманную рыбу. Локки метнул камень из пращи и убил ее. Довольные охотничьей удачей, боги пошли дальше и к вечеру добрались до хижины одного прославленного чародея, у которого попросили ночлега. Перед тем, как сесть за стол, они показали хозяину убитую выдру; кудесник узнал в ней своего сына, знаменитого охотника, что обладал способностью превращаться в различных зверей и в таком виде охотился на зайцев или ловил рыб. Разгневанный хозяин хотел предать гостей смерти, но Один упрямил его не делать этого и обещал уплатить столько золота, сколько можно положить на шкуру выдры. Локки отправился в лес, поймал карлика, которому была известна тайна клада, спрятанного на дне реки, и с его помощью нашел сокровище. Он отдал все золото волшебнику, а себе оставил только одно-единственное кольцо. Оно приносило счастье всем, кто его носил. Но чародей узнал об утаенном перстне и наложил на него заклятие. С тех пор кольцо приносит смерть.

- Это самое? – показала Анна пальцем.
- Говорят, кольцо принадлежало Локки. Мне оно досталось от отца, а отец получил его от своего отца... Все они погибли на поле битвы.
- Почему ты носишь перстень, если он означает смерть?
- Разве не все люди смертны? Лучше погибнуть в сражении, чем от мучительной болезни.
- Брось его в глубокую реку! – убеждала Анна ярла. – Или лучше – отдай мне!
- Зачем тебе кольцо?
- Я брошу его в Днепр.
- Не хочу, чтобы ты прикасалась к нему. Этот перстень принесет тебе несчастье.
- Но ты же сказал, что все люди смертны.
- Мое кольцо приносит человеку смерть еще задолго до того, как его волосы станут серебряными.

– Я не хочу, чтобы ты умер до того, как твои волосы станут серебряными!

Филипп с удивлением посмотрел на Анну. От этих слов на него повеяло непривычной теплотой. Точно он почувствовал очень близко женское дыхание. Так сказать могла только русская дева!

Ярославна сидела на обрубке дерева, ярл – на ложе из березовых веток. Дровосек стерег коней или бродил в лесу с секирой в руке. Гроза уже отшумела, дождь стал понемногу стихать, время приближалось к вечеру. Когда молодые люди насытились и еда перестала занимать их, и Филипп рассказал все, что хранила его память, оба умолкли. Это было страшное молчание. Филипп слышал, как взволнованно дышала Анна, и от сознания, что девушка в его власти, все наполнялось в мире сладостным туманом. Такие встречи бывают только в сагах.

Жизнь скитальца, какую ему приходилось вести, помешала Филиппу обзавестись семьей. В Константинополе ненасытная в похоти Феодора научила его всем тайнам греческой любви. Но он расстался с нею без сожаления. Ведь в каждом завоеванном городе или в том,

который варягам поручали охранять от нападения врагов, можно было без затруднения найти красивую рабыню. А нежность Анны хотелось сравнить с розой, что он видел однажды в императорском саду. Но разве дочь конунга создана для того, чтобы стать чьей-нибудь наложницей. За прикосновение к ней грозила смерть. Это означало бы нарушение клятвы, данной на обнаженном мече, а клятвопреступнику нет пощады ни от небесного, ни от человеческого суда. Сердце у него билось так сильно, что он слышал его удары в ушах, как грохот молота о наковальню. И вдруг Анна увидела, что Филипп смотрит такими глазами, какими еще никто никогда не смотрел на нее... Ей стало страшно и сладко, как тогда, когда она ехала на коне и Ярл любовался ею... Еще слаще! И хотелось, чтобы эта волна счастья поднималась все выше и выше, чтобы так продолжалось бесконечно. Но она была неопытна в любви, не знала, что любовник ждет знака, ожидает помощи и одобрения, если не решается удовлетворить свое огненное желание.

Филипп взял маленькую горячую руку Ярославны в свои, и, в предчувствии чего-то приближающегося как гроза, она позволила это. Ярл привлек Анну к себе, и, чтобы не упасть, девушка должна была опереться руками в его грудь.

– Не надо! – прошептала она. – Чего ты хочешь от меня?

Теперь в хижине царила богиня любви. Тысяча арф наполняла вселенную грохотом музыки. Никогда Ярослава не слышала ничего подобного. Было сладко и печально гладить золотые локоны ярла...

И вдруг, почуяв своих в дубраве, конь Филиппа призывно заржал, и в ответ послышались звуки рога и топот подков. Варяг вскочил и подошел к двери.

– Ярл Святослав сюда скачет, – сказал он глухим голосом.

Анна тоже выглянула из хижины. В лесном сумраке мчался брат в сопровождении отроков. Она даже не успела подумать о том, что сказать о своем недостойном поведении, как Святослав уже остановил коня у самой двери. Увидев жеребца и Ветрицу, привязанных к дубу, князь догадался, что сестра и Филипп в избушке.

Хмельной от выпитого на привале меда, он спросил, гордясь своей книжной мудростью, но с тревогой во взоре:

– Сестра, или ты забыла о светильниках благоразумных дев?

Князь начитался книг, собирая в них, как пчела, словесную сладость. Соскочив с коня и отстраняя Филиппа, он с беспокойством окинул взглядом внутренность хижины. Видимо убедившись, что ничего непоправимого здесь не произошло, Святослав обратился уже к ярлу:

– Почему вы здесь?

– Заблудились, брат, – ответила за варяга Анна, покраснев.

– Заблудиться легко, труднее выбраться на истинный путь, – проворчал князь, строго глядя на сестру.

Она покраснела еще больше и опустила глаза.

– А ты о чем помышлял? – опять спросил Святослав варяга.

– Я следовал за Ярославной. Не мог оставить ее.

– Надо было на звук рогов ехать.

– Не слышали. Дождь заставил нас в хижине укрыться.

Филипп смотрел князю прямо в глаза, и Святослав понял, что лучше поверить ярлу, или прольется кровь. Он сухо бросил Анне:

– Садись на кобылицу. Сестра беспокоится о тебе.

Анна видела, что Филипп расстегнул кожаный пояс и, вынув из него золотую монету, положил на чурбан.

Оказалось, что становище охотников находилось совсем близко. Но это Фрейя кружила влюбленных по дубравам...

После того дня Анна видела Филиппа только издали, на княжеском дворе или в церкви,

когда тайком смотрела из кафизмы на молящихся. Не было ни пиров, ни охот. Вскоре наступила зима, и Елизавета уехала с Гаральдом в далекую Упландию, а Филиппа послали с отроками на полюдь в северный край. Весной ярл вернулся, привез гору вонючих мехов, возы меда и воска. Ярослав назначил его начальником охранной дружины, и Анна подумала, что, значит, Святослав ничего не сказал отцу. Сестра тоже молчала, как рыба. Но ведь Филипп даже не поцеловал ее тогда, как это случается в книгах, в которых пишут о любви...

Мать ушла в опочивальню к отцу, потому что ей не терпелось узнать подробности о послых. Анна, сидя на постели, с бьющимся сердцем окликнула рабыню:

– Инга!

Но на длинные ресницы рабыни уже слетел сон.

– Инга!

– Я здесь, Ярославна, – встрепенулась девушка.

– Скажи, – шепотом спросила Анна, – ты видела ярла Филиппа?

– Видела.

– Инга!

– Что, Ярославна?

– Любишь ли ты меня? Сделаешь ли то, что попрошу?

Прислужница затрепетала, как птичка. Рабыни знали, что их молодая госпожа тоскует по Филиппу, ловили ее влюбленные взгляды, тайком обращенные к молодому скандинаву. Что теперь она замыслила сделать?

Но Анна тяжело вздохнула, вспомнив, что ярл не умеет читать. Бесплезно было посылать ему письмо. Попросить Ингу, чтобы передала на словах о том, что переживает Ярославна? Тогда весь Киев будет знать о ее любви, может быть, станет смеяться над нею. А ведь ей суждено стать королевой Франции.

## VI

Перед тем как принять послов франкского короля, Ярослав позвал митрополита Феопемпта на совещание. Оно происходило в глубокой тайне, в присутствии двух любимцев: княжича Всеволода и пресвитера Иллариона, которого старый князь очень уважал за благочестие, ученость и беспокойство о Русской земле. На другой же день на торжище стало известно, что греческий митрополит недоволен приездом посольства и укорял Ярослава за его стремление выдавать дочерей замуж за латынян.

Ярослав не питал большой нежности к константинопольским владыкам и только ждал удобного случая, чтобы избавиться от Феопемпта и поставить на его место своего любимца Иллариона. Митрополит вызывал неудовольствие князя склонностью к соглядатайству, а также покровительством корсунским купцам, товары которых находили беспопыльное убежище за каменной стеной митрополичьего двора, неподалеку от храма св. Софии.

Дело было, конечно, не только в этом. Достоинство удивления то упорство, с каким Византия навязывала славянам мысль о всемирной власти василевса. Даже сами греки знали, что это была совершенная фикция. Но она утешала константинопольских идеологов среди той печальной действительности, какая их окружала.

На совещании митрополит Феопемпт имел неосторожность еще раз напомнить Ярославу, что он должен чтить греческого царя как своего духовного отца. Но даже этот богомольный князь хмурился в праздник положения риз, установленный в память победы греков над руссами, когда буря разметала скифские ладьи. Феопемпт доказывал князю:

– В этот день в христианских церквах празднуется не победа греков над русскими, а христиан над язычниками.

Обычно из Константинополя присылали на Русь епископов, знавших славянский язык, и князь и митрополит понимали друг друга. Но Ярославу были не по душе подобные

рассуждения. Только постоянный, не покидающий его ни днем, ни ночью страх перед мыслью, что, убегая апостольской церкви, он может погубить свою бессмертную душу и обречь ее на вечные муки, удерживал князя от разрыва с греками. Были у князя причины и более земного характера: он собирал в виде дани огромное количество пушного товара и обычно сплавлял его в Херсонес и Константинополь, а ссора с василевсом лишила бы его этой возможности. Митрополит Феопемпт тоже отправлял туда меха, полученные в Полоном, отданном ему в кормление, и на этой почве у князя и греческого митрополита расхождений не было. Но Феопемпт был сребролюбец и прятал свои деньги в тайнике, Ярослав же на вырученные от продажи мехов деньги покупал товары, доставляемые из Царьграда, – парчу и шелк, бумагу и благовония, вино и сухие фрукты. Из Греции приходили художники, учителя четырехголосого пения, строители церквей, и им тоже надо было платить. Без этих людей Русь еще не могла обходиться. Это связывало русских князей по рукам и ногам, и Всеволод, наделенный пониманием политической обстановки, многому научившийся у греков, старался смягчать напряженное положение и не доводить дело до кровопролития.

Но одно из вооруженных столкновений с царьградскими греками произошло незадолго до описываемых событий. Анна была тогда еще совсем юной и вместе с сестрами смотрела с высокой башни, как при огромном стечении народа, собравшегося на Подолии, многочисленные ладьи и челноки, полные русских воинов, отплыли воевать в далеком море.

Иллариона и многих других книжников на Руси раздражали выпендрившиеся слова царьградских витий, вроде той речи, что в самоуспокоении по поводу победы над печенегами произнес Иоанн Евхаитский, друг и покровитель Михаила Пселла. Греки свысока смотрели на «варваров», и, оскорбленные таким пренебрежением, горячие головы толкали Ярослава на необдуманные действия, забывая о том, что у царя есть хорошо устроенное войско, много золота и, наконец, страшный греческий огонь. Предприятие представлялось весьма рискованным, однако пока не было другого способа заставить греков считаться с молодым русским государством, а сказания о счастливых походах под стены Царьграда подогревали славолубие даже у такого рассудительного человека, как Ярослав.

Поводом для войны послужило убийство в Константинополе богатого русского купца. Но уже заблаговременно были срублены огромные деревья и выдолблены челноки, чтобы в случае надобности спуститься в них в половодье по Днепру до того места, где река так узка, что через нее перелетает печенежская стрела. Дальше открывался путь в Русское море, а за ним лежала греческая страна.

Во главе киевских воинов и наемных варягов отправился в поход старший сын князя, Владимир, которому тогда едва исполнилось двадцать пять лет. Но при нем находился старый и опытный воевода Вышата. Владимира послали с расчетом, чтобы слава победы осталась за представителем княжеского рода, хотя это был человек мало пригодный для подобных предприятий и, кажется, более интересовавшийся загробными тайнами, чем воинскими подвигами, прилежно читавший пророческие и тайноведческие книги. С таким вождем русские воины пошли с одними секирами в руках против медных труб, изрыгающих греческий огонь.

Благополучно миновав пороги, русские ладьи спустились к морю, поразившему никогда не видевших его хлебопашцев своей огромностью и непрерывным движением. Все здесь было ново для жителей Киева, Переяславля или какого-нибудь тихого Листвена: соленый воздух, раковины, медузы, дельфины. Странные рыбы попадались в русские сети, и невиданные деревья росли на каменистых берегах. Воины говорили князю:

– Кто советен с морем? Высадимся на берег и будем ждать греков.

Это были мирные люди, приплывшие сюда на утлых челнах, потому что такова была воля князя. Но они относились ко всему с осмотрительностью и опасались непривычной стихии.

Однако жадные до военной добычи наемники, которых манил полный сокровищ

Константинополь, настаивали:

– Что доброго можно найти среди скал? Пойдем на ладьях под Царьград, как ходили некогда Олег и Игорь.

О походе Олега, прибывшего к воротам царственного города свой щит, гуслиры пели песни, победа казалась молодым воинам легко достижимой, заманчивой, обещающей богатую добычу.

На совете Вышата выступал против морского боя. Однако молодой князь, весь во власти пророческих видений, послушался варягов, и его ладьи двинулись из устья Дуная в греческие пределы. Воины гребли изо всех сил, не предполагая, что они уже стремятся к своей гибели. В Константинополе своевременно получили известие о приближении скифов, как называли русских в панегириках императорам, и в дальнейшем все произошло так, как это обычно описывалось в монастырских хрониках, где на помощь ромеям неизменно приходили небесные силы. Обманув царскую стражу, Владимир Ярославич ворвался под покровом ночной темноты в Пропонтиду и наутро выстроил ладьи в одну непрерывную линию против царственного города, желая устрашить врагов числом княжеских воинов. На рассвете русские с волнением увидели совсем близко купол св. Софии и великолепие дворцовых зданий...

По своему обыкновению, греки вступили в переговоры. Владимир, вероятно, по наущению варягов, – потребовал по фунту золота на человека. Такие условия мира оказались явно неприемлемыми для Константина Мономаха.

Целый день греческие корабли не решались нападать на русские ладьи, по-прежнему выстроенные в одну линию. Только с наступлением темноты Феодоркан, друнгарий царских кораблей, начал морское сражение. Камнеметательные машины и греческий огонь сделали свое дело. Но здесь уже начинаются легендарные события. Поднялась ужасающая буря, и патриарх утверждал, что это Божий гнев возмутил доселе спокойное море. Чудовищные волны, как щепы, разметали русские челны. С большими потерями Владимир Ярославич стал отходить. Но когда Феодоркан увлекся погоней, русские, используя свое превосходство в маневренности и быстроходности, снова вступили в бой, потопили несколько неприятельских кораблей и четыре галеры захватили. Феодоркан в этой битве был убит...

Во время бури корабль Владимира пошел ко дну, так что он и воевода Вышата вынуждены были пересест в ладью Ивана Творимича, одного из военачальников. Многие другие челны погибли, и находившиеся в них люди утонули в морских пучинах. Около шести тысяч человек, побросав тяжелое вооружение, мешавшее плыть, добрались до берега и стояли там, намереваясь сухим путем вернуться на Русь, хотя никто из воевод не хотел идти с ними.

Тогда старый Вышата сказал:

– Я пойду с вами. Останусь ли жив или погибну, но разделю вашу участь!

Когда буря утихла и в Константинополе поняли, что она сокрушила силы варваров, император Константин Мономах послал вдогонку за оставшимися в море скифскими ладьями четырнадцать быстроходных кораблей, вооруженных огнеметательными трубами. Но Владимиру удалось отбиться от греков и, нанеся царскому флоту некоторый урон, беспрепятственно возвратиться в устье Днепра.

Трагичнее было положение тех, кто находился с Вышатай. Его воины, измученные голодом и прочими лишениями, так как оставались без всяких припасов и почти без оружия, шли берегом моря. Вскоре отряд оказался окруженным греческими войсками, в числе которых были закованные в железо всадники. Русские мужественно защищались, и многие пали на поле сражения, предпочитая смерть позору плена. Только восемьсот человек попало в руки врага живыми, и среди них насчитывалось немало раненых. Одержав эту легкую победу над безоружными, ромеи ослепили пленников и самого воеводу Вышату, а некоторым, кроме того, отрубили правую руку.

Лишь незадолго до приезда франкских послов, когда отношения с Царьградом вновь наладились, слепцов отпустили на родину. Мир был скреплен браком Всеволода Ярославича на дочери Константина Мономаха. Вместе с нею прибыл на Русь митрополит Феопемпт.

Подворье митрополита, обнесенное высокой каменной стеной, напоминало крепость или молчаливый монастырь. Здесь было много черных монахов и строго соблюдался распорядок константинопольской жизни. Феопемпт обитал в больших палатах. Внутри стены дома были украшены мрамором и благочестивыми картинами. Всюду здесь слышалась греческая речь, и во время литургии поминали василевса и его благоверную супругу. Обязанности привратника тоже выполнял греческий монах, и если у кого-нибудь возникала потребность попасть к митрополиту и он стучался в его ворота, то сначала приоткрывалось небольшое окошечко, забранное решеткой, и оттуда посетителя внимательно оглядывали черные, как маслины, глаза; только убедившись, что за дверью стоит известный человек, привратник отворял низенькую калитку. Большие ворота широко растворялись лишь тогда, когда митрополита посещали представители княжеской семьи или привозили из Полоного оброк на повозках – зерно, дрова, различные овощи, кур и прочую живность.

Когда патрикий Кевкамен Катакалон, совершив небезопасный путь через пороги, прибыл в Киев, он, как и все приезжающие из Константинополя, остановился в покоях митрополита. Вместе с письмом василевса патрикий доставил из Константинополя богатые дары, всякого рода шелковые и парчовые одежды, серебряные сосуды, благовония. Но в действительности это был очередной соглядатай, и Ярослав догадывался, что царедворцу предписано разузнать, с какой целью прибывают франкские послы. Константин Лихуд, вершивший при Константине Мономахе всеми делами в ромейском государстве, ибо сам император предпочитал предаваться приятной неге в обществе худенькой Склирины, поручил патрикию по возможности помешать браку еще одной дочери русского князя с королем латинской веры.

Патрикий Кевкамен Катакалон сидел в кожаном кресле, украшенном медными гвоздиками в виде звездочек, устало свесив руки с подлокотников. На длинных пальцах патрикия поблескивали драгоценные перстни. Но его сегодня обуревало дурное настроение, и он не считал нужным изображать на лице приятную улыбку, как привык это делать в Священном дворце или при встрече с Ярославом, с которым ему хотелось во что бы то ни стало установить дружественные отношения. Патрикий сердился на митрополита за неловкое поведение во время вчерашнего совещания с князем, когда этот медведь в монашеском одеянии расстроил все его хитросплетения.

Вчера они с митрополитом посетили русского архонта, как в Константинополе называли всех владетельных князей. Беседа завязалась по поводу приехавших в Киев франкских послов, и Катакалон, осторожно нащупывая почву, пытался убедить Ярослава отказаться от брака Анны с латинянином, намекая, что василевс беспокоится о спасении ее души, которая легко может запятнать себя ересью, и что патриарх придерживается такого же мнения, исключительно в заботах о русских братьях и сестрах во Христе. Патрикий знал, что Ярослав иногда сам называет себя царем. Поручение надо было высказать, принимая во внимание неимоверную гордыню русских, в особенно мягких выражениях, а митрополит, постукивая пальцем по столу, брюзжал:

– Греческий царь будет недоволен подобным браком.

Это был слон в лавке горшечника, и не успел патрикий вмешаться, как русский князь резко ответил:

– Пусть греческий царь не вмешивается в мои дела, как и я не вмешиваюсь в его помыслы.

Собственно говоря, беспокоился по поводу брака Анны не столько василевс, сколько Константин Лихуд. Когда логофет дрома – сановник, ведавший сношениями с иностранными государствами, – представил обстоятельный доклад о положении дел на берегах далекого

Борисфена, как в константинопольских дворцовых службах упорно называли Днепр, и сообщил василевсу о латинском посольстве, прибытие которого в Киев грозило упрочением связей между Руссией и католическим Римом, тот в раздражении ответил:

– Не докучай мне подобными пустяками!

Но это отнюдь не были пустячные события. За резкими словами Ярослава скрывалось намерение князя и вообще русских правителей не идти на поводу у Константинополя. Надлежало использовать самую тонкую лесть, чтобы успокоить гордость киевского архонта. Только хотел патрикий еще раз напомнить об исключительно братских чувствах василевса к могущественному христианскому владыке, как митрополит опять испортил все дело.

– Если есть един Христос на небе, то должен быть и единый царь на земле, – сказал он поучительно.

Ярослав в явном гневе возразил:

– Пусть царь правит в своей земле, а я в своей. Каждая страна имеет пастыря. Твое же дело, святой отец, молиться о нас и помогать мне мудрыми советами в церковных делах. Однако я не потерплю, чтобы кто-нибудь думал, что он господин мне.

Сидевший за столом Всеволод, еще бледный после болезни, вежливой улыбкой пытался смягчить резкость отцовских слов.

Катакалон, чтобы не обострять и без того напряженное положение, поспешил согласиться:

– Твои слова разумны!

– А если тебе, святой отец, мало того, что ты получаешь от меня, – продолжал Ярослав, не обращая внимания на льстивые слова патрикия, – то я дам тебе вдвое против прежнего. Меха и прочего.

Феопемпт облизнул старческие губы. Всем было известно его сребролюбие.

Катакалон негодовал на этого высокопоставленного церковного глупца, который не умеет щадить самолюбие россос. А между тем разве не составлены по поводу их гордости даже поговорки? В голове у патрикия тут же мелькнула школьная загадка о мученике. Первые три буквы – насекомое, дающее людям сладость. Если отнять в имени мученика эти буквы, то получишь название надменного племени скифов... Флорос <sup>5</sup>!

Теперь митрополит не знал, как загладить свою вину перед царским посланцем, и смотрел на него заискивающими глазами. Старик очень скучал в скифской глуши, в покоях, где он жил, как в осаде. По своей немощи Феопемпт уже не мог помышлять о трудном и далеком путешествии в царственный город и о встрече с патриархом, и ему очень хотелось послушать, какие перемены в Константинополе, о чем думает патриарх. Но Катакалон не забывал, что ему придется во всем дать отчет Лихуду, и поэтому предпочитал расспрашивать, чем отвечать на вопросы. Полезно знать, о чем говорят в княжеском дворце и на рынках.

А Феопемпт уныло жаловался на трудность епископского служения в полуязыческой стране:

– Молятся по ночам в овинах бесам, в рощах колдуют или у реки. Целуют сияние месяца на воде. Попы служат Божественную литургию, наевшись накануне омерзительного луку, и смрад исходит из их уст на священные потиры...

Устремляя орлиные взоры в далекое будущее, патрикий интересовался более важными вещами.

– Архонт все так же не любит ромеев? – спросил он, не дослушав митрополита и небрежно рассматривая свои хорошо подстриженные ногти.

– Не любит. Ромейские обычаи не приемлет. Я увещевал его: не казни злодеев смертью, ибо сказано – «не убий!». Наказывай их ослеплением. Но он говорит, что такого никогда не было на Руси. Его мнение, что лучше убить человека, чем лишить зрения.

– Не любит ромеев, – тянул задумчиво Катакалон, о чем-то размышляя и не слушая

болтовню митрополита.

– Около него этот нечестивец Илларион. Все нашептывает князю про греческих человек. Будто бы Ярослав хочет меня в монастырь заточить, а его сделать митрополитом.

– Подобное было бы весьма нежелательно, – встрепнулся патрикий. – Убеждай князя, что отрыв от греческой иерархии чреват гибельными последствиями. Доказывай, что без апостольской церкви нет спасения в загробной жизни... Увы, чем другим мы можем держать скифов в повиновении?

Наступило молчание.

– Надо пообещать архонту какое-нибудь придворное звание, – вздохнул патрикий, – ведь отец его носил сан кесаря.

– Я говорил Ярославу, что василевс награждает чинами за приверженность к греческой церкви.

– Что же он ответил?

– Ответил, что не нуждается в этом.

Катакалон опять вздохнул. По всему было ясно, что едва ли удастся ему выполнить возложенное на его плечи ответственное поручение. Душу охватывала тревога при мысли, что предстоит возвратиться в Константинополь с пустыми руками, не привезя ничего, кроме расписок в получении императорских даров. Патрикий уже видел перед собой своего недоброжелателя, чувствовал на себе его презрительные взгляды. Не потому ли логофет и отправил несчастного Катакалона на берега Борисфена, что заранее был уверен в неудаче подобного посольства?

В те дни в Константинополе делил правление со стареющей Зоей легкомысленный Константин Мономах; василевс по-сыновнему относился к августу, которую уже можно было назвать старухой, ежедневно внимательно расспрашивал василиссу о ее ревматизмах и запорах, но в своих объятиях даже мысленно сжимал одну Склирину. Целью существования на земле император считал жизнь, полную наслаждений и огражденную от всего, что угрожает страданиями или может заботами омрачить у человека хорошее настроение. Константин не выносил никакого длительного труда, торжественные церемонии наскучили ему до крайности, и он предпочитал им хорошую пирушку в присутствии красивых женщин и образованных собеседников; старое вино и редкостные яства были ему милее всякого коленопреклонения, однако выше всего он ставил любовные утехы. Государственные средства таяли в его руках, как снег от лучей весеннего солнца. Катакалон был осведомлен обо всем этом и, будучи одним из тех, чьим разумом, опытом и ревностью держалась среди бурь ромейская держава, не мог одобрить такое поведение. Золота в священной сокровищнице становилось все меньше и меньше, несмотря на крайнюю бережливость казначея, умолявшего о сокращении расходов.

Но Константин мало считался с благоразумными советами и продолжал швырять деньги на ветер: построил великолепный дворец, вырыл пруд посреди вновь разбитого сада, где огромные деревья, яблони и розы были посажены в одну ночь, и бродил по садовым лужайкам со Склириной. Пруд был так искусно скрыт в зелени кустарника, что не подозревавший о его существовании посетитель, шедший по дорожке, усыпанной разноцветными камушками, заглядевшись на румяные яблоки или на павлинов, легко мог упасть в воду, к величайшему удовольствию благочестивого императора. В этом пруду Константин купался в жаркую пору. Он и не подозревал, что найдет там свою смерть.

Кевкамен Катакалон считался одним из самых способных вельмож Священного дворца, отличился на полях сражений, принимал участие в военных действиях в Сицилии, где встретился с Гаральдом, которого варяги прозвали Смелым, и делил с ним боевые успехи. Патрикий был посвящен во все дворцовые тайны и находил, что по своим заслугам вполне достоин занять место логофета дрома или даже стать советником императора, каким сделался сей набитый книжной трухой хитрец Константин Лихуд. При одном воспоминании об этом

человеке Катакалон почувствовал необходимость излить душу хотя бы перед митрополитом.

Когда Феопемпт опять стал расспрашивать о константинопольских делах и василевсе, Катакалон, позабыв о присущей всякому благоразумному мужу осторожности, вдруг сам начал откровенничать:

– Благочестивый не вмешивается ни во что, и всем распоряжается Константин Лихуд. Хотя и делает вид, что только выполняет высочайшие повеления. Если Лихуда о чем-нибудь просят, он спешит к василевсу, склоняется к нему и почтительно шепчет ему что-то, как будто спрашивает, какова будет воля благочестивого, а на самом деле только беззвучно шевелит губами, и василевс даже не знает, о чем идет речь. Между нами говоря, он, вероятно, думает в это время о своей возлюбленной.

– Как можно сказать такое о василевсе, – покачал головой митрополит. – Он помазанник Божий.

– Его увлечение ни для кого не тайна в Священном дворце и во всем Константинополе; сама Зоя знает об этом и подсмеивается над влюбленным супругом.

Митрополит, которому было лестно, что надменный царедворец делится с ним своими наблюдениями, сочувственно покачал головой.

Катакалон уже не мог остановиться.

– Или бывает так, что находящиеся у ступенек трона спрашивают о чем-нибудь василевса, и Лихуд отвечает за него, делая вид, что преклоняет ухо к устам благочестивого.

Константин Лихуд, доверенное лицо императора, трудился, не зная отдыха ни днем, ни ночью, писал за василевса повеления и законы, назначал людей на должности, а в ночное время объезжал столицу, высматривая, нет ли чего-нибудь подозрительного в сей обманчивой ночной тишине. Даже на пирах и театральных представлениях его не покидала озабоченность, так как он замечал все предосудительные высказывания и развязные жесты собутыльников или актеров. За его спиной Мономах мог спокойно развлекаться со своей Склириной, и дела государства не терпели никакого ущерба. Но зависть и честолюбие ослепляли патрикия Кевкамена Катакалона, и он искренне считал Лихуда ничтожеством.

Чтобы переменить скользкую тему, патрикий стал рассказывать о новых постройках в Константинополе, о ценах на хлеб и оливковое масло. Митрополит полюбопытствовал:

– А как цены на меха?

– Это мне неизвестно, – с кривой усмешкой ответил Катакалон, зная о торговых предприятиях светильника церкви. Феопемпт уже успел навязать ему целый ряд всяких дел и хлопот.

В свою очередь, желая выйти из неприятного положения, так как он заметил усмешку на устах патрикия, Феопемпт спросил:

– Больше всего мне хотелось бы знать, что думает о нас, трудящихся на русской ниве, святейший патриарх.

Катакалон пожал плечами. Он недолюбливал и патриарха за его высокомерие, пренебрежение к дворцовым чинам, но больше всего за дружбу с Константином Лихудом.

– Боюсь, что святейшему, занятому более приятными вещами, чем заботы о русской митрополии, некогда подумать о тебе.

Феопемпт огорчительно посмотрел на собеседника, как бы спрашивая его, что он хочет этим сказать.

– С утра патриарший дом полон звездочетов и продавцов редких жемчужин, – продолжал Катакалон в том же тоне.

– Что ты говоришь! – нахмурился митрополит и в знак протеста даже поднял обе руки, как бы отталкивая от себя подобное искушение.

Катакалон понял, что сказал лишнее, и прикусил язык. Нет, положительно печень у него не в порядке, а от нее и эта раздражительность, мешающая спокойно говорить обо всем, что касается Лихуда или патриарха.

– Всем известно, – наставительно произнес митрополит, – что наш патриарх – человек знатного происхождения и вполне независимый, не опасаящийся противоречить даже василевсам, если этого требует польза церкви. В своей же частной жизни – великий постник. Говорят, он спит, как простой монах, на жесткой постели и принимает самую простую пищу. А ты говоришь о каких-то жемчужинах.

Понимая, что он пересолил, Катакалон кисло улыбнулся:

– В конце концов, я ничего не сказал. Может быть, эти жемчужины он приобретает для украшения священных риз?

– Это другое дело.

Чтобы загладить свою горячность, патрикий прибавил:

– Во всяком случае, это человек редкого ума.

– Я тоже такого мнения, – с удовлетворением закивал головой митрополит.

Катакалон тут же стал успокаивать себя, что едва ли старый брюзга, надавав ему столько поручений, захочет написать о его опрометчивых словах в Константинополь, хотя бы тому же патриарху, и вслух не без ехидства заметил:

– Зато во время церковных служб мы любим пышные облачения, и епископы трепещут перед нами!

Митрополит даже подался вперед в кресле.

– А разве не подобает страшиться патриарха? Говорят, он одним движением бровей потрясает небеса и горы. Что в этом плохого? Особенно в наши трудные дни, когда все полно непокорства.

– Может быть, ты и прав, – зевнул Катакалон, которому уже надоели эти бесплодные препирательства.

– Всем известно, – поучал Феопемпт, – что святейший предпринимает борьбу с еретиками, готовыми даже признать, что Дух Святой исходит и от Сына! Куда же дальше идти?

Митрополит разволновался, стал шумно дышать, как все люди, страдающие сердечным недугом. Потом, цепляясь за стол, подошел к окну и некоторое время смотрел на двор и снова вернулся на свое место. Ноги у него опухли, он передвигался с трудом.

Чтобы поговорить о другом, Феопемпт спросил:

– Некогда приходилось мне встречаться с Михаилом Пселлом. Где ныне он? Все так же велеречив этот писатель панегириков?

Разговор принял более приятное направление. Катакалон был в хороших отношениях с философом.

– Пселла я знаю давно, неоднократно беседовал с ним и получал от него знаки дружбы.

– Тоже умнейший человек.

Патрикий в задумчивости развел руками:

– Не знаю, что и сказать тебе... Пселл ведь из очень бедной семьи, хотя и уверяет, что в его роду были консулы и сенаторы. Вероятно, воображаемые. Но в уме ему действительно нельзя отказать, и это поистине образованнейший человек! С девяти лет он начал учиться в школе Сорока Мучеников, а потом изучал риторику, поэтику и философию. Беседовать с ним огромное наслаждение.

– И как высоко Михаил поднялся на лестнице придворных должностей!

– Да, ныне он уже советник царя.

– А начал служение с должности писца в Месопотамской феме<sup>6</sup>.

Катакалон с удовольствием стал рассказывать о своем знакомом:

– Как тебе известно, он много пережил в личной жизни. Дочь у него умерла. Он принял в свой дом приемную. Хотел выдать ее замуж. А жених путался с комедиантками. Одно время Пселл решил даже скрыться за стенами монастыря. Но потом, как он сам говорит с

улыбкой на устах, его снова увлекли в круговорот жизни «сирены столицы».

– Это неплохо сказано! Сирены столицы! Хе?хе!

– Ведь он большой поклонник гомеровского мира, любит Платона. Считается у нас великолепным стилистом.

– Слог – это великий дар. Но этот писатель играет словами, как фокусник на ярмарке мячами.

– Да, Пселл с одинаковым удовольствием пишет торжественные панегирики василевсам и какое-нибудь пустячное сочинение вроде «Похвалы блохе». Ты помнишь, как начинается этот трактат? «Поистине удивительно. что в то время, как все подвергаются блошиным укусам, прекраснейший наш Сергей избегает их жал». Ха-ха-ха!

– Человеку дан такой прекрасный талант, а он тратит свой дар на подобные пустяки, – морщился Феопемпт. – Или его увлечение философией! Неужели Пселл не понимает, что, читая Платона, он подвергает опасности свою душу?

– Хоть философ и друг мне, – опять рассмеялся Катакалон, – но должен тебе по совести сказать, что ради одного красиво построенного периода этот муж способен погубить и собственную душу.

– Сие весьма печально, – промолвил Феопемпт, не понимавший, что такое шутка. Презирал он и всякие бесплодные упражнения ума и всячески препятствовал просвещению порученной ему скифской паствы, считая, что людям, недавно приобщенным к христианству, книги могут принести лишь вред, сея в неопытных душах сомнения, ибо родят у человека пытливость к земному и могут поколебать веру в Святую Троицу. – Паче всего надлежит помышлять о вечном спасении, – прибавил сокрушенно митрополит.

– Только безумцы могут мыслить иначе, – вяло ответил Катакалон.

Ему стало совсем скучно в этих покоях, пропахнувших церковными курениями, смешанными со зловонным дыханием больного митрополита.

В ожидании приема у русского короля, как в своих разговорах послы называли Ярослава, они знакомились с городскими достопримечательностями, главным же образом с церквями и рынками, удивляясь богатству и многолюдству Киева. Епископов обычно сопровождал в странствиях по городу неутомимый Людовикус, которого и здесь многие встречные узнавали и расспрашивали о его делах. Митрополит Феопемпт наотрез отказался встретиться с латынянами, под тем предлогом, что он в эти дни пишет срочное послание патриарху, требующее полного уединения и сосредоточенности ума. Зато Илларион с видимым удовольствием всюду ходил с послами и хвалился пред ними киевскими храмами. Особенно изумляла послов церковь св. Софии, поражавшая при медленном приближении к ней своей огромностью и пятнадцатю золотыми главами. Внутри она казалась созданием ангелов, сияющая мозаиками и позолотой, росписью и подвешенными на цепях светильниками, дивно сработанными русским медником.

Готье Савейер покачивал головой... Мрамор... Воздушные своды... Паникадила...

– Какое величие... – бормотал он, а Илларион ревниво следил за впечатлением, какое производила на епископа эта красота.

Епископы поднимали взоры к повисшему в воздухе куполу и должны были признаться, что ничего подобного не видели раньше. На огромной высоте витал мозаичный Вседержитель в пурпуровом хитоне и голубой хламиде, и вокруг него летали среди легко перекинутых сводов крылатые херувимы. На главной арке зрению представлялась трогательная сцена Благовещенья. Эта далекая поэтическая мысль и вымысел книжника напоминали о земных женщинах, трудившихся дома и на полях. Люди верили, что все так и было и что Дева Мария в тот день занималась изготовлением пряжи для завесы иерусалимского храма...

В алтаре взоры посетителей прежде всего привлекало мозаичное изображение Богоматери в лиловом покрывале с тремя золотыми звездами на челе и в пурпуровых

башмачках, женственно выступающих из-под длинного царственного одеяния. Она вздымала руки над всем миром, и на стене виднелась надпись на греческом языке, которую Илларион перевел послам: «Да поможет ей Господь от утра и до утра...»

В этом изображении зрителю представлялось что-то тревожное. В огромных широко раскрытых глазах Софии скрывалась тайна. Или это и явилась миру София, мудрость, художница земли? Епископы невольно умолкли и, пораженные великолепием видения, не задавали больше суетных вопросов.

Ниже мозаист изобразил сцену евхаристии. Христос причащал апостолов хлебом и вином, и можно было явственно рассмотреть трепетные руки, протянутые к чаше, и складки одежд, взволнованных порывом умозрительного ветра. Всюду блистало золото, как бы напоминая о богатстве и могуществе русского князя.

Работы по расписыванию храма еще продолжались. В некоторых местах франкские послы видели живописцев, устроившихся на помостах, на которых стояли горшочки различной величины с красками. Как объяснил Илларион, это были мастера, вызванные из Греции. Но им помогали, перенимая искусство живописания, здешние отроки; они растирали краски, давали советы художникам, так как лучше, чем греки, знали русский мир, и даже иногда брали в руку кисть. Все трудились с большой поспешностью, торопясь закончить работу прежде, чем высохнет свежая штукатурка на стене, и на деревянных помостах царило большое оживление. Наверху, где помещалась кафизма, два иконописца клали последние краски на картине «Тайная вечеря»; было занимательно смотреть, как оживали лики участников этой странной трапезы и оставались темными черты Иуды.

Дольше всего помедлили послы перед изображением семьи Ярослава. По словам Иллариона, ее написал под западной аркадой какой-то юный русский художник. На главном месте восседал Христос. С одной стороны князь подносил ему подобие киевского храма, с другой простирала руки в христианском благоговении Ирина. Оба они были в золотых коронах. За Ярославом стояли сыновья, за Ириной – дочери, со свечами в руках. Все были в пышных греческих одеяниях.

– Которая из них Анна? – спросил Роже, долго рассматривавший изображение.

Людovicус указал перстом на высокую деву в парчовом наряде, стоявшую впереди сестер на южной стене храма.

Епископ Готье изумлялся больше всего красоте мозаик. Илларион объяснял, почему они сияют всеми цветами радуги:

– Для зеленого цвета подбирается двадцать пять оттенков, для коричневого – двадцать три. И так для прочих. Кроме того, художник располагает камешки не прямо, а под некоторым наклоном, поэтому они освещаются по-разному и тем самым принимают различную окраску. Вот почему все это так прекрасно!

Что касается епископа Роже, то его особенно поражали огромные средства, затраченные на постройку и украшение храма, на покупку церковных сосудов. Он покачивал головой, когда Людovicус сообщил ему, что мраморные колонны доставили сюда из Херсонеса. На порогах их с невероятными трудностями перетаскивали берегом при помощи катков. Кирпичи русские научились делать и обжигать уже давно. Так рассказывал Илларион, весь сиявший гордостью за Русскую землю. Его слова тут же переводил Людovicус, так как священник не знал латыни, а епископы не изучали греческого языка.

При церкви находилась палата, где происходили суды, помещалось книгохранилище, куда желающие могли прийти и читать книги. Готье с любопытством рассматривал их, но, к его огорчению, они были написаны на славянском или греческом языках.

Осматривая храмы и торжища, епископ Роже не забывал о поручениях короля. Генриху очень хотелось получить в приданое за невестой мощи папы Климента. Между прочим, когда посольство покидало Францию, на одной из остановок в пути, а именно в Реймсе, прево

<sup>7</sup>находящейся в этом городе церкви св. Марии, по имени Одальрик, тоже убедительно просил епископов разузнать, действительно ли находится в той стране, куда они едут, где-то на границе с Грецией, город Церсона. Благодетельный прево слышал, что там в день, посвященный памяти мученика, море отступает от острова, на котором стоит гробница святого, чтобы паломники могли пройти к ней посуху. Роже стал наводить справки относительно этого необыкновенного чуда.

Людовикус, принимавший участие во всех церковных разговорах, хотя его душа, если верить слухам, уже давно была продана сатане, по поручению епископа стал расспрашивать Иллариона, но тот ответил, что ничего не знает о подобном удивительном явлении, хотя бывал проездом в Херсонесе, когда направлялся в Константинополь.

– Где же находятся мощи прославленного мученика? – добивался Роже.

– Глава его положена в церкви Успения, которую у нас называют Десятиной.

– Чего же мы ждем! – воздел руки епископ.

И в этой церкви воздух был необычайно гулким, благодаря вделанным в стены кувшинам, которые называются голосниками, так как делают особенно звучными человеческие голоса и церковное пение. Этот воздух напоминал почему-то о горных высотах.

Илларион подвел епископов к каменным гробницам, находившимся недалеко от алтаря, и произнес с благоговением:

– Здесь покоятся великий наш царь Владимир, создавший эту красоту, и супруга его, греческая царица Анна...

Епископы некоторое время помолчали перед гробницами таких знаменитых людей. Камень был украшен крестами и пальмовыми ветвями.

– Просветитель нашей земли! Новый Константин! – шептал Илларион, и так же тихо его слова переводил Людовикус.

– А где же мощи святого Климента? – тоже шепотом спросил епископ Роже.

Илларион показал рукой на серебряный ковчежец на престоле. Епископы с завистью посмотрели на это сокровище. В те дни монастыри и церкви всеми правдами и неправдами собирали останки святых, бедренные кости, челюсти, зубы, даже отдельные волосы. Роже прикидывал в уме, сколько могла стоить подобная реликвия. По крайней мере триста золотых! Конечно, расходы по ее покупке оправдались бы от приношений паломников в течение одного или самое большее двух лет. Дело было верное. Но продаст ли Ярослав эти мощи? Сделает ли он такой подарок королю? Гм... Похитить? Нет, русские могли заподозрить послов, произвести розыск и отрубить виновным головы. Епископ с досадой вздохнул.

Здесь Илларион оставил франков, так как к нему прибежал княжеский отрок и шепнул что-то на ухо, и епископы в сопровождении того же Людовикуса отправились на Подolie. Для этого пришлось спуститься с горы к реке. Уже издали доносился шум огромного торжища. Кричали продавцы и покупатели, ржали кони, мычали коровы, блеяли овцы, издавали неприятные крики непривычные для франков верблюды, уходившие с тюками товаров на безобразных горбах в далекие страны. Место, где происходили купля и продажа, со всех сторон окружали обнесенные прочными частоколами торговые дворы. Здесь были расположены, по словам Людовикуса, немецкий, польский, еврейский кварталы, обитали арабы, моравы, итальянцы и хазары; тут же находились подворья новгородских купцов и варягов.

Епископы не знали, на что же обращать свое внимание. В темных подвалах, в вонючих лавках, под легкими деревянными навесами и просто на рядне громоздились всевозможные товары: блистающее холодным огнем оружие, черные кольчуги, меха, огромное количество горшков, кувшинов и мисок, деревянных кадушек, ложек. В глиняных корчагах продавали мед и вино, конопляное масло и перец, а еще дальше торговцы разложили веретена,

шиферные пряслица к ним, знаменитые русские веревки, лучше которых ничего не может быть для корабельных снастей и охотничьих перевесов.

Направо находился скотный рынок, налево – житный, где покупали пшеницу, горох и ячмень.

За столами меняльных лавок сидели жирные скопцы, седобородые евреи и величественные арабы, красившие бороды в огненно-рыжий цвет. Арабские купцы привезли из Багдада зеленую кожу, искусно сплетенные уздечки с разноцветными кистями, украшенные бляхами седла, ценные клинки мечей. Немецкие купцы торговали сукнами. Они придавали им синий цвет с помощью травы, которая называется «вайда». Греки доставили в Киев шелковые ткани и все необходимое для писания – бумагу и чернила, и люди рассматривали эти сокровища, проверяя на ощупь добротность цветистых материй, стучали пальцами по звонким глиняным сосудам. Взад и вперед бродили праздные гуляки, пришедшие сюда послушать, о чем говорят торгующие. Всюду царило оживление. Поучительно ходить по торжищу, смотреть на чужестранцев и приторговываться к товарам, показывая цену на пальцах. Персты, поднятые целиком, указывали на гривны. Затем человек как бы отсекал половину указательного пальца на левой руке другим пальцем, и это обозначало полгривны. Впрочем, многие продавцы говорили здесь на всех языках мира, счет же при помощи пальцев велся для большей верности.

Когда епископы были в самой гуще толпы, какой-то бородатый славянин – судя по одежде, украшенной меховой выпушкой, не из бедных людей – поднялся на опрокинутую бочку и стал что-то кричать, поворачиваясь во все стороны. Некоторые из прохожих тотчас столпились около него и, задрав носы, слушали призывы. Епископы, на которых большого внимания здесь никто не обращал, так как в толпе встречалось много польских и ирландских монахов, остановились в недоумении и ожидали от Людовикуса объяснений.

– У этого человека убежал раб. Теперь он делает оглашение... Таков закон. Владелец раба предупреждает, что если кто спрячет беглеца в своем доме, или даст ему кусок хлеба, или хотя бы укажет, по какой дороге ему лучше всего идти, чтобы скрыться от преследования, то заплатит судье столько же, сколько за убийство человека.

– Значит, находятся люди, которые дают беглым рабам кусок хлеба и помогают им скрыться от владельца? – сделал вывод епископ Готье не без некоторого удовольствия.

– Так бывает, – ответил Людовикус.

Но епископ Роже не мог одобрить подобную чувствительность. Он сказал:

– Если все рабы разбегутся, кто же будет обрабатывать нивы благородных людей?

Взволнованный хозяин убежавшего раба продолжал кричать во всю глотку.

– Чего он хочет? – обратился Готье к Людовикусу.

– Просит помочь в поимке беглеца, напоминает о награде за содействие.

– Велика ли награда? – задал вопрос Роже.

Людовикус объяснил, что за поимку раба полагается одна гривна.

– Это много?

– Гривна – большая серебряная монета.

– Что же можно приобрести за нее?

– Лошадь, например, стоит здесь две гривны. Если кто задержит двух беглых рабов, получит возможность приобрести для своего хозяйства коня. Это неплохо.

– Не малая награда, – вздохнул Роже, точно сожалея, что не может ловить беглых рабов.

– И часто они здесь убегают?

– Нередко, потому что многие из них были в прошлом свободными поселянами, но сделались рабами, поступив на работу.

– Почему?

– Наймит становится рабом за всякую малость. За порчу плуга или небрежное отношение к волам. Также за самовольную отлучку. А раньше эти люди жили на свободе.

Понятно, что при первом удобном случае они убегают. Ведь положение раба здесь тяжелое. Господин может даже убить провинившегося.

– И не отвечает за это по суду?

– Если господин убьет раба в трезвом состоянии, не отвечает, а если в пьяном – несет ответственность за убийство.

– Странно. – рассмеялся Готье.

– Считается, что если он убьет раба в трезвом состоянии, то за дело; под влиянием же опьянения господин может ошибиться, неправильно истолковать поступок раба. Здесь тоже встречаются большие крючкотворы.

Но разговор был прерван новым событием. Теперь уже орали два человека, что-то вырывая друг у друга из рук. Расторопный, несмотря на свою тучность, Готье успел рассмотреть, что предметом жаркого спора является добротный плащ синего цвета.

– Что им нужно? – спросил он у переводчика.

– Человек в меховом колпаке уверяет другого, что эта одежда, которую он продает, украдена и принадлежит ему, и требует вернуть ее.

– А другой?

– Другой доказывает, что купил плащ.

Лица у обоих спорящих были искажены от злобы и негодования.

– Как же они разберутся в этом деле? – поинтересовался епископ Роже.

Людovicус, уже наблюдавший подобные сцены на всех ярмарках Европы, пожал плечами:

– Вероятно, дело закончится в суде.

Спорившие кричали:

– Это мое!

– Нет, мое!

– Зачем же ты продаешь плащ?

– Еду в Курск, деньги нужны на дорогу.

Вокруг споривших собралась толпа зевак, везде одинаково жадных до подобных зрелищ. Пройдя еще немного, епископы очутились на том месте, где продавали рабов. Опустив головы, в жалких рубищах, босые и, видимо, голодные, эти люди ждали своей печальной участи. У некоторых, с особенно злыми глазами, руки были связаны за спиной веревками.

– За что их продают? – с сокрушением спросил Готье.

– Я говорил. Может быть, за порчу плуга. В интересах хозяина совершить такую сделку.

– И они не имеют возможности выкупиться на свободу?

– Откуда у них средства? А этим пользуется владелец, имеющий право обратить неоплатного должника в рабство и продать его за большие деньги.

Около выставленных на продажу любопытные переругивались со злыми холопами, стерегшими достояние своего господина. А к рабам уже присматривался восточный купец в чалме, поглаживая бороду. Такой товар считался выгодным, на этой торговле люди легко наживались. Но с невольниками было немало хлопот. Случалось, что эти богопротивные разбойники предпочитали удавить себя, чем отправляться в цепях в Константинополь и влачить там позорное существование.

– Из Константинополя невольников иногда везут в Египет и делают из них евнухов, – равнодушно заметил Людovicус.

Поглядев некоторое время на несчастных, епископы стали вновь подниматься в город. По дороге Людovicус, хорошо знавший Киев, показывал им достопримечательности:

– Вот Бориславлев двор...

– Чудин двор...

– Здесь живет Путятя...

За дубовыми частоколами стояли высокие хоромы с птицами и фантастическими узорами на оконных наличниках.

## VII

В тот день Анна с печалью любовалась Днепром, на пороге расставания с родиной. Это происходило в Вышгороде, куда Ярославна поехала на конях с братьями Всеволодом и Святославом и немногими отроками, чтобы, может быть, в последний раз побывать в городе, где прошло ее милое детство. Братья сопровождали Анну, не желая расставаться со своей любимицей на целый день.

Поселение называли Вышгородом потому, что неведомые люди построили его в отдаленные времена на горе, на берегу Днепра, в нескольких поприщах от Киева, куда из вышгородских ворот вели две дороги: одна по берегу реки, другая в объезд, лугами и рощами. Град окружали прочные бревенчатые стены и башни.

Анна сидела с братьями на ковре, постеленном отроками на склоне зеленого холма, неподалеку от деревянной церкви, в которой почивали князья Борис и Глеб. Илларион стоял. Никто из княжичей, и даже Анна, не предложил ему сесть: они были знатного рода, а он – простой монах, хотя и кладезь учености и неиссякаемый источник красноречия.

Опираясь обеими руками на деревянный посох, от долгого пользования ставший гладким, как слоновая кость, пресвитер вспомнил книжные слова:

– «Стенам твоим, Вышгород, я устроил стражу на все дни и ночи. Не уснет она и не задремлет...»

Ярославна, подпирая голову рукой, смотрела на Днепр. Следуя за ее взглядом, все повернули головы в ту сторону. С горы открывался чудесный вид: весь склон был в цветущих деревьях, а внизу струилась величественная река, голубеющая вдали; воды ее разделялись на рукава, образуя острова и заливы с серебристой водой и розоватыми отмелями. На востоке за Днепром тянулись широкие луга, на западе зеленели весенние дубравы, а на полночь темнели непроходимые дебри, в которых водились всякие звери, от легконогих оленей до яростных туров.

Сооруженная на холме пятиглавая деревянная церковь была произведением рук местных древоделов, которые в большом числе населяли город. За кладбищенской оградой росли плакучие березы, стояла тишина. Сидевшие на ковре продолжали разговор о книжной премудрости. Илларион, изучавший в Константинополе риторику, объяснял Святославу:

– Что говорит Георгий Хировоск об образах? Прежде всего он отличает иносказание...

– Или аллегория, – поднял палец Всеволод.

– Или аллегорию. То есть замену умозрительного понятия каким-нибудь видимым образом. Когда, например, слово «дьявол» заменяется словом «змея». Превод же...

– Или метафора, – с улыбкой похвастал своим знанием греческого языка Всеволод.

– Или метафора, – опять покорно повторил Илларион, – есть прием для украшения речи. Когда какое-нибудь слово приводится в переносном смысле, ради красоты. Такая метафора имеет четыре образа. Первый образ, когда одушевленный предмет заменяется одушевленным. Например, писатели охотно называют кесаря пастырем. Пастырем не стад, а человек. Или когда неодушевленное заменяется неодушевленным, если мы, например, уподобим бытие морю...

Святослав кивал головой, в знак того, что понимает объяснения.

Анна охотно допускала, что подобные вещи необходимо знать всем, кто хочет читать книги с пониманием, но сегодня ей было не до риторики, и она пропускала мимо ушей ученые рассуждения Иллариона, думая о другом...

Когда монах закончил свои объяснения об образах Георгия Хировоска, беседа прервалась. Люди некоторое время любовались красотой окружающего мира. Потом

Всеволод, находившийся сегодня в угнетенном настроении, спросил Иллариона:

– Скажи, почему иногда беспокойно на душе?

Илларион, перебирая пальцами седеющую бороду и глядя вдаль, не сразу ответил:

– Беспокойно на душе, когда какая-нибудь печаль тревожит человека. Но печаль земная мимолетна. Каждый час ее может сменить радость.

– Возможно ли изгнать печаль из души? – спросил Всеволод.

– Возможно.

– Чем ты изгоняешь ее?

– Постом.

– Как же ты постишься?

– Монаху надлежит вкушать пищу один раз в день. В понедельник, среду и пяток – сочиво, в прочие дни – рыбицу и меду по чаше в день. И лишь когда трижды зазвонят в церкви, то есть в воскресенье, мясо разрешается есть. В Великий же пост сухоядение...

– А мед?

– Меду не пить.

Святослав рассмеялся, обращаясь к Всеволоду:

– Знаю, как монахи умерщвляют свою плоть. Посмотри, какие они толстые в монастырях.

Священник громко вздохнул и пошел к кладбищу, пояснив, что хочет посмотреть, как горят лампы. Был случай в старой церкви: пономарь ушел спать, не погасив лампы на ночь, и бревенчатое строение сгорело дотла.

На сердце у Анны лежал камень. Куда бы она ни пошла, всюду на пути ее стояли монахи, епископы. Они говорили о посте и покаянии, а ей хотелось жить, быть счастливой. Она вся наполнялась радостью, как глупая птица на зеленой ветке, вспоминая о Филиппе, хотя знала, что судьба разлучит их навеки, и когда думала об этом, то радость ее угасала, как задутая ветром свеча. Уже третий день она не видела ярла, которого Ярослав неожиданно отправил с дружиной на реку Рось, где, по слухам, снова появились печенеги. Анна понимала, что никогда уже не повторится та встреча, во время грозы, в лесной избушке, и все-таки ей хотелось еще раз посмотреть на прекрасного воина, прежде чем расстаться с ним навеки. Каждый день она ждала, что послышится перед городскими воротами звук трубы и ярл прискачет, живой и невредимый, выполнив с победой данное ему поручение, или, может быть, вернется раненный печенежской стрелой.

При одной этой мысли у Анны темнело в глазах. Она спросила Святослава, прилегшего рядом с нею на ковре:

– Нет вестей с Руси?

В глазах у брата мелькнул лукавый огонек. Анне пришло в голову, что он, может быть, все-таки рассказал родителям о том, что произошло в дубраве, и отец или, скорее, мать со злым умыслом послали молодого воина под печенежские сабли.

Святослав ответил, не желая огорчать милую сестрицу:

– На Руси стоит тишина. С тех пор как отец прогнал печенегов и огромное их число в Сетомле потопил, остальные убежали в степь и бегут где-то там до сего дня. Они теперь как пугливые волки в летнюю пору. Весть о них оказалась ложной.

– Почему же не возвращается дружина?

– Дружина вернется в свое время. Но что тебе до того? – строго спросил Святослав, поднимаясь на руках. – Разве не за тобой приехали франкские послы? Забудь о Филиппе. Ты станешь королевой. Можно позавидовать твоему жребию.

Анна закрыла лицо руками.

Всеволод тихо сказал ей:

– Разве слезами поможешь? Таков наш удел. Нам рубиться с печенегами, тебе ехать в дальние края.

На яблоне, под которой Анна нашла с братьями приют, среди розоватых цветов, тронутых иногда пятнышком пурпура, гудели трудолюбивые пчелы. Всеволод, которому хотелось сегодня рассуждать о высоких материях, глядя на пчелиную суету, покачал головой:

– Пчела собирает мед, пахарь трудится на ниве...

Анна подняла глаза к яблоневым цветам, и у нее тоже мелькнула мысль, что в словах брата – истина: маленькая пчела трудится изо всех сил, а она проводит время праздно.

За цветущими деревьями, по другую сторону церкви, была видна зеленая долина, усыпанная желтыми цветами. Далеко за долиной, на самом краю земли, синел лес.

– Там франкская земля? – спросила Анна Всеволода, показывая маленькой рукой на запад.

– На заходе солнца. Но путь туда не близок – через Польшу, Чешский лес, немецкие страны. Потом лежит Франция, где ты будешь королевой. А еще дальше – Британский остров. Говорят, что все на нем круглый год покрыто туманами и люди не могут найти во мгле дверь собственного жилища.

Анна долго смотрела в ту сторону, куда ей предстояло уехать.

– А что на востоке? – спросила она.

– Восточные страны – жребий Симов. Сим – один из сыновей Ноя. Там живут неведомые народы. На полдень же – Иверское царство и стоит город Ани, откуда приехал к нам врач Саргис. За синим морем возвышается Царьград, и в нем – местопребывание патриарха. Еще дальше плещется другое море, и за ним лежит Африка, где протекает река Нил. В ней водятся крокодилы. В нильских тростниках дочь фараона обрела осмоленную кошницу с Моисеем. Еще дальше обитают блаженные эфиопы. Они как птицы небесные – не сеют, не жнут и не собирают в житницы, а питаются плодами райских деревьев. Там никогда не бывает зимы. Туда летят перелетные птицы. В Эфиопии, как в раю, люди ходят нагие.

Анна всегда удивлялась учености брата, остроте его ума, которым он был в состоянии объять все мироздание.

– Почему же у нас так холодно зимою? – спросила она.

– Зима приходит к нам из-за лукоморья. Далеко на полночь стоят высокие горы, и за ними прячутся холодные ветры. Когда они дуют, идет снег и вместе со снегом с небес падают в Югре маленькие олени, а потом расходятся по всей земле и подрастают в дубравах. Не знаю, правда ли это?

Анна смотрела вдаль, занятая своими мыслями. Вышгород, Вышгород! Никогда она больше не увидит этот священный город! Многих людей она встретит на своем пути, но никогда уже не улыбнется ей Филипп. В отчаянье, чтобы не вскрикнуть от горя, она закусила руку...

К тому часу, когда должен был состояться прием послов франкского короля, обширная, но не очень высокая гридница в киевском дворце наполнилась шумом голосов. Потолок ее представлял собою синие своды, усыпанные золотыми звездами, как небо в морозную ночь. Суета усиливалась с каждой минутой. Во двор въезжали и въезжали бояре. У самых почтенных и старых отроки вели коней под уздцы. Потом, кряхтя и разглаживая бороды, дружинники поднимались в гридницу. Среди русских нарядов и темных монашеских одеяний, еще больше оттенявших пестроту разноцветных одежд, обращал на себя внимание греческий плащ Катакалона – короткий, красный, с золотыми украшениями на груди, обозначавшими его придворное звание.

Стены приемной горницы были обиты малиновой тканью, уже потемневшей от свечной гари. Под сводами висели хоросы, или светильники, украшенные всяким великолепием. На некотором возвышении с тремя ступеньками стояли два обитых парчой трона и рядом с ними низкое сиденье, предназначенное для Анны, имя которой в тот день не сходило с уст у людей. Для франков приготовили такие же седалища без спинок и подлокотников, чтобы послы не отваливались непринужденно во время приема. Евнух Дионисий, немало лет проведенный в

Священном дворце, распорядился на подобных церемониях с полным знанием дела.

Скамьи для бояр и знатных дружинников, обитые красным scarlatom, поставили вдоль стен, а впереди, на почетном месте, – кресло для митрополита. Старик уже сидел в нем с черным посохом в руке и, видимо, был недоволен, что позволил привести себя сюда преждевременно. За ним стояли в черных одеяниях пресвитеры и монахи.

Сыновья Ярослава тоже находились в горнице. Скамья для них была приготовлена у задней стены, за тронами, но им, конечно, хотелось побеседовать с друзьями. Всеволод только что оставил судилище, где разбирал вместе с писцом, по поручению отца, различные тяжбы. Святослав, увидев брата и зная, что он занимался судебными делами, по своей склонности к книжным выражениям, воскликнул с громогласным смехом:

– Се грядет новый Соломон!

– Здравствуй, брат, – сказал Всеволод. – Утомился до крайности. От зари судил и разрешал.

Он улыбался, хотя у него был вид уставшего человека. Отвечая на приветствия со всех сторон, молодой князь вынул синий платок и стал вытирать высокий белый лоб. Бояре знали этот плат – с изображением шафранного солнца, пылающего красными языками, на котором, как на широком и смеющемся человеческом лице, можно было рассмотреть глаза, нос и рот.

– Сколько люди зла творят на земле! – сказал он.

– Какие жалобы судил? – уже серьезно спросил Святослав.

– Жалоб было много. У Бориславлева тиуна тати похитили бобровый мех, и он жаловался на смердов из соседнего селения, но вирник побывал на селе и явственно видел, что следы вели на большую дорогу, где проходят торговые люди, терялись там. Ты же знаешь... При таких обстоятельствах нельзя заставить смердов уплатить вознаграждение. Борислав будет недоволен...

– А еще что?

– Драка была с дрекольем в руках, и после драки с убитого сняли одежду и оставили лежать в наготе на улице... Разбойник лишил жизни княжьего мужа Никифора...

– Никифора? Из Переяславля?

– Никифора из Переяславля. Того самого Никифора, что прошлой зимой своего раба зарубил мечом.

– Где же разбойник?

– Разбойник убежал, и его дом, с женой и детьми, отдали на поток и разграбление.

– А еще что?

– Дуб кто-то срубил, служивший межевым знаком на ниве... Охотничий перевес в дубраве испортили и украли из него диких птиц. Один злодей зажег гумно у боярина Андрея...

Лицо Всеволода вдруг покрылось морщинками от еле сдерживаемого смеха.

– Еще одна жалоба была. Пес проказы делал и из чужой клетки мясо унес.

– Убили пса?

– Нельзя убить, если соблюдать закон. Пес не подрывал землю, чтобы лезть в клетку, а через дверь проник, не запертую по людской оплошности.

– Блажен муж, иже и скотов милует, – сказал Святослав и оставил брата, считая, что вполне удовлетворил свое любопытство.

Всеволод осмотрел собравшихся и, увидев сидевшего в кресле митрополита, улыбнулся ему сыновней улыбкой. Княжич с малых лет умел ладить с греками и поспешил к иерарху. Феопемпт сидел опустив голову, скучный, как старый скопец, неизлечимо больной, хотя и обуреваемый жаждой власти над человеческими душами. Он все еще не мог успокоиться при мысли, что явился на собрание задолго до выхода князя и тем унизил свое пастырское достоинство.

Около митрополита стоял красивый, нарядный патрикий Кевкамен Катакалон. Всеволод

приблизился к грекам и заговорил с Феопемптом по-гречески. В это время мимо проходил ярл Магнус, недавно прибывший на Русь высокий рыжеусый воин с такими дерзкими глазами, точно он искал ссоры с каждым встречным. Магнус приветствовал Всеволода по-свенски, и княжич ответил ему на этом же языке. Стоявший поблизости в скромном монашеском одеянии Илларион восхитился:

– Поистине он пятязычное чудо!

Всеволод ушел, и Катакалон тоже покинул митрополита. Поблескивая ласковыми глазами, патрикий уже подобострастно справлялся у Святослава о его здоровье и давал врачебные советы:

– Избегай по возможности того, чтобы попадать в лапы лекарей. Даже если у больного пустячная болезнь, врач непременно станет убеждать, что недуг требует применения дорогостоящих лекарственных трав, и будет до бесконечности затягивать свои посещения, чтобы получить побольше денег. Поэтому позволь тебе посоветовать: коль хочешь быть здоровым и избавиться от своих болячек, ешь до сытости только за обедом, но избегай ужинов, и пусть пища никогда не отягощает твой желудок. Постись, и ты обойдешься без услуг эскулапов. Если желаешь принимать что-нибудь приносящее пользу человеку, то пей полынь, а коль страдаешь желудком, принимай настойку из ревеня. Бросай кровь три раза в году – весной, зимой и в месяце септембрии – и будешь здоров...

Святослав угрюмо слушал грека. Мучительные нарывы на шее сегодня особенно напоминали о себе, возможно после обильной выпивки на вчерашней пирушке у воеводы. Никакие средства не помогали в его болезни: ни мази, которые прописывал ему армянский врач Саргис, ни припарки старой колдуньи, ни молитвы. Когда в Вышгороде происходило торжественное перенесение гробов с останками Бориса и Глеба в новую церковь, митрополит взял руку последнего, на которой почерневшая, высушенная в песчаной почве могилы кожа пристала к кости, и благословлял ею присутствующих. Однако Святослав почел, что этого недостаточно, и стал прикладывать реликвию к темени и шее, где у него болели нарывы. Спустя некоторое время князь почувствовал, что его беспокоит нечто в волосах, и нашел на голове ноготь с пальца Глеба. Ярославич был очень обрадован подобным благоволением Небес, но, увы, даже ноготь мученика не исцелил болячек.

Видя, что князь Святослав в дурном настроении, Катакалон отвесил придворный поклон и не стал больше докучать этому вспыльчивому человеку.

Святослав слышал, как через минуту грек уже говорил тучному воеводе, в доме которого остановился ярл Магнус, приехавший наниматься на службу к Ярославу:

– По-моему, не следует предоставлять другу кров у себя в доме. Лучше найти для него какое-нибудь подходящее помещение и посылать туда все необходимое, пищу и вино. А если ты поселишь его у себя, то послушай, что может произойти. Во-первых, ни супруга твоя, ни дочери не будут чувствовать себя свободными в своем собственном доме. Если им потребуется выйти по какому-нибудь делу из женской половины, твой приятель будет вытягивать шею и устремлять на них любопытствующие взоры. В твоём присутствии он, пожалуй, потупит главу, якобы из скромности, но станет подсматривать, какая у твоей жены походка, какие ноги, как она поворачивается и подпоясана, начнет разглядывать твоих дочерей с головы до ног, а потом будет рассказывать об этом на пирушке приятелям и тихо посмеиваться. Еще найдет плохим твой стол. Если же подвернется удобный случай, постарается делать любовные знаки хозяйке или будет смотреть на нее бесстыдными глазами и, может быть, даже соблазнит ее.

Воевода слушал, и красное лицо старого ревнивца становилось багровым. Катакалон знал, что Магнус испытывал вожделение к красивой воеводиной жене. Но греку хотелось поссорить приезжего варяжского ярла с киевскими правителями и переманить его на службу в Константинополь, где имя Магнуса привлекло бы в гетерии василевса сотни скандинавов, в оружии которых в настоящее время весьма нуждалось ромейское государство.

Рядом румяный боярин со смешком рассказывал, как некий дружинник вырвал у другого клочок бороды в драке и что они судились сегодня у Всеволода. Слушатели смеялись.

Испортив настроение воеводе, Катакалон уже выискивал новую жертву. У него было столкновение на пиру с Чудином, жена которого отличалась мотовством, и патрикий решил, что ныне предоставляется удобный случай отомстить надменному боярину за его грубые слова. Дело происходило вчера, за столом у воеводы, где патрикий заметил, как Магнус переглядывался с хозяйкой. Выпив лишнее, Чудин сказал настолько громко, что Катакалон не мог не слышать:

– Греки на золото глаза плят!

Теперь Катакалон подошел к Чудину и начал с ним разговор о незначительных вещах. Потом, переведя речь на семейную жизнь, стал расхваливать его жену:

– Жена твоя – сокровище. Это как у Соломона. Уверен, что светильник ее не угасает всю ночь, что своими благопотребными руками она прядет шерсть, издалече покупает все необходимое для хозяйства и бережет каждую медную монету...

Боярин смотрел на грека непонимающими глазами. Он славился богатством, однако не был наделен быстрым разумом. Соль разговора он постиг, когда греческий хитрец уже отбыл в Константинополь.

Но вошел скопец. С улыбочкой на тонких губах, довольный, что настал и его черед, Дионисий окинул взором собрание и не очень сильно, но с приличествующей данному случаю настойчивостью трижды ударил о пол деревянным посохом с шаром из слоновой кости. Все знали, что жезл был знаком его должности. Разговоры стали стихать... Скопец произнес скрипучим голосом:

– Братие и дружина...

Еще в дни великого Владимира, когда из Царьграда приехала впервые на Русь греческая царица, при киевском дворе созданся некий церемониал и выход князя к народу обставили известной торжественностью. Так же это происходило и теперь. Впереди шел меченоша, держа перед собою в обеих руках обнаженный княжеский меч – символ власти. Хранитель печати выступал с огромной печаткой из сердолика. Оба в красных плащах заморского покроя, гордые выполнением своих почетных обязанностей.

За ними следовали Ярослав и княгиня Ирина. Плащ князя сверкал серебряной парчой, и на голове поблескивала драгоценными камнями царская диадема. Он редко извлекал ее из ларя, но каждый раз эта вещь выводила из себя митрополита и приезжих греков. На княгине тоже было пышное одеяние, расшитое золотыми цветами. Позади, опустив долу глаза, бледная и от этого еще более прелестная, чем всегда, как бы плыла в тяжелых константинопольских одеждах Анна, перекинув конец верхнего одеяния, которое по-гречески называется лор, через левую руку.

Седоусый знаменосец нес над головой князя голубой шелковый стяг, на котором был изображен не древний знак княжеского рода, а искусно вышитый разноцветными нитками крылатый архангел в сказочных доспехах и в легких сапожках, в каких можно ходить только на картинах.

В наступившей тишине князь и княгиня заняли троны, и Анна опустилась рядом с отцом на свое место, уже привычным женским движением руки оправляя складки парчовой одежды. Потом она вскинула глаза на собрание бояр, даже обернулась туда, где сидели братья, горделиво выставляя красные сапоги. Рядом с Всеволодом Ярославна увидела Марию, улыбающуюся ей, как сестра. Но ярла Филиппа нигде не было!

Все знали, что великий князь не любитель подобных выходов и пышности, и непривычная диадема не очень величественно покоилась на его голове, но сегодня князь уступил Дионисию, доказывавшему, что франков надо встретить во всем торжестве, чтобы они рассказывали потом своему королю о великолепном приеме.

Послов уже вводили в горницу. Епископы явились точно на Собор – в парчовых и

кружевных, странных для киевлян, облачениях, с посеребренными посохами, проросшими, как жезл Аарона. Их усадили вместе с сеньором де Шони на сиденьях посреди помещения, и рыцарь изо всех сил старался принять соответствующую обстоятельствам позу. Позади стояли кучкой прочие рыцари, оруженосцы, монахи и слуги. Один из оруженосцев, с белокурой челкой и удивленными на всю жизнь глазами, нес тяжелый серебряный ларец с дарами или, может быть, с посланием короля. Но, видимо, в нем хранилось какое-то сокровище, судя по тому, с какой важностью юноша держал ковчежец в вытянутых руках. Другие оруженосцы и служители принесли мечи прославленной франкской работы, куски шелка, серебряные сосуды, без которых не обходилось ни одно приношение даров.

Анна не заметила ни ларца, ни мечей, ни серебряных сосудов. Даже епископы в своих причудливых одеяниях, непривычно бритые и поэтому особенно чужие, то возникали перед нею как во сне, то исчезали в горестном потоке лихорадочных мыслей. Ярославна сидела как приговоренная к казни, и приветственные речи доносились до ее слуха откуда-то издалека...

Иногда в поле зрения Анны выплывало из тумана какое-нибудь отдельное пятно... Сусальные звезды на синих сводах... Парчовое облачение франкского епископа и его двойной подбородок... Чернобородое лицо греческого царедворца, взиравшего на франков с нескрываемой неприязнью и с чувством своего огромного превосходства над невежественными латынянами... Восковой лик митрополита с беззвучно шевелящимися губами... Самодовольная красная рожа варяжского воеводы...

Только не было видно милого лица Филиппа.

Многие заметили бледность Анны, закушенную губу. Но, видимо, ее строгий вид, красота, умение держать себя и скромность произвели благоприятное впечатление на послов. Епископы тихо переговаривались с усатым рыцарем, и все трое с удовлетворением кивали головами, рассматривая красоту королевской невесты.

## VIII

Три месяца спустя, расставшись в слезах и древних причитаниях с больной матерью, стареющим отцом и братьями, Анна навеки покинула Русскую землю. Все плакали, как будто бы провожали путешественницу на кладбище. Даже легкомысленный Святослав вытер пальцами крупную слезу, упавшую на светлый ус. Филипп по-прежнему был в отсутствии, гонялся где-то под Родней за призрачными печенегам.

Сами не зная почему, рыдали рабыни, даже остававшиеся в Киеве, хотя отъезд Ярославны ничего не менял в их судьбе. Некоторые уезжали в чужие края вместе в Анной. Отечески благословлял свою ученицу пресвитер Илларион, увещевая ее не забывать русскую веру на чужбине.

Дальний путь Анны во Францию лежал через Польшу. Ярославу хотелось, чтобы она навестила по дороге тетку Доброгневу, муж которой, польский король Казимир, хорошо знал семью Генриха. Казимир некогда жил в Париже и Бургундии, числился некоторое время монахом знаменитого аббатства в Ключни и говорил по-французски. Он мог дать Анне много полезных советов.

В Эстергом королевой была сестра Анастасия, светлоглазая, простодушная толстушка, тем не менее пленившая сердце Андрея, когда он еще молодым принцем приезжал в Киев в поисках убежища во время угорских неурядиц и запомнился киевлянам своими многочисленными пуговицами; ее тоже хотелось навестить на чужбине. Поэтому путь для Анны избрали следующий: Гнезно, Краков, Прага и от этого города поворот в сторону, на Эстергом. Отсюда до самого Регенсбурга следовало плыть по Дунаю в ладье, а затем, через Вормс и Майнц, уже лежала прямая сухопутная дорога во Францию.

Придерживаться такого направления посоветовал Ярославу многоопытный Людовикус, уверявший, что для принцессы Анны всего удобнее и приятнее совершить путешествие в

Париж, направляясь через Регенсбург. Ехать в Угры южной дорогой представлялось ему опасным, так как в степях снова появились кочевники. Можно было, конечно, ехать во Францию северным путем, через Новгород, а далее по Варяжскому морю, но там не исключалась опасность встречи с морскими разбойниками, не щадившими ни пола, ни возраста, путь же на Регенсбург, каким пользовались купцы, охранялся от разбоя, потому что пошлины приносили большой доход местным владельцам, и это обстоятельство устраивало и их и торговцев.

Первые впечатления у Анны от путешествия были довольно смутными. Иногда зрение ей застилала слезы, и она не могла во всей отчетливости рассмотреть рощи и поля, мимо которых проезжала. Но первоначально местность мало отличалась от Руси, если не считать, что вокруг стало больше болот и топей. По обеим сторонам малоезженной дороги лежала покрытая лесами польская страна, много потерпевшая во время недавнего восстания крестьян. Видимо, земля здесь не отличалась особым плодородием, но земледелец трудолюбиво пахал ее деревянным орамом, запряженным парой ширококорых волов. Особенно больших городов в пути не попадалось, чаще встречались мирные деревни, около которых широко раскидывались сельские кладбища и неизбежно стояли каплица и шинок, а в базарные дни происходили торжища, чтобы крестьяне могли купить необходимые товары. Но, видимо, не всегда простой народ имел довольно денег, чтобы приобрести горсть соли, железный топор или что-нибудь подобное. Сеяли здесь главным образом рожь и просо, разводили лен и коноплю, выращивали на огородах репу. Анне говорили, что вместе с христианством в Польшу пришла виноградная лоза, так как для таинства причастия требуется вино, однако она нигде не видела виноградников. Зато всюду, в селениях и на дорогах, встречались упитанные монахи, и у них был довольный вид.

Анна смотрела с высоты коня или с повозки на все, что попадалось на пути, и думала, что жизнь везде одинакова: люди трудятся, добывают хлеб, рожают детей, умирают. Местные жители смотрели на проезжающих исподлобья и были неразговорчивы. Анна еще в Киеве слышала, как один польский купец с содроганием рассказывал о недавнем восстании рабов и кметов. Мятеж произошел при короле Болеславе, которого прозвали Забытым. Сначала поднялась на Поморьи против короля необузданная знать, прикрывая свою жадность восстановлением попорченного язычества, а в действительности защищая свои привилегии. Но их мятежом воспользовались крестьяне и стали избивать господ и духовенство.

Купец сокрушался:

– Об этом не можно говорить без стога и плача. Язычники подняли руку на епископов и монахов. Некоторых они убили мечом, а других, якобы заслуживших более позорную казнь, умертвили камнями. Злодеи разоряли и сжигали церкви и дома богатых. К счастью, вернулся в Польшу добродетельный король Казимир и усмирил язычников.

При воспоминании об этом рассказе Анне становилось не по себе на польских дорогах, если ночь застигала в пути, когда вокруг была кромешная тьма, не блестело ни одного огонька в затихшем придорожном селении. Но наутро она убеждалась, что у здешних смердов покорный вид, и ее страхи рассеивались вместе с болотными туманами. Снова мимо тянулись поля, рощи, селения. Люди здесь причащались облатками, и это казалось странным. Анна смотрела на встречных с сожалением, как на заблудших овец.

В тот час, когда путешественники прибыли наконец в Гнезно, на землю уже опускалась ночь. К счастью, городские ворота оказались незапертыми. В те годы царил большое согласие между Польшей и Русью, и никто не опасался нападения, а кроме того, по поводу очередного праздника в честь св. Адальберта стражи выпили больше меры и мирно храпели у ворот, завернувшись в овчины, сжимая в руках длинные копыя. Но в темноте было видно, что город окружен высоким валом, на котором грозно возвышались бревенчатые башни с островерхими крышами.

– Видно, добрый князь правит здесь, – сказал боярин Борислав, сопровождавший Анну

в далеком путешествии, рассматривая спящих воинов.

Чтобы служить Анне и помогать ей советами, в дорогу пустились румяная жена боярина, две подруги Ярославны – Елена, дочь Чудины, и Добросвета – и молодая, но добродетельная вдова Милонегга. Сопровождали Анну в числе отроков Янко и Волец, ехал молчаливый монах Василий. Ведь Анна хотела и на чужбине слушать утрени и обедни на славянском языке. Отправлялись в далекое королевство многочисленные слуги и служанки. Некоторые из них убежали по пути, но конюх Ян с таким же усердием заботился о конях княжны, как и на вышгородской конюшне.

В Гнезно в этот час на улицах было пустынно и темно. Жители спали, запершись в молчаливых домах от разбойников и ночных татей. Тревожно переключались городские псы...

Никто не знал, как проехать к королевскому дворцу. Уже хотели будить стражей, как вдруг из мрака вынырнули двое прохожих. Судя по гуменцам, это были монахи. Святые отцы возвращались, очевидно, с какой-то пирушки, потому что во всю глотку горланили латинские вирши. Рассмотрев в темноте епископов, они умолкли и охотно согласились проводить приезжих к королевскому жилищу. Всадники, а за ними и скрипучие повозки, на которых Анна везла подарки своему будущему супругу, двинулись за монахами, бодро шествовавшими впереди. Колеса поскрипывали, точно жаловались на долгое странствие.

Анна дремала, но сквозь полусон слышала, как здоровенные монашеские кулаки стали колотить в дворцовые ворота. В пути отцы уже успели расспросить, с кем имеют дело, и проявляли рвение.

После переговоров со стражей воротные створки отворились, и повозки въехали одна за другой на широкий двор, в глубине которого темнело дворцовое здание. Монахи исчезли, вскоре в одном из окон зажегся свет, потом мелькнул в другом, третьем... Дворец стал как бы открывать сонные глаза...

Анна постепенно привыкла к темноте, и теперь она рассмотрела длинную палату, построенную наполовину из кирпича, наполовину из дерева; окна внизу были большие, на верхнем жилье – поменьше.

На каменное крыльцо с пузатыми столбами вышел седобородый монах со слюдяным фонарем в руках и высоко поднял его над головой, стараясь осветить хотя бы часть двора. Потом спросил громким голосом:

– Что это есть за люди?

Так же громко боярин Борислав ответил ему:

– От князя Ярослава.

– Имеем догадку, епископы едут?

– Послы франкского короля.

Монах поспешил обратно во дворец.

Боярин Борислав бывал в здешних местах, когда привозил в Гнезно Марию-Доброгневу, сестру Ярослава, королю Казимиру и когда принимал участие в войне против ятвягов.

Анна со скукой сидела на повозке, укутанная из-за ночной сырости в меховые покрывала. Вozy и всадники заполнили двор, по которому сновали слуги и монахи. На черных деревьях хлопало крыльями и шумело воронье, разбуженное огнем факелов. При их свете, когда ветер раздувал пламя, дворец как бы возникал из темноты и вновь пропадал в ночи.

В ожидании, когда можно будет за путевые лишения вознаградить себя пищей и сном на соломе, Янко и Волец завели знакомство с каким-то польским воином. Это был высокий белоусый человек, картинно опиравшийся на копьё.

Он отвечал на расспросы:

– Наш король человеколюбив и усердно молится Богу.

– Значит, и вы христиане? – спросил Янко.

– Христиане, – без большого воодушевления ответил воин, – платим десятину. Если курка снесла десять яиц, одно отдай в церковь. И многие другие пошлины платим.

– Куда же идут деньги?

– То нам неизвестно. Может, на кормление монахов? Их у нас в Польше как ворон развелось.

Белозубые отроки рассмеялись.

– И у нас в Киеве попов немало, – сказал Волец.

Каждый из троих имел свою собственную судьбу, двое говорили на своем языке, третий – на своем, но они поняли друг друга, ибо беседовали без лукавства. Когда боярин позвал русских отроков и те скрылись во мраке, воин посмотрел им вслед и промолвил:

– То разумная была речь.

Утомленная дорогой, как в полусне, Анна наблюдала суету, царившую на дворе и служившую доказательством, что люди здесь обрадовались приезду гостей. Во дворце, судя по мельканию огней в окошках, просыпалась жизнь. Наконец опять появился седобородый монах, и под его отеческим присмотром полусонную Анну, высвободив из мехов, повели по лестнице. Рядом шествовали епископы Роже и Готье, выражавшие свое удовлетворение, что попали в город св. Адальберта. За ними поднимались боярин Борислав, рыцарь Шони, приближенные женщины. На дворе остались только оруженосцы и конюхи, в ожидании приказа, куда поставить повозки с ценным грузом и где поить коней и епископских мулов. Те же самые любезные монахи и расторопные слуги увели животных, и вскоре ячмень весело захрустел на лошадиных зубах, а конюшни наполнились фырканием и теплыми конскими вздохами.

Очувтившись в горнице с черными дубовыми перекладинами на потолке, Анна огляделась по сторонам. На побеленной стене виднелось огромное распятие, вырезанное из дерева. Изможденный Христос в терновом венце повис на кресте. Ребра, казалось, готовы были разорвать кожу. Художник сделал эту вещь с простодушной наблюдательностью и желая передать в скульптуре человеческое страдание, которое он не раз наблюдал вокруг себя в обыденной жизни. В дальнем углу стояла статуя Девы Марии, в тусклой позолоте, но тоже сделанная из дерева. Ее вырезал из мягкой липы, видимо, другой резец. Она выражала спокойствие, и смутная улыбка играла у нее на устах. Епископы молились. Потом все ждали некоторое время прихода короля.

Вскоре бесшумно отворилась низенькая дверь в железных украшениях в виде копий и разводов. Шурша шелком, в горницу стремительно вошла полная женщина. Это была королева. Она раскрыла объятия племяннице, и обе заплакали. Мария помнила Анну девочкой и изумилась, увидев перед собой рыжеволосую красавицу в парчовой шапочке, опушенной мехом, какие носят русские князья и княгини. Мария же надела наспех белое шелковое платье немецкого покроя, а темные волосы повязала желтым платком. Она была высокогруда, и щеки ее еще пылали от жаркой подушки.

Но в дверях уже стоял король Казимир, в черном, напоминавшем монашескую сутану, одеянии, высокий и худощавый, с такой короткой бородой, что лицо его казалось давно не бритым. Он тоже поднял радостно руки и воскликнул:

– Дочь моя!

Несколько минут ушло на знакомство с епископами, с которыми Казимир был рад говорить по-французски. Впрочем, разговоры ограничились расспросами о дороге и здоровье. Король вспоминал Париж, Шалон, Мо. Милые и некогда посещенные города. В это время Мария спрашивала Анну о Киеве. Видя, что Ярославна расплакалась, король оставил франков и, подойдя к девушке, погладил ее по голове. Шапочка с бобровой опушкой лежала на столе.

– Не плачь! Ты увидишь благословенную французскую землю!

Потребовалось некоторое время, прежде чем удалось растолкать храпевших в поварне

кухарей и их помощников, чтобы приготовить для Анны и епископов поздний ужин, как того требовали законы гостеприимства. После дня пути верхом на коне или тряски по ухабистым дорогам на неуклюжих повозках путешественники проголодались и с большим аппетитом поглощали холодное мясо, пироги с потрохами, белые сыры с тмином, колбасы, вареные яйца, маковое печенье, запивая все это медом из глиняных кубков, так как серебряные чаши хранились у виночерпия под замком, а он отлучился в предместье по своим делам, чтобы наведать какую-то вдовицу.

Анна не отставала в еде от других, и королева подкладывала племяннице лучшие куски, да заодно и сама поужинала вторично. Как и следовало ожидать, с особым старанием налег на ужин епископ Готье, при деятельной поддержке рыцаря Гослена де Шони. Говядина и куски жирного пирога исчезали у них в глотках, как в бездонной пропасти, а слуги, едва успевая лить мед в чаши, уже протягивали им с деревянной улыбкой другие яства и новые куски мяса, положив их на ломти пахучего пшеничного хлеба, и епископ порой даже стонал в припадке чревоугодия, настолько все казалось вкусным после дороги.

Казимир до яств не дотронулся. Некогда он жил в том самом бургундском монастыре, где поддерживал строгий устав прославленный аббат Одилон, и король с тех пор сохранил привычку быть умеренным в еде. Должно быть, глядя на Анну, отправляющуюся в Париж, он вспомнил свою молодость, а так как все пережитое в юные годы человеку кажется прекрасным, то ему взгрустнулось. Но, подпирая рукою голову, Казимир утешал Анну:

– Не плачь! Ты увидишь страну, защищенную со всех сторон от сильных ветров, плодородную и обильно орошаемую реками. Там никогда не бывает зимних бурь и всюду на холмах виноградники. Неплохое вино пьют монахи в Бургундии!

Казимир скучал в своем королевстве. Стоило отъехать пятьдесят миль от Гнезно, как уже начинались непроходимые топи и дебри, в которых хоронились языческие селения. На Помории жили дикие пруссы. Они самоотверженно спасали потерпевших кораблекрушение, но убивали христианских проповедников. Здесь то бури, то снег, то завывание ветра в трубе. В плохую погоду королю вспоминались те дни, когда он был молодым монахом в Клюни, переписывал латинские книги в тихой скриптории<sup>8</sup>, беседовал с суровым аббатом Одилоном, знавшим толк в строительных вещах, о категориях Аристотеля.

Прошлое Казимиру казалось заманчивым: ведь хорошо там, где нас нет. Он забывал, что во Франции такие же леса и болота покрывали половину страны, так же непролазны дороги в осеннюю пору и живут такие же невежественные крестьяне в деревушках недалеко от городов, славящихся своими епископскими библиотеками. Но ведь до того, как стать монахом, Казимир был некоторое время рыцарем. Может быть, он вспоминал и какие-нибудь приятные встречи с красотками, королевские пиры в парижском дворце, странствия и придорожные харчевни, где хозяин подает на стол форели, пойманные в соседней речке, или гусиную печенку и легкое вино, развязывающее языки в дружеской беседе. Когда король перебирал в памяти подобные картины, ему казалось, что он живет на краю света, куда редко заходили даже паломники. Приезд гостей доставил ему большое удовольствие.

Анна сидела с королем и королевой за отдельным столом, и они могли без помехи говорить обо всем, что их касалось. Мария засыпала племянницу вопросами о Киеве, о брате, о гробнице своей матери, царицы Анны, покоящейся под сводами Десятинной церкви. Ее именем Ярослав и назвал вторую дочь, ныне ехавшую в чужую страну.

Когда Анна утолила голод и даже епископ Роже отдал дань пирогам с потрохами, королева предложила путешественникам отправиться на покой. Для них приготовили мягкие перины и соломенные постели. Княжеские отроки и оруженосцы весело устраивались на сеновале, и Янко уже завел знакомство со смешливой служанкой.

Глаза Анны смыкались от усталости. Ночь далеко ушла в царство созвездий, и в городе давно пропели петухи. Вскоре дворец наполнился храпом...

Анна провела в Гнезно немало дней, прежде чем пуститься в дальнейший путь, хотя епископы торопили ее. Но король так занимательно рассказывал о Франции, сидя с Анной на скамье королевского сада!

– Генриха я знал еще юношей, видел его иногда во дворце. Он высок и дороден, не очень живой в движениях, но и не медлительный, и полагаю, что из него получился теперь мужественный рыцарь. Помню, что он с удовольствием говорил о конях и оружии. Повидимому, король сведущ в воинских делах. Мне сообщали, что он особенно настойчив в осаде городов и за это его прозвали градоразрушителем. Но к книжному искусству Генрих относится с полным равнодушием, не в пример своему покойному отцу, который непрестанно читал латинскую Библию.

– Епископы говорили, что отца его звали Роберт и что это был святой человек, – вздохнула Анна. Ее весьма волновали рассказы о той семье, в которой ей надлежало жить.

– Все считали его святым. Это действительно был благочестивый и добрый человек. И король, каких мало на земле. Но он думал и о земном, построил в Париже каменный дворец. Ты будешь жить в нем, когда станешь французской королевой.

– Тебе приходилось там бывать?

– В Париже?

– Во дворце.

– Неоднократно. Он огромен. В нижних этажах устроены очаги с каменными навесами для отвода дыма и трубами. Если заглянуть в них, то увидишь небо. Там жарят туши быков или доставленных с охоты вепрей. Дворец стоит у самой Сены, и вода совсем близко протекает под его круглыми башнями из красивого белого камня. Припоминаю, что на берегу реки растут дуплистые ивы, а лужайки усыпаны весной желтыми цветами. Впрочем, ты сама скоро увидишь все это.

– Еще расскажи нам что-нибудь о Франции, – попросила королева, любившая две вещи на земле: вкусные яства и занимательные беседы.

Казимир вздохнул, вспоминая молодость.

– Роберт построил немало замков, потому что, несмотря на свое благочестие, был заботливым человеком. Копил для преемников земли и сервов. Если они поднимали мятежи, он жестоко карал их. Между прочим, этот король очень любил председательствовать на Соборах. Даже в церковь ходил в золотой короне.

Казимир улыбнулся, собираясь рассказать нечто забавное.

– Вот послушайте! Это было в Этампе. Анна, ты непременно побывай в этом городе. В окрестностях его произрастает великолепная пшеница! Так вот, в Этампе происходило празднество по случаю построения королевой Констанцией (так звали супругу Роберта) нового дворца. Шел пир. Какой-то нищий сумел пробраться в пиршественную залу и уселся под столом в ногах у короля, и этот снисходительный человек не только не прогнал его, а даже бросал этому попрошайке время от времени добрый кусок мяса. Вероятно, никогда этот плут не ел такого количества пищи, как в тот вечер. Но представьте себе, вместо благодарности предприимчивый бродяга отрезал ножом от одежды короля золотое украшение весом в шесть унций и проворно убежал. Констанция была вне себя от гнева, а король только смеялся...

Казимир говорил по-польски, Анна – на русском языке, но они понимали друг друга, как Янко и Волец польского воина.

– А еще был такой случай, – давился смехом Казимир, – какой-то клирик похитил во дворце серебряный подсвечник, но придворные уличили его в краже и тотчас сказали об этом королю. Что же им ответил этот незлобивый человек? Он молвил: «Очевидно, светильник нужнее ему, чем нам. На что он мне? Оставьте вора в покое!»

– Да, это, вероятно, был очень добрый король, – вздохнула Анна.

– Однажды Роберт раздавал собственноручно деньги прокаженным в Орлеане и даже

лобызал некоторых из них, хотя от болящих исходило ужасающее зловоние.

– И ты сам видел это?

– Не видел, но читал в латинских хрониках. Еще я узнал кое-что о Роберте из поэмы, сочиненной неким Адальбероном. Этот епископ рассказывает в своих стихах о трех сословиях. Он утверждает, что каждому назначено особое место. Рыцари должны сражаться с врагами, епископы – молиться, а крестьяне – работать и добывать все необходимое для своих сеньоров и пастырей. Таким образом, каждое сословие выполняет свое назначение на земле. Разве не справедливо все это устроено Божественным промыслом?

– Не только справедливо, но и мудро, – подтвердил епископ Роже, присутствовавший при беседе.

Анне тоже казалось, что жизнь на земле нельзя устроить по-иному.

– В противном случае, – продолжал епископ, – что случилось бы со всеми нами, не способными добывать пропитание своими руками и, больше того, не имеющими для этого свободного времени, которое мы должны посвящать молитве и заботам о народном благе...

Но Казимир поднял многозначительно перст.

– А что сказал король Роберт, прочитав эти строки? Вот что он сказал: «Поистине нет никаких пределов для страданий бедняков!» Подумайте только! Этот чудак ради любви к ближнему пренебрегал даже собственным благополучием. И ради кого? Ради каких-то холопов.

Потом Казимир стал рассказывать о Констанции:

– Эта королева была полна страстей и в припадках гнева не знала границ жестокосердию, что не помешало ей выкормить своим молоком девятерых младенцев. Она приехала в Париж из Прованса. Оттуда уже недалеко до Италии. Мужчины там бреют подбородки и напоминают пестрыми одеяниями скоморохов, а женщины любят употреблять румяна и тоже падки на яркие одежды. Когда Констанция явилась в Париж, на ее платье косились. Характер у нее был отвратительный.

Казимир понизил голос:

– Во время спора с каким-то еретиком Констанция выколола ему жезлом глаз! Но тебе, Анна, вероятно, хочется узнать побольше о женихе? Напрасно ты краснеешь.

– Епископы рассказывали брату Всеволоду, что франкский король представительный воин.

– Во всяком случае, он высокого роста, и у него приподнятые плечи, что говорит о большой силе. Мне приходилось видеть, как он сидит на коне. Пальцы его ног, вдетых в стремена, красиво опущены вниз. Так ездят только отличные всадники. Да, может быть, король Генрих и не обладает замечательной красотой и ничего выдающегося в его внешности нет, но полон собственного достоинства. И не забудь, что это очень богатый король. Лично ему принадлежат не только многие замки и селения, но даже многонаселенные города. А кроме того, всякого рода уголья, обширные леса, обильные рыбой пруды. Охоты короля находятся в Венсене, Санлисе, Марли...

Король увлекся рассказом, забывая, что эти красивые французские названия ничего не говорят Анне. Но он продолжал:

– Никто, кроме короля, не имеет права охотиться в его лесах. Они кишат дичью. Королевские псарни славятся породистыми собаками. Немалый доход приносят Генриху также монетные дворы и мельницы. В Санлисе я видел прекрасные луга, которые он сдает в аренду. В пользу короля идут мытные сборы, и говорят, что во Франции уже введен налог на пашни и виноградники. Что ж, это законно! Когда-то вся земля принадлежала королю, и если ты сеешь и собираешь жатву, то плати налог! Не мешало бы и в Польше завести подобные порядки. Королевские житницы в Орлеане и Пуасси полны зерна...

Казимир перечислял прочие доходы короля Франции:

– Вино Генриху доставляют с виноградников Орлеана, Ребрешьена, Рюеля. Отличные

виноградники у него и в Монтрей. В Париже у короля обширные винные погреба. Ты не будешь бедной королевой, – рассмеялся он, потрепав Анну по щеке.

Генрих I не обладал большими способностями или прилежанием в изучении наук, не считался сведущим в богословии или музыке, как его образованный отец, король Роберт, но слыл деятельным человеком, готовым трудиться день и ночь, и терпеливым, как самый обыкновенный скуповатый крестьянин. Недаром некоторые утверждали, не считаясь с фантастической генеалогией, выводившей род Капетингов от Сидония Аполлинария, потомка римских императоров, что далекие предки короля были овернские поселяне, и это даже вызывало у простых людей симпатию к новому царствующему дому.

Невеселая и мало чем примечательная юность Генриха прошла в переполохе гражданской войны, осветившей заревом небеса Иль де Франс. Так называлась королевская область, расположенная по обоим берегам Сены, покрытая лесами и пересеченная скверными дорогами. Капетинги только по титулу были королями Франции, поэтому всячески стремились расширить границы своих владений. Однако всюду у них на пути возникали неуклюжие замки вассалов, уже превращавшиеся в те времена из бревенчатых башен в грозные каменные твердыни. Генрих тоже строил крепости, если находил для этого средства, и вскоре милые холмы Франции, приятно голубеющие в вечерний час для усталого путника, покрылись мрачными сооружениями. Таков, например, был замок Тонэр, где некий добрый кюре Фреттье плакал однажды в сумерках, перед ужином, когда ему неожиданно открылись в видении страшные судьбы Франции. Мало чем отличался от этого укрепления и замок в Пуасси. За зелеными рощами возвышались башни Пюизе. А дальше уже вставали неприступные стены Санса и розовый замок в Мелэне.

Подражая Карлу Великому, французский король называл себя государем «Божьей милостью», носил пышные латинские титулы, но, невзирая на это, его власть признавали только немногочисленные сеньоры. Со всех сторон Иль де Франс окружали области могущественных феодалов, иногда превосходившие по размерам владения короля. На этом основании некоторые герцоги и графы считали свои домены независимыми. Такими и являлись фактически Бургундия, Аквитания, Фландрия, Анжу и Шампань. Король даже не решался посещать эти земли, чтобы ненароком не очутиться в неприятном положении. В большей степени чувствовали над собою руку французского короля на севере – графы Вермандуа и Куси, в долине реки Луары – графы Невера, Оверни, Ангулема, Турени, а еще дальше – виконты Альби и Нима, хотя власть Капетингов в этих двух южных городах была скорее номинальной, чем действительной. С бо!льшим основанием французский король мог рассчитывать на духовных вассалов – архиепископа Реймского и епископов Санса, Руана, Лиона, Тура и других городов. Некоторые из них, как, например, пастыри Лана и Бове, носили графский титул.

Как это вошло в обычай у представителей новой династии, не очень-то прочно восседавших на троне Франции, Генриха короновали еще при жизни отца, в 1027 году, на Троицу, в Реймсе. Но корона едва держалась на его голове.

Король Роберт, будучи слабовольным и бесхарактерным человеком, поглощенный всецело Соборами и церковной музыкой, мало внимания обращал на государственные дела. Он был учеником знаменитого Герберта д'Орийяка. Отличный латинист, книголюб, по примеру некоторых римских императоров бравший книги даже в походы и путешествия, король чувствовал себя на Соборах, на которых осуждались еретики, как рыба в воде, и при этом правителе, несмотря на его благодушие, во Франции пылали христианские костры и пахло жареным человеческим мясом. Однако в житейских делах Роберт предпочитал плыть по течению.

Его первой женой была итальянская принцесса. Впрочем, Роберт вскоре оставил ее, горячо полюбив Берту, графиню Шартрскую, мать пятерых детей. Но папа, грозя отлучением от церкви, заставил короля развестись с нею: Берта приходилась родней королю, хотя и очень

дальней. Король подчинился требованиям Рима и женился на Констанции, дочери графа Арльского.

Город Арль всегда славился красотой своих женщин. Красивая пламенная арлезианка привезла в Париж черные как смоль косы и легкий запах чеснока, а кроме того, сильные страсти. В борьбе со своими врагами новая королева не останавливалась даже перед убийством. Роберту она показалась малопривлекательной особой, и он отправился в Рим, чтобы лично просить папу о позволении развестись с Констанцией и жениться на оставленной Берте, прельстившей короля своим кротким нравом, хозяйственностью и плодовитостью. Ничего из этого ходатайства не вышло.

В скрытой борьбе за корону, которая уже давно велась в королевской семье, симпатии короля Роберта были скорее на стороне Генриха, законного наследника. Но любимцем Констанции оказался младший сын, как и отец, Роберт по имени. Энергичная королева отличалась большой настойчивостью в проведении своих планов, и, когда король умер, она сделала все от нее зависящее, чтобы устранить Генриха и посадить на трон своего любимца, возможно более приятного по своему характеру, чем угрюмый старший сын.

Вспыхнула гражданская война. На стороне королевы в борьбе приняли участие такие могущественные вассалы, как граф де Блуа и сеньор де Пуизе, а интересы Генриха защищали герцог Нормандский, граф Анжу, граф Фландрский. Войска Констанции захватывали королевские города, граф де Блуа взял Санс. Генриху ничего не оставалось, как искать спасения в бегстве. Он ушел в Нормандию, в Фекан, куда прибыл в одну темную ночь в сопровождении всего только нескольких приверженцев. Но герцог Роберт, по прозвищу Дьявол, дал беглецу воинов, коней, оружие и средства для продолжения войны, получив за эту услугу французскую провинцию Венсен, что открывало нормандцам дорогу на Париж. Генрих с новой энергией продолжал борьбу и разрушал один за другим ненавистные замки враждебных графов.

Между тем в самый разгар военных действий королева Констанция умерла. Младший брат тоже вышел из игры, получив в наследственное владение богатую лозами Бургундию. Однако у Генриха оставался еще один страшный противник в лице брата Эвда, и граф де Блуа тоже не желал прекращать борьбу с истекающим кровью законным королем Франции. Тем не менее Генриху в конце концов удалось отобрать город Санс, затем он заточил мятежного брата в орлеанскую темницу и несколько упрочил свое положение.

В это время Роберт Дьявол, следуя благочестивому обыкновению тех лет, возымел желание побывать в Палестине и перед отъездом просил Генриха быть опекуном своего малолетнего сына Вильгельма, того самого, что позднее стал завоевателем Англии.

Только что миновал тысячный год, когда погрязшие в грехах народы, и за десять веков не успевшие подготовиться к Царству Небесному, с трепетом ждали конца мира. Однако первое тысячелетие прошло без особых потрясений, и люди снова приступили к своим ежедневным занятиям. Впрочем, все-таки кое-что осталось от этих переживаний: укрепилась власть Церкви, обновились побеленные благодетелями базилики, грешники вспомнили о Иерусалиме. Толпы пилигримов потянулись по далеко не безопасным дорогам на восток. Этим порывом одинаково были охвачены и герцог Роберт, и русский игумен из города Чернигова Даниил, несколько позже тоже посетивший Палестину и оставивший трогательное описание своих странствий, в котором сравнивал черниговскую речку Сновь с Иорданом.

В тысяча тридцать пятом году, на обратном пути в Нормандию, Роберт Дьявол умер в Никее и был там похоронен в церкви св. Марии. В его отсутствие Генрих честно выполнял взятые на себя обязательства, и это подтверждается поведением короля в битве при Валь-эс-Дюн, происшедшей в тысяча сорок седьмом году. Нормандские поэты приписывали победу в этом сражении храбрости французского короля, выступившего против мятежных вассалов малолетнего Вильгельма.

## IX

Прошло еще два года. За это время благополучно закончились переговоры с Ярославом, и его дочь отправилась в далекое французское королевство. Но Марии не хотелось расставаться с племянницей, и она под всякими предлогами затягивала ее отъезд из Гнезно. В конце концов Ярославна покинула Польшу и, перевалив лесистые Судеты, очутилась в Чехии. Там она впервые увидела горную красоту: в долине любовалась высотами, а на перевале смотрела на крошечные домики внизу и людей, напоминавших муравьев. В Праге посольство остановилось только на отдых, и церкви этого богатого города, его каменные дома, лавки и красная кирпичная синагога проплыли перед Анной, как в дорожном сновидении...

Приближалась осень с ее дождями, распутицей и темными ночами. Анна спешила добраться поскорее до Эстергома, намереваясь провести зиму у сестры Анастасии, хотя Генрих торопил послов и очень огорчился, получив известие, что приезд невесты откладывается на несколько месяцев. Однако приходилось запастись терпением. Итак, свернув с большой дороги, посольство прибыло в Угriu, и в Эстергоме начались бесконечные беседы с Анастасией, воспользовавшейся случаем, чтобы излить сестре свою душу. Анна слушала ее и расспрашивала. Ее удивляло, что в этой земле люди не сеют пшеницу, а разводят коней и продают их. Как и в Польше, мужчины здесь брили бороды, но отпускали длинные усы и гордились ими, считая, что это лучшее украшение для мужа. Они были храбрые воины и пламенные сердца, но невежественные люди, так как над книгами в Угрии склонялись только аббаты, а рыцари предпочитали книжным занятиям конские ристания и охоты. Некоторые из знатных юношей пытались нашептывать Анне любовные признания, однако она отвергала мольбы, больше всего страшась покрыть позором имя будущей королевы Франции. Впрочем, все ее спутники, от благоразумного епископа Роже, опасавшегося гнева короля, до последней служанки, следили за каждым ее шагом. Лишь Милонегга, ставшая в пути наперсницей Анны, говорила ей порой на ушко, что некий красивый воин сто раз проезжал мимо дома на огненном коне, поднимая красноречивые взоры к тому окну, за которым обитала Ярославна, и от этих рассказов становилось веселее на душе. По вечерам вдова расчесывала княжне косы, они тихо беседовали, как две подруги, и Анна стала доверять прислужнице свои девичьи тайны.

Наступила зима... В огромных очагах запылали тяжкие поленья. Морозы в тот год были особенно суровыми, волки выходили из дубрав, и люди прятались от жестокой стужи в теплых горницах. Мир наполнился ледяным воздухом, в серебряных кубках искрилось янтарное вино, от которого рождается в сердце сладкая грусть. Где-то находился в этот час Филипп, голубоглазый воин? На каком пиру сидел? Какую красотку целовал? Или, может быть, уже стрела ему пронзила грудь и он раскинулся на поле битвы, на ложе храбрых?

А вокруг звенели песни, обильно лилось вино. Анна подумала, что такая жизнь понравилась бы Святославу, любителю всякого веселья. Навсегда у нее осталось от этой страны воспоминание о быстрых поездках в санях, под звон бубенцов в конских гривах.

Но как только пришла весна, растаял снег на полях и дороги стали проезжими, Анна рассталась с милой сестрицей Анастасией и направилась в Регенсбург.

Сначала поплыли в ладьях по Дунаю. Король Андрей снабдил посольство всем необходимым для водного путешествия, и Анна испытала много удовольствия, когда на обоих берегах Дуная сменялись один за другим живописные пейзажи, рощи, торговые города, каменные монастыри и замки. Она наблюдала изумительные закаты над водою и восходы солнца. Если в пути попадались встречные ладьи, люди на них переставали грести, желали счастливого странствия, а на самом деле высматривали, какие товары доставляются в Регенсбург.

Это была часть того древнего торгового пути, где в харчевнях и на постоялых дворах

пахло пряностями, как в лавке херсонесского торговца. После Регенсбурга купцы снова передвигались на повозках, и владельцы расположенных на этой дороге городов, графы и епископы, стремились извлечь выгоду из благоприятного положения своих земель, поэтому всюду здесь стояли рогатки и заставы, особенно на мостах и переправах, и взимался соответствующий мытный сбор. То же самое было и на Дунае, и, например, в Баварии торговые суда могли проходить мимо Энса только до Благовещенья, а после этого праздника обязаны были причаливать к городским пристаням, разгружать товары и продавать их на ярмарке, продолжавшейся до Троицы, уплачивая положенные пошлины в пользу местного епископа. Налоги были довольно высокие: как указывалось в мытном уставе, с повозки, нагруженной вином или хлебом, торговцы вносили двенадцать денариев сбора. Еще выше облагались шедшие из России меха, и тем не менее люди охотно занимались здесь торговлей, так как она приносила огромные барыши.

Товары на ярмарках раскупались в несколько дней, ибо у богатых баронов появилась большая потребность в красивых материях, серебряных изделиях и пряностях, без которых пища казалась пресной. Чтобы иметь возможность приобретать эти вещи, они мало-помалу заменяли крестьянские оброки денежным обложением.

Видную роль в этой торговле играли купцы из Регенсбурга, так называемые «руссарии», то есть торговцы русскими товарами, главным образом мехами, за которыми они ездили на Русь, а также моравы и ломбардцы, в особенности же евреи. Как уже упоминалось, в Киеве наряду с немецкими, польскими и итальянскими подворьями в те годы существовал и большой еврейский посад, куда русские книжники ходили устраивать прения с седобородыми раввинами и где позднее автор «Слова о полку Игореве», может быть, впервые прочитал в переводе «Иудейскую войну» Иосифа Флавия и заимствовал у него две или три метафоры. Повсюду на этом торговом пути стояли молитвенные дома, в том числе кирпичная синагога в Праге, бывшая центром иудейской учености. Около нее находилось знаменитое кладбище с каменными плитами в виде скрижалей. На других могильных памятниках виднелись семисвечники или пальмовые ветви, напоминавшие о далекой Палестине.

Наконец ладьи приплыли в Регенсбург, богатый город, перед которым заискивал сам император, зная, что здешние банкиры могут в трудную минуту снабдить его значительными суммами денег и даже золотыми монетами арабской и константинопольской чеканки. Средиземное море в те годы находилось во власти сарацинских кораблей, и морская торговля Европы с богатым Востоком замерла: даже греки, торгуя с Северной Италией, вынуждены были пользоваться не удобным сообщением по морю, а сухопутными дорогами. Херсонес тоже направлял свои товары в Регенсбург через Киев и Прагу, и этот торговый путь связывал столицу Руси с западным миром. На севере такой связью служило Варяжское море.

В Регенсбурге путешественники остановились в аббатстве св. Эммерама, где русскую принцессу, ехавшую со знакомыми аббату епископами, приняли с большим почетом. Приором монастыря был известный в ученых кругах автор «Комментариев к житию св. Мариана», друг епископа Готье Савейера, с которым он сблизился в прошлом году за чашей доброго венгерского вина и за долгими вечерними разговорами о мудрости Аристотеля, когда посольство направлялось по этой же дороге в Киев. Прежде всего старый аббат спросил, удалось ли посольству приобрести мощи св. Климента. Он сам надеялся выпросить у епископов хотя бы небольшую косточку для своего монастыря, которой было бы вполне достаточно, чтобы обогатить аббатство. Но послам пришлось огорчить его: по наущению Иллариона и митрополита Феопемпта, как разузнал длинноносый Людовикус, Ярослав не пожелал расстаться с такой святыней, как глава мученика, и аббат был крайне раздосадован этим известием.

В аббатстве текла размеренная жизнь. Анна видела, как в положенные часы монахи шли попарно в церковь, опустив головы и засунув руки в широкие рукава коричневых сутан. Вскоре после этого из капеллы раздавались довольно нестройное пение и сладостные звуки

органа. Анна наблюдала все это из окна соседнего дома, принадлежавшего богатому купцу, который торговал русскими мехами и имел дела с Ярославом, поэтому почел за честь дать приют под своей кровлей такой знатной особе, как Анна, не говоря уже о том, что это случайное обстоятельство могло ему послужить в будущем к большой торговой выгоде. В ограде же аббатства проживать женщинам не разрешалось. Впрочем, некоторые местные плутовки, кажется, знали дорогу в монастырь через потайную дверь в ограде с той стороны, где тропинка спускалась к Дунаю. Эта дверь порою приоткрывалась, и какая-то тень проскальзывала в монастырскую тишину, среди которой старый аббат писал свои благочестивые комментарии.

Епископ Готье настоятельно советовал Анне совершить прогулку по городу, в котором было немало достопримечательного. Сам же дни и ночи проводил в монастырской библиотеке, где хранились весьма редкие манускрипты. Ему нравилось сидеть там, под сводами каменного потолка, поглядывая через окошко в сад. Здесь помещалась и скриптория. Два или три монаха прилежно переписывали в течение многих часов книги, то макая тростник в чернильницу, то осторожно соскабливая острым ножом допущенные ошибки. Такой нож вручался каждому писцу, ибо дьявол стремится рассеивать человеческое внимание, когда люди занимаются перепиской книг благочестивого содержания.

Город действительно был богат и застроен каменными домами. Он славился вышеупомянутым аббатством св. Эммерама, замечательной церковью св. Марии и мощами Дионисия Ареопагита. Но немалую известность и уважение снискали горожане и производством шерстяных изделий.

Однажды в сопровождении своих приближенных женщин Анна отправилась посмотреть город, главным образом капеллу св. Марии. Она знала со слов Готье Савейера, что ее построили, подражая той церкви, которую соорудил в Аахене Карл Великий, доставивший из Италии не только планы для строительства, но и мраморные колонны и серебряные светильники. Несмотря на похищение этих столпов, дородный епископ весьма чтит память императора как латиниста и законодателя. Но после киевских храмов Анну эта сумрачная церковь с раскрашенной статуей мадонны не удивила...

Весна была в разгаре. С холмов сбегали вешние воды. Снова поплыли вверх по Дунаю, а когда потом ладьи сменили на повозки, Анна поняла, что Русская земля осталась далеко позади. Теперь путь лежал среди гор Франконии, и в пути часто попадались шумные водопады, производившие большое впечатление на Ярославну.

В один из этих дней путешественники настигли повозку, нагруженную какими-то товарами и тщательно укрытую грубым холстом. Одно из колес повозки сломалось, и она беспомощно накренилась набок, загородив проезд. Около воза суетились и размахивали руками чернобородые восточные купцы. Когда всадники и возы посольства под крики и ругательства коннохов объезжали потерпевших крушение, один из них подошел к сеньору де Шони, который, очевидно, показался ему самым важным человеком в этом шумном поезде, и обратился с такой просьбой:

– Добрый господин! Мое имя – Яков Шайя. Ты, вероятно, слышал обо мне?

Рыцарь надул губы.

– Впервые слышу такое знаменитое имя!

– Тогда позволь сказать тебе, что я честный торговец и направляюсь с братом Соломоном в город Вормс. Мы везем туда некоторое количество перца. Но, как видишь, в пути нас постигло несчастье. Скажи своим слугам, чтобы они выдали нам одно из ваших запасных колес, и мы заплатим за него по справедливой цене.

– Вот еще что придумал, – рассердился Шони.

– Сегодня пятница. – продолжал торговец, – приближается субботний отдых, и нам надо торопиться, чтобы попасть в соседний город до закрытия ворот...

– Значит, вы иудеи?

– Мы иудейской веры.

– А зачем вы Христа распяли? Ага! Вот у вас и сломалось колесо!

Рыцарь с довольным видом тронул коня шпорами, и обоз снова двинулся в путь.

Торговец печально вернулся к покривившейся повозке. Это происшествие было единственным событием на скучной дороге. Анна оглянулась и увидела, что купцы с огорчением рассматривали поломанное колесо.

На другой день в пути разразилась такая гроза, что путешественникам пришлось искать приюта в первой попавшейся харчевне. Она представляла собою закопченное дымом строение, сооруженное кое-как из кусков дерева и глины под соломенной крышей, уже позеленевшей от времени. При корчме находился двор, загаженный конским навозом. Тут же несколько распряженных повозок задрали к небесам оглобли. Неизвестные люди перекликались между собою на немецком языке, укрывшись чем попало от непогоды. Мокрые лошади уныло повесили головы, косой дождь лил как из ведра, и среди двора дымил погашенный костер, а на дороге в лужах лопались водяные пузыри.

Спутники поспешили увести Анну в харчевню, чтобы спасти ее от потоков воды, низвергавшейся с небес среди молний и раскатов грома, и усадили в том углу, где было почище. В харчевне собралось немало людей, говоривших на всех языках Европы. Они с любопытством смотрели на русскую княжну, едущую в Париж, чтобы стать королевой Франции, так как весть об этом со слов какого-то болтливого конюха быстро распространилась из уст в уста. Но присутствие около Анны вооруженных людей удерживало путников от назойливых вопросов.

За стеной шумел дождь. Когда сверкала молния, затянутое бычьим пузырем оконце на мгновение становилось розоватым. Анна благодарила судьбу, что на пути попало это благословенное убежище. Хозяин, человек с рыжей бородой и с огромным брюхом под кожаным передником, уже предлагал свои яства – рыбную похлебку и копченых гусей. Словоохотливый епископ Готье, всюду совавший свой любопытствующий нос и никогда не устававший наблюдать окружающий мир, тотчас вступил с трактирщиком в разговор, расспрашивая его на своем плохом немецком языке о Майнце, ввиду того, что на пути в Киев епископы миновали этот город и не имели случая в нем побывать.

Трактирщик охотно объяснял:

– Майнц – очень большой город. Но только часть его застроена домами, а значительное пространство отведено под хлебопашество.

– Он расположен на Рейне?

– На Рейне, в стране франков.

– Гм... Что хорошего в этом городе? – расспрашивал епископ.

– В нем в изобилии произрастают всякие овощи. Майнц славится также вином.

– Приятное вино?

– Отличное. Но немало в городе и другого богатства. У тамошних менял ты найдешь даже монеты, чеканенные в Самарканде. Там также много лавок, торгующих пряностями, доставленными с Востока.

– А есть ли в Майнце монастыри, славящиеся своими библиотеками? – опять спросил епископ.

Хозяин харчевни с глупым видом вытаращил глаза.

– Это мне неизвестно, – отвечал он.

Впрочем, епископ сам устыдился своего наивного вопроса и поспешил перевести речь на более понятные для трактирщика предметы.

– Какие же пряности продают в Майнце?

– Самые разнообразные. Перец, гвоздику, нард. Купцы привозят их из очень далеких стран. Где живут единороги.

Так как епископа интересовали не только книги, но и все, что касалось стола, то он стал

допытываться:

– А еще какие пряности?

Трактирщик подумал и ответил:

– Имбирь.

– Не скажешь ли мне, где теперь живет кесарь?

– Кесарь живет не в Майнце. Он пребывает в Ингельхейме. Но в настоящее время находится в Госларе. Так мне говорил один проезжий купец из Вормса.

Сидевший неподалеку бродячий монах, до сего времени молчавший, видя добродушие прелата, удостоившего беседою простого трактирщика, выдвинулся вперед.

– Приветствую вашу эминенцию! – сказал он епископу.

Готье прищурил глаза, польщенный таким титулованием.

– Если не ошибаюсь, твое имя – Люпус?

– Смиренный брат Люпус.

– Ты сопровождал нас в Киев?

– Сопровождал, но, побуждаемый всякими делами, оставил посольство и вернулся в Регенсбург.

– Что же ты хочешь сообщить мне?

– Могу подробно рассказать вашей эминенции об императоре. Ибо всего только три дня тому назад покинул монастырь в Госларе, где предавался благочестивым упражнениям для спасения души. Этот монастырь построил ныне здравствующий кесарь и подчинил его епископу Адальберту.

– Куда же ты направляешься?

– В монастырь св. Мартина, куда меня пригласил аббат Бруно для переписки книг.

– Это похвально, брат Люпус, – сразу подобрел епископ. – Но ты упомянул имя Адальберта, епископа Бременского. Где он находится в настоящее время?

– В настоящее время он находится в Майнце. В этот город теперь съезжаются многие епископы, ибо вскорости предстоит собор, на котором будут разбирать проступок епископа Шпейерского.

– Достопочтенного епископа Сибико?

– Вот именно.

Можно было подумать, что нет на земле ни одного епископа, которого бы не знал брат Люпус.

– Ничего не слышал о проступках епископа Шпейерского, – сказал искренне удивленный Готье.

– Однако о скандале говорят на всех базарах. Некоторые утверждают, что этот прелат обольстил замужнюю женщину...

Толстяк закашлялся, но у него не хватило решимости оборвать болтливого монаха. Брат Люпус продолжал как ни в чем не бывало:

– Одни болтают, что епископ обольстил ее, другие же, что, напротив, она воспылала к епископу страстью, внушенной дьяволом, который и помог ей соблазнить святого мужа. Кто прав, кто виноват – покажет расследование. Интересное дело! Хотелось бы присутствовать на таком судеговорении.

– Лучше скажи, как мне повидать епископа Адальберта, – спросил Готье, чтобы перевести разговор на другую тему и не касаться скользкого вопроса о прелюбодеянии такого светильника церкви, как Сибико.

– Нет ничего легче. Епископ Бременский в настоящее время тоже находится в Майнце.

– Приходилось ли тебе, брат Люпус, видеть этого замечательного пастыря?

– Приходилось, и я мог бы много рассказать о нем, но ведь опасно пускаться в это море событий, где все полно опасных мелей и преисполнено подводных камней зависти. Я опасаюсь, поверит ли мне ваша эминенция. Ведь как ныне бывает на земле? Похвалишь кого-

нибудь, даже за глаза, и люди скажут, что ты льстец. А если осудишь, объявят зоилом.

– Ты выражаешься, как хороший ритор, – усмехнулся епископ и сложил сплетенные пальцы на животе.

– За свою жизнь я столько переписал книг самого разнообразного содержания, что научился говорить, как это полагается в образованном обществе.

Епископ Готье Савейер много слышал об Адальберте, ревностном слуге на винограднике Божьем, о его уме, богатстве, щедрости и просветительной деятельности в Дании и среди славян. Но все это были неточные сведения, полученные из третьих рук, а брат Люпус уверял, что неоднократно лицезрел архиепископа. Монах не мог остановить потока своего красноречия:

– Говорят, он весьма знатного происхождения. Во всяком случае, наружность его привлекает взоры. Архиепископ Адальберт красноречив, удачлив в своих предприятиях, богат. Поговаривают даже, что он властолюбец и якобы намерен создать второе папство в Гамбурге, чтобы под своим духовным руководством, как под крыльями орлицы, объединить все немецкие епархии и Скандинавию. Под духовным ли только? Ведь ни для кого не тайна, что у него есть один большой порок. А именно – любовь к славе. Архиепископ честолюбив до крайности. Этим он снискал себе немало врагов, а, как известно, честолюбие – плохой советник в делах смирения. Однако мы должны быть осторожными в осуждении этого пастыря, ибо сказано, что каким судом ты судишь ближнего, таким и тебя будут судить.

– А его многие осуждают?

– Многие... И надо сказать, что среди его врагов самый опасный из всех – саксонский герцог Бернгард. Когда архиепископ построил в Гамбурге крепость, герцог тотчас же возвел против нее свою твердыню. Эти замки до сего дня смотрят друг на друга, как два злых вороны.

– Такое творится в Германии!

– Ты еще не знаешь всего, – всплеснул руками монах.

– А Адальберт?

– Что Адальберт? Это щедрый человек, хотя и тратит деньги на всяких шарлатанов и комедиантов. Но в гневе он способен поколотить противоречащего ему, как это случилось недавно с одним приором. В такие минуты все бегут от Адальберта, как от вырвавшегося из клетки льва. Зато, когда он в хорошем настроении, его можно гладить, как ягненка, и корыстолюбящие люди пользуются этим. На меня же враги и завистники наговорили ему столько неправды, что я вынужден был покинуть Бремен.

– Переписывал там книги?

– Переписывал книги и выполнял другие работы. Однако я не жалею. Ведь судьба человеческая превратна. Поэтому и мне много пришлось претерпеть на своем веку за любовь к истине. Людей, не желавших льстить, выпроваживали из архиепископского дома, как прокаженных. Впрочем, известно, что истина редко пребывает во дворцах. Одним словом, этот пастырь, ничего не любя, кроме мирской славы, растерял в настоящее время все свои добродетели. Запомнился мне такой случай. Однажды Адальберту для чего-то понадобились деньги, и он не постеснялся взять из бременской церкви священные сосуды и кресты. Кажется, чтобы уплатить королю за какое-то графство. И, конечно, обещал в самом скором времени сторицею вознаградить церковь. Но так и не выполнил своего обещания. А расплавлявший эти вещи золотых дел мастер рассказывал мне, что когда он ломал чаши и кресты, то при каждом ударе молотка слышал плач младенца... Сколько набожности заключалось в этих предметах, а святотатственная рука клала золото в мешки светских князей, и из него делали всякие ожерелья. Да, оно теперь украшало не церкви, а греховные прелести их жен и даже любовниц...

Готье, внимавший брату Люпусу с огромным интересом, при этих словах стал жевать губами, что у него служило признаком неудовольствия. Болтун не знал меры. Но епископ

Роже, слушавший до сих пор рассеянно, занятый какими-то хозяйственными размышлениями, вдруг завопил:

– Монах! Кто дал тебе право осуждать такого прославленного пастыря, просветительные подвиги которого известны всем? Или ты пьян, как свинья?

Брат Люпус прикусил язык. Дело в том, что он действительно только что осушил кувшин крепкого пива.

– Зачем ты вводишь людей в искушение! – негодовал Роже. – Смотри, чтобы я не надавал тебе оплеух!

Люпус не знал, куда ему деваться. Впрочем, епископ был намерен сохранить слова болтливого монаха в памяти. Бедняге представляется, будто бы на него сыплются удары несправедливой судьбы? Однако он рассказал немало. О, рано или поздно королю придется столкнуться с епископом Адальбертом, и тогда этот гордец будет стоять перед ним в парчовых облачениях как бы нагой, со всеми своими слабостями и недостатками.

Три дня спустя Готье встретился с Адальбертом в Майнце. Епископ находился среди приближенных Генриха. Император принимал послов в ингельхеймском дворце. Анне не хотелось встречаться с человеком, который в прошлом отверг ее руку. Потом она подумала, что унижительный отказ был получен не от самого Генриха, а от его отца, кесаря Конрада, ревностного латыннина, и успокоилась. Теперь же император не спускал с нее глаз. Кроме того, оба епископа в один голос убеждали будущую королеву не уклоняться от этой встречи, что может оказаться полезной для правителя Франции.

Анна уже знала о столкновении, которое недавно произошло между двумя Генрихами. На какой-то остановке ей рассказал обо всем Людовикус.

– Когда кесарь отправился в Италию, чтобы короноваться в Медиолануме, французский король решил, что настало удобное время добиться возвращения того, что он считал своим достоянием, и потребовал, чтобы кесарь отдал ему дворец в Аахене, якобы некогда принадлежавший его предкам. А также Лотарингию. Объявили большой сбор вассалов. Со всех сторон в Реймс потянулись всадники, пешие воины, повозки, нагруженные оружием и припасами. Все уже было готово, чтобы начать войну. Но, по-видимому, графы не оказали должной поддержки французскому королю, и от справедливых требований пришлось отказаться до лучших дней.

Вспоминая этот рассказ, Анна еще больше сжимала рот, когда глядела на кесаря. Напрасно он искал улыбку на ее лице. Перед ним стояла гордая красавица, едва кивнувшая головой в ответ на его приветствие. Генрих Третий, достигший в те годы вершин власти, вскипел от негодования. Но сдержал себя. Ведь это отец послал опрометчивый ответ на предложение русского короля! Пристыдив себя за недостойную вспышку гнева, кесарь молча теребил черную бороду, невольно представляя себе в эти минуты свою пышную супругу, с которой ему было так скучно в ингельхеймском дворце, в холоде императорской опочивальни...

Кесарь, высокий и темноволосый, вошел в залу с надменно поднятой головой, с усталым взглядом полуприкрытых веками глаз.

Людовикус шептал епископу Готье:

– Один из образованнейших людей нашего времени. Читает философские книги. Наполовину монах, наполовину тиран. Вероятно, ему мало доставляет удовольствия общество этих краснорожих баронов.

Готье с любопытством рассматривал императора. Но вскоре его внимание привлек к себе другой человек, вдруг появившийся из-за спины кесаря. Это был облаченный в пурпур красивый епископ, с полным, почти круглым лицом, но с орлиными глазами и породистым носом. Нарушая правила дворцового этикета, прелат стал рядом с императором, как равный ему.

– Кто он? – спросил шепотом Готье Людовикуса.

- Да это же и есть Адальберт, – прошептал переводчик.
- Архиепископ Адальберт!
- Он самый.

Красивый старец с отеческой улыбкой взирал на Анну. Потом сказал:

– Дщерь во Христе! Знай, что я не чужой тебе. Мать моя была в родстве с Феофано и великим Оттоном, а Феофано, прекрасная константинопольская царевна, приходилась родной сестрой твоей бабке.

Анна отлично знала, что бабкой ее была Рогнеда, от которой она, может быть, и унаследовала свои рыжие волосы, а не греческая царевна. От гречанки родилась Мария, ныне польская королева. Но по молодости лет Ярославне льстило, что люди считают ее отца потомком прославленных царей, и она тщеславно поднимала голову.

– Смотри, – шепнул Людовикус епископу Готье, – у кесаря борода, как у Аристотеля.

– Ученость заключается не в бороде, – отвечал епископ. – Ведь если бы это было так, то самым ученым считался бы козел.

Готье стало скучно. На приеме люди обменивались пустозвонными фразами, а ему чрезвычайно хотелось побеседовать с кесарем о философских предметах, и особенно с епископом Адальбертом, но случая для этого в тот вечер не представилось.

В честь Анны в огромном императорском дворце устроили пир, на котором никто не веселился в присутствии мрачного кесаря, почти не прикасавшегося к чаше с вином. На другой день происходил турнир. Эти состязания только что начали входить в обычай – примерные бои рыцарей с притупленными копьями в руках, и здесь Анна впервые увидела на щитах гербы. Вставших на дыбы хвостатых львов, черных тощих орлов на золотом фоне, кресты, лилии, короны... Некоторые рыцари, в знак того, что они сражаются не за себя, а за честь возлюбленной, изображали на своем щите ее герб.

Генрих, полный сознания своей власти над Германией, но меланхоличный, потому что всякая власть есть суета сует и жизнь человеческая брэнна, усадил Анну рядом с собой и, видимо, любовался ею. Они сидели на балконе. Внизу, на обширном замковом дворе, выстроились рыцари в полном вооружении, в кольчугах и блестящих шлемах.

Кесарь спросил Анну:

– Что изображено на твоём щите?

Людовикус, с лисьей шапкой в руке, перевел вопрос.

Анна подумала и ответила:

– Золотые врата...

Она тут же решила, что если будет надобность в каком-либо знамени, то изберет для него прославленные киевские ворота.

Но турниры не понравились Анне. Русские, угры или печенег лучше сидели на коне и мчались как птицы, а здешние громоздкие бароны тяжело взлезали на откормленных жеребцов и без большой ловкости выбивали друг друга копьями из седел. Один из таких бойцов умер от удара в то место, где в груди рождается вздох. Толпа рыцарей столпилась вокруг упавшего с лошади, и Анна видела только, как убитого понесли на плаще во дворец. Но это не помешало продолжать состязания, и еще один рыцарь упал с коня и сломал себе ногу. Прочие очень смеялись над неловким. Несчастный скрежетал зубами, а какой-то барон стоял над ним, упираясь руками в колени, и смеялся:

– Ха-ха! Как ты меня рассмешил своим падением!..

Месяц апрель был на исходе. Путешествие приближалось к концу. Анна неизменно двигалась на запад и на своем пути часто видела высокие замки. После долгой и скучной зимы сеньоры имели обыкновение в это время года выезжать на первую охоту. В полях, где веял теплый ветер, лаяли псы. Когда какой-нибудь барон узнавал, что мимо его владений проезжает целый отряд, он скакал туда, не будучи в силах справиться со своим любопытством, и, видя, что перед ним знатная дама и епископы, стягивал с головы шляпу и

просил посетить его дом. Иногда посольство пользовалось гостеприимством таких сеньоров, грубоватых и пахнущих лошадиным по!том; их замки напоминали не то разбойничьи притоны, не то крепости в только что завоеванной земле, где людям еще некогда подумать об удобствах, о бане, о чистой сорочке, о цветах в саду, а приходится спать на соломе, не раздеваясь, не выпуская из рук оружие, рядом с конями и собаками. В таких замках было много вооруженных людей, охотников, псарей и конюхов, и Анна не знала, что и ей придется жить приблизительно в подобной же обстановке. В более богатой, конечно, и где была возможность встречаться с образованными людьми. Но ни сами бароны, ни их дородные супруги ничего особенно тяжелого в этом образе жизни не видели и во время пребывания гостей в их замках возмещали неудобства своего жилища обильным угощением и бочонками пива.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Успешно выполнив в Киеве королевское поручение, послы возвращались в Париж. Епископы, худощавый Роже и тучный Готье Савейер, ехали обычно на своих ушастых мулах впереди обоза. Шалонский пастырь размышлял в пути о судьбах галльской церкви или о каких-нибудь хозяйственных предприятиях, добродушный толстяк вспоминал латинские стихи и мечтал о том часе, когда можно будет полакомиться нежным французским цыпленком и запить его кувшином доброго реймского вина. Ехавший позади рыцарь Гослен де Шони вообще не утруждал себя размышлениями.

Так продолжалось в течение многих дней, с остановками и привалами. Но медленно уплыли назад франконские горы, умолкли водопады, остался за спиной многоводный Рейн. И вдруг в одно туманное утро огромным цветком раскрылась перед глазами прекрасная Франция. Она была такой же лесистой и заболоченной страной, как Польша или Лотарингия, но Анне представилась в особом свете: воздух здесь казался необыкновенно приятным для дыхания, нигде так не зеленели лужайки, после нагромождения гор и скал небольшие холмы приветливо возвышались на долинах, и все было полно соразмерности.

Возможно, первые хорошие впечатления Анны объяснялись тем, что стояло чудесное утро. Наступила весна. Французские девушки бродили по полям и, напевая песенки, собирали жонкилы, чтобы украсить на Троицу двери своих хижин. Ярославна улыбнулась им и прошептала:

– Здравствуй, Франция!

В тот день епископы задержались в придорожном монастыре, где аббат слезно просил их мудрых советов по поводу тяжбы с соседним бароном, и Анна, в сопровождении спутников, отправилась вперед, с любопытством глядя по сторонам.

В селении, под вековым дубом, сидел на мешке, набитом соломой, прево и отправлял правосудие. Перед грозным судьей стояли поселяне и поселянки; некоторые из них держали в руках гусей или уток, как бы уже приговоренных к смертной казни. На деревенской площади происходил петушиный бой. Зрители поощряли пернатых драчунов неистовыми криками, петухи насакивали друг на друга, взлетали один перед другим, нанося противнику жестокие удары клювом или шпорами, и окровавленные перья устилали землю. С утра топилась печь для выпекания хлебов, расположенная подальше от жилья, чтобы предотвратить пожары. Несмотря на праздничный день, многие сервы трудились, подрезали лозы или шли за плугом с колесами, который величественно влекла пара серых волов с черными влажными носами, а над плетеными соломенными ульями, непохожими на славянские липовые борти, деловито гудели пчелы. На лугах паслись курчавые овцы. Стадо

розовых свиной бодро искало под дубами прошлогодние желуди, и пастух, опираясь на длинный посох, смотрел с блаженно-глупой улыбкой на проезжающих. У дороги бежали босые девушки с цветами в руках, и молодые оруженосцы перебрасывались с ними шутками, радуясь, что все благополучно вернулись в свою страну.

Анна медленно ехала на кобылице, любуясь холмами и лужайками, в изобилии покрытыми желтыми цветами. На пути попала роща. Из-за деревьев доносилось голосистое женское пение. И вдруг за поворотом дороги – еще одна деревня: две дюжины бедных хижин, крытых косматой соломой, кучи навоза, плетни, покосившаяся каменная капелла. На лугу стояли кружком молодые и старые поселяне в коричневых или зеленых платьях и пели, отбивая такт ногами и хлопая в ладоши. За материнские юбки цеплялись деревенские дети в рубашонках. Щурясь от солнца, сгорбленный старик с палкой в руке смотрел на женщин.

Анна, выехавшая вперед, остановила кобылицу и прислушалась. Поселянки пели:

Porcoi me bait maris,  
Laisette?  
Je ne li ai rienz mefait,  
Ne rienz ne li ai mesoit  
Fors c'a – coller mon amin  
Seulette!

Но они уже заметили богато одетых путешественников, задержавшихся на дороге, и те певички, что стояли спиной к Анне, обернулись, а некоторые даже показывали на нее пальцами. Пение тотчас прекратилось.

Шони приложил руки корабликом ко рту и крикнул:

– Что же вы умолкли? Пойте!

Не зная, кто этот сеньор, крестьянки переглядывались и фыркали от смеха. Наконец самая смелая затянула высоким хрипловатым голосом:

Et c'il me lait dureir,  
Ne bone vie meneire,  
Je lou ferai sous clameir...

– Что они поют? – спросила Анна Людовикуса.

– Песенку про Лизетт.

– Что они поют о ней?

– Муж бьет Лизетт. Она спрашивает, почему он ее бьет. Уверяет, что ничего плохого ему не сделала. Только обняла своего дружка.

Анна рассмеялась.

– А потом?

– Потом Лизетт грозит наставить мужу рога, если тот не перестанет ее бить...

Ярославна не знала, что такое – наставлять рога. Людовикус объяснил:

– Если жена с другим любитя, то во Франции говорят, что она мужу рога наставляет.

– Как у быка?

– Как у оленя, – усмехнулся переводчик.

Никогда Людовикус не видел более милостивой госпожи, чем дочь киевского князя, и более снисходительной к нижестоящим.

Анна легко соскочила с лошади и направилась по тропинке к селению. Ее сопровождали рыцарь Шони, Людовикус и другие. Вскоре к ним прибежали даже молодые конюхи, бросив на произвол судьбы повозки. Но женщины на лугу, сообразив, что перед

ними, очевидно, какая-то очень знатная дама и даже, может быть, сама вавилонская принцесса, слушавшая их простые песенки, застыдились и не хотели больше петь. Одна из них даже закрыла лицо передником.

Гослен де Шони, разгладив усы, чувствуя себя петухом на птичьем дворе среди этих свежих и чисто вымытых ради праздника крестьянок, требовал:

– Пойте! Или я высеку вас розгами!

Певицы смеялись, взволнованные весной, шутками рыцаря в великолепном красном плаще. Ободренные хорошим настроением своего господина, конюхи тоже стали пересмеиваться с деревенскими красавицами, и те отвечали им не менее игриво.

Анна посмотрела еще некоторое время на поселянок и вернулась на дорогу, где верный Ян терпеливо держал под уздцы ее кобылицу. Обоз снова двинулся в путь, и подковы зацокали по каменистой дороге. Но еще долго доносились звонкие голоса молодых крестьянок, певших во всю силу своего глубокого дыхания...

Вскоре присоединились на дороге к остальным и епископы, догнавшие обоз на старых, но довольно еще бодрых мулах. Роже, тоже внимавший пению, ворчал:

– Поют кантилены и пляшут эстампиды. Лучше бы занимались изготовлением пряжи!

Анна спросила, чем недоволен епископ. Людовикус перевел его слова и объяснил, что кантиленами называются народные песенки, а эстампиды – деревенские танцы, когда люди стоят кружком.

– Вроде наших хороводов, – сказала Ярославна.

Когда епископы и сопровождавшие их вооруженные всадники проезжали мимо стоявших у дороги поселян, те стаскивали войлочные колпаки с лохматых голов и не надевали их, пока не удалялся самый последний конюх, которому очень льстило такое уважение. Крестьяне считали, что лучше проявить некоторое терпение, чем иметь неприятности и вызывать страшный гнев господ.

Так же поступали встречные путники и пилигримы. Некоторые из них даже опускались на колени, с намерением получить пастырское благословение.

Анна видела, что одежда у этих бедняков не лучше, чем у киевских смердов. На французских поселянах были залатанные домотканые рубахи, главным образом коричневого цвета, узкие порты из такой же материи и короткие плащи с капюшонами, чтобы работать даже в дождливую пору. Некоторые, вероятно, брились под большие праздники, а в остальные дни ходили заросшие ужасающей щетиной, и эти колючки еще более подчеркивали их бедность.

А ветерок на легких крыльях доносил веселую песенку...

## II

Послы торопились в Париж, желая поскорее передать, как некое драгоценное сокровище, невесту из рук в руки королю и получить от него заслуженную похвалу. Но встреча Генриха с Анной состоялась еще до прибытия во французскую столицу, недалеко от города Реймса.

Когда весть о благополучном возвращении посольства достигла ушей короля, находившегося в те дни в парижском дворце, им овладело такое нетерпение, что, не медля ни единого часа, невзирая на то, что день уже клонился к вечеру, Генрих помчался в сопровождении немногих спутников по реймской дороге навстречу невесте, под легкомысленные шуточки графа Рауля, из любопытства присоединившегося к королю в этой сумасшедшей скачке среди ночи.

А между тем Ярославна приближалась к своей судьбе. Дорога поднялась на холм, и с возвышения Анна увидела, что навстречу, поднимая облако пыли, стремительно скачут всадники. Красные и синие плащи широко развевались. У нее сжалось сердце, когда

Людовикус не без волнения сказал ей, что это, может быть, сам король спешит к ней, горя нетерпением поскорее увидеть будущую супругу.

Анна придержала лошадь. Так же поступили и все ее спутники... Колеса перестали скрипеть. Нелепо двигая локтями, епископы выехали вперед, чтобы встретить короля и дать ему первый отчет о возложенном на них ответственном поручении. Сложив ладони и вздымая очи горе!, они молились, и Анна заметила, что даже Готье Савейер бормотал что-то себе под нос. Но сеньор Гослен де Шони не выдержал, ударил коня шпорами и, сорвав с головы шляпу, помчался навстречу приближавшимся в облаке пыли всадникам. Все видели, как он на всем скаку остановил коня, и человек, в котором уже нетрудно было теперь признать короля, тоже натянул поводья, и его белый жеребец от неожиданности встал на дыбы. Подъехали королевские спутники. Генрих обменялся немногими словами с Шони и направился шагом к епископам, поджидавшим его на холме все в той же благочестивой позе. Не обратив большого внимания на пастырские благословения, он искал глазами ту, ради которой прискакал сюда как мальчишка, едва останавливаясь на несколько минут в придорожных харчевнях, чтобы выпить кубок вина и наскоро съесть деревенскую яичницу.

У Анны колотилось сердце. Она представляла себе жениха совсем другим, более красивым и молодым, а перед нею тяжеловато сидел на коне довольно мрачного вида сорокалетний человек с неказистой бородой. Но она уже знала от Милонегги, что красота не нужна для мужчины, а требуется от него сила мышц, желание повелевать и мужество в сражениях.

Увидев Анну, порозовевшую от волнения, но не опустившую гордые глаза, так как ей тоже хотелось получше рассмотреть того, с кем суждено было разделить жизнь до гробовой доски, Генрих неловко улыбнулся, не зная, что сказать невесте. Анна сидела в седле боком, свесив на сторону длинные ноги. Она была в русском сарафане из синего шелка, с косами, перекинутыми на грудь, рыжеволосая, с глазами цвета лесных орешков. Король с удивлением увидел, что на голове у нее странная шапочка из серебряной парчи, опушенная бобровым мехом. Грудь у невесты, по его мнению, была недостаточно ощутимой. В досаде Генрих даже нахмурился на мгновение, но вспомнил, что русские принцессы славятся плодовитостью, и вновь улыбнулся. Людовикус уже подбежал к Анне и с непокрытой головой, сияя лысиной, вертя в руках лисью шапку, не без страха приготовился выполнять обязанности переводчика.

Волнение по поводу встречи с королем охватило даже простых конюхов: конечно, они надеялись получить по горсти серебряных монет и увидеть своих близких, покинутых на продолжительное время, но разволновались они еще и потому, что этот человек олицетворял для непросвещенных людей, никогда не слышавших об универсалиях<sup>9</sup>, прекрасную Францию, идея которой, как во сне, жила в их сердцах. Так объяснял их поведение ученый епископ Готье.

Уже приехавшие с королем рыцари, как один, сняли перед Анной шляпы – черные, зеленые, серые – из добротного войлока и бесцеремонно глазели на нее. Как все было странно! Как далеко осталась Русская земля!

Король тоже смотрел пронзительным взором на Анну. Епископ Роже что-то нашептывал ему на ухо, и Генрих терпеливо слушал. Но вот слезы покатались из широко раскрытых глаз Ярославны по нежной щеке, и одна из них блеснула, как драгоценный алмаз.

– Что с тобой, госпожа? – шепотом спросила Милонегга. – Посмотри, разве не король твой стоит перед тобою?

Всхлипывая как ребенок, Анна улыбнулась будущему супругу, и тогда точно новое солнце просияло сквозь слезы над французскими зелеными лужайками.

Генрих, чье суровое сердце было согрето этой женской прелестью, спросил:

– Утомлена в пути?

Людовикус, глядя то на короля, то на Анну, с возможной точностью перевел его слова.

Уставшая смертельно Анна, сама не зная почему, отрицательно покачала головой.

– Король Ярослав и мать твоя здоровы? – опять задал Генрих вопрос.

Анна отвечала на вопросы односложно. Сказав еще несколько слов, король круто повернул коня и ускакал со своими рыцарями, поднимая на дороге пыль, которую весенний ветер медленно относил в сторону. Анна видела, что Генрих еще раз оглянулся на нее. То же сделал и один из всадников, летевших вслед за королем. Это был красивый, не очень высокий, но крепкий человек лет тридцати, с надменным выражением лица. Нижняя губа у него несколько отвисла. С его плеч падал широкими складками длинный красный плащ, на зеленой шляпе, поля которой были небрежно загнуты на затылке, трепетало ястребиное перо. Рыцарь опять повернул голову и посмотрел на Анну зоркими глазами, скаля белые зубы.

Смущенная таким вниманием, Ярослава спросила Людовикуса:

– Кто этот человек?

С явным уважением и завистью низкорощенного торговца к знатному и богатому сеньору он ответил:

– Граф Рауль. Могущественный владетель многих замков и земель...

Дорога то спускалась в долину, то снова поднималась на возвышенность. Поселяне выходили из бедных хижин с мотыгами в руках, чтобы вскопать свой участок земли. На деревьях ползали зеленые гусеницы. Анна с отвращением смотрела на них, когда ветка была близко от головы.

Весть о том, что к королю приехала невеста из далеких краев, быстро распространилась из селения в селение. Со всех сторон на дорогу стекались люди, с соседних виноградников бежали крестьяне и крестьянки, вдруг оборачивались назад всем телом и обеими руками звали других, приглашая их поспешить. Анна ехала в буре приветствий, и женщины что-то кричали будущей королеве, пяля глаза на ее странный наряд, какого они еще никогда не видели в этой стране. Народ радовался приезду Анны, точно надеясь, что теперь трудная жизнь станет легче, а урожая обильнее.

Белая дорога, все так же извиваясь среди зеленых холмов и темных дубрав, вползла на очередной холм, и оттуда открылся вид на некий город. Анна увидела каменные башни и стены, а за ними петушков на церковных колокольнях, поблескивавших на солнце.

– Это Париж? – спросила она.

– Реймс, – ответил, просяив, Готье Савейер. – Здесь некогда учил в епископской школе Герберт... В этих стенах прошла моя юность...

В Реймсе господином был архиепископ Ги. Это для него и для капитула церкви св. Креста трудились проживающие в городских предместьях ткачи, кружевницы, золотых и серебряных дел мастера, позолотчики, свечники и кузнецы. В городе стояли и другие церкви, поэтому всегда ощущалась надобность в облачениях, свечах и потирах. Немало насчитывалось в Реймсе и лавок всякого рода, в которых продавались привозные товары, в том числе перец и пряности, требовавшиеся в большом количестве к столу капитула. Реймское вино считалось одним из лучших виноградных соков Франции.

Анна явилась в Реймс в дни, когда в городе открывалась ежегодная ярмарка, и поэтому харчевни и гостиницы были полны торговцев. Среди множества людей Анна въехала в мрачные городские ворота, и поезд направился к дому архиепископа, где приготовили покои для королевской невесты. Вонючие улицы показались Анне тесными и темными. Места за стенами не хватало, верхние ярусы домов выступали над нижними, не позволяя солнцу заглянуть в переулки. Под ногами у всадников иногда хрюкали свиньи, пробиравшиеся сюда в поисках вкусных отбросов и дынных корок, и нечистоты из ночных горшков выливались из окошек на прохожих.

В Реймсе должна была состояться брачная церемония и коронация Анны, хотя еще ни одна французская королева не удостоилась подобной чести. Однако Генрих считал, что такой обряд только упрочит права его наследника, рожденного от матери, чье чело помазано

священным миром.

Всю зиму в хижинах ткачих и вышивальщиц изготовлялась торжественная одежда для будущей королевы. Слепя глаза, искусные мастерицы шили голубое платье, сотни раз примеряя его на высокой и бледной девушке Жанне, грустной швее из Сен-Дени, которую никто не хотел полюбить.

Верхнюю хламиду, украшенную тонкими кружевами, сделали из материи вишневого цвета и усыпали золотыми лилиями, излюбленным цветком французских королей. Говорили, что она представляла собою чудо швейного искусства. Лучшие башмачники в королевстве смастерили для королевской невесты красивые туфельки из голубого шелка, осыпанные жемчужинами. Накануне коронации эти одежды привез из Сен-Дени приор королевского аббатства, чтобы возложить их на алтаре реймской церкви св. Креста, где со времен Хлодвига происходило коронование французских королей. Но уже с первых дней пребывания Анны во Франции король столкнулся с упрямым характером супруги. Она решительно отказалась присягать, положив руку на латинскую Библию, и заявила во всеуслышанье, что клятву принесет только на славянском Евангелии. Очарованный ее прелестями, Генрих уступил под ворчание епископов.

Анна привезла эту книгу с собой, среди прочих своих книжных сокровищ. Незадолго до того, как она проезжала через Прагу, в соседнем Сазавском католическом монастыре была сделана попытка ввести богослужение на славянском языке. За такую крамольную затею на монахов посыпались из Рима громы и молнии, а монастырскую библиотеку, составленную из книг, написанных кириллицей, папа повелел предать сожжению. Однако какому-то непослушливому монаху удалось спасти в складках своей сутаны Евангелие, по преданию переписанное рукой самого Прокопия, весьма чтимого в Чехии святого. Эту книгу Анна и получила в дар, когда однажды посетила бенедиктинский монастырь...

Бракосочетание происходило в аббатстве Сен-Реми, а церемония коронации – в церкви св. Креста.

Анне казалось, что все это она видит во сне... От латинских, не очень благозвучных, но громких гимнов, от непривычно тягучей музыки органа, от обильного фимиамного дыма у нее кружилась голова. Пышные одежды как бы отделили ее от всего мира, и в опьянении своим торжеством Анна готова была теперь поверить епископу Роже, утверждавшему высокопарно, будто бы она самим Небом послана Франции, чтобы осушить слезы несчастным и напитать голодных. Вдруг комок слез подступил к горлу. Новой королеве страстно захотелось снискать любовь всех этих людей, взиравших на нее как на высшее существо в мироздании.

В самый торжественный момент коронования вдруг Анна почувствовала на своих плечах тяжесть хламиды – пышного красного одеяния на белой подкладке и отороченного русскими горностаями. Эти белоснежные шкурки считались символом чистоты.

Из узкого церковного окна падал луч солнечного света и как мечом разрезал голубоватые облака клубящегося фимиамного дыма. Наступила минута, когда надлежало принести королевскую клятву. Анна со страхом приблизилась к алтарю и увидела широко раскрытую знакомую книгу, написанную славянскими письменами...

Потом было приятное ощущение тяжелой золотой короны на голове. Если бы ее видели в этот час отец и мать, милые сестры и братья! Анна подумала еще об одном человеке... Но вокруг теснились незнакомые люди, епископы шуршали парчой облачений. Среди этого множества лиц мелькнул гордый лик графа Рауля.

По окончании коронации в архиепископском дворце устроили пир. По изволению Небес жизнь на земле устроена так, что люди, носящие на голове корону или митру, не могут довольствоваться обыкновенной похлебкой, какую варят в доме простолюдина, а насыщают себя под звуки виел и бульканье вина, изливающегося из кувшина в серебряную чашу, за столом, уставленным вкусными и изысканными яствами, сильно сдобренными перцем и

специями. Поэтому Анну ничего не удивляло: ни обилие блюд, ни множество свечей, которых в доме реймского архиепископа было не меньше, чем в церкви, ни жадность, с какой пирующие пожирали мясо. Все это мало чем отличалось от киевских пиршеств.

Если к королеве обращались с приветственными словами или с поздравлениями или спрашивали что-либо о ее далекой стране и она недоумевающими глазами смотрела на короля, улыбавшегося в бороду, то к ней спешил на выручку ожидавший только знака Людовикус, человек без роду и племени, но по воле судьбы очутившийся на сборище самых знатных графов и видных епископов. Когда сидевший за столом граф Рауль вдруг поднялся с чашей в руке и что-то сказал громким голосом, Людовикус, низко поклонившись, подбежал и зашептал Анне за спинкой ее сиденья:

– Сиятельный граф просит разрешения пить здоровье королевы!

Анна вспомнила, что впервые увидела этого человека, когда произошла неожиданная встреча с Генрихом. Перед глазами вновь возникла картина на реймской дороге. Рыцарь пришпорил коня и вскачь догонял короля, придерживая на голове шляпу с трепетавшим на ветру ястребиным пером... Может быть, это были пустые слова, сказанные из любезности или под влиянием винных паров, но на приветствие нужно было как-то ответить. Анна посмотрела на супруга, и тот благожелательно улыбнулся ей, хотя на графа взглянул без большой нежности. Однако она поняла, что разрешается подарить улыбкой этого надменного вельможу. Его взгляд напомнил о синих глазах другого воина. Улыбка получилась растерянной. Рауль выпил вино до капли и опустился на скамью, поклонившись королеве, хотя пренебрег сделать поклон королю, и его лицо тотчас затерялось среди множества других, разгоряченных едой. Анна еще не знала, что этот человек считался одним из непокорных вассалов, с которыми боролся Генрих. Однако у графа Рауля де Валуа и де Крепи, сеньора многих других владений, насчитывалось не менее воинов, чем у самого короля, графский замок в Мондидье слыл неприступным, и королю Франции, со всеми его горделивыми латинскими титулами, ничего не оставалось, как сделать вид, что за столом все обстоит благополучно.

На Анне было узкое светло-голубое платье французского покроя, тесно обтягивавшее грудь и бока, и этот цвет очень шел к ее рыжим волосам, заплетенным в две косы. Украшением одеяния служил золотой пояс, небрежно охватывавший бедра. Его длинный конец свешивался спереди и подчеркивал красоту Анны, образуя узел немного ниже живота, что с непривычки стесняло молодую королеву. Но так одевались во Франции все знатные женщины. Еще напоминала о себе порой тяжелая корона, в которой неудобно есть мясо фазана.

В тот вечер приглашенным на свадебный пир были предложены различные супы, крепко заправленные перцем, а также морские и речные рыбы, из которых особым вниманием пользовались жирные карпы из королевских прудов в Марли и нежнейшие форели горных речушек. Кроме того, на стол подавали в огромном количестве говядину, оленину, козье мясо, раков, фазанов, голубей, круглые сыры с аппетитно прилипшими к ним соломинками, от которых они казались еще более соблазнительными, и много других яств, не считая пшеничного хлеба. Каждый отрезал сыра столько, сколько хотел. Но женщины предпочитали миндаль и орехи.

К яствам, по выбору гостей, оруженосцы и пажи наливали в кубки красное или белое вино, доставленное в погреба архиепископа из соседних аббатств, где монахи знали, как ухаживать за виноградной лозой. Жирная, наперченная пища требовала залить жар пылающих плотов, и сидевшие за столами не ленились подставлять свои чаши под струю живительного сока, называя пажей по именам, так как все здесь знали друг друга и кто чей сын. Вино пили из серебряных кубков, а самые почетные гости – из стеклянных бокалов, какие изготавливаются в Италии; перед королем же и королевой стояли позолоченные тяжелые чаши на высоких ножках, украшенные драгоценными камнями. В этом занятии женщины

не отставали от мужчин, и почти все они, как на подбор, отличались завидным здоровьем, деревенским румянцем, мощными сосцами и обычно обладали крикливым голосом. Все это были деятельные и бережливые хозяйки старых замков, всеми силами помогавшие мужьям приумножать имение, и верные дочери католической церкви.

Несмотря на присутствие короля и молодой королевы, за пиршественными столами вскоре стало весело и шумно. Ежеминутно раздавались взрывы громкого смеха. Это рыцари с успехом рассказывали соседкам скабрзные истории про аббатов и монахинь, и некоторые епископы тоже хохотали вовсю, придерживая руками колышущиеся от веселья животы. Уже предприимчивые руки ловили под столом горячие женские колени, особенно заманчивые под шелком платья. В опьянении люди вели себя так, как будто это был последний день их жизни.

Большим успехом на пиру пользовались Елена и Добросвета, и целая дюжина рыцарей готовы были, в подражание королю, жениться на этих красивых русских девушках, хотя и ни единого слова не понимавших по-французски. Подруги сидели за столом рядом, искали одна у другой защиты и, как умели, отбивались от смелых поклонников.

Королева вскоре покинула пиршественный зал, чтобы удалиться в опочивальню. Анну повела туда почтенная и весьма любезная особа, что-то наставительно шептавшая смущенной новобрачной, и Анне казалось, что это гудит над головой большая муха. За ними следовала по пятам Милонега, и когда она помогла Анне снять узкое платье, то вдруг расплакалась и повторила, обнимая ноги своей Ярославны:

– Госпожа! Госпожа!

– Что ты плачешь по мне, как по умершей? – прикрикнула на прислужницу королева. – Разве не участь каждой женщины иметь мужа и рожать детей?

Так с детства была воспитана Анна, в полной уверенности, что красота имеет государственное значение, хотя, может быть, не могла бы выразить эту мысль точными словами.

От вина, от всех волнений в голове у Анны стоял туман. Когда новобрачная поднималась по лестнице в опочивальню и подумала о том, что будет там, у нее подкосились колени. Но Анну поддержала сопровождавшая ее женщина, которой, очевидно, было препоручено приготовить королеву к брачной ночи.

Всхлипывая, наперсница замолчала. Ее русский наряд напоминал Анне о прежней жизни, потонувшей в прошлом. И вдруг она ясно представила себе синие глаза Филиппа, хижину дровосека под дубами и руки молодого ярла, впервые коснувшиеся тогда ее тела...

– Не плачь, Милонега, – сама едва сдерживая слезы, сказала Анна. – Разве и ты не испытала все это?

– Но ведь я знала тебя еще девочкой, – говорила вдова, вытирая уголком платка влажные глаза, – а сегодня ты станешь женой и зачнешь во чреве.

Милонега и Берта де Пуасси, как звали почтенную женщину, раздели королеву, осторожно положили голубое платье на скамью и, когда новобрачная осталась в одной белоснежной сорочке из тончайшего льняного полотна, повели ее к высокой постели. Кровать была старинная, под желтым шелковым балдахинном, вырезанным фестонами, а простыня прохладной и пахнущая какими-то незнакомыми приятными травами. Под кроватью стоял ярко начищенный для сегодняшнего случая медный ночной сосуд.

Берта еще долго шептала что-то королеве. Муж графини, преданный королю душой и телом, был одним из тех, кто не покинул Генриха в тяжелую минуту и сопровождал его в Нормандию.

Анна легла, сжимая руки между коленями. На столе горел масляный светильник. В углах, за ларями, прятался мрак. Королева потом узнала, что в этих сундуках хранились хартии, служившие неопровержимым доказательством прав Генриха на французскую корону.

Берта и Милонега покинули горницу, с тревогой оглядываясь на королеву, и Анна

оставалась некоторое время в одиночестве, то готовая вскочить с постели, то впадая в какое-то полужабытье. Но вскоре на лестнице послышались твердые мужские шаги, и сердце у Анны забилось учащенно.

Опустив голову в низенькой двери, в опочивальню вошел король и остановился, глядя на Анну, укрытую меховым одеялом. Потом снял одной рукой корону, сделанную в виде венка из золотых лилий, и со стуком положил ее на стол. В этом движении мало торжественности, но за целый день корона надоела, и приятно было от нее избавиться наконец. Он опять подошел к двери и задвинул железный засов. Анна отвернулась, чтобы не видеть, как Генрих будет снимать одежды. Но король приблизился к кровати и, опираясь обеими руками о постель, долго смотрел в лицо супруги. Из его рта шел винный дух. Даже не приглядываясь к мужу, она заметила, что рот у него был мокрый и раскрыт от тяжелого дыхания. Но Анна знала, что все это неизбежно, и вино, которое заставили выпить сегодня, сделало ее способной перенести любое испытание.

Король сказал несколько слов (которых не поняла Анна и пояснила это движением рук) и сел на скамью, чтобы самолично снять обувь. Морща лоб от напряжения, он упирался носком одного сапога в каблук другого, весь уже во власти плоти и зная, что сейчас будет сжимать в объятиях это молодое и нежное тело...

Перед отъездом в Париж королева пожелала осмотреть архиепископский дворец. Король не расставался с нею, счастливый и гордый, что никто до него не побывал в том раю, который открыла ему Анна в первую брачную ночь. Он был полон самых приятных надежд на продолжение рода.

Показывал дом архиепископ Ги, еще не старый человек, бритый, как почти все французские клирики, наделенный большим ртом, как бы созданным природой для того, чтобы произносить обличительные проповеди, взывать к Небесам или в гневе выкрикивать приказания на поле битвы. Рядом с ним Готье казался особенно благодушным.

Дворец представлял собою высокое, похожее на замок здание, с длинными переходами и каменными винтовыми лестницами; всюду здесь были какие-то закоулки, тайники, узкие как щели горницы, низкие своды над головой. На стенах, побеленных, пропахнувших сыростью, не замечалось никаких украшений, но в некоторых помещениях стояла непривычная для Анны мебель с прихотливо вырезанными ножками. Королеве показали также знаменитую «абаку», которую смастерил для Герберта какой-то безвестный реймский столяр по указаниям самого епископа. Герберт, образованнейший человек своего времени и учитель Готье, имел случай видеть подобные счетные приспособления по ту сторону Пиренеев, где он очутился в молодости, чтобы изучить у арабов астрологию.

«Абака» имела вид обыкновенного деревянного ящика, разделенного на много частей. Анна насчитала двадцать семь отделений, в которых лежали роговые бирки. Готье объяснил, что, перекладывая их из одного отделения в другое, можно производить различные сложные вычисления. Но в дальнейшем выяснилось, что ни Готье, ни архиепископ в эти тайны арифметики не посвящены. Как всегда при разговорах, переводил Анне Людовикус. В свое время этот неутомимый путешественник побывал и в Испании, провел три года в сарацинском плену на каком-то райском острове, где, как уверяли некоторые, принял мусульманство и только поэтому вновь обрел свободу. А затем, неизвестно какими путями, он очутился в Херсонесе, оттуда перебрался в Константинополь, и потом всю жизнь ездил между Киевом и Регенсбургом, и судьба забрасывала его неожиданно то в Новгород, то в Париж. Этот человек говорил по-арабски, по-немецки, по-славянски, по-каталонски.

Если Готье не был силен в арифметике, то оказался на высоте, когда понадобилось рассказать Анне о прославленном Герберте Ориийякском.

– Известно ли тебе это чудо премудрости? – спросил он королеву.

Когда Людовикус перевел ответ Анны (конечно, впервые слышавшей это имя), епископ с видимым удовольствием стал объяснять:

– Герберт д’Орийяк, величайший ученый, в конце своих дней сделался папой. Под именем Сильвестра. Но до этого состоял аббатом и епископом и писал книги. До сих пор можно с пользой для себя читать такие его сочинения, как, например, прославленные «Речи» или «Житие св. Адальберта». Всю жизнь этот человек изучал науки. В юности он побывал даже в Кордове. А ведь библиотека кордовского халифа насчитывает около шестисот тысяч книг! Одно только описание их составляет сорок четыре тома!

Епископ рассказывал, Людовикус переводил, остальные слушали, однако с трудом представляли себе, что на земле можно собрать такое количество книг.

– Можно еще отметить, – продолжал Готье, – что все это редкие списки. Переводы Аристотеля на арабский язык, астрономические и медицинские трактаты, сочинения арабских математиков.

– Какие книжные сокровища! И как печально, что ими владеют безбожные сарацины! – заметил король.

– Печально, но поучительно, – осмелился возразить Готье. – Если агаряне чтят гений Аристотеля и других эллинских философов, то кольми паче мы должны изучать древность!

Впрочем, король, равнодушный к науке, интересовался житием Герберта лишь как занимательным рассказом.

– Мне говорили, что этот ученый муж мог превращать обыкновенную медь в драгоценное золото, – сказал Генрих, и видно было, что только это и интересовало его в истории Герберта.

– Возможно, что он научился подобным превращениям в Испании, где изучал алхимию, как я уже имел случай доложить тебе. Но из Испании Герберт, так тогда звали папу Сильвестра, отправился в Рим и там встретился с семьей германского императора, поручившего ему воспитание своего сына.

– Оттона, – подтвердил король.

– Оттона, будущего императора. Я имел случай беседовать с одним итальянским аббатом, часто видевшим этого кесаря. Об Оттоне можно говорить разное. Но думаю, что мало рождалось на земле людей, в такой степени обуреваемых мечтами о прекрасном, как он, и в этом выразилось, вероятно, влияние Герберта. Став императором, Оттон назначил своего учителя аббатом, а затем епископом древнего города Равенны. Отсюда он перебрался в Реймс и под конец жизни сделался папой.

Позвякивая связкой ключей, архиепископ Ги сказал:

– Кстати, у меня хранятся некоторые книги папы Сильвестра. Не хотите ли посмотреть на них?

Архиепископ отпер тяжкий дубовый шкаф, и, заглянув в его чрево, все увидели пыльные манускрипты. У Готье задрожали руки от волнения. Он вынул из шкафа одну из книг, переплетенную в потертую свиную кожу, и воскликнул:

– Вот «Георгики» Вергилия! Раскроем же эту замечательную поэму!

При виде книжных украшений ученый епископ просиял. На них, в годовом обороте сельских работ, художник изобразил маленьких человечков, что брели на ниве за волами, или сеяли, далеко закидывая руку, или срезали виноградные гроздья, как бы взвешивая их сладкую тяжесть. Так, по крайней мере, представлялось воображению епископа Готье Савейера, когда он рассматривал картинки, и в ушах у него, видимо, звенели неповторимые стихи о жатвах и сборе винограда.

– Третий, а может быть, четвертый, пятый раз держу эту книгу в руках и неизменно испытываю от сего великое наслаждение, – сказал епископ. – Герберту переписал ее и украсил рисунками какой-то искусный равеннский писец. Папа тратил огромные деньги на покупку книг и в письмах к друзьям никогда не забывал упомянуть, чтобы ему присылали редкие манускрипты. Особенно он любил латинских поэтов.

– Что лично я не могу одобрить, – заметил архиепископ Ги, недружелюбно косясь на

упитанное лицо этого легкомысленного пастыря, занимавшего короля подобными ничтожными разговорами.

Не желая сердить архиепископа, влиятельного человека в королевском совете, который мог повредить ему перед королем, Готье со вздохом согласился:

– Ты прав, достопочтенный. Сначала Священное писание, а потом уже поэты и философы.

– Философия есть служанка теологии! – наставительно поднял палец архиепископ.

– Кто же станет спорить с этим! – якобы воодушевился Готье. – Но чтобы познать с пользой для души Священное писание, необходимо быть знакомым с философией, хотя бы для того, чтобы опровергать учения ложных мудрецов. Следовательно, нужно знать латынь. Постичь же ее можно, только читая поэтов. Так замыкается круг. Вот почему в школе у Герберта мы изучали Вергилия. Но его любимыми книгами были Боэций и Сенека. Разве не может христианин искать в этих книгах утешения в трудную минуту жизни?

– Утешение в часы душевных сомнений или когда смущают мысли о смерти, христианину надлежит искать в Псалтири, – строго возразил архиепископ.

Как большинство князей церкви, Ги не отличался большой ученостью, считая, что для спасения души достаточно малого знания и большой веры. Зато он неплохо сидел на коне, хорошо разбирался в породах гончих псов, удачливо охотился на оленей и вепрей и при случае мог, подвязав шпоры и опоясав себя мечом, с успехом вести верных вассалов против какого-нибудь дерзкого графа, захватившего его стадо тонкорунных овец.

– И в этом я с тобой согласен, – опять вздохнул Готье в ответ на слова архиепископа о Псалтири. – Но мы в юности изучали грамматику и риторику. О моя юность! С какой жадностью мы пили из источника знания! Граматику мы проходили по Донату, а потом уже пускались в необъятное море Присциана...

Королю, видимо, наскучила эта ученая болтовня, и, заметив это, Готье оборвал свои разглагольствования на полуслове. Разговор принял другое направление. Заговорили о хозяйственных вещах, о тлях, вредящих виноградникам, о ссоре двух аббатов по поводу каких-то прудов для разведения рыб. Генрих до того увлекся этим событием церковной жизни, что на некоторое время оставил королеву. Анна осталась с Людовикусом, и этот человек, полный лукавства и ехидства, стал рассказывать вполголоса о папе Сильвестре.

– Этого папу обвиняли в сношении с дьяволом...

Анна широко раскрыла глаза. Ей стало вдруг страшно среди этого мрачного и холодного дворца, где уж крались по винтовым лестницам таинственные тени, хотя до ночи было еще далеко.

Прикрывая рот сложенной пополам лисьей шапкой, Людовикус не стеснялся передавать слухи, ходившие всюду о странном наследнике святого Петра, не опасаясь об этом рассказывать еретической королеве, о которой уже было известно, что она отказалась присягать на латинской Библии.

– Вот что мне говорили в Испании... Якобы Герберт, когда он изучал там чернокнижие, похитил у какого-то сарацинского волшебника магическую книгу...

Анна не знала, что такое чернокнижие или магические книги. Ее душевный мир был полон солнца, а домовые, ушедшие от креста в овины, представлялись ей добрыми стариками, осыпанными мукой.

Людовикус шепотом объяснял ей:

– Магические книги содержат тайны, помогающие господствовать над миром. Обладающий ими всемогущ и может медь превращать в золото.

Анна внимательно слушала, пока король обсуждал с епископами ссору двух аббатов.

Все так же держа лисью шапку у рта, торговец тихо говорил:

– Проснувшись ночью и обнаружив пропажу, волшебник бросился в погоню за похитителем, руководствуясь указаниями небесных светил. Звезды правильно определили

дорогу, по которой убегал Герберт. Но он спрятался от сарацина под мостом, ухватившись руками за балку и повиснув в воздухе, а наука волшебников ведь бессильна в нахождении людей и предметов, находящихся между небом и землей.

От этих слов Анне стало еще страшнее.

– И такой человек стал папой?

– Под именем Сильвестра.

– Хотя занимался волшебством?

– Уверяют даже, – с опаской оглянулся Людовикус по сторонам, – что он заключил союз с Вельзевулом. Будто бы папа продал ему душу и за это получил обещание от сатаны, что не умрет до тех пор, пока не отслужит мессу в Иерусалиме. Папа ни за какие блага не поехал бы в Палестину.

– Но все-таки умер.

– Умер. Однажды он служил мессу в римской базилике Иерусалимского креста. Этого оказалось достаточно, чтобы настал его смертный час.

– Откуда ты знаешь все это?

– Мне рассказывал об этом некий бродячий монах по имени Люпус. Он был с нами, когда мы направлялись в Киев, а потом куда-то исчез. Однажды мы пили с ним пиво в одной регенбургской харчевне, и тогда-то он и рассказал мне эту историю.

– И это все правда?

Людовикус не ответил на этот вопрос, но в глазах его зажглись какие-то странные огоньки. У Анны забилось сердце. У нее мелькнула страшная мысль: не сатана ли в образе Людовикуса искушает ее, рассказывая о пастыре церкви подобные ужасы? Но король уже заметил взволнованное лицо жены и спросил ее:

– Что с тобой?

– Ничего.

Генрих подумал, что причиной бледности королевы были перемены в ее жизни.

### III

Королевский дворец в Париже напоминал своими мощными стенами и скупой прорезанными окнами крепость. Строитель его, благочестивый король Роберт, неустанно помышлял о высоких вещах и сочинял гимны, перекладывая их на нотную музыку, но, должно быть, в глубине души не так-то уж был уверен в любви парижского народа, если решил возвести эти стены толщиной в шесть локтей. Все здесь было мрачно и дышало недоверием. Но еще более делали дворец похожим на замок или темницу три круглые башни под высокими остроконечными крышами из свинцовых плиток. В одной из них хранились за семью замками королевские сокровища, в другой жил медикус, тайно составлявший гороскопы и в положенное время пускавший королю кровь. Наконец, в третьей башне, в вонючей подземной тюрьме, держали пленников, а в верхнем помещении производили допросы и пытки преступников и еретиков; там до утра пылал горн, в котором королевские палачи накаливали железо, чтобы допытаться святой истины у врагов короля, и порой пронзительным голосом выла ведьма, брошенная в подземелье по доносу благочестивой соседки и признавшаяся под пыткой, что колдовала над облаткой, взятой в рот во время таинства причащения, чтобы использовать ее в своих сатанинских целях. Иногда запоздалый рыболов, возвращаясь с реки с дюжиной серебристых рыб в свою невзрачную хижину, слышал глухие, полные ужаса крики, вылетающие из высокого окна, забранного решеткой и озаренного страшным адским светом. Дома, лежа в постели, он рассказывал шепотом сонной подруге о том, чему только что был свидетелем, но уставшая за день жена думала, что бедняга выпил с приятелем пива в кабачке «Под золотой чашей», и засыпала, повернувшись на другой бок.

Дворцовые помещения были обширны, но неуютны. Зимой требовалось топить очаги с утра до ночи, чтобы прогнать сырость каменных зал, где тихо бродили, поджав хвосты, королевские псы и в углах пахло собачьей мочой.

Если король отсутствовал, Анна поднималась иногда в сопровождении графини Берты и Милонегги на дворцовую башню, куда вела каменная винтовая лестница. Отсюда открывался вид на весь Париж, и его окрестности лежали вокруг как на ладони. Внизу протекала зеленоватая Секвана, и над водою склонялись старые ивы. Город был обнесен стенами, наполовину каменными, наполовину дубовыми. Все пространство внутри укреплений застроили высокими, но узкими домами, среди которых кое-где возвышались белые церкви.

Графиня Берта, приставленная к особе королевы, показывала Анне местоположение примечательных зданий. Прошел год с тех пор, как Ярославна вступила на французскую почву, и она уже понимала многое из того, что ей говорила графиня.

– Там церковь святого Якова... А еще дальше, правее, – святого Петра. Вот стоит госпиталь святой Екатерины, или, иначе, Дом милосердия. Там призревают калек и болящих. Видишь два бугра? Это предместья святого Жермена д'Оксеруа и святого Евстафия. На север лежит предместье святого Мартина на Полях, а на юг – святого Северина и Юлиана Милостивого...

Анне казалось, что нельзя шагу ступить, чтобы не встретиться на земле с каким-нибудь святым, мучеником, блаженным. А в то же время в мире было столько грехов и злодеяний, и дьявол бродил поблизости от монастырей и дворцов.

Анна уже побывала в этих церквях, скромных и полутемных, со скучными окошками в цветных стеклах, через которые небо и весь мир казались страшными и как бы охваченными безмолвным пожаром. В приделах стояли деревянные, раскрашенные в голубой и розовый цвета статуи Девы Марии. Колоколенки церквей строились в виде башен с большеголовыми медными петушками на крышах.

Это мало походило на киевскую Софию, даже на капеллу в Регенсбурге, которую Анне удалось повидать. Солнечный луч редко проникал в темные парижские церкви. Но полумрак вызывал в душе молитвенные настроения, напоминал о тишине смерти, и, когда Анна спускалась в крипты<sup>10</sup>, ей казалось, что она уже стоит одной ногой в могиле.

Вскоре после приезда во Францию монах Василий, молчаливый человек родом из Переяславля, умер. Но так как Борислав и его жена, выполнив возложенное на них поручение, поспешили возвратиться из латинских стран в Киев, а Елена и Добросвета не замедлили выйти замуж за французских рыцарей и уехали в отдаленные замки, то около королевы никого уже не осталось из своих, кроме Милонегги и конюха Яна. Вдовица продолжала быть ее наперсницей, а Ян самоотверженно ухаживал за кобылицами королевы, и, когда Анна награждала его за усердие, конюх отправлялся в соседний кабачок, где над входной дверью висела позолоченная деревянная чаша, и сквозь пьяные слезы вспоминал навеки покинутую отчизну. Дорожку в эту харчевню показал ему королевский истопник по имени Фелисьен.

На зеленоватой Секване плыли ладьи торговцев и челны рыбаков. Вдали голубела гора Мучеников. На низком правом берегу тянулись предместья, как бы выжатые за городские ворота жилищной теснотой. Они доходили до развалин аббатства св. Мартина, разрушенного в страшные годы норманнских нашествий. Анна уже знала, что там была расположена деревушка, где королевские псары воспитывали охотничьих собак Генриха. Ниже стояли водяные мельницы. Древняя римская дорога, продолжавшая улицу св. Мартина, уходила далеко на юг, минуя заросшие плющом руины на холме св. Женевьевы. Графиня Берта говорила Анне, что этот путь, как стрела, пересекает Луару и что так можно дойти до самой Испании. Дорога, бежавшая в противоположную сторону, на север, извивалась как змея. Ее

прокладывали не римляне, а путники и вьючные животные, применявшиеся ко всем особенностям почвы и огибавшие всякую возвышенность. Она вела в Реймс, и Анна часто вспоминала, как ехала по ней мимо предместий, когда впервые въезжала в Париж, на коне, в парчовом греческом наряде, привезенном из Киева, и в опушенной мехом шапочке, с которой не хотелось расставаться, так как этот убор напоминал о русской стране. Такие шапки даже в летнее время носили ее братья. Анна перекинула две рыжие косы на грудь, а на плечах у королевы тяжело повисла та самая хламида, в которой она короновалась. На маленьких ногах виднелись усыпанные жемчужинами красные башмачки.

Рядом с Анной красовался Генрих, в шляпе с радужным петушиным пером, и все могли убедиться, что король в отличном настроении. За ним ехали братья, рыцари, оруженосцы. Пажам служили ему юноши лучших фамилий Франции, прислуживали за королевским столом и выполняли различные поручения, прежде чем стать рыцарями и сражаться на полях битв. Серую кобылицу Анны вел под уздцы юный паж, сын графини Берты, время от времени поднимавший на королеву глупые, восторженные глаза. На повозках везли под надежной охраной подарки Ярослава – меха, оружие, серебряные сосуды, греческие материи. Всем желающим разрешалось обозревать эти сокровища; и вокруг возов теснились башмачники, хлебопеки, продавцы рыбы, торговцы пряностями и солью, краснорожие бродячие монахи, воины и пялили глаза на королевское богатство.

Народ запрудил узкие улицы столицы. Женщины и дети смотрели на шествие из окошек. Но у Большого моста, где были расположены лавки еврейских купцов, купля, продажа и торговая суета не прекращались даже в этот знаменательный день. Однажды Анна видела, как скоморох ловко ходил на руках, перекинув через голову тощие ноги в зеленых тувях, может быть тоже имея намеренье почтить своим искусством новую королеву. Время от времени Генрих бросал в толпу горсть медных и серебряных монет, и тогда, к великому удовольствию не только молодых пажей, отнюдь не отличавшихся большим разумом, но даже седоволосых графов, начиналась такая потасовка ради закатившейся в грязь монетки, что люди забывали о торжественности обстановки.

В этот полный шума и волнений солнечный день французский народ радостно приветствовал свою новую королеву криками, в надежде, что она будет не такая, как другие. Вокруг была беспросветная жизнь. Хотя в бедных хижинах еще хранились воспоминания о том волнительном годе, когда сервы, презрев покорность Богу и властям предержавшим, восстали на сеньоров и попов, вообразив, что могут жить по-иному и не платить оброк. За это им отрубали руки и ноги. Но никакими муками нельзя задушить в человеке стремление к счастью и свободе.

Анна почти никогда не оставалась наедине с мужем. За столом, во время поездок по королевским владениям, на охоте, в королевском совете, в котором королева принимала участие наравне с Генрихом, хотя плохо разбиралась в тех делах и тяжбах, что обсуждались в ее присутствии, – всегда и в любой час их разделяли чужие люди. Даже в опочивальне часто появлялись у постели то сенешаль, то есть королевский дворецкий, с докладом по неотложным вопросам, то вестник с сообщением из замка Тийер, то старый псарь с известием о болезни любимой собаки короля, второй день отказывавшейся от пищи, или еще о чем-нибудь. Перед тем как лечь в супружескую постель, Генрих обычно сидел, в одной рубахе, босой, перед зажженным камином и, мешая, как простой истопник, железной кочергой уголья, хрипловатым голосом рассказывал королеве о своих трудах, и мало-помалу Анна стала жалеть этого человека, которого враги теснили со всех сторон, как волки одинокого пса у овчарни.

Только что вернувшись из очередного набега на графские селения, недалеко от Блуа, протягивая озябшие руки к огню, король говорил жене:

– Сегодня мне сопутствовала удача! Благодаря Богу, мы спалили не одно селение, а граф спал, как медведь в своей берлоге. Но жаль, что жатва была уже увезена с полей.

Анна радовалась королевским успехам, которые все считали победой, так как граф не осмелился выйти в поле и, значит, признал себя побежденным.

– В память такой победы я решил восстановить разрушенное аббатство святого Мартина. Думаю, что это произведет хорошее впечатление в Риме. Надо поскорее отстроить церковь, одарить ее священными сосудами и собрать монахов. Пусть молятся за Францию. Мы наделим их землей и отпишем в пользу аббатства пять или шесть селений, и сервы будут разводить для монастыря скот и работать на нивах.

Анна лежала в постели, вытянув руки поверх одеяла из беличьих шкурок, привезенного из Киева. В этом мире, где человек человеку волк и люди помышляли с жадностью о выгоде, одинаково в Париже и в Киеве радость человеческой жизни нарушали войны, моры, болезни, страдания. Анне больше нравилась та жизнь, что описывалась в книгах, в прочитанных трогательных историях о любви, какой ей не суждено было испытать на земле. Анне с детства внушили, что судьба помазанников не такова, как у обыкновенных людей. По вечерам Генрих рассказывал о непокорных вассалах, о не доставленном вовремя продовольствии, о постройке очередного замка. А между тем существовала на земле любовь до гроба, счастье свидания с любимым, песня влюбленного менестреля...

Почесывая бок, король жаловался:

– Каждый день новые неприятности. Никто не хочет думать о бедной Франции, и всякий считает, что прежде всего ему надо приумножить свои владения. Вот опять граф Рауль угнал у Верденского епископа восемнадцать коров и не желает их возвращать. Я вынужден был исполнить просьбу епископа и послал сказать Раулю, что недопустимо обижать церковных пастырей, даже требовал, чтобы он немедленно вернул животных. Граф ответил посланцу, что не боится ни короля, ни громов церкви. Этот наглец знает, что у меня не хватит сил наказать всех нарушителей Божеских и человеческих законов, а ведь от этого королевское имя терпит ущерб. Но не могу же я объявить Раулю войну из-за восемнадцати коров, хотя бы и принадлежащих епископу. И так во всем. Мои графы больше походят на разбойников, чем на подданных христианского короля.

Анна представила себе, как воины графа Рауля угоняли в замок Мондидье пестрых епископских коров, задиравших хвосты и несущихся во всю прыть под уколами воинских пик, и невольно рассмеялась.

– Чему ты смеешься? – спросил король.

– Я смеюсь над тем, какую великую победу одержал граф Рауль над восемнадцатью коровами.

– Дело не в восемнадцати коровах, а в епископе.

– Верденский епископ толще нашего Готье. Зачем ему коровы?

– Речь идет не о толщине епископа, а о том, что он мой вассал и я обязан его защищать.

Париж уже давно погасил огни и отошел ко сну, почесываясь от блох, пересчитывая на сон грядущий жалкие денарии, раздумывая о завтрашних торговых делишках, мало заботясь о том, что будет с Францией. Только уставший, как сторожевой пес, король, беспокоясь о своих доменах, тем самым помышлял и о многих тысячах французских деревень, и спавшие в этот час тяжелым крестьянским сном сервы считали, что он их единственная надежда на спасение. Анна видела, как Генрих метался из одного конца своих владений в другой, строил замки, воевал, терпел поражения, снова начинал борьбу, одерживал победы, и она испытывала уважение к этому упрямцу.

Король, опустив голову и как бы рассуждая сам с собою, говорил:

– Чего они хотят от меня? В строю – триста рыцарей и три тысячи лучников и копейщиков. Что я могу сделать, располагая такими силами? А на большее у меня нет средств. Можно позавидовать твоему отцу. У него горы золотых монет. Он может нанимать на службу норманнов, у него тысячи конных воинов. Напиши ему, чтобы он дал нам денег на наемников.

Анна отрицательно покачала головой.

– Почему ты не хочешь? – спросил король.

– Отец не пришлет ни одной золотой монеты. Над нашей страной нависли черные тучи. Разве не слышал ты, что рассказывали купцы?

Король продолжал делиться с королевой своими заботами:

– Плохие новости из Рима. Папа обвиняет меня в том, что я торгую епископскими местами. Но ведь это приносит немалый доход королевству. А если французский король будет богат, то это к выгоде всей страны. Где я возьму денег, чтобы кормить воинов? Как барон поставляет своей деревне кюре, так и король должен поставлять епископа и вручать ему пастырский перстень и посох. Само собою разумеется, за определенную мзду. Они богатые люди.

Анна приподнялась на постели и угрожающе спросила:

– А если папа отлучит тебя от церкви?

Генрих уронил голову на руки. Что он мог ответить на этот страшный вопрос? Людям становилось не по себе при одной мысли, что им придется гореть в аду. Загробные муки представлялись грешнику столь ужасными, что порой он как бы чувствовал на своей коже долетавший из преисподней жар. Король Франции и последний конюх были равны в этой детской вере. Не говоря уже о том, что отлучение или запрет совершать в церквях богослужения подрывали королевскую власть. Народ послушно брел туда, куда его вели монахи.

Огонь в очаге вдруг вспыхнул с новой силой и еще раз напомнил о геенне. Но мучительный вопрос не давал Генриху покоя. Как бы защищаясь перед невидимыми обвинителями от возводимых на него жалоб, он рассуждал вслух:

– А разве в Риме не торгуют престолом Петра? Мне рассказывали пилигримы. Папа Бенедикт без стеснения продавал свой сан всякому, кто больше заплатит. Когда ему удалось продать тиару, он тут же посвятил покупателя в первосвятительский чин и удалился из Латерана. Тем временем враги избрали другого папу. Но Бенедикт решил, что нет никаких оснований для спора, так как церковных доходов вполне могло хватить на троих, и в Риме тогда правили одновременно три папы. А иногда богатые женщины делали папами своих любовников или прижитых в распутстве детей...

Как обычно, утром истопник Фелисьен принес дрова и стал растапливать очаг. Анна, еще лежа в постели, охотно разговаривала со стариком, который всегда сообщал ей что-нибудь занятное. Она привыкла к этому человеку и не опасалась его. Старый Фелисьен тоже привязался к своей доброй и странной королеве, столь не похожей на других дам. Много говорил ему о госпоже – не столько словами, сколько знаками – конюх Ян, когда они сидели вдвоем у трактирщика Жака, на улице Юлиана Милостивого, где в зимние вечера над воротами поскрипывала на ветру вывеска в виде позолоченной чаши.

Фелисьен стоял на коленях перед очагом, выгребал погасшие уголья и по своей привычке рассказывал королеве страшные вещи.

– Слышала ли ты, госпожа, что случилось в Орлеане? Не слышала? А в этом богоспасаемом городе волк ворвался среди бела дня в церковную ограду, схватил веревку от колокола зубами и стал звонить к вечерне. Недоброе произошло потом в Орлеане. Вечером того же дня запылал большой пожар, и в огне погибло много домов. Об этом мне сообщил некий монах Люпус, недавно пришедший оттуда в Париж. Вот какие дела совершаются на свете, а мы ничего не знаем.

Анна со всех сторон слышала рассказы о чудесах, о кометах, плывущих по небу и исчезающих с пением первых петухов, о черных эфиопах, выходявших по ночам с неопишным зловонием из раки какого-то лжесвятого.

Иногда епископ Готье, которому король поручил обучать Анну всему, что надлежит знать французской королеве, читал ей хронику Рауля Глабера. Епископ знал немало историй

об этом монахе, прозванном за отсутствие растительности на лице Бритой Рожей. Беспутный бродяга, если верить его писаниям, часто встречался и запросто беседовал с дьяволом. Первый разговор имел место в аббатстве Шампо, где в то время находился этот неутомимый путешественник и сочинитель нескромных стишков. Ночью, перед заутреней, вдруг у ложа монаха появилось отвратительнейшее существо. Козлиная борода, острые уши и мерзкий, как у крысы, хвост. Потрясая постель Рауля, дьявол завопил:

– Тебе не придется долго валяться! Скоро утащу твою душу в адское пекло!

Глабер побежал искать спасения в монастырской церкви, так как около святого алтаря сатанинские чары теряют силу, и лишь таким образом спасся от постыдной кончины.

Подобная же история произошла с Глабером в другом аббатстве, недалеко от Дижона. Сатана разыскивал там в монашеской опочивальне какого-то бакалавра и принял за него Глабера. Только с большим трудом Раулю удалось на этот раз избежать гибели.

Анна вспомнила эти страшные рассказы и, пользуясь тем, что было солнечное утро, когда дьявол уходит в преисподнюю, с волнением спросила Фелисьена:

– Видел ли ты когда-нибудь сатану?

Старый истопник стал в ужасе креститься.

– Страшное ты говоришь, милостивая госпожа! Никогда в жизни не видел, и пусть сохранит меня Святая Дева от такого видения! Но сатана рыщет вокруг нас. Мне рассказывали недавно про одного воина. Не помню, где это происходило. Воин лежал после кровопролитного сражения в госпиции и очень страдал от раны. Вдруг является к нему некто и спрашивает: «Узнаешь ли меня, Жером?» Так звали воина. «Нет, – ответил воин, – не узнаю. Кто ты?» – «Неужели ты не видел на поле битвы епископа Лотарингского?» – спросил посетитель. А надо тебе сказать, милостивая госпожа, что Жером в те времена сражался за немецкого короля, против лотарингцев... И тут бедняга вспомнил! Того, кто приставал к нему с вопросами, Жером уже лицезрел некогда в пылу ужасного сражения! Только тогда этот человек был в золотой митре. В одной руке держал крест, а в другой меч. Однако лицо у епископа...

– Лицо у епископа?

– Было то же самое, какое воин видел теперь перед собою! В госпицию явился дьявол.

– Зачем ему понадобился воин?

– А вот послушай. Жером спросил: «Зачем ты пришел ко мне? Исчезни! Рассыпьясь!..»

Но сатана сказал: «Я тот, у кого власть над всем миром. Моими стараньями возведен на трон кесарь Конрад. Я явился, чтобы исцелить тебя».

– И он исцелил его?

– Ах, в том-то и дело, что воин в страхе сотворил крестное знаменье, и тогда сатана исчез и растаял как дым.

– Что случилось с воином?

– Он умер от раны.

Старик обернулся и, удостоверившись, что в помещении никого нет, кроме этой не совсем здоровой умом королевы, к которой он чувствовал полное доверие, зашептал:

– А кто знает? Может быть, он мог бы жить до сего дня, если бы вошел в соглашение...

– С кем?

– С ним...

– Как ты можешь говорить подобное? – возмутилась Анна.

– А разве не все равно для несчастных, кто будет повелевать, Бог или сатана? Вот мы молимся в церквах, но Бог не помогает нам. Опять был неурожай, и черви пожрали земные плоды, и все тяжелее бремя бедняков. Сеньор требует свое, оставляя поселянину только каждый третий сноп, а как можно прокормить жену и детей таким количеством хлеба? Спаси нас, добрая королева!

Старик упал на колени перед постелью и простирал руки к королеве, как будто бы она

была сама святая Женевьева.

– Король заботится о вас, – сказала Анна. – Он день и ночь думает о Франции.

– Скажи ему, чтобы он облегчил наши страдания. Если король не сделает этого, кто же другой позаботится о нас? Сеньоры воюют между собою, топчут поля и виноградники. Или вепри выходят из леса и разрывают наши огороды. Я истопник, но сыновья мои трудятся на нивах. Вчера пришел из Жизора старший сын, именем Жак. Он рассказал, что люди графа похитили у него поросенка и двух куриц и ничего не заплатили, а это – все достояние семьи. Когда сын попытался возратить похищенное, его беспощадно избили. Где же справедливость, моя госпожа? Будь милосердной, уприси короля, чтобы он покарал графа и вернул Жаку поросенка и двух кур.

Вечером Анна передала королю о том, что слышала от истопника. Генрих, по обыкновению перемешивая кочергой уголья в очаге, ответил ей:

– Не слушай этих еретиков. То коровы, то курицы... Я не намерен ссориться с графом Жизорским из-за поросенка и двух кур. У меня есть заботы поважнее.

Но Анна чувствовала, что за словами старика, поведавшего о своей беде, скрывалось большое горе.

Епископ Готье продолжал читать Анне французские книги. Чаще всего это была все та же страшная хроника Рауля Глабера. Но теперь королеву интересовали не столько появления сатаны, сколько сведения о том, что случилось в последние годы на французской земле. Особенно потрясали ее описания бедствий, выпавших на долю Франции, когда королевство посещал голод. Меру зерна продавали в такие времена за чудовищные деньги. Люди питались листьями одуванчика, ели древесную кору, собак, кошек и даже человеческие трупы.

Держа в пухлых руках переплетенную в свиную кожу книгу, епископ Готье прочел однажды королеве своим размеренным голосом, от спокойствия которого еще страшнее казались человеческие страдания, о людоеде:

– «Близ Макона, в лесу, называемом Шатене, стоит уединенная церковь, посвященная св. Иоанну. Какой-то злодей построил около нее хижину, где убивал всех, кто искал у него убежища на ночь. Случилось однажды, что к нему зашел путник со своей женой и попросил ночлега. Заглянув в угол хижины, он увидел там черепа мужчин, женщин и детей и, в крайнем смущении, побледнев как смерть, хотел удалиться, но кровожадный хозяин силою пытался удержать его. Однако страх смерти придал путнику силы, и он благополучно явился с женою в город, сообщил графу Оттону и всем жителям о том, что видел в Шатене. Тотчас послали воинов, чтобы проверить показания спасшихся от смерти. Люди пришли в лес и нашли чудовище в его логове, а в хижине – кости сорока восьми зарезанных и пожранных им жертв. Злодея привели в город и сожгли, и я самолично присутствовал при его казни...»

Анна подумала, что, вероятно, этот лишенный растительности на лице человек много повидал на своем веку, если был очевидцем подобных событий. Действительно, в хронике Рауля Глабера находилось немало других страшных записей. В Турносе один преступник осмелился продавать на базаре пироги с человеческим мясом. Его тоже сожгли, а обгорелый труп закопали вне кладбищенской ограды, но некий нечестивец вырыл ночью мертвеца и в свою очередь был казнен. Находились злодеи, показывавшие детям яблоко или кусок хлеба и заманивавшие их в лес; там они убивали детей, а трупы убитых пожирали, как дикие звери. В тот год в огромных ямах хоронили по пятьсот человек, но не хватало даже таких могил. А между тем дождь продолжал лить много дней подряд, поля покрылись водой или заросли сорняками; на улицах появились волки, привлеченные трупным зловонием, и люди не знали, когда же наступит конец их несчастьям...

Во всем мире было мрачно и безнадежно. Вавилонский принц, как Рауль Глабер называл египетского халифа, разрушил храм Христа. Мир жил как в подземелье. В соборной крипте слышались рыдания. Это плакали люди, потерявшие веру в Бога и готовые обратиться

за помощью к сатане. Но дьявол не обращал внимания на души бедняков, а денно и ночью бродил около королевских дворцов или у ворот богатых монастырей, где розовощекие аббаты запивали жирное мясо орлеанским вином и пели непристойные песни. Везде, во всем мире, в келий киевского монастыря и в скриптории турецкой школы, сатана раскидывал свои сети и улавливал человеческие души. Недаром по школьному уставу учителю разрешалось ходить ночью с учеником на двор только с зажженным фонарем и непременно в присутствии третьего лица, потому что монашеское одеяние не спасало человека от содомских пороков. Дьявол толкал людей на злодеяния и внушал им сладострастные мечты...

Король поднялся с табурета, потянулся с удовольствием и затряс бородой в длительном зевке, широко раскрыв рот. Проверив, хорошо ли заперта на ночь дверь, он лег в постель рядом с королевой. Последние вспышки огня в камине озаряли ее лицо розоватыми отблесками...

#### IV

Когда наступала зима и на Секване, делавшейся совсем черной, плыли хрупкие льдинки, напоминая Анне о далекой родине, она сидела у очага, проводила дни за книгой или слушала епископа Готье. Тучный мудрец вел обучение королевы по урокам Алкуина, называвшего себя в переписке с Карлом Великим латинским именем – Флакком Альбином. Но в этих беседах с кесарем или Пипином Коротким обычно спрашивал ученик, а отвечал учитель, толстяк же заставлял отвечать на свои вопросы Анну и тем самым укреплял ее разум.

- Что такое небо? – спрашивал он ее со всей доступной ему любезностью.
- Вращающаяся сфера, – без запинки отвечала Анна.
- Что такое день?
- Возбуждение к труду.
- Что такое солнце?
- Украшение небес, счастье природы.
- А еще что?
- Распределитель часов.
- А что такое луна?
- Подательница росы, свет ночи, предвестница погоды.
- И это верно. А что такое звезды?
- Путеводительницы морехода, краса ночи.
- Истинно так. А теперь скажи, что такое дождь?
- Дождь есть зачатие земли, кончающееся рождением плодов.
- Что такое ветер?
- Колебание воздуха.
- Что такое земля?
- Кормилица живущих.
- Что такое весна?
- Художница земли.
- Что такое лето?
- Спелость плодов.
- Что такое осень?
- Житница года.
- А зима?
- Изгнанница лета.
- Теперь скажи мне, что такое год?
- Колесница мира.

- Кто везет ее?
- Ночь и день, холод и жар.
- Кто ее возницы?
- Солнце и луна.
- Сколько они имеют домов?
- Двенадцать.
- Кто живет в них?

Анна сжала руки, чтобы напрячь память, и, закрыв глаза, ответила:

- Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец...

Анна запнулась, и Готье подсказал:

- Козерог...

Анна закончила перечень:

- Водолей, Рыбы...

Готье, уставший не менее Анны, тяжело вздохнул. Горница, где Анна изучала науки, со сводчатым потолком, побеленная, но без всяких украшений, была для Анны самой любимой в этом скучном дворце. Около очага, где дотлевало большое обугленное полено, стояли два деревянных, потемневших от времени кресла и таких же два табурета. Для удобства на них клали подушки из красного сукна. Под окнами тянулась вдоль стены длинная дубовая скамья. В одном углу горницы блистал медью тяжелый окованный ларь, в котором хранились королевские архивы, в другом бросалось в глаза каждому входящему высокое сооружение вроде церковного аналоя. На нем лежала раскрытая огромная Псалтирь в серебряном окладе. Книга была предусмотрительно прикована цепью, чтобы дьявол не похитил это драгоценное утешение христиан в часы печали. Рядом находился дубовый наклонный пюпитр, клирики на нем писали хартии, когда здесь происходили королевские советы. Сам король садился за стол только для того, чтобы принимать пищу, и подписывал дипломы, или, вернее, ставил на них свой «сигнум» в виде креста, не сходя с трона.

В парижском дворце текла размеренная жизнь. Никаких событий, но много суеты. Генрих часто бывал в отсутствии, потому что даже в зимнее время на границе с Нормандией чувствовалось напряженное состояние, и там приходилось возводить новые замки, а старые, разрушавшиеся от времени, приводить в надлежащий вид. Весной обычно начинались военные действия. Но если не шумела война, то с наступлением теплых дней король и королева, а вместе с ними двор, все придворные чины, от сенешаля до последнего псаря, отправлялись в какой-нибудь отдаленный домен. Дороги во Франции находились в таком состоянии, как, впрочем, и повсеместно в Европе, что легче было людям добраться на конях и мулах до запасов продовольствия, собранного в огромном количестве в королевских замках, в житницах и погребях, чем привозить всякую живность, вино, сыры, колбасы, мед, соленую и копченую рыбу и прочее в Париж. Когда двор, как прожорливая саранча, пожирал эту снедь, перебирались в другой замок или город, и король пользовался случаем, чтобы попутно разбирать судебные тяжбы, проверять отчеты вороватых прево, посещать монастыри с прославленными мощами мучеников. А за это время пополнялись на зиму запасы в кладовых парижского дворца.

Двор отправлялся в путь на конях и мулах. На повозках и вьючных животных везли все необходимое для короля и королевы – одежду и посуду, оружие и принадлежности для писания. Кавалькада всадников растягивалась на целое лье. Остановки происходили в каком-нибудь попутном аббатстве, которое в такие наезды превращалось на несколько дней в развороченный муравейник. По древнему обычаю, аббатства обязывались в любое время года предоставлять королю и его людям пропитание и убежище, пока он не покинет монастырскую ограду. В то время как Генрих и его супруга проводили время в благочестивой беседе с аббатом, монахи, как в дни нашествия неприятеля, переворачивали вверх дном весь монастырь, чтобы достать нужное количество съестных припасов и вина и накормить ораву

бездельников и тунеядцев, а потом с прискорбием подсчитывать расходы и убытки. Впрочем, король обычно жертвовал в пользу монастыря какой-нибудь ценный церковный сосуд или дарил ради спасения своей души еще одно селение, с нивами и сервами.

В тот год объезд королевских владений начался с города Санлиса. Анна много наслышалась о его красотах, чудесном лесном воздухе и замечательных охотах и с удовольствием отправилась в это путешествие.

В дороге было шумно и весело. При дворе всегда находились расторопные менестрели, умевшие хорошо играть на виеле и распевать веселые песенки. Жонглеры развлекали королеву и ее приближенных дам всякими забавными шутками и рассказами о любовных проделках неверных жен и распутных монахов. Король считал такое времяпрепровождение бесполезным и рано уходил спать в полевой шатер или монастырскую келию с распятием на стене, а королева оставалась у костра, где-нибудь у реки или на опушке благоуханной рощи.

Оглушительно квакали лягушки...

Теплая ночь была подобна черному плащу. Пахло речной сыростью, дымом, примятой травой. Лягушачий хор с каждым мгновением становился все сильнее, настойчивее, напряженнее. Крики этих земноводных наполняли окрестность, как будто бы их глотки захлебывались от радости жизни и от полноты самоутверждения в мироздании.

Длинноносый оруженосец унылого вида бросил в костер охапку хвороста, взятого без спроса под монастырским навесом, и огонь вспыхнул с новой силой. Сухие сучья весело потрескивали. Пламя озарило сидевшую на ковре королеву, кидало трепетные блики на другие молодые лица, на стреноженных коней, пасшихся в отдалении на лужайке.

Генрих уже давно храпел в отведенной ему келии, спал у его двери сторожевой оруженосец, почивал сном праведника епископ Готье, уснули аббат и монахи. С королевой остались лишь молодые женщины и рыцари. Анна обещала супругу, что поднимется вслед за ним в монастырь, расположенный на высоком берегу, но ее не привлекала монастырская тишина, и она задержалась у костра. Необыкновенная ночь растревожила людей своим теплом, травяными запахами, голосами лягушек.

Как всегда в подобных случаях, менестрель пел, но на этот раз неудачно. Он охрип во время недавней перебранки с каким-то драчливым оруженосцем, и, кроме того, смущала близость аббатства, в котором почивал король. Тогда все стали просить королеву:

– Расскажи нам какую-нибудь повесть!

Иногда Анна вспоминала на таких собраниях северные саги или песни старых гусяров, услышанные на киевских пирах. Их запоминали менестрели, и кое-что сохранилось в их стихах. Сама того не подозревая, Ярославна сеяла на французской земле русские семена.

– Что же мне рассказать вам? – улыбнулась королева.

– Про неверную жену!

Слушатели и особенно слушательницы готовы были в десятый раз внимать занятным историям.

Анна лукаво погрозила пальцем особенно восторженной девице, которой рано было знать подобные вещи.

– Ну хорошо. Расскажу вам про неверную жену...

Все старались устроиться поудобнее на ковре или просто в траве. Длинноносый оруженосец лежал на животе, нелепо подняв ноги в желтых башмаках, и грыз былинку. Никто не заметил, как в соседние кусты тайно пробрался, задирая полы сутаны, молодой монах, присел там и тоже приготовился слушать дьявольские соблазны.

Анна начала так:

– Жил в Скандинавии знатный воин Греттир... Но его предательски убил некий Онгул и, чтобы спастись от мести родственников убитого, убрался поскорее в Константинополь и поступил в царскую стражу, охранявшую днем и ночью дворец. Однако об этом узнал

Тростейн, брат Греттира, и поспешил продать все свое имение и отправился вслед за убийцей. Царем в те годы был Михаил. Оба скандинава сделались его телохранителями, какими были многие норманны. Сначала они не признали друг друга. Однако вскоре предстоял далекий поход, и надлежало произвести осмотр оружия. Каждый воин показывал свой меч и копье. Онгул протянул редкостной работы клинок, некогда принадлежавший Греттиру. «Почему зазубрина на лезвии?» – спросил его Тростейн. «Я рассек некоему противнику череп...» Тут брат Греттира понял, с кем он имеет дело, взял из рук Онгула меч, как бы для того, чтобы получше рассмотреть оружие и полюбоваться искусством кузнеца, и в то же мгновение убил злодея...

Но это было только вступление в легкомысленную историю о неверной греческой жене. Лягушки умолкли на некоторое время, за исключением одной, самой басистой, и потом дружно возобновили свои старания... Этот шум не мешал рассказу; наоборот, он как бы наполнял его жизнерадостностью, несмотря на пролившуюся кровь. Впрочем, то была кровь предателя...

– Тростейн поступил так, как этого требовал священный обычай. Он только отомстил за смерть брата. Но в Греции существуют строгие законы. Убийство во время смотра, в присутствии царя, считается оскорблением величества и карается смертью. Тростейна бросили в темницу, и в ожидании казни он томился в каменной башне. Там он встретил одного товарища, тоже приговоренного к смерти и находившегося в совершенном унынии. Чтобы ободрить приятеля, Тростейн стал петь. У него был такой мощный голос, что содрогались тюремные стены, и песню его услышала одна благородная греческая женщина, проходившая случайно мимо темницы со старыми евнухами и служанками. Ее звали Спес, она была замужем за одним малопочтенным вельможей. К тому же старик не отличался красотой и большим мужеством, а жена его находилась в расцвете лет. Поэтому нет ничего удивительного, что она захотела выкупить осужденного красавца, которого увидела за решеткой в высоком окошке. Но Тростейн отказался покинуть тюрьму без товарища. Спес уплатила за обоих положенное количество червонцев, и молодой скандинав отправился в дом своей благодетельницы...

И это было только началом занимательной истории о неверной жене.

– Втайне от мужа Спес поселила воина у себя, поблизости от опочивальни, и, когда супруг отлучался по своим делам или уходил во дворец на царские приемы, Тростейн тотчас являлся через потайную дверь к пылкой возлюбленной...

Молодые оруженосцы и скромные на вид женщины, – а больше всех притаившийся в кустах монах, потому что он слышал подобное впервые, – с нетерпением ждали продолжения этой поучительной повести.

– В то время в Греции жил Гаральд, сын Сигурда, и от него-то я и узнала все, что случилось с Тростейном...

Приложив палец к губам, Анна порой подыскивала не приходившие ей на ум французские выражения, но голос у нее был приятный, и все слушали этот рассказ с наслаждением.

– Тростейн водил дружбу с Гаральдом и был богат, как епископ, потому что Спес не скупилась на золотые монеты для своего возлюбленного. Однако муж гречанки сокрушался по поводу изменившегося отношения со стороны жены и ее непонятной расточительности. В конце концов он догадался о причине и решил уличить неверную супругу. Но Спес ловко выходила из самых трудных положений. Один раз она спрятала любовника в ларе и преспокойно уселась сверху. Муж напрасно искал всюду счастливого соперника и потребовал, чтобы жена поклялась, что в опочивальне никого нет. Спес поклялась...

– Как же она осмелилась сделать такое, раз любовник был у нее? – ужасалась одна из присутствовавших молодых особ.

– Но ведь любовник был не в опочивальне, а в ларе! – рассмеялась королева. – В другой

раз Тростейн успел проскользнуть в потайную дверь. В третий раз слуги вынесли его вместе с ковром, который нужно было почистить от пыли, и супруг ничего не мог поделать, хотя многие видели, что у Спес бывает какой-то мужчина. Тогда ревнивый старик потребовал от жены страшной церковной клятвы, что она верна ему и бережет хозяйское добро. Лукавая красавица отвечала, что она только и хочет этого, так как не желает оставаться дольше под подозрением и испытывать от людей такой позор. На следующий же день супруги пошли к епископу. Но хитрая жена условилась со своим возлюбленным, как надо действовать. Тут следует упомянуть, что в день присяги была дождливая погода. Направляясь в сопровождении супруга и многочисленных спутниц и спутников в церковь, Спес подошла к широкой луже на дороге. Поблизости стояли несколько нищих, просивших подаяния. Один из них, уже старик, отличавшийся высоким ростом и белой бородой, почему-то напомнившей мужу паклю, учтиво предложил госпоже перенести ее через это препятствие. Спес согласилась. Но вот что произошло! Когда нищий дошел до середины лужи, он зашатался под тяжестью ноши и упал, уронив Спес на землю, а сам, лежа в грязи, в растерянности хватался руками за колени и бедра госпожи. Та наконец поднялась и в негодовании грозила побить неловкого, но окружающие, и даже сам супруг, вступились за несчастного старца, ни в чем не повинного в данном случае. Она сжалась над ним и щедро наградила, высыпав из кошелька горсть золотых. Затем Спес явилась в храм и в присутствии множества народа торжественно поклялась, что никто никогда не прикасался к ее телу, кроме мужа и того нищего, который тоже стоял в толпе, и что она никому не давала денег, кроме этого старика. Все признали очистительную клятву удовлетворительной, и муж спокойно возвратился в свой дом...

В пути Генриху захотелось побывать и в том аббатстве, где приором был его дальний родственник Радульф. Отправив повозки и большинство слуг в Санлис, король и королева свернули с большой дороги и в сопровождении немногих приближенных направились в монастырь, славившийся рыбными яствами. Обычно в подобных случаях посылался гонец – предупредить приора или сеньора о намерении короля провести несколько дней под их кровлей, чтобы хозяин мог достойным образом приготовиться к встрече дорогих гостей. Но на этот раз решение Генриха было непредвиденным, монастырь отстоял всего в нескольких лье от санлисской дороги, и сюзерен появился в его ограде совершенно неожиданно.

А между тем в тот день на аббатском дворе с самого раннего утра началась суматоха: монахи и соседний барон приступили к дележу наследия некоего рыцаря. Все совершалось на основании его законного завещания, в силу которого имение покойного, только что покинувшего земную юдоль и не оставившего после себя наследников, переходило в равных частях к дому Божьему и барону Марселю де Жуанво, в благодарность рыцаря за его защиту и покровительство. Часть наследства, завещанная святым отцам, была оговорена условием, что каждую пятницу должна служить месса с поминовением усопшего жертвователя.

Дележ наследства начали без особых затруднений. Сравнительно легко удалось договориться относительно земельных владений умершего рыцаря, и сам настоятель, невзирая на свою дородность, обошел с посохом в руке каждый югер, совместно с бароном и измерителем. Затем без больших споров поделили крупный и мелкий скот и его приплод. Не вызвала разногласий и дележка коней. Но когда дело дошло до сервов, задача оказалась более трудной.

Обширный монастырский двор был полон народа и монахов. Сюда согнали еще на рассвете сервов покойного рыцаря, чтобы осмотреть каждого и определить его ценность и годность к работе. Радульф, неизменно с посохом в руке, стоял на крыльце рефектория, откуда весьма удобно озирая весь двор. Сервов делили по семействам, и таковых оказалось двадцать два, число весьма удобное для подобного предприятия, однако не во всех семьях насчитывалось одинаковое количество детей, и в этом и заключалась трудность. Поминутно раздавались вопли, споры, плач женщин и детей. В воздухе чувствовалось напряжение,

которое создается только в минуты несчастий, но монахи не видели в происходящем ничего особенного и пересмеивались между собою по поводу прелестей той или иной поселянки.

Было решено, что для соблюдения справедливости, без которой ничего не должно совершаться на христианской земле, а также для уравнивания в дележе пятилетний мальчик из одной семьи, отошедшей к барону, будет передан аббатству. Барон скрепя сердце согласился с таким постановлением, тут же записанным на пергамене. Второй трудный вопрос возник в связи с младенцем, еще лежавшим в колыбели. Он принадлежал к семье, отходящей к аббатству; по числу делимых годовалых детей его следовало отдать барону. Однако младенца нельзя было отнять от груди матери, и аббат предлагал оставить его на материнском попечении, пока дитя не подрастет. Но Жуанво всегда ожидал какого-нибудь подвоха со стороны этой жирной лисы и опасался, что потом не получит своего законного добра.

Мать ребенка, о котором шел спор, принесла его завернутым в жалкое тряпье. Когда дитя плакало, она с горестным вздохом вынимала прелестную розоватую грудь, полную сладостного молока, и, доверчиво держа ее на ладони у всех на виду, кормила сына под похотливыми взглядами монахов. Казалось, она еще не совсем ясно понимала, какая участь ожидает младенца, и простодушно смотрела куда-то вдаль. Зато другая поселянка, пятилетний мальчик которой был предназначен для передачи монастырю, крепко обнимала своего сына и не хотела с ним расстаться. Однако дюжие монахи быстро справились с нею. Рыжеусый барон, здоровый пятидесятилетний человек с сизым лицом, тоже привел с собой конюхов, готовых выполнить любое его приказание. Все это были сильные парни, с недельной щетиной на щеках и ржавшие как жеребцы, когда барон отпускал непристойную шутку по поводу толстого зада какой-нибудь крестьянки.

– Лучше убейте меня! – кричала несчастная мать, цепляясь за ноги монахов. – Неужели нет больше правды на французской земле!

Черноглазый эконо́м, судя по его манерам человек благородного происхождения, отечески и от доброты сердца уговаривал беспокойную женщину, доставлявшую столько хлопот при разделе наследства:

– Ну, чего ты вопишь, как свинья, которую собираются резать? Твой сын не прогадает. Вы всего испытаете у барона, он весьма скаредный человек, а твой шалун будет работать на монастырь и, следовательно, для самого Господа Бога. Барон заморит вас голодом, а монастырские погреба полны всякого добра, и, кроме сред и пятниц, мы неизменно едим мясо.

Но мать ничего не хотела слышать и голосила на все аббатство.

Приор, толстый старик с бегающими глазами и, по рассказам, великий стяжатель, крикнул с крыльца:

– Уймите вы, наконец, эту валаамову ослицу!

Дюжий монах подошел к женщине и стал трясти ее за плечи, приговаривая:

– Дура! Заткни свою глотку!

Рядом с несчастной стоял ее муж, унылый и сгорбленный поселянин, до того убитый всем происходящим, что у него не хватало духу сопротивляться насилию. Другие сервы тоже мало чем отличались от него по своему виду, ветхой одежде и косматым головам.

Сеньор был недоволен дележом. Спор разгорался. В ожидании окончательного решения монастырский писец обмакнул заостренный тростник в чернильницу и равнодушно ковырял в носу. Барон выговаривал аббату:

– Предположим, что через год ты отдашь мне двухлетнего младенца. Что я буду с ним делать без матери?

Но Радульф с улыбочкой опытного рабовладельца успокаивал его:

– Ты и не заметишь, как он подрастет и будет прилежно пасти твоих уток.

– Лучше отдай мне того, которому исполнилось пять лет.

– С удовольствием отдал бы тебе его, но надо во всем поступать по совести. У тебя и

так оказалось больше молодых и сильных сервов, чем у меня. А я забочусь о Божьем деле.

– А как же мы поступим со стариками и старухами? – спросил барон, окончательно потеряв надежду переспорить этого упрямого сребролюбца.

– Сколько их? – поморщился аббат.

– Девять человек.

– Ты спрашиваешь, как мы поступим со стариками и старухами? – задумался на несколько мгновений Радульф.

– Вот именно.

– С ними мы тоже поступим по-хорошему.

– Бери их себе, – великодушно предложил барон. – У тебя в монастыре всегда найдется для них какая-нибудь подходящая работа. А я только буду зря их кормить.

– Что же, я готов. Беру вот этого, например, – показал аббат перстом на маленького, но еще довольно бодрого старичка с красным носом. – Мы сделаем его звонарем, он будет созывать монахов на молитву. И этого беру. С бородавкой на носу. А прочие пусть идут, куда хотят.

Охваченные смутным ужасом, старухи и старики заволновались, не представляя себе, какая их ожидает участь.

– Люди, – обратился к ним аббат елейным голосом, – мои братья и сестры во Христе! Отныне вы свободны! Возьмите посох и суму и пойдите на поклонение в какой-нибудь монастырь, славящийся чудными святынями, прося в пути подавания у добрых жителей, и Господь не оставит вас. Так поступали сами апостолы.

Беззубый старик с палкой в руке зашамкал:

– Куда же я пойду, святой отец! У меня не хватает сил вернуться в нашу хижину. Вот и сюда я еле-еле доплелся, и то потому, что меня понукали конюхи барона. Разреши мне закончить свои дни у сына.

Аббат почесывал ногтем щеку, что-то соображая.

– Ну ладно, – произнес он, – оставим и тебя. Пусть все знают, что мы всегда готовы приютить в доме Божьем убогих и нищих.

– И меня! И меня! И меня! – завопили жалобно старухи, падая на колени. – Оставь и нас при детях наших.

– Нет, всех мы не можем взять. Но Господь...

Радульф не успел закончить фразу. Во двор прибежал взволнованный монах и сообщил ему, что к монастырю приближается король.

Лицо аббата сразу же сделалось озабоченным. А когда он обратил взор к воротам, где в это мгновение Генрих показался, как некое видение, озабоченность на лице аббата сменилась притворно радостной улыбкой. Он оставил барона и все земные дела и поспешил навстречу высокому гостю.

Увидев, что в монастырь явился не кто иной, как сам король, сервы тотчас бросились к нему, жалуясь на свои горести. Но понять что-нибудь в этих воплях было невозможно, и король приказал оруженосцам:

– Очистите мне дорогу!

На поселян посыпались удары. Когда более или менее удалось навести порядок и были слышны только всхлипывания женщин и плач детей, аббат пояснил:

– Милостивый король, мы только что производили с бароном дележ одного незначительного наследства, поступая строго по закону, а эти бездельники не желают подчиняться воле своего покойного господина.

Женщина, младенца которой постановили передать барону, хотя бы и по истечении года, вдруг осознала положение, как безумная кинулась к королю и уцепилась рукой за его стремя, другой прижимая к себе плакавшего ребенка. Ее платье распахнулось, и полная млека и меда грудь лучше всяких юридических доказательств свидетельствовала о материнских

правах.

– Добрый король! – взывала она. – Защити нас! Они хотят отнять у меня единственного сына.

На дворе вдруг наступила тишина, какая бывает перед грозой.

– Кто отнимает у тебя сына? – нахмутив брови, спросил король.

– Он хочет взять его у меня, – закричала бедняжка, указывая пальцем на аббата.

Генрих посмотрел на Радульфа:

– В чем дело?

– Милостивый король, – стал оправдываться аббат, прижимая ладони к жирной груди, – эта глупая крестьянка все перепутала. Я не имею никакого отношения к младенцу, поскольку он принадлежит барону. Напротив, только благодаря моим заботам его оставили у матери хотя бы на один год...

Король перевел взгляд на барона. Тот, – по жадности или по той причине, что не был наделен большими мыслительными способностями, – не соображая, что все это может обратиться к его же невыгоде, поспешил подтвердить:

– Да, ребенок принадлежит мне. Но так как он молочный, то мы решили из христианских побуждений оставить дитя на один год у матери. Затем я возьму его. Очень прошу тебя сказать аббату, чтобы он не обманул меня.

Генрих без большой симпатии смотрел на барона, но, вероятно, все этим и кончилось бы, если бы Анна, грациозно сидевшая на своей серой в яблоках кобылице, не почувствовала жалости к молодой женщине. Дотронувшись до руки мужа, она сказала тихо:

– Не позволяй отнять ребенка у матери. Ты – король и должен защищать обиженных и гонимых.

Королева только вчера сообщила Генриху о своей беременности, и он теперь готов был сделать для супруги все, чего бы она ни попросила. Вчера старая повивальная бабка долго осматривала королеву и увидела, что она в положенное время родит сына.

Король вспомнил о словах старухи и сказал, сурово глядя на аббата и сеньора:

– Пусть ребенка навсегда оставят у матери. Так я повелеваю.

Служитель Господа не терпел никакого ущерба от этого распоряжения: выходило даже, что он на одного серва получал больше. Возведя руки к небесам, Радульф возгласил:

– Поистине так всегда поступали христианские короли!

Но барон, смотревший с перекошенным лицом на жирного аббата и считавший, что это он является виновником неприятного решения короля, запротестовал:

– Король, младенец принадлежит мне по закону. Это право уже закреплено записью в хартии. Через год младенца должны передать мне.

Генрих обратил к нему помрачневшее лицо, помолчал немного, что-то вспомнив, потом произнес сквозь зубы:

– Не ты ли, барон, одним из первых покинул меня в этой несчастной битве под замком Пьюизе? Припоминаю теперь.

Лицо сеньора налилось кровью, и он отступил на шаг. Казалось, еще мгновение, и с ним будет удар. Но Жуанво молча проглотил обиду, ведь у него было слишком мало воинов, чтобы противиться королю. Генрих тоже знал это и с нескрываемым презрением смотрел на своего вассала.

Снова раздались крики и вопли. Другие женщины тоже просили о королевской милости. Опять посыпались палочные удары и зуботычины, чтобы расчистить путь к дверям аббатского дома, где королевская чета хотела отдохнуть после утомительного путешествия верхом на коне, под лучами полуденного солнца.

Епископ Готье, находившийся около королевы и не без любопытства наблюдавший за тем, что происходило на монастырском дворе, с грустью качал головой. Анна вопросительно посмотрела на него. Он пролепетал:

– Прав был благочестивый король Роберт, когда утверждал, что страдания бедняков можно сравнить только с муками Израиля в египетском пленении...

Слова епископа достигли и слуха короля, но он сделал вид, что ничего не слышит. Восстановление справедливости на земле Генрих считал бесплодным занятием. Для этого не хватило бы и тысячи лет. Единственное, что волновало его в этот час, было сообщение Анны. Теперь надлежало принять все меры, чтобы оградить здоровье королевы. Ничто не должно повредить плоду в ее чреве. Она носила в себе наследника французской короны.

## V

Санлис со своими пятью высокими башнями представлял собою довольно живописное зрелище. Расположенный на возвышенности и окруженный дубравами, он напомнил Анне Вышгород. У нее сжалось сердце, когда она подумала об этом русском городе на берегу Днепра и о проведенной там юности.

Узкая щебнистая дорога, поднимаясь на холм, извивалась среди древних развалин, заросших плющом. На пути протекала струившаяся по белым камушкам быстрая речка с прозрачной водой. Через нее был переброшен старый каменный мост. Таких горбатых мостов Анна не видела на Руси, но белые камушки и вода как хрусталь тоже напомнили о вышгородских ручьях.

Она спросила короля:

– Как называется река?

Генрих ответил:

– Нонетт...

Людовикуса уже не было около Анны. Впрочем, теперь королева могла обходиться без переводчика.

Она заглянула с моста в воду. В реке блеснули серебристые рыбешки. Лесной воздух был сладостен, как везде на земле, где произрастают дубы, привлекающие бури и молнии.

Санлис, сильно укрепленный городок, стоял в стороне от больших дорог, среди дубрав и сельской тишины. Некогда на этом месте процветала богатая римская колония, и в дни Генриха еще существовали руины древних храмов и небольшой арены. Камни и мраморные плиты этих зданий использовали для строительства королевского дворца и церквей, которых в Санлисе возвели значительно больше, чем требовалось по числу жителей. В этом городе состоялся тот знаменитый съезд графов, на котором Гуго Капету, предку Генриха, предложили французскую корону, поэтому король весьма благоволил к санлисцам и дарил местным церквям золотые и серебряные богослужебные сосуды. Дворец в Санлисе стоял на северной стороне, у самой крепостной стены. Это было довольно неуклюжее сооружение с башнями, так как оно уже составляло часть городских укреплений.

Санлисские леса славились обилием всякого зверя, но теперь король не разрешал Анне охотиться, а сам часто уезжал в Париж, и она скучала в одиночестве. Иногда королева медленно поднималась на замковую башню. К ней прилетал свежий ветер, приносил издали протяжные звуки рогов. Анне сказали, что это охотится на оленей граф Рауль де Валуа, сосед, позволявший себе иногда преследовать добычу в королевских владениях.

Однажды граф явился в Санлис. В тот день король собирался в очередную поездку. Он сказал пажу, длинноносому мальчику с мочальными волосами:

– Пусть оруженосцы снарядят меня.

Король ехал в город Санс, чтобы показать свою сильную руку маленькому вассалу, осмелившемуся не доставить в Санлис дары, установленные обычаем еще во времена блаженной памяти отца и ныне уже освященные правом давности. Король решил, что в случае упорства со стороны барона примерно накажет его, и поэтому собирался в поход с большим отрядом конных воинов, в глубине души надеясь, что при одном его появлении

непокорный будет просить о пощаде.

Два опытных оруженосца хлопотали вокруг короля и с трудом натянули на плотное королевское тело длинную кольчугу. Железные поножи были уже на ногах у Генриха. Для защиты головы в рыцарском вооружении на нее надевалась отдельная кольчужка, сверху клалась круглая железная шапочка, и только поверх всего водружался кованый конический шлем с короткой пластиной для защиты лица. При таком вооружении можно рассчитывать, что голова не пострадает от удара боевым топором или мечом. Две перчатки, тоже сплетенные из железных колечек, прикреплялись к рукам кольчуги крепкими ремнями.

Король поставил ногу на скамью, чтобы коленопреклоненный оруженосец мог привязать позолоченную шпору, и в этом положении, повернув голову, увидел, что без доклада, как брат к брату или равный к равному, в горницу входит Рауль де Валуа.

На лице графа играла приятная улыбка, но с нею плохо вязалась надменность, проглядывавшая неизменно в этих синих жестоких глазах. Анна, стоявшая рядом с Генрихом и с женской тревогой наблюдавшая, как мужа снаряжают в поход, опять вспомнила, что такие же васильковые глаза были у ярла Филиппа. Но у варяга их туманила нежность, а у графа они сверкали насмешливым огоньком, и поэтому плохо верилось, что улыбка Рауля выражает искреннее почтение к своему сюзерену.

На пороге гость сказал:

– Проезжал недалеко от королевских владений. Захотелось узнать, как здоровье короля и королевы.

Рауль все так же почтительно улыбался, но Генрих с раздражением подумал, что его владениями являются не только Санлис, а и вся Франция, от Прованса до Фландрии. Взгляды короля и графа скрестились. Несколько мгновений, пока оруженосец, припадая к шпоре, старался завязать заскорузлый ремешок, не слушавшийся пальцев, король молча рассматривал высокомерного вассала, прикидывая мысленно, что его привело в санлисский замок и почему он явился сюда в неурочный час.

Рауль с запозданием снял шляпу и приветствовал хозяев:

– Добрый день моему королю, добрый день моей королеве!

– Добрый день! – ответил король.

– Приехал спросить, не пожелают ли мой король и моя королева поохотиться завтра в лесах Мондидье. Или я помешал, приехав без предупреждения?

Граф посмотрел на королеву.

Анна опустила глаза, но Генрих с деланной любезностью ответил:

– Граф Рауль всегда желанный гость в моем доме. Но почему ты не известил своевременно о своем прибытии? Тогда я мог бы достойно встретить тебя. А теперь ты видишь, что я должен ехать. Ты, вероятно, заметил на дворе оседланных коней.

Оруженосец, покраснев от усилия, привязал наконец непокорную шпору. Король встал и, двигая руками, попробовал, хорошо ли прилажено вооружение.

Видимо, слова сюзерена не смутили графа Рауля. Он еще раз повторил:

– А я так надеялся, что король и королева примут участие в завтрашней охоте.

Граф вопросительно посмотрел на Анну, надеясь, что она не откажется от любимой забавы. Но за нее ответил король:

– К моему большому сожалению, я не могу приехать к тебе, а по древнему обычаю королева Франции не выезжает на охоту без короля. Впрочем, моей супруге сейчас не до того...

– Почему? – удивился граф.

– Королева должна беречь себя, ибо теперь она носит в своем чреве наследника французской короны.

Генрих произнес эти слова с нескрываемой гордостью.

Рауль не ждал подобных откровений, и даже этот надменный человек растерялся, когда

король с победоносным видом посмотрел на него. Граф хотел, по своему обыкновению, пошутить, но не посмел при взгляде на королеву и принес поздравления.

– А ты, граф, опять обижаешь моих епископов, – прибавил Генрих, поднимая руки, чтобы оруженосцам было удобнее опоясать его мечом. – Зачем ты отнял у епископа Роже две пары волов на его собственном поле?

Рауль рассмеялся, показывая желтоватые и неровные зубы хищника и плотоядного человека.

– Епископы и монахи слишком заботятся о земных благах. Пусть они трудятся с мотыгами в руках. Тогда скорее спасут свою душу. А их волы работают теперь на такого грешника, как я.

– Не бойшься, что Роже пожалуется папе? – спросил король, показывая этими словами и тоном, каким они были произнесены, что по своему положению граф Рауль де Валуа и де Крепи, а также носитель многих других титулов, ближе ему, чем епископ Шалонский.

– Пусть жалуется.

– Смотри, как бы не отлучили от церкви!

– Пусть отлучают, но не советую папе появляться близко от Мондидье. Я его повешу на первом попавшемся суку.

Рауль рассмеялся, и от этого сатанинского смеха Анну на мгновение охватил какой-то неизведанный озноб. Но она еще раз осмелилась взглянуть на человека, который никого и ничего не боялся на земле.

Генрих отправился в поход, и вместе с ним покинул дворец граф Рауль. Анна, наблюдавшая из окна, видела, как глубоко внизу, на замковом дворе, муж сел на коня и выехал из ворот. Она заметила также, что граф поднял голову и смотрел туда, где находилось ее окно. Муж не обернулся. Он считал, что такое поведение неуместно для короля.

Вскоре граф Рауль снова посетил Санлис и даже привез с собою жонглера. Это был долговязый смуглый юноша, по провансальской моде гладко выбритый, но с длинными, черными как смоль волосами, падавшими ему на плечи. Его звали Бертран.

Скитаясь с виелой за плечами по Франции, Бертран забрел однажды в Мондидье. Вечер еще не наступил, но надлежало заранее подумать об ужине и ночлеге. Несмотря на свою молодость, жонглер, человек, выдавший виды, исколесил весь Прованс, немало побродил по дорогам Франции и Бургундии, то находя случайное пристанище в каком-нибудь замке, то забавляя простых людей в тавернах и на ярмарках, и добывал себе пропитание песнями и всякими веселыми шутками.

В Мондидье Бертран приплелся пешком, проиграв неделю тому назад в Париже, в харчевне «Под золотой чашей», мула бродячему монаху по имени Люпус, и поэтому чувствовал себя несколько смущенным. Кроме того, он устал... Но решил, что проведет ночь в первом попавшемся доме, а наутро отправится на базарную площадь и там поправит свои делишки.

Между тем солнце уже склонялось к западу. На улицах городка было безлюдно: очевидно, жители сидели за вечерней трапезой. Бертрану тоже захотелось есть. Он окинул взглядом малоприветливые домишки, кое-как построенные из дерева и камней, белую церковь и замок сеньора, красовавшийся на возвышенном месте. Первым существом, которое он встретил на улице, была сгорбленная старуха с вязанкой хвороста на спине. Жонглер спросил у нее с веселой прибауткой, где здесь проживают добрые люди, у которых можно переночевать на соломе, а заодно и съесть миску бобовой похлебки. Но старая женщина посмотрела на него дикими глазами и вдруг замычала. Она оказалась немой. Бертран почесал затылок, сдвинув шляпу на нос, и свистнул, а старушка с хворостом на спине побрела своей дорогой. Тогда Бертран решил постучать в дверь дома, который показался ему более богатым, чем другие. Наверху отворилось оконце и чей-то голос окликнул путника:

– Кто там стучится в мою дверь?

Бертран, привыкший расплачиваться за все – за еду, за ночлег и за прочее – песнями и шутками, с воодушевлением ответил, задирая голову к окошку:

– Я жонглер Бертран, умею играть на виеле, петь песни, ходить по канату...

Но не успел он закончить эти слова, как наверху показалось покрасневшее от гнева лицо. Сомнений не было: оно принадлежало местному кюре!

Священник, грозя жонглеру здоровенным кулаком, бранил его:

– Прочь от моего дома! Какой добропорядочный христианин пожелает иметь дело с подобным нечестивцем!

Бертран со смехом ответил:

– Извини, преподобный отец, что помешал тебе забавляться с твоей толстушкой!

– Бродяга! Несчастный скоморох! Служитель дьявола! Вот я тебе сейчас покажу... – надрывался кюре, тем более пришедший в негодование, что в глубине горницы Бертран действительно успел рассмотреть белозубую мордочку и круглое голое плечо какой-то красотки.

Одним словом, ничего не оставалось, как удалиться, и жонглер поплелся дальше. Свернув в глухой переулок, густо поросший травой, он постучался в другую дверь, однако и в этом доме его ждала неудача: в хижине лежал на деревянном одре покойник. Тут людям было не до музыки и веселья. Огорченный Бертран побродил некоторое время, очутился у реки и здесь увидел приятный уединенный дом, к которому вела через лужок заманчивая тропинка. Недолго думая, жонглер заглянул через плетень во двор. На пороге стоял хозяин, человек с рыжей бородой. Он спросил:

– Что тебе нужно, вертопрах?

Глядя на это страшное лицо, Бертран не знал, как приступить к делу.

– Друг, полагаю, что у тебя доброе сердце...

– Ну?

– Хотел просить... Непустишь ли меня переночевать на твоём чердаке?

Рыжебородый отрицательно покрутил головой.

– Тогда, может быть, укажешь какую-нибудь харчевню в здешних местах?

В ответ незнакомец грубым голосом произнес:

– Возвратись на свои следы. Вскоре ты увидишь дом кюре под высокой крышей. Сверни около него в переулок и так дойдешь до таверны дядюшки Оноре.

Бертран поблагодарил и побрел указанной дорогой. Великан с красной рожей, как у мясника, крикнул ему вслед:

– Скажешь там, что тебя прислал палач, и тогда они хорошо накормят...

Он хрипло рассмеялся, а юноша невольно ускорил шаги.

Прошло некоторое время, прежде чем жонглер разыскал таверну. Это было довольно убогое строение с подслеповатым окошком, крытое соломой, как и полагается быть подобного рода притонам. Над дверью висел на шесте старый кувшин с отбитым краем, служивший вывеской для путников. Уже начинало темнеть, но в трактире засиделись какие-то забулдыги, и огонь в очаге еще не погас. Предусмотрительно нагибая голову в двери, Бертран вошел в низкое помещение и увидел висевший на цепи, точно закоптевший на адском пламени котел с похлебкой, заманчиво пахнувшей чесноком. Зная, чего обычно ждут от него люди, он бодрым голосом начал:

– Я жонглер Бертран, умею играть на виеле, петь песни, ходить по канату, подбрасывать и ловить три яблока...

Как бы то ни было, в тот вечер зубоскал наелся до отвала, попил неплохого винца и пощипал пухленькую служанку Сюзетт. Она только что вернулась откуда-то в довольно растрепанном виде, и ее лицо показалось Берtrandу знакомым. Девушка же не могла отвести глаз от черных кудрей провансальца и, когда ужин пришел к концу, даже обещала волнуящим шепотом, что поднимется к нему на сеновал, как только погасят в харчевне огонь

и все улягутся спать. Тогда и выяснилось, что Бертран видел красотку в окошке у того самого кюре, с которым поругался несколько часов тому назад. Сюзетт, по ее словам, относил служителю алтаря кувшин вина – дар набожного трактирщика в благодарность за поминовение недавно умершей супруги – и на некоторое время задержалась в священническом доме за рассматриванием поучительных картинок, а затем немедля вернулась проворными ногами к исполнению своих обязанностей. Бертран не очень-то поверил рассказам милой девицы, но он не был ревнивцем и провел ночь неплохо, хотя кто-то весьма настойчиво и даже слезливо взывал несколько раз под окном:

– Сюзетт! Почему ты не пришла?

Голос ночного прохожего жонглер где-то слышал, но так как оказался очень занятым в тот час, то не стал выяснять, кто стоит на улице.

Когда же в мире расцвело утро, Бертран проснулся в одиночестве и немедленно отправился на расположенную поблизости базарную площадь. Там уже повизгивали доставленные на продажу поросята, мычала корова, по приказу прево приведенная на веревке каким-то незадачливым сервом за неуплату долга сеньору, пахло свежее испеченным хлебом, яблоками, петрушкой и вообще всем, чем полагается благоухать базарам.

По привычке Бертран тут же начал свои зазывания:

– Почтенные жители! Я жонглер, умею играть на виеле, ходить по канату...

Его призывы нашли самый теплый отклик. Ведь не так-то часто заглядывали жонглеры в скучный посад. Люди были готовы оставить даже свои базарные делишки и послушать нечто не похожее на их монотонную, как деревенская пряжа, ежедневную жизнь в навозе и помоях.

– Умею подбрасывать и ловить три яблока, рассказывать пастурели и фаблю, так что вы останетесь довольны и не поскупитесь на медяки для бедного, но веселого...

И вдруг язык Бертрана прилип к гортани... Он заметил, что из толпы на него смотрит выпученными глазами тот самый кюре, которого вчера видел в обществе Сюзетт. Не успел жонглер сообразить, как ему при данных обстоятельствах поступить, а этот весьма внушительного вида представитель церкви, к тому же вооруженный палкой и, вероятно, выяснивший неверность слишком доброй девушки, уже орал на весь базар:

– Ага! Вот где ты теперь развращаешь христиан! Не позволю похищать лучших овечек из доверенного мне Господом стада!

И, размахивая увесистым жезлом, ринулся в бой.

Бертран, который далеко не был трусом, но никогда в жизни не дрался со священниками, решил, что ему ничего не остается, как спасаться бегством. Он так и поступил, перепрыгнув через тележку, полную репы, напугав до смерти поросят и весьма удивив своим поведением благопристойную грустную корову. Но служитель алтаря во что бы то ни стало хотел покарать легкомыслие и порок и погнался за жонглером с площадными ругательствами, точно был не духовным лицом, а королевским сержантом.

Соперники сделали так три или четыре широких круга по базару, каждый раз вызывая искреннее недоумение у вышеупомянутой коровы, которая никогда не испытывала пламенных страстей. А между тем известно, что ревность – ужасное чувство и от него не спасает даже сутана. Дело кончилось бы, вероятно, весьма плачевно для Бертрана, принимая во внимание его слабую грудь и железные кулаки кюре, но, по счастью, наш жонглер обладал очень длинными ногами. Кроме того, местные жители хорошо знали проделки своего духовного пастыря и быстро сообразили, в чем дело, тем более что сама Сюзетт не замедлила явиться на базар и, подбоченясь, с любопытством смотрела на состязание в беге. Недолго думая крестьяне забросали преследователя репой и всем, что подвернулось под руку. В довершение греха во время этого чудовищного переполоха какой-то парень ловко сделал кюре подножку, и дородный блюститель морали во всю длину распластался на пыльной площади. Негодующие крики сменились дружным хохотом, и, воспользовавшись этим

заступничеством, жонглер удрал в харчевню, где он надеялся обрести защиту у трактирщика, во всяком случае мог рассчитывать на его покровительство, в полном убеждении, что песенки и прочие трюки далеко не бесполезны для привлечения народа в подобные заведения. Так оно и оказалось. Священник не осмелился явиться в таверну, и Бертран мог спокойно передохнуть.

А день был воскресный, и после обеда в харчевню набилось немало народу. Кто пришел залить горе на последний грош, кто тайком от жены пропивал базарную выручку, а те, что побогаче, собрались здесь, чтобы за свои собственные деньги получить удовольствие и послушать, о чем говорят люди. На этот раз все с одинаковым увлечением рассказывали друг другу об утреннем происшествии на базаре.

Успокоившись немного после приключения и получив заверения от Сюзетт, что она ни за что на свете не променяет такого красивого юношу, к тому же умеющего играть на виеле, на борова в сутане, Бертран поднялся из-за стола и обратился к собравшимся с привычным своим представлением:

– Я жонглер Бертран, умею играть на виеле...

Разговоры немедленно прекратились, наступила тишина.

Видя, что присутствующие готовы его слушать, Бертран начал так:

– Почтенные жители! С вашего позволения, я расскажу для начала историю жонглера, попавшего в рай...

Некоторые из поселян, сидевших за грубо сколоченными столами или у перевернутых вверх дном бочек, одобрительно переглядывались и подталкивали друг друга локтями, предвкушая предстоящее удовольствие, даже те, кто уже имел случай послушать эту трогательную историю.

– Жил-был некогда в городе, который называется Санс, – начал звонким голосом Бертран, – жонглер, вроде как я, самый хороший человек на земле, не любивший спорить из-за денег. Бедняга ходил из селения в селение, с ярмарки на ярмарку, из одного замка в другой, пел, плясал, играл на виеле согнутым в виде лука смычком, хорошо умел подбрасывать и ловить яблоки, бойко сочинял стихи, искусно бил в бубен, с большой ловкостью показывал карточные фокусы, мог рассказывать всякие веселые небылицы и не думал о завтрашнем дне, а жил как птицы небесные и все заработанные тяжелым жонглерским трудом денарии тут же пропивал с друзьями или проигрывал в кости. Поэтому у него ни гроша не было за душой. Случалось даже, что он не имел чем заплатить за выпитое вино, и тогда ему приходилось закладывать свою скрипку. А бывало и так, что наш приятель ходил под дождем в одной рваной рубахе и босой. Но несмотря на все невзгоды, жонглер – не знаю, как звали этого человека, – всегда чувствовал себя жизнерадостным и свободным, как ветер. Он пел, плясал и молил Бога лишь о том, чтобы каждый день превратился в воскресенье, так как известно, что в праздник люди идут в харчевню и готовы заплатить жонглеру за полученное удовольствие. Однако все кончается на этом свете, и однажды жонглер умер где-то под забором, и когда он подох, то за все свои прегрешения и беспутную жизнь очутился в аду. Как вам уже говорил, вероятно, кюре, в геенне пылает вечный огонь, и если кто мне не верит, то может спросить об этом у него...

– Нет, приятель! Ты лучше сам спроси! – послышался веселый голос.

– Он тебе объяснит, – поддержал насмешника другой, очевидно вспомнив об утреннем состязании.

Понимая, что надо как-то отбиться от шуток, Бертран с деланно постным лицом сказал:

– Сам-то кюре предпочитает рай. Мы с ним встречались там!

Раздался хохот, явно выразивший одобрение находчивости жонглера, и все взоры обратились к Сюзетт, которая очень мило покраснела и закрыла лицо передником. А жонглер продолжал:

– Как это ни странно, хотя и подтверждается многими достоверными свидетельствами,

но на адском огне поджариваются главным образом не жонглеры и даже не разбойники, а папы и епископы, короли и графы. В одной компании со всякими ворами и клятвопреступниками. Кстати, в тот день дьяволу требовалось отлучиться из преисподней: он только что получил известие, что в Риме очоурился еще один папа, а в Германии дышит на ладан сам император, и оставалось лишь приволочить эти ценные души в пекло. Также и какой-то король собирался отдать душу...

Все ожидали, что жонглер скажет «Богу», но он после некоторой паузы закончил фразу: – ...сатане.

Опять в трактире загремел здоровый деревенский смех.

– Итак, Вельзевул очень спешил. А тут ему случайно попался на глаза жонглер, только что явившийся на место своего нового назначения. Сатана крикнул: «Эй ты, болван! Будешь вместо меня поддерживать огонь под котлами. До тех пор, пока я не вернусь. Да не жалея смолы и прочих горючих средств». При этих словах враг рода человеческого подскочил, ловко стал перебирать в воздухе копытцами, издал неприличный звук и с шипением исчез...

Вновь взрыв хохота. Эти простодушные люди, с трепетом проходившие мимо кладбища, где в полночь мертвецы вылезают из могил, и пугавшиеся крика филина в ночной роще, теперь забыли все страхи, сидя в харчевне за кувшином пива.

– Но как только дьявол отлучился по своим делам, апостол Петр был тут как тут. Он отлично знал повадки жонглера и прибыл в преисподню, чтобы сыграть с ним в зернь. «На что же мне играть, святой отец!» – с грустью ответил грешник, выворачивая пустые карманы. Ясно, что бедняга перед смертью пропил все деньги и явился в ад без единого гроша. Но хитрый апостол сказал: «Ничего! Ты будешь играть на души грешников, которые тебе доверил сатана». – «А ты?» – «Я буду ставить червонцы». – «Вот здорово!» – обрадовался жонглер. «Если тебе повезет, – заметил апостол, – ты будешь богачом, а если я выиграю, то заберу в рай души моих пап и епископов». – «Ладно!» – согласился жонглер. У бродяги уже руки чесались поскорее попробовать свое счастье. «Но вот беда, – завопил он, едва не плача от горя, – у меня ведь костей нет!» У него их черти отобрали, так как сами с большим удовольствием резались в эту игру. «Не беспокойся, – ответил наместник Христа, – кости у меня найдутся. В раю зеленая скука, мухи дохнут, и мы иногда поигрываем по маленькой с апостолами Павлом и Фомой». Одним словом, у Петра за пазухой оказалось все необходимое для забавы – кожаный стаканчик и три костяшки.

– Хороши апостолы, – покрутил головой какой-то доверчивый поселянин. Перед ним стоял кувшин с пивом, и, по-видимому, эти минуты в харчевне были для бедняги самыми счастливыми за продолжительное время.

– Они все такие, – поддержал его другой крестьянин, почесывая поясницу и несколько ниже.

Бертран продолжал:

– Сели играть. Первым выбросил костяшки жонглер. Двойка, тройка, шестерка. У апостола двойка и две тройки. Выиграл наш беспутный приятель. Бросили еще раз. У грешника – тройка, четверка и пятерка, а у Петра – три тройки...

Слушатели с затаенным дыханием следили за воображаемой игрой, всей душой желая выигрыша грешнику. Некоторые даже шепотом повторяли числа костяшек.

– Апостолу нужно было втянуть жонглера в игру, а кости он принес фальшивые. Вскоре у него посыпались шестерки!

– И там обманывают бедных людей! – вздохнул сидевший за пивным кувшином.

– Да! При умении кубики всегда ложились шестерками и пятерками. Бросит жонглер – в лучшем случае у него тройки и четверки, кинет апостол – шестерки! Таким образом Петр и действовал без зазрения совести. «Да ведь ты мошенничаешь, святой отец!» – не выдержал жонглер. «Как ты смеешь говорить такое наместнику Христа!» – вознегодовал ключарь рая. «А почему у тебя все время шестерки?» – «Потому, что я бросаю с молитвой, а ты

сквернословие и поминаешь дьявола». Ну, долго ли, коротко ли они играли, но в конце концов апостол выиграл все нужные ему души.

– Даже трудно поверить, что так может вести себя апостол Христов! – огорчился поселянин, сидевший за кувшином с пивом.

Жонглер повысил голос:

– Но возвращается сатана. И что же он видит? Петр сидит у него в аду, как дома, и выигрывает последнего епископа...

– Какого? – спросил один из слушателей.

– Этого... как его... – замялся рассказчик.

– Наверно, епископа Реймского Ги, что недавно помер.

– Или Турского... Тоже скончался на днях...

– Кажется, того самого, – подхватил Бертран. – Одним словом, в котле почти уже никого не осталось. Конечно, сатана рассердился и выгнал апостола вместе с жонглером. Так наш прощельга и очутился в раю вместе с праведниками и ангелочками...

Все остались очень довольны рассказом. Кто нес жонглеру кружку пива, кто совал в руку медную монету. Ведь люди понимали, что это тоже труд – ходить без усталости по дорогам в дождь и холод и забавлять бедных сервов веселыми историями.

– А есть еще рассказ про аббата, – захлебываясь от смеха, стал припоминать один из поселян, у которого нижняя челюсть вытянулась в виде башмака, – как он своего любимого осла на христианском кладбище похоронил...

– Знаю, знаю, – замахал на него обеими руками сосед, такой же лохматый, как и человек с длинным подбородком. – Аббату здорово попало за такую вольность...

– А он тогда уверил епископа, что осел ему десять червонцев в завещании отписал...

Крестьяне наперебой рассказывали друг другу:

– Тогда другое дело. Какой достойный осел! Какой умница! Его надо в святцы записать!

– Хорони его сколько хочешь!

Оба смеялись до слез, забыв все свои невзгоды, а Бертран ругал их в душе, что болтуны из-под носа утащили у него такой выигранный рассказ.

– Ну, если вам известна история с похоронами осла на кладбище, то в таком случае спою песенку про бедного мужика, которого не хотели пускать в рай...

Бертран старательно настроил виелу, склоняя к струнам красивое и вдохновенное лицо, взял смычок и наиграл ригурнель. Потом высоким голосом пропел два первых стиха:

Был один крестьянин хвор,  
Утром в пятницу помер...

Еще несколько скрипучих звуков виелы – и снова стихи:

Но архангел в этот час  
Не продрал опухших глаз.  
Дрыхал он без задних ног,  
Душу в рай нести не мог...

В это самое мгновение кривая дверь, певшая на крюках не хуже виелы, отворилась, и на пороге показался богато одетый человек, и не кто иной, как сам местный сеньор, граф Рауль де Валуа. На нем было приличествующее его званию длинное одеяние темно-зеленого цвета и меховая шапка; на желтых сапогах виднелись шпоры, а в руках он держал плетень. На груди у графа поблескивала золотая цепочка, на которой висела греческая монета. Из-за его спины выглядывала широкая рожа оруженосца.

Бертран не видел вошедшего и повторил:  
Дрыхал он без задних ног,  
Душу в рай нести не мог...

Но появление в харчевне сеньора вызвало явное замешательство. Крестьяне, сидевшие поближе к двери, неуклюже подняли зады со скамеек и стащили с голов шляпы и колпаки, похожие на вороньи гнезда. Пение умолкло, музыка прекратилась. Посреди харчевни, с кувшином вина в одной руке и кружкой в другой, кабатчик высоко поднял ногу, как бы намереваясь сделать еще один шаг, но не двигался с места. Он повернул голову к сеньору и раскрыл рот не то от изумления, не то от страха.

Граф некоторое время молча озирает сборище поселян, подбоченясь и презрительно кривя губы. Потом изрек:

– Так, так! Пьянчужки! Вместо того, чтобы трудиться в поте лица, как предписано в Священном писании, они хлещут пиво, а потом будут уверять, что им нечем уплатить оброк.

– Милостивый сеньор, – начал было трактирщик, – ведь сегодня праздник и...

– Молчи, болван, – гневно оборвал его граф. – Сам знаю, что наступил воскресный день, так как присутствовал на мессе. Но трудиться можно и в воскресенье. А за твои дерзкие слова пришлешь мне в замок десять модиев вина...

Кабатчик едва не выронил из рук кувшин на земляной пол.

– А это что за человек? – спросил сеньор, показывая плеткой на жонглера. – Откуда он появился в моих владениях?

Бертран бесстрашно приблизился и, сняв учтиво шляпу, сказал:

– Я жонглер Бертран...

Граф прервал его представление коротким мановением руки.

– Жонглер? Отлично. Что эти олухи понимают в твоих песнях? Лучше приходи в мой замок, и у тебя будет каждый день сколько угодно мяса и вина.

– А денарии? – спросил Бертран, поблескивая зубами.

– Будут и денарии, – ответил граф.

Так случилось, что Бертран поселился в замке Мондидье. Но он не знал тогда, чем все это кончится.

Вот каким образом Бертран очутился в замке Мондидье и в тот вечер приехал с графом Раулем в санлисский дворец, чтобы развлекать скучающую королеву. Пока же сеньор сидел за королевским столом, он угощался в помещении для оруженосцев, уже пронюхавших о его шашнях с полногрудой Алиенор. Никто их вместе не видел, но эти шалопаи отпускали такие шуточки, от которых у жонглера мурашки бегали по спине. Он знал, что от него только мокрое место останется, если слухи о чем-нибудь дойдут до ушей графа.

Между тем наверху шла приятная беседа. Поговорили и о сыре, поданном на деревянной доске. Этот продукт доставляли к королевскому столу из Бри, где произрастают ароматные травы, придающие особый привкус молоку, и живут опытные сыровары. Рауль тоже нашел, что такую пищу приятно запивать красным вином.

После ужина, когда все насытились, сеньор просил у королевы разрешения позвать менестреля, как для пущей важности называли Бертрана в Мондидье.

Анна увидела довольно красивого юношу, но со столь худыми ногами, что его тувии выпятились на коленях, как пузыри. В руках он держал виелу и смычок. По всему было видно, что молодой человек готов развлекать благородных слушателей, но старался сохранить независимость по отношению к господину, чей хлеб он ел.

– Бертран, – обратился к нему граф, подобревший после обильной еды, – выбери свою лучшую песню и спой нашей королеве!

Рауль выпил изрядное количество вина, глаза его потемнели, и, может быть, этот необузданный человек уже испытывал вожделение к странной северной женщине, у которой

такие маленькие руки и ноги. Глядя на Анну, он тут же вспомнил кулаки своей супруги, самолично раздававшей зуботычины конюхам и звонкие оплеухи служанкам.

Анна поблагодарила своего гостя и приготовилась слушать. Король сидел с мрачным видом, недовольный в глубине души, что посещение Рауля помешало ему заняться некоторыми хозяйственными делами. Нужно было, кроме того, проверить оружие в санлиссском замке и камни для пращей, заготовленные на всякий случай. От вина и съеденной не в меру говядины Генрих испытывал тяжесть в желудке, рыгал иногда и все более и более погружался в сонливое состояние. Рауль всегда раздражал его своей красотой, заносчивостью, происхождением от Карла Великого. Пока этот красавчик ссорился с епископами, он сам метался из одного замка в другой, собирал по денарию деньги, чтобы заплатить нормандским наемникам, трудился от зари до зари. А между тем вассалы с каждым днем все неохотнее слушались короля Франции...

Бертран с робкой улыбкой смотрел на королеву. Менестрель никогда не видел Анну, а только слышал о ее изумительной красоте. Ему было не по себе. В обществе такой благородной дамы он никогда не посмел бы петь про грубых мужланов. На этот случай у него были припасены стихи о храбрых рыцарях, сражавшихся с драконами, чтобы освободить красавицу, о старом императоре Карле, о его путешествии в Палестину за святынями. Но прежде чем он успел настроить виелу, Анна сказала:

– Юноша, спой нам какую-нибудь песню про любовь!

Обратившись к своему сеньору и как бы спрашивая его совета, Бертран предложил:

– Не спеть ли мне песню о Тристане и Изольде?

– Это ты хорошо придумал, – одобрил граф.

Бертрану стало грустно, что между ним, безвестным жонглером, и этой королевой лежит целая пропасть. Несмотря на все свое легкомыслие, на неспособность подумать о завтрашнем дне, в душе жонглер таил какую-то тревогу, отличавшую его от других людей. Бертрану страстно захотелось сделать нечто такое, что вызвало бы улыбку на устах королевы. Печальная и молчаливая, она не походила ни на одну женщину на свете, и какой земной казалась теперь ему графиня, с ее жарким телом, сильными руками и громким смехом.

– Позволь, милостивая королева, моему менестрелю спеть песню об Изольде, – сказал Рауль.

Покраснев, Бертран прибавил:

– Я ничего не знаю на земле прекраснее этой песни!

Анна дважды медленно кивнула головой. На королеве было ее любимое платье из голубой материи, с золотым поясом, небрежно охватывавшим бедра.

Жонглер поудобнее устроился на табурете. Слуги убирали остатки ужина – недоеденные куски хлеба, оловянные тарелки с колючими рыбьими костями – и звенели посудой. На столе остались серебряные чаши на высоких ножках – наследие какого-то покинувшего сей мир епископа.

Бертран старательно провел смычком по струнам. Раздались негромкие, но приятные звуки, оттенявшие красоту молодого голоса. Менестрель пропел начало повести о двух любовниках:

Твое дыхание – весенний ветер,  
Слезы – соль моря,  
Мысли твои – облака,  
Что плывут печально по небу,  
А глаза – цветы на лужайке...

У Бертрана был действительно чудесный голос, столько раз побеждавший женскую неприступность. Анна с удовольствием слушала, склонившись головою на плечо дремавшего

супруга, как бы прося у него защиты в опасные минуты жизни, когда певец поет о любви и рядом сидит этот ужасный человек с синими глазами, не боящийся ни Бога, ни короля. Генрих с видимым удовольствием подставлял плечо, чтобы королева могла найти опору. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может помышлять о ее ласках, но он чувствовал сегодня какое-то смятение в сердце Анны, непонятное для него: ведь все было благополучно, житницы полны зерна, и несчастные сражения уже отошли как будто в область прошлого. Однако вскоре король задремал, согретый едой и вином.

Музыка ритурнели напоминала журчанье ручейка. Бертрану хотелось сегодня превзойти самого себя. Ему поднесли с королевского стола полную чашу, но он так любил эту песню, что она опьяняла его без вина. Каждый раз он пел ее по-иному, заменяя одни образы другими, рождавшимися где-то в самой глубине сердца, куда не хотела или не могла заглянуть графиня Алиенор.

В дальнем углу сада  
росло одинокое дерево,  
и под ним струился ручей.  
Он пробегал под замком,  
под тем помещением,  
где женщины жили,  
где женщины пряли  
прекрасную пряжу...

Самые простые слова: дерево, ручей, пряжа, дуб... Но кто-то дал певцу такую власть, что из этих простых слов слагалась возвышенная песня, волнующая душу. Под звуки виелы они складывались в историю о любви двух сердец. Воображение, подогретое вином и печалью, рожденной внутренней тревогой, помогало Анне представить себе и одинокое дерево в саду, и прихотливо вырезанные дубовые листья, и волны пряжи, и серебряный ручей, и шевелившиеся от движения струй зеленые водоросли, и суетливого водяного жучка. Анна припомнила вдруг запах речной воды, нагретой полуденным солнцем, когда над склоненными ивами трепещут зеленые стрекозы.

Смутно чувствуя, что он создает особый мир, в который могут проникнуть только люди, способные на нежные чувства, Бертран рассказывал в песне историю двух сердец. Но даже граф Рауль подпер кулаком щеку и в какой-то редко слетавшей к нему грусти, может быть впервые в жизни, подумал, что на свете существуют более важные вещи, чем ночные набеги, охота или мытные сборы на каменных мостах.

В этот быстрый ручей  
Тристан бросал кусочки коры.  
Теченье несло их в жилище Изольды.  
Так условленный знак  
извещал королеву,  
что возлюбленный ждет  
ее под развесистым дубом...

Анна смотрела куда-то вдаль. Над песенным замком Тинтагель поднималась огромная зловещая луна. При лунном освещении замковые башни казались еще более молчаливыми. Король Марк спал в своей опочивальне. В саду стояла тишина. В этот час, прижимая руки к сердцу, едва живая от волнения, Изольда спускалась по лестнице и пребывала под ночными деревьями, пока звуки медного рога не возвещали о рождении розовой зари...

Менестрель пел:  
Но однажды злой карлик,  
что знал семь свободных искусств  
и по волшебной книге  
магию изучавший,  
к дубу привел короля,  
когда влюбленный Тристан  
уже бросил кусочки коры  
в стремительный ручеек.  
Теперь никакая рука  
не в силах была  
остановить течение событий,  
чтобы Изольда могла  
не прийти на свиданье...

Волнение Анны достигло предела. Граф Рауль не спускал с нее глаз, а Генрих, которому помешал дремать зазвеневший голос Бертрана, сидел с недовольным видом, – скучный человек с козлиной бородой. Нижняя губа у него жалко отвисла. Но певец позабыл о нем и даже о графе; ему казалось, что Тристан – это он сам, а королева – Изольда, и пропел взволнованно:

Боже, храни на земле  
счастливых любовников!

Так всегда Анна зарождала в мужских сердцах любовь, как будто явилась в этот грубый мир с другой планеты.

## VI

По прошествии нескольких месяцев беременность королевы сделалась столь заметной, что Генрих оставил жену для государственных дел. Король готов был выполнить любое желание супруги и одарить ее новыми угодьями, скрепив хартию подписями графов и епископов; он весь сиял, глядя на округлявшееся чрево Анны, но теперь мог на некоторое время позабыть о супружеских обязанностях и отдать все свои силы возведению замков, чем стал пренебрегать в последние годы, а между тем вновь начинались военные тревоги.

В отсутствие короля Анна находилась в парижском дворце под наблюдением бродивших за нею по пятам приближенных женщин. Графиня Берта не спускала с королевы глаз. Анне не позволяли одной сходить по крутым каменным лестницам, – таково было повеление короля, опасавшегося, что неловкий шаг может повлечь за собой падение будущей матери и тем причинить вред плоду. Но она сама со страхом готовилась к непостижимой тайне рождения ребенка, и каждое ее движение было исполнено осторожности.

Теперь королева никогда не оставалась в одиночестве и вечно выслушивала благоразумные наставления и советы не утомлять себя чтением, каковое вообще более приличествует епископам и медикусам, чем королевам. Все эти приближенные женщины смотрели на книги Анны с нескрываемым подозрением. Один Бог знал, что в них написано непонятными славянскими буквами! Это весьма попахивало ересью.

По утрам Анна часто беседовала с Милонегой о Киеве, вернее, вслух представляла себе, что может происходить там, и Милонегга делила эти мысли с любовью. Казалось, что у наперницы не было своей жизни, все свои помышления она посвящала Ярославне.

Анна не стеснялась своего живота, однако не встречалась теперь даже с епископом

Готье, рассказывавшим такие занимательные истории. Епископ, назначенный канцлером, составлял в круглой башне латинские хартии, изысканный слог которых обращал на себя внимание знатоков, или утешался за чтением Сенеки. Несмотря на огромное брюхо, этот человек напоминал своими речами сладкоголосого соловья среди ревущих ослов.

Однажды Милонегга доложила госпоже, что ее желает видеть какой-то чужеземный купец, прибывший в Париж с Руси, по его словам – с важными известиями. Анна разволновалась и потребовала, чтобы путешественника тотчас же позвали во дворец. К ее удивлению, купцом оказался тот самый переводчик Людовикус, который сопровождал посольство, получил сполна все, что ему причиталось по соглашению, и потом исчез бесследно, заявив, что намерен теперь заняться торговлей мехами. И вот он вновь появился во дворце, такой же чернобородый, лысый, с неизменной лисьей шапкой в руках и сияющий от удовольствия, что увидел королеву. Но Анна решила, судя по невзрачному виду этого головного убора, что дела у Людовикуса далеко не блестящие.

Анна сидела в кресле, не скрывая материнскую полноту в широких складках зеленого шелкового платья. Тут же восседали с достоинством две приближенные женщины – графиня Берта и еще одна благородного происхождения старуха, в свое время родившая на свет шестнадцать детей и потому очень опытная в этом деле. Как обычно, Милонегга, не менее взволнованная, чем Анна, стояла за креслом королевы. У нее тоже сжималось сердце при мысли о вестях с Руси. Нет ничего страшнее для человека, чем разлука с родной землей.

Людовикус, обернувшись к слуге, который держал в руках небольших размеров серебряный ларец, произнес повелительным тоном:

– Поддай мне это!

Слуга протянул требуемую вещь.

Держа ящичек перед собой как некую драгоценность (впрочем, ларец был действительно тонкой работы, с крышечкой как на церковных ковчежцах и с украшениями в виде фантастических зверей), торговец вкрадчивым голосом произнес:

– В нем хранится письмо к тебе от князя Святослава. Берег послание как зеницу ока.

Щеки у Анны запылали. Она на мгновение увидела перед собою надменного брата, синий плащ на красной подкладке и вспомнила громкий голос, напоминавший некоторым рычание льва...

– Давно ли ты оттуда? – спросила Анна, считавшая, что недостойно для королевы с поспешностью читать письма.

– Всего четыре месяца, как я покинул Киев.

– Все ли благополучно в княжеском доме? Все ли здоровы?

– Все здоровы, милостивая королева. Обо всем написано в письме.

Людовикус с поклоном протянул ларец королеве, но, как в императорском дворце, его предупредили руки приближенных женщин. Общим хотелось услужить королеве.

– Откройте крышку! – приказала Анна.

В ларце оказалось послание Святослава, написанное его собственной рукой. Анна хорошо разбирала буквы, четкие и ясные, как характер брата. Святослав извещал сестру, что на Руси стоит тишина. В заключение он писал, что посылает ей в подарок меха черно-бурых лис, бобров и горностаев, и желал здоровья и долголетия.

– Где же меха? – спросила Анна, с удивлением заметив, что руки у слуги Людовикуса пусты.

Людовикус упал на колени. Вслед за ним с грохотом стал на четвереньки перепуганный насмерть слуга, который, видимо, кое-что знал о судьбе этих подарков.

– Добрая королева! В дороге с нами случилось несчастье. Уже недалеко от конца этого путешествия, когда ночь застигла наш караван между Вормсом и Майнцем, мы подверглись нападению разбойного барона. Его люди разграбили наши повозки, забрали и твои меха, а нас тяжело избивали и одного из моих спутников лишили глаза. Только с огромным трудом,

даже с опасностью для жизни, мне удалось сохранить этот ларец с посланием, которое для тебя дороже всяких сокровищ.

Анна задумалась над письмом, уже не обращая внимания на оправдания Людовикуса и не огорчаясь по поводу пропажи мехов, так как больше заботилась о небесном, чем о земном. Письма из Киева приходили редко и каждый раз переворачивали ей душу. Когда она говорила об этом, Генрих спрашивал ее с удивлением:

– Разве ты не королева Франции?

Но невозможно было заглушить тоску по Русской земле.

Людовикус и его похожий на горбуна слуга продолжали стоять на коленях. Анна сказала:

– Встань!

Людовикус поднялся, помогая себе руками, чтобы вызвать жалость у госпожи. Слуга так и остался стоять в нелепой позе, и никто уже не замечал его.

– Еще какие вести привез ты? – тихо спросила Анна.

– Добрые вести! Все благополучно в твоей стране. Злаки произрастают обильно, реки полны рыб, леса кишат дичью всякого рода. Меха в хорошей цене. Народ трудится на нивах и прославляет светлых князей.

Анна стала расспрашивать о своих. Матери уже не было на земле. Но как жили болезненный отец, братья? Людовикус давал на все вопросы исчерпывающие ответы, как будто бы от него не было тайн в киевском дворце.

– Что еще тебе сказать? Кажется, все важное сообщил. Вот разве о молодом ярле. Был в Киеве начальник охранной дружины, забыл его имя... Но на свете столько варягов...

Анна догадалась, что купец говорит о том воине, которого она встретила однажды. Сердце у королевы болезненно защемило, хотя она уже не думала об этом человеке, промелькнувшем в жизни, как стрела.

– Князь Святослав рассказал мне о нем...

– Где же теперь молодой ярл? – с печалью спросила Анна. – Помню, этот воин ушел с дружиной на печенегов. Вернулся ли он тогда?

– Вернулся.

Ей стало легче дышать.

– Молодой ярл победил печенегов и возвратился с добычей в Киев, но не остался там, а уплыл в Константинополь и поступил на царскую службу. Он где-то погиб недавно в греческих пределах. Кажется, это случилось в битве под Антиохией.

– В битве под Антиохией, – горестно повторила Анна, и этот далекий, чужой город вдруг приобрел для нее печальную славу.

Королева сжимала пальцами подлокотники. Ярл Филипп больше не живет на земле! Тот, что снился ей порой в ночных видениях... И перед ней вновь возникли образы того полного волнений дня, когда она принимала участие в охоте на вепрей в вышгородских дубравах и во время дождя очутилась в закопченной хижине дровосека. Годы текли как вода, все растаяло как дым... Но васильковые глаза остались в памяти навеки. Сколько раз по приезде во Францию, когда Генрих уезжал куда-нибудь под город Санс или в приморские туманы Нормандии, она вспоминала не о муже, а об этих глазах и плакала о погибшем счастье.

Теперь Анна оставила суетные мысли, готовилась к своему материнству. И все-таки вдруг стало темно кругом. Она со вздохом поникла и упала бы с кресла, если бы ее не поддержали заботливые руки Милонегги. Все были в смятении. Однако госпожа справилась со своим недомоганием, чтобы расспросить Людовикуса о подробностях. Их беседу понимала только наперсница, хотя графиня Берта уже вытягивала шею, сверля острым взором загадочное лицо королевы. Толстая старуха сидела, глупо раскрыв мокрый рот.

Анна спросила:

– Известно ли, где похоронен воин? Осталась ли после него вдова?

Людовикус не мог ответить на эти вопросы. Анна спросила его в последний раз:

– Откуда же об этом известно брату Святославу?

– И этого я не знаю. Может быть, какой-нибудь человек пришел из греческой земли в Киев и сообщил о том, что произошло. Все любили молодого ярла.

– Да, это был поистине благородный воин, – сказала Анна, поникнув головой.

Опасаясь, что предательская слеза выдаст ее тайну, королева отпустила купца и велела наградить его.

Прошел еще один месяц. Когда же случилось то, к чему предназначила женщину природа, и Анна, к великой радости короля, родила здорового и невероятно крикливого младенца, епископы Роже и Готье, в течение многих лет остававшиеся советниками Генриха, пришли к нему и спросили:

– Как ты пожелаешь, чтобы назвали твоего сына?

Отец чувствовал себя на седьмом небе. Едва сдерживая наполнявшую его сердце радость, он ответил:

– Спросите у королевы!

Сам Генрих в этот час не имел желания думать о чем-либо, и ни одно имя не приходило ему на ум, кроме имени отца. Но Робертом звали и мятежного брата. Кроме того, королю хотелось сделать приятное супруге. Ведь она в муках родила сына, пусть и наречет его, как пожелает. У Генриха никогда не было силы противостоять Анне в важных решениях. Так же он уступил ей, когда она захотела присягать на странной славянской книге. Едва епископы ушли в королевскую опочивальню, король сказал окружающим с привычной своей грубоватостью:

– Пусть назовут моего наследника как угодно, лишь бы французская корона держалась у него на голове!

Прелаты явились к Анне. Королева прижимала к себе сына, и младенец сосал грудь. Умиленная наперсница стояла у изголовья постели. После подобающих в таких случаях изъявлений верноподданнических чувств епископ Готье, наставник и духовник Анны, с молниеносной быстротой отпускаявший обычно все ее прегрешения, спросил:

– Король прислал нас узнать, как хочешь ты, чтобы нарекли новорожденного?

Счастливая мать посмотрела куда-то вдаль, видя перед собой нечто скрытое от зрения остальных людей, и тихо сказала:

– Хочу, чтобы его нарекли Филиппом! Пусть будет таким его имя.

– Филиппом? – недоумевал Готье.

Епископы переглянулись.

– Но почему ты пожелаешь дать сыну это странное имя? – упрекал королеву изумленный Роже. – Ни один французский король не назывался так. Разве не более достойно назвать его, например, Робертом, в память благочестивого отца нашего короля? Или в честь славного предка дать ему имя Гуго?

Но Анна оставалась непреклонной. Она ответила:

– Робертом я назову второго сына.

– Однако это весьма удивит короля, – настаивал Роже.

– Я желаю, – твердо повторила королева, – чтобы младенца назвали Филиппом!

Роже был очень удручен. Но его друг вздохнул и с присущей ему мягкостью сказал:

– Не настаивай. И не будем утомлять королеву. Филипп – прекрасное имя! Если память не изменяет мне, именно этот апостол проповедовал Евангелие во Фригии, недалеко от тех областей, где родилась супруга короля. Мне приходилось также слышать, что русские правители ведут свой род от македонского царя Филиппа. Может быть, в честь его и хочет назвать наша госпожа наследника французского престола?

Анна движением головы подтвердила слова епископа.

Прижимая к груди сына, блаженно улыбаясь, она закрыла глаза и больше не произнесла ни слова. Епископы поняли, что они здесь лишние, и на кончиках пальцев покинули опочивальню, что не представляло больших затруднений для худощавого Роже, но не так-то легко удавалось дородному Готье, неуклюже балансировавшему руками и размышлявшему о тайне имени Филипп. В эту минуту он напоминал медведя, что танцует на ярмарке.

Однако в разговоре с Генрихом Роже вновь выразил свое недоумение по поводу непонятного решения Анны и сообщил королю, что Робертом она хочет назвать лишь второго сына.

Королю это чрезвычайно понравилось.

– Второго сына? Не успела родить одного, как собирается рожать второго!

– Так сказала королева.

– Прекрасно! Пусть будет так, как ей угодно.

Сияющий от радости, что наконец-то провидение смилостивилось над Францией, послав ему законного наследника, он повторил свою шутку:

– Пусть моего сына назовут любым именем, лишь бы французская корона прочно держалась на его голове!

Епископ Готье, любезнейший из людей и не последний царедворец, прибавил с улыбкой:

– Можно быть уверенным, что твой наследник прославит Францию!

Генрих милостиво взглянул на льстеца, тотчас решив повидать супругу.

Все помыслы короля были направлены на укрепление его дома, который еще совсем недавно колебала буря гражданской войны. Теперь у него есть сын! Он думал также о приумножении богатства. Ведь деньги дают возможность нанимать большое число норманских рыцарей, ковать оружие, строить неприступные каменные замки. Только хорошо вооруженный и сытно накормленный воин способен с успехом сражаться. Ячмень, а не трава, пища мирных волов, делает рыцарского коня способным нести всадника в грохот сражений.

## VII

Филипп подрастал, играя с побрякушкой, и Анна смотрела на него как на самое себя. Это была своя собственная плоть, и, когда сын хворал или ему было больно и он плакал, Анне казалось, что болит ее живот, ее грудь и плечи покрываются красными пятнами таинственной болезни.

Король по-прежнему часто покидал Париж, иногда оставляя супружеское ложе среди ночи, и потом неожиданно возвращался, порой тоже в ночные часы, и тогда внутренний двор замка наполнялся грубыми мужскими голосами и звоном оружия. Генрих со вздохом ложился в постель, согревался теплом супруги, засыпал и храпел до утра. Пробудившись, он рассказывал королеве о том, что произошло во время очередного набега, и Анна не знала, кто больше враг королю Франции – немецкий ли кесарь или собственные графы. Ей представлялось, что французское государство – здание, построенное на песке: в нем каждый сеньор жил как независимый властелин, и король только делал вид, что власть его простирается от моря до моря.

На Руси отец был одинаково господином в Киеве и в Тмутаракани, в Ладоге и Новгороде... А в Полоцке? Нет, видно, везде на земле происходит то же самое. Непомерная жадность вельмож, стремление к золоту, ненасытное желание собрать в своих житницах и погребах возможно больше пшеницы, ячменя, хмеля, вина, льна, мехов, пряжи, меда... Везде графы хотят одеваться в дорогие одежды и владеть породистыми конями, драгоценным оружием. Она сама носила красивые платья из шелка, ела на серебряных тарелках и пила из золотой чаши...

Впрочем, иногда поднималась на миг завеса над страшным миром, и Анна видела

нищету, человеческие страдания, жалкую покорность бедняка своей судьбе. Но как возможно изменить участь этих людей, если у них даже не хватало ума, чтобы обмануть прево? Однако епископ Роже ворчал:

– Сервы? Они хитрые бестии. Их надо держать в повиновении, иначе они захотят каждый день есть мясо. И мало ли чего захочется им?

Кто прав? Генрих смотрел на свое назначение просто. Помазанник был убежден, что самое важное для Франции, чтобы корона сохранилась на многие века за его родом. Как-то он разговаривал с нею в постели, наедине, без посторонних:

– Король один, а сеньоров много. Бедняку выгоднее, чтоб только я выжимал из него соки. Хе-хе! К тому же мои вассалы жадны, берут дважды у поселян сверх положенного по закону, притесняют их бесчисленными работами и доводят до того, что люди бегут куда глаза глядят. Тем самым графы наносят ущерб не только себе, но Франции. Они не видят дальше своего носа.

Анна рассказала:

– От епископа Готье слышала я басню. Была где-то в Греции курица, несшая золотые яйца. Но жадному хозяину показалось мало получать всякий день несколько унций золота, и он распотрошил птицу, чтобы сразу завладеть сокровищем, что находилось в ее внутренностях.

Король рассмеялся.

– Курица подохла, но никакого богатства в ее потрохах не оказалось, – закончила свой рассказ Анна. – Это, конечно, только басня, а бывает подобное и с людьми.

Она лежала на спине, смотрела на шелк балдахина над головой, на котором знала каждую складочку материи... Везде одно и то же. Но, кажется, в Киеве все-таки еще не установили такого множества налогов. Во Франции же человек шагу не мог ступить, чтобы сеньор тотчас не потребовал с него пошлину.

– Почему так жадны графы? – спросила Анна. – Ведь нельзя унести богатство с собой в могилу.

Король сам взимал налоги где только возможно. Поэтому стал защищать вассалов:

– Всем нужны деньги. Появилось много дорогих товаров. Нужно купить шелк для жены, свечи для пира, перец и прочее. Вот почему у каждого городских ворот, а иногда даже при переходе с одной улицы на другую установлен мытный сбор. Но я опять скажу тебе, что если бы жители платили одному королю, то разорения для народа было бы значительно меньше.

Анна знала, что королевские прево грабят народ не менее беспощадно, чем графы, однако промолчала. Ей приходилось читать в книгах, что страдальцы на земле получают награду на небесах. Это успокаивало ее, хотя она сама не страдала... Значит, будет лишена вечного блаженства? Королева гнала прочь печальные мысли. И все-таки иногда приходило в голову, что не все благополучно вокруг. Так, до слуха ее доходили страшные рассказы о манихеях. Будто бы в Сауссоне жители слышали по ночам, как из неких глубоких подземелий доносились чудовищные вопли:

– Хаос! Хаос!

В крошечной темноте людям было боязно выйти из дому, а утром, несмотря на тщательные поиски, обнаружить ничего не удавалось.

Об этом Анне рассказывал епископ Роже, не один год боровшийся с манихейской ересью.

Королева расспрашивала его:

– Как это возможно, чтобы они не нашли подземелья? Следовало запомнить место, откуда доносились крики, и с наступлением утра осмотреть там каждый дом. Или выйти ночью с факелами и всюду искать.

Но епископ разводил руками:

– Делали, как ты говоришь, но безрезультатно. Ведь сатана покровительствует манихеям. В чем сущность их учения? Объясняя, почему на земле добро перемешалось со злом, они утверждают, что мир создавали одновременно Бог и дьявол. Свет и тьма! И они поклоняются злему началу, сиречь сатане!

В другой раз епископ Готье прочитал ей в хронике Рауля Глабера о других еретиках. В 1017 году, полном всяких несчастий, вдруг объявилась ересь, проникшая во Францию из Италии. Якобы ее распространяла в Орлеане какая-то оболъстительная женщина, увлекшая в свои сети не только темных людей, но и ученых клириков. Среди последних оказались двое монахов, отличавшихся чистотою нравов. Одного звали Лизой, другого – Гериберт, по прозвищу Девственник. Сущность же ереси заключалась в таких нелепых заблуждениях, что хронисту даже трудно передать их в благопристойной записи. Например, эти злодеи смехотворно утверждали, что земля и небеса и все то, что мы видим вокруг себя, в том числе звезды, существуют вечно и, следовательно, никем не сотворены; даже осмеливались отрицать троичность божества и лаяли, таким образом, подобно псам, на непреложные истины. Собор, созванный по этому поводу покойным королем Робертом, постановил, что если еретики не раскаются, то умрут на костре. Однако они в своей дерзости не только не убоялись предупреждения, но даже хвалились, что выйдут из огня невредимыми. Чтобы вернуть их к разуму, король повелел развести недалеко от городских ворот большой огонь. Безумцы же кричали, что сами жаждут взойти на костер, чтобы доказать правоту своего учения. Тогда было предано казни тридцать человек. Как только пламя стало жечь осужденных, эти глупцы завопили, что испытывают адские муки, ибо дьявол покинул их. Некоторые из стоящих у костра пытались спасти несчастных, но помощь уже запоздала, и скоро их тела превратились в пепел...

Присутствовавший при чтении епископ Роже уверял королеву, что после сожжения нечестивых еретиков католическая вера во Франции заблистала еще более ярко.

Но вскоре произошло очень важное событие в христианском мире, а именно – разделение церквей. О том, как это случилось, до Анны доходили самые разнообразные вести. В Париже порицали константинопольского патриарха. Но так как в ее семье особого благоговения к патриархам не испытывали, то королева отнеслась первоначально к происшедшему спокойно. Когда король спросил ее, как она намерена поступить после раскола, Анна, по примеру библейской Руфи, ответила:

– Я буду молиться так, как молится французский народ.

Однако по временам в душе Анны просыпалось беспокойство, и, как всегда в подобных случаях, она обратилась за разъяснениями к епископу Готье.

Епископ, устроив поудобнее тучное тело в кресле и пожевав губами, как имел привычку делать в затруднительных положениях, начал издали – с завещания Христа апостолу Петру пасти христианское стадо. Петом перешел к соперничеству пап и константинопольских патриархов.

Анна помнила рассказы Людовикуса, бывавшего в Риме, о папе Сильвестре. Смущаясь, что заводит разговор на такую тему с духовником, она поделилась с Готье своими сомнениями в благочестии этого папы. К ее великому удивлению, епископ, позванный, чтобы успокоить женскую душу, вдруг подался вперед, как будто желая сообщить нечто любопытное, и с весело заблестевшими глазами сказал:

– Да, папа Сильвестр едва ли сподобится быть причисленным к лику святых. Но зато это муж большой учености. Он никого не отравлял и не отличался жадностью. А вот папа Сергий, – правда, это происходило некоторое время тому назад, – так тот начал папскую деятельность с того, что отправил на тот свет двух своих предшественников. Папа открыто жил с дочерью одного знатного человека. Ее звали Мариетта. А после него папа Иоанн, тот самый, что утвердил на кафедре реймского архиепископа пятилетнего мальчика, состоял в преступной связи с матерью Мариетты. Впрочем, его тоже задушили в тюрьме...

Анна, ожидавшая получить отповедь за свои сомнения даже от такого терпимого человека, как Готье, всплеснула руками. Но епископ, точно конь, закусивший удила, сообщал новые подробности о папах и как бы летел в пропасть, точно ему доставляло необъяснимое удовольствие обнажать страшные раны церкви.

– Еще был один папа, – страшным шепотом говорил он, облизывая, как в жару, толстые губы, – Иоанн Двенадцатый, внук Мариетты. В пятнадцать лет он уже стал сенатором Рима, а через год – папой! Этот юноша был так же порочен, как его бабка, и превратил Латеранский дворец в лупанар. Добродетельные женщины прятались от него как от огня, и тем не менее он имел немало любовниц из знатных жительниц Рима, принуждая их всякими способами к сожигательству. Во дворце он завел, в подражание магометанским эмирам, гарем, устраивал там чудовищные оргии, не стеснялся поднимать чашу во славу сатаны и однажды рукоположил своего любимца в епископский сан не в церкви, а на конюшне. Кардиналам он запросто отрубал носы и уши. Но это уже отошло в область преданий, а вот в тысяча тридцать третьем году, если мне не изменяет память, на папском престоле сидел двенадцатилетний мальчик. Когда он умер, в его домовый капелле нашли магическую книгу с формулами для вызывания духов и обольщения женщин...

Анна не выдержала и воскликнула:

– Епископ! Что с тобою? Опомнись!

Готье в самом деле как бы потерял разум. Он умолк и стал вытирать рукою капли пота, выступившего на его большом лбу. Потом вдруг горестно сказал:

– Кажется, я действительно нездоров...

И с опасением оглянулся, чтобы удостовериться, не стоит ли кто-нибудь за его спиной.

Никого, кроме Анны, в горнице не было. Старик вынул платок, но уронил его на пол. Анна, видя, что епископ тянется за ним, однако никак не может дотянуться до пола, с легкостью встала и подняла упавшую вещь, не считаясь со своим королевским званием.

– Да наградят тебя Небеса, – шепотом сказал Готье.

– Но что с тобой? – опять с тревогой спросила Анна.

– Прошу тебя, не обращай большого внимания на мои слова, – расслабленным голосом произнес Готье. – Все мы – грешники. Зато могу тебя уверить, что в наши дни папы отличаются редкими добродетелями и над Римом веет дух святости.

Анна хранила в ларце письма, полученные от папы Николая. Он называл ее в этих письмах верной дочерью Церкви, передавал свое папское благословение. И подписывался: «Епископ Николай, раб рабов Божьих...»

Епископ Готье стал каяться и сокрушаться:

– В аббатстве Клуни и во многих других монастырях католическая религия процветает, как вертоград. Оттуда уже раздаются голоса, призывающие к покаянию и очищению.

– Но то, что ты рассказал мне о папах... – не могла опомниться Анна.

Готье сидел с поникшей главой, опустив руку с зажатым в ней красным платком.

– Полагаю, – заметила Анна, – что подобные вещи немыслимы в Константинополе, где цари блюдут добрые нравы.

Готье махнул рукой.

– А патриарх Кируларий? Разве не обвиняют этого человека в тирании, в смертоубийстве, даже в некромании...

Видя недоумение, написанное на лице у Анны, он пояснил:

– Он якобы раскапывал могилы...

Анна закрыла уши руками. Первоначально она хотела прогнать епископа, потерявшего в своих речах всякую меру приличия, но, увидев, в каком угнетенном состоянии его дух, пожалела старика.

– Люди в пылу споров клеветают друг на друга, – сказала королева. – В Киеве мне приходилось слышать, как греческие царедворцы рассказывали братьям о патриархе. Много

говорили о нем странного. Будто бы он даже считает себя равным царю. Однако никто не обвинял его в подобных злодеяниях.

Со слов одного из папских легатов Готье тоже знал, что Кируларий совсем не похож на других греческих архиереев, во всем покорных воле императора. Но если бы епископ поближе познакомился с Михаилом Пселлом, позднее описавшим константинопольского гордеца в наделавшей много шума «Хронографии», то, к своему удивлению, открыл бы, что патриарх, вводя в искушение малых сих, всюду носил в кармане монашеского одеяния обугленный томик Порфирия, спасенный в последнюю минуту из какого-то церковного костра, и был способен, как восторженная женщина, часами любоваться редкими жемчужинами и раковинами или услаждать свой слух пением серебряных птиц, щебетавших в его дворце посредством механического дыхания. Епископ признал бы достойным удивления, что в это жестокое и грубое время, когда многие правители, духовенство и даже ученые люди весьма напоминали ослов и волков в овечьей шкуре, жили на земле люди вроде Кирулария, способного понять и оценить нежную красоту жемчужины!

Но Готье было сейчас не до тонких восприятий: он ругал себя за длинный язык, который рано или поздно мог уготовить ему что-нибудь вроде монастырского заточения на хлебе и воде, что далеко не прельщало этого чревоугодника. Увы, таков был его характер: часто из чувства противоречия он говорил лишнее, а потом трепетал. Сейчас епископ тоже опасался, что королева пожалуется на него. Но Анна сокрушенно сказала:

– Ты слишком много размышляешь о вещах несказуемых, и это помрачило твой разум.

– Разум мой близок к безумию, – сказал епископ и заплакал, закрывая трясущимися руками лицо.

Анна смотрела на него с состраданием.

– Успокойся, – сказала она. – Мы все несчастны в этом мире, и еще не известно, обретем ли блаженство в будущем. Но что теперь будет с нами? Почему христиане не могут жить в мире между собой?

Епископ Готье, видевший в житейской темноте то, чего не видели другие, кого он называл ослами, размышлял некоторое время, пытаясь ответить на вопрос королевы.

– Если мне не изменяет память, – вздохнул он, – то, кажется, у Григория Богослова я прочел, что в Константинополе последний раб занимается догматикой, меняла, взвешивая монету, объясняет прохожему, чем ипостась Отца отличается от ипостаси Сына, а булочник на вопрос, хорошо ли выпечен хлеб, в задумчивости отвечает покупателю, что Сын сотворен из ничего. А наши менялы и булочники, наоборот, считают, что не их дело заниматься богословием, и верят, что Бог награждает трудолюбие и бережливость. Как же ты хочешь, чтобы люди понимали друг друга? Впрочем, если бы константинопольские булочники встретились с парижскими хлебопеками и объяснились хотя бы при помощи знаков, они, наверно, поняли бы, что у них нет никаких причин жить во вражде.

– Разве это возможно? – сказала Анна, не очень-то ясно представлявшая себе, к чему все это говорит Готье.

Епископ сказал:

– Не знаю. Может быть, для этого еще не настало время. Но я уверен, что мне удалось бы договориться с патриархом.

Анна посмотрела на своего толстого учителя и подумала, что это похоже на истину, потому что, несмотря на свою дородность, епископ Готье был способен к тонкому пониманию вещей. Многие люди жадно пожирали мясо, старались на пиру больше выпить вина, хватали похотливыми руками женщин. А этот толстяк, хотя тоже большой любитель покушать, как будто бы стоял на очень высокой горе.

В тот же день вечером епископ Роже пристойно рассказывал королю о какой-то тяжбе, имевшей место в Константинополе. Ему самому это судебное дело стало известно со слов пилигримов, побывавших в греческой столице. Король доверчиво слушал.

– Там протекала река, и на ней была построена водяная мельница, – докладывал Роже, – а ты сам изволишь понимать, как целесообразно для сельского хозяйства обилие воды и такое строение. Ведь при наличии его можно молотить зерно на месте. Вот из-за этой-то мельницы и началась распря между одним монастырем и каким-то местным жителем, не помню его имя. Так как судьи долго не могли прийти к какому-нибудь окончательному решению, то постановили при рассмотрении дела, что мукомольня будет принадлежать монастырю, если шелковая завеса, какие бывают в церквях у схизматиков, останется неподвижной; если же она придет в движение, то в таком случае тотчас передается тому человеку, который судился с монастырем. Вынеся такое постановление, судьи отправились в храм и стали ждать. Но сколько они ни ждали, завеса не шевелилась. Таким образом, дело было разрешено Божьим судом. Мельница перешла к монастырю.

Король и королева спокойно выслушали рассказ. Но епископ Готье, который сидел со сплетенными на животе пальцами, вдруг прыснул со смеха.

Это было так неожиданно и странно и даже неприлично, что все посмотрели на него.

– Брат мой, – обратился к нему Роже, – что тебя так рассмешило?

Готье заерзал в кресле. Потом сказал, будучи не в силах скрыть лукавый огонек в маленьких умных глазах:

– Меня нисколько не удивляет, что на такое решение относительно церковной завесы охотно пошел монастырь, но как согласился на это бедный греческий житель, этого я не могу постичь.

Но король сказал, что все случается на свете. Анна тоже не поняла, что хотел сказать Готье. Ей было известно, что во Франции часто происходят Божьи суды в тех случаях, когда человеческий разум бывает бессилён разрешить какую-нибудь тяжбу и мудрые судьи предоставляют решение на волю Небес, зная, что Господь неизменно помогает правым. Чаще всего при таких затруднениях прибегали к испытанию водой, как к самому верному способу. Так именно судили недавно одного человека в Суассоне. Обвиненного в каком-то преступлении допустили к святому причастию, а потом раздели, связали у него правую руку с левой ногой и тотчас бросили в ближайший пруд. Прево считал, что, если подсудимый будет тонуть, значит, он не виновен, а если останется на поверхности воды, то, видимо, даже стихия не хочет принять его, как никуда не годную солому. Анне рассказывали, что человек оказался осужденным несправедливо, потому что стал тонуть, но, к сожалению, несмотря на все старания, его не удалось вытащить из глубокого пруда. Она вспомнила, что и тогда так же лукаво блестели глаза у епископа Готье.

У Анны почему-то стало тревожно на сердце. Она посмотрела на своего учителя и усумнилась на мгновение: не дьявол ли это в епископской сутане? Но неужели сатана способен явиться людям в таком благодушном образе? В ужасе она закрыла лицо руками.

– Что с тобой, королева? – спросил встревоженный Готье.

Анна ничего не ответила.

В те годы одинаково на Руси и во Франции пересекали небо кровавые кометы, и люди выходили по ночам из своих жилищ, чтобы следить за ними, предчувствуя новые несчастья. В этом страшном мире, как беспомощная птичка, трепетала душа Анны.

Годы текли как вода. Еще один караван торговцев доставил в Регенсбург на хорошо укрытых от непогоды повозках русские меха, греческие материи, пряности. Еще одна группа благочестивых паломников побывала в Иерусалиме и после всяких мытарств благополучно возвратилась в Прованс, или в Лотарингию, или в Аквитанию. Еще один папский посланец, для удобства передвижения тоже надевший на себя костюм пилигрима, то есть короткий шерстяной плащ с капюшоном, и взявший в руки посох с привешенной на нем выдолбленной дыней для воды, перевалил через Альпы и, пройдя с непостижимой быстротой Бургундию, достиг ворот Дижона, Мелэна и Парижа. Впрочем, он пользовался иногда в пути услугой какого-нибудь попутного всадника, соглашавшегося везти пилигрима на крупе коня, в

надежде, что такое благодеяние зачтется ему, когда настанет час расплаты за прегрешения. В пути странник прибегал к гостеприимству придорожных монастырей и харчевен и поэтому не отягощал себя ни сумой, ни кошельком с деньгами, который легко могли отнять на большой дороге разбойники. И вот один из таких пилигримов, питаясь, как птица небесная, подаянием, принес во Францию известие о разделении церквей.

Едва ли эта новость особенно потрясла французский народ, до крайности измученный войнами, засухами, неурожаями и другими бедствиями. Тем не менее, лишь только Генриху стало известно о событиях в Константинополе, он прежде всего подумал о том, какую пользу можно извлечь из них в трудной борьбе с папским Римом.

Король не чувствовал большого доверия к христианскому усердию епископа Готье, хотя никто лучше его не знал писание и не мог составить латинскую хартию. Сам король, не в пример своему просвещенному отцу, латынь знал плохо, но хвалебные отзывы об учености епископа Готье доходили до него со всех сторон, впрочем вместе с язвительными намеками, что этот епископ охотно продаст любой из двенадцати членов символа веры за жирного зайца, приготовленного в сметане. А королева относилась к мудрому наставнику с большой нежностью, и ради нее король смотрел сквозь пальцы на нерадение епископа. Как бы то ни было, по получении известия о разделении церквей, Генрих немедленно вызвал из Шартра молодого епископа Агобера, прославленного канонической строгостью. Однако королева настояла, чтобы в этом совещании принимал участие и Готье Савейер.

Епископ Агобер начал с того, что стал засыпать проклятиями константинопольского патриарха, которого он обвинял во всех смертных грехах.

– Я вызвал тебя, – сказал король Агоберу, – чтобы ты просветил наше невежество и рассказал о церковной смуте.

В глубине души Генриху было совершенно безразлично, кто в этой темной истории прав, кто виноват.

– Разве не известно тебе, король, что натворил в Константинополе этот сатана?

Кое-что король уже слышал, но предпочел притвориться ничего не знающим.

– Какой сатана? – спросил он.

– Константинопольский патриарх.

– Что же он натворил?

– Велел закрыть латинские храмы в Константинополе, где бескровная жертва правильно совершалась на опресноках, а не на квасном хлебе, как у греческих еретиков. А кроме того, кто же посмеет теперь не признать, что Дух Святой нисходит и от Сына?

Но вопрос о квасном и пресном хлебе тоже не очень волновал короля. И даже не мучила его проблема о нисхождении Святого Духа. Ему хотелось узнать о положении, которое создалось на Востоке. Пока Агобер рассказывал о церковной распре, о том, как папские легаты спорили с патриархом и взаимно проклинали друг друга, король слушал рассеянно. Но когда епископ напомнил, что греческий император нуждается в помощи папы, так как изнемогает в борьбе с сарацинами, Генрих с огорчением вздохнул. В Константинополе сжигали на костре книгу некоего Никиты Стифата и происходили другие события, однако король чувствовал, что за этим спором кроется какая-то иная причина.

– Что же все-таки произошло в Константинополе? – спросила молчавшая до сих пор королева.

– Единая Церковь распалась, – горестно произнес Агобер.

Вдруг епископ Готье, любивший забираться в дебри теологии, не совсем уместно заявил:

– Но ведь уже на Трульском соборе, если мне не изменяет память, был подтвержден Халкидонский канон о равенстве старого и нового Рима. Меня, собственно говоря, заинтересовало в его постановлениях другое. А именно – запрещение изображать Христа в виде агнца, и я иногда спрашиваю себя, в чем тут дело. В том ли...

Агобер не выдержал и возопил:

– Как можешь ты в такое время, когда святой отец лишился власти над половиной мира, а Церковь – значительных доходов, рассуждать об изображении агнца!

Готье смущенно замолк.

Агобер, зная благоволение королевы к этому болтуну, не решился на более резкие выражения, но в душе обругал канцлера последними словами.

К своему глубокому сожалению, королю Генриху из подобных епископских споров никакого полезного вывода сделать не удалось. А он собирался сегодня воспользоваться удобным случаем и обратиться к Шартрскому епископу за некоторой суммой денег, необходимых для построения военных машин, которые не сегодня завтра могли понадобиться при осаде замка Тийер, поэтому милостиво улыбался шартрскому прелату. Королева сидела с опечаленным лицом. Жизнь походила на море, взволнованное бурями, и Анна со страхом плыла в нем, как утлый челн среди пучин.

## VIII

Несмотря на большое душевное потрясение Анны, когда она поняла, что с разделением церквей будет жить в ином мире, чем тот, в котором оказались ее близкие, королеве представлялось, что все так и останется до скончания века: жизнь с Генрихом, заботы о детях, материнское умиление перед первым детским лепетом, женские радости и слезы...

Вспыхивали и утихали непродолжительные, не очень кровопролитные и мало славы приносившие французскому королю битвы, то под городом Сансом, то где-то на границе с Нормандией. Шумел латинскими спорами очередной Собор. Вырастала еще одна церковь в тихом, но уже богатеющем от торговли и ремесел городе. Анна почти не участвовала теперь в этом потоке событий, а только олицетворяла величие Франции своей царственной красотой, и люди с улыбками взирали на королеву, не причиняющую никому зла. Человеческое бытие представлялось таким неприглядным, что простодушные женщины даже находили утешение в мысли о приятной жизни королевы. А между тем Анна стала явственно замечать на каждом шагу бедность и угнетение. О многом рассказывал ей старый истопник Фелисьен. Однако епископы и монахи утверждали, что все в мире совершается по замыслам Провидения, а если и бывают бедствия, или довольно частые неурожаи, или мор, то это лишь испытания, посылаемые людям, чтобы направить род человеческий на истинный путь. Следовательно, какое малое значение имели все эти беды по сравнению с вечным блаженством! Плохо знакомые с богословием, крестьяне мрачно слушали, переглядываясь друг с другом и почесывая в затылках.

Даже Анна, несмотря на всю свою гордыню, поддавалась уговорам о необходимости смириться пред Небесами. Но она чувствовала, что в мире клокочут подземные страсти, и убедилась в этом, когда ей пришлось присутствовать на Соборе, где предали анафеме ересь Беренгария Турского. Всюду было страдание – в крытых тростником хижинах, в башенных подземельях, на базарах, где в голодные годы продавали пироги с начинкой из человеческого мяса. А между тем французский народ еще не был в состоянии выразить свое стремление к истине и справедливости, и за него это делали еретики, высказывавшие его затаенные мысли.

Собор, созванный королем для осуждения ереси Беренгария, состоялся в Париже, в самой обширной зале королевского дворца. Подражая отцу, большому любителю теологических дискуссий, Генрих председательствовал на нем. Анна тоже сидела рядом с мужем, как некая безмолвная свидетельница церковных страстей.

Епископы восседали на скамьях, на которые, в заботе об их бранных телах, слуги положили мягкие подушки, ибо многие из прелатов отличались крайней худобой или достигали преклонного возраста. Они явились на Собор в митрах, в парче, но, невзирая на торжественную обстановку, ради которой король и королева надели в тот день золотые

короны, некоторые из присутствующих вели себя бурно, поминутно вскакивали в гневе с сидений, воздевали руки, как бы призывая Небеса в свидетели своей правоты, и даже плевались, брызгали слюной и грозили противникам кулаком.

Диспут об евхаристии продолжался уже не один час, а Беренгарий, на котором тяготело обвинение в ужасающей ереси, во дворец не являлся, что вызывало негодование участников Собора. Какой-то неизвестный Анне горбоносый епископ с красноватым лицом и круглыми, немигающими, как у ночной птицы, глазами встал и заявил:

– Что же мы медлим и не осуждаем еретика и всех, кто с ним?

Генрих обвел взглядом собрание, желая знать, какое впечатление произвели на присутствующих слова сердитого старика, и со вздохом заметил, что многие из них негодуют на Беренгария. Но король все-таки медлил с осуждением шартрского ученого, надеясь, что в последнюю минуту он предстанет перед судилищем и сумеет себя защитить. Генриху желательно было обойтись без крайних решений, в надежде, что Беренгария можно будет использовать в борьбе за независимость французской церкви.

Во время перерыва, в ожидании, когда начнутся прения, святые отцы обменивались друг с другом всякими частными соображениями. Анна слышала, как сидевший поблизости от нее, на почетном месте, толстый Готье сдержанно спорил с каким-то аббатом, имени которого она не знала, и, по-видимому, о вещах, не имевших прямого отношения к Собору. С неизменной своей улыбкой, разливавшейся по всему лицу и даже двойному подбородку, Готье с убеждением говорил соседу:

– Существует только реальное множество вещей, то есть отдельные предметы, образующие окружающий нас мир, а все общее и единое не имеет существования за пределами нашего разума.

Как бы для большей убедительности епископ Готье даже постучал, хотя и с большей пристойностью, по своему лбу.

К счастью для Анны, собеседники выражали свои мысли на французском языке, и королева, скущавшая на этом шумном собрании, плохо понимая все то, что в пылу полемики говорилось по-латыни, была довольна, что может следить за беседой двух ученых мужей.

Она спросила шепотом короля:

– Как зовут этого аббата?

– Какого? – переспросил Генрих.

– Того, что беседует с Готье.

– Лафранк.

– Он не французский аббат?

– Все епископы и аббаты, сидящие здесь, должны считать себя сынами Франции, – с недовольным видом ответил король.

– Откуда он приехал?

– Из Нормандии.

– Разве он нормандец?

– Нет, итальянец. Из Павии.

Анна посмотрела еще раз на соседа Готье и только тут заметила, что у него южная синева на бритых щеках и огненные глаза.

Лафранк, видимо чем-то взволнованный, мотал головой, готовясь возразить Готье. Епископ говорил ему:

– Только наш разум обобщает все разрозненные явления в единое целое.

– Не в нашем жалком и ограниченном уме они обобщаются, – услышала Анна ответ аббата, – а в универсалиях, которые существовали раньше вещей. Все же множественное лишь представляется нашему познанию. Как в сновидении.

Готье, в последнее время благоразумно избегавший споров, старался мягкими движениями рук умерить горячность собеседника.

Анна уже не понимала, о чем идет речь, так как спорившие перешли на латинский язык. Потом снова до нее стали долетать отдельные французские фразы, которые она едва воспринимала в шуме епископских голосов.

– Но и в учении об универсалиях не следует впадать в крайность, – предупреждал Лафранк.

– Позволь, позволь, – не сдавался Готье, – ведь ты же не станешь отрицать, что все разумно существующее познается разумом.

– Полагаю, что это справедливо.

– Следовательно, мы можем сделать вывод, что...

– Не согласен, не согласен, – отбивался Лафранк.

В свою очередь Готье отстранял от себя какое-то обвинение и даже выставил перед собой обе ладони.

Но Лафранк прибег к авторитету великих мыслителей.

– Эриугена Скот... – начал он.

– Эриугена Скот этого никогда не говорил, – возразил Готье.

– Говорил!

– Не говорил!

Дальше до слуха Анны донеслись такие слова Лафранка:

– Это познание великий Эриугена представлял себе как последовательное нисхождение от наивысшей реальности, единства и общности – к небытию, множественности и раздельности или как обратное восхождение от небытия, множественности и раздельности к единому и всеобщему бытию...

Анна ничего не поняла из этих слов, сказанных с большим убеждением, и посмотрела на Готье, надеясь прочесть на его лице, какое впечатление произвели слова аббата на ее учителя. Видимо, епископ был не менее Лафранка осведомлен об учении Эриугены Скота, потому что на лице у него ничего не отразилось, кроме скуки.

– На первой ступени этого познания... – продолжал Лафранк.

Анне тоже стало скучно. Но закончить фразу нормандскому аббату не пришлось: в зале произошло какое-то движение, Лафранк оторвался на мгновение от своего собеседника и увидел, что в дверях появился Беренгарий. Это случилось так неожиданно, что разговоры смолкли и все взоры обратились на еретика.

– Вот он, волк, разоряющий нашу овчарню, – сказал Лафранк.

Анна тоже посмотрела на дверь, точно за ее черным зиянием был не знакомый каменный переход, а некий таинственный мир, в котором живут люди, подобные Беренгарию. На пороге стоял довольно высокий и худощавый человек лет сорока пяти, в священническом одеянии, свежесбривший, с тонзурой в венке каштановых волос. Подняв голову, Беренгарий смело озирает залу и всех находившихся в ней и не смутился, даже встретив суровые взоры короля. Анне показалось, что еретик на одно мгновение задержал свой взгляд на ее лице и что глаза его вдруг стали печальными.

За Беренгарием можно было разглядеть еще двух монахов, засунувших руки в широкие рукава коричневых сутан и смиренно потупивших взоры, хотя, по-видимому, то были не единомышленники еретика, а стражи или ангелы-хранители, доставившие в целости и сохранности заблудшего брата на Собор, чтобы он мог покаяться в своих прегрешениях.

В наступившей тишине раздался глуховатый и даже немного гнусавый голос короля, обратившегося к Беренгарию с нахмуренным лицом:

– Почему заставляешь ждать себя? Или воображаешь, что ты наш учитель, а мы твои ученики?

Слова короля были покрыты гулом одобрения. Епископы по-стариковски закивали головами.

Беренгарий опустил глаза и почтительно произнес:

– Только многочисленные недуги помешали мне явиться сюда в указанный час...

Участники Собора пришли в крайнее волнение: заявление Беренгария только подлило масла в огонь, так как никто не поверил, что этот наделенный крепким здоровьем монах болен. Лафранк не мог больше усидеть на месте, другие обменивались между собою замечаниями, писцы уже приготовились за своими пюпитрами, чтобы записывать обвинения, возводимые на ересиарха, и его оправдания...

Анне уже были известны эти обвинения. За несколько дней до созыва Собора король, зная, что епископ Готье и Беренгарий учились в одной школе, – искушенный в латыни монах и пламенный юноша, – потребовал, чтобы толстяк рассказал ему и королеве о турецком еретике.

– Кто он, этот человек, заставивший всех говорить о себе? – недоумевал король. – Благородного он или низкого происхождения?

Готье стал рассказывать:

– Беренгарий происходит из почтенной семьи. Это мне доподлинно известно, хотя я не знал ни его отца, ни мать. Сначала этот способный человек учился в Туре, в той самой на весь мир прославленной школе, которую основал не кто иной, как сам Алькуин. Позднее Беренгарий перебрался в Шартр. Там я и встретился с ним, когда тоже перешел из Реймса в этот город, и мы даже случайно оказались в школе на одной скамье, внимая нашему незабвенному учителю Фульберту. Но должен предупредить, что я никогда не считал Беренгария своим другом. Тем более что по летам я значительно старше его...

– Не опасайся ничего, – успокоил его король, – говори все, что знаешь об этом странном монахе.

Готье покашлял, из вежливости поднеся к устам согнутый указательный палец, и уже смелее продолжал свой рассказ:

– В те годы мы были молоды с Беренгарием и беседовали только о высоких материях, но помню, что в своей жизни он отличался независимостью и крайней гордыней.

Король внимательно слушал. Человек, пишущий богопротивные книги о тайной вечере и споривший с папами, мог ему пригодиться в сложной игре с ненавистным Римом. Анна догадывалась о мыслях короля. Ведь он делился с нею неоднократно своими планами и спрашивал совета.

– В тысяча тридцатом году, если мне не изменяет память, – рассказывал епископ, сцепив на внушительном животе пухлые пальцы, – Беренгарий снова возвратился в Тур и был назначен смотрителем школы при аббатстве святого Мартина. Надо вам сказать, что до него там учил такой превосходный грамматик, как Рюжиналь. Однако по-настоящему школа расцвела только тогда, когда ее возглавил Беренгарий. Он преподавал теологию, и ныне эта школа затмила своим сиянием все другие рассадники науки, даже реймское детище Герберта.

Епископ старался понять, почему король уделяет так много внимания беспокойному Беренгарию, и, когда ему показалось, что постиг причину, решил говорить о турецком монахе в хвалебном тоне. Впрочем, в глубине души Готье находил, что некоторые положения еретика вполне заслуживают того, чтобы задуматься над ними, хотя и остерегался высказать подобную мысль вслух, опасаясь навлечь на себя обвинение в единомыслии со школьным товарищем. И без того в жизни было много беспокойства и забот. Ведь даже пара хорошо зажаренных цыплят стоила больших усилий: для этого требовалось ласково поговорить со старшим королевским поваром, последить, чтобы шустрый поваренок почаще поливал птиц жирным соком, а по правде говоря, положила руку на сердце, есть в жизни вещи и поважнее цыплят.

– Нужно тебе сказать, милостивый король, что Беренгарий человек, полный ума, красноречив, как Цицерон, и способен часами произносить пламенные речи. Кроме того, он первостепенный диалектик, поэтому всегда утверждал, что диалектика есть мать всякого знания. Помню, в одной из своих речей Беренгарий сказал, что риторика украшает, музыка

поет, арифметика считает, астрономия изучает движение небесных светил и только диалектика учит познавать истину во всей ее полноте.

Король мысленно обозвал епископа пустомелей, но терпеливо продолжал слушать его.

– К тому же Беренгарий получил обширное медицинское образование.

– Продолжай, – поощрял епископа король, обдумывавший под его рассказ какие-то свои планы.

– Мне приходилось бывать в его доме, – продолжал Готье, – потому что Беренгарий отличается большим гостеприимством. Стол у него всегда обилен и полон самых разнообразных яств, и нигде, не считая, конечно, королевского дворца, я не ел так хорошо зажаренного поросенка, как у него. Во время ужина у Беренгария велись речи, полные неизъяснимой сладости, но никогда я не слышал, чтобы там произносились еретические мысли.

– Не выгораживай еретика, – произнес король.

– Я, конечно, бывал не на всех его собраниях.

– А кто еще посещал Беренгария?

– О, у него было много друзей и учеников. Считает его старым другом епископ Манский Гильдебер, тоже человек немалой учености, дружит с ним епископ Санлисский Фролан...

Король старался запомнить эти имена.

– Фролан называет Беренгария своим сеньором. Почитает Беренгария епископ Лангрский Гуго и глава метцкого капитула Полин. Но особенно расположен к нему епископ Вандомский Губерт. Он сделал его архидиаконом одной церкви, и тогда Беренгарий отказался от должности хранителя монастырских сокровищ в аббатстве святого Мартина и передал это место младшему брату.

– У него есть брат?

– По имени Гюбальт.

– А это что за человек?

– Ничего особенного собою не представляет. Итак, передав должность хранителя, Беренгарий продолжал учить в турецкой школе.

– А что ты скажешь о епископе Брюноне? – прервал король разглагольствования епископа.

– Анжерский епископ Евсевий Брюнон? – замялся Готье, отлично понимая, что он в данном случае поступит как Иуда, если скажет лишнее об этом очень молчаливом и облаченном в белоснежные ризы прелате, с которым только вчера пил вино и беседовал о многих интересных вещах, в том числе о преследовании, какому несправедливо, по мнению Брюнона, подвергается бедный Беренгарий. Но почему король спросил именно о нем? Значит, считает анжерского пастыря единомышленником еретика?

– Епископ Брюнон? Затрудняюсь высказаться по этому поводу. Может быть, он и разделяет некоторые убеждения Беренгария. Хотя мне доподлинно известно, что это человек безукоризненной чистоты, добрых нравов и правильных христианских убеждений...

– В чем же противоречит турецкий монах учению Церкви? – спросила Анна.

В королевском дворце, где воздух был наполнен грубыми голосами, громким смехом и топотом сапог, Готье Савейер отличался от других царедворцев тонкостью ума, деликатностью улыбки. Пускаясь в опасное плаванье по еретическим волнам, где весьма легко пойти ко дну и погибнуть, епископ приятно улыбнулся королеве, прежде чем излагать положения Беренгария, опровергаемые Святой Церковью и какие он сам, хотя и покинувший епископскую кафедру ради легкой жизни в королевском дворце, должен был бы всячески осуждать.

Он горестно развел руками:

– Беренгарий восстает против принятого Церковью учения Пасхалия Радбертуса,

утверждающего, что причастие, то есть хлеб и вино, сохраняя лишь внешний вид хлеба и виноградного сока, субстанционально превращаются в момент преосуществления в плоть и кровь Христа... Напротив, Беренгарий отстаивает учение некоего Ратраленуса. По мнению последнего, преосуществление хлеба и вина не совершается и сущность или субстанция этих вещей не изменяется, а под влиянием общения с Христом претерпевает изменение лишь духовное состояние причащающегося.

Не привыкший к богословским диспутам король потирал рукою лоб, стараясь понять, в чем же различие двух мнений. Анна тоже с трудом следила за словами епископа, но догадывалась, что приходит конец ее детской вере. Ныне она уже попала в мир, где во все вмешивается беспокойный человеческий разум.

– Но на этом еще не кончилась чреватая бурями распря между двумя учеными мужами. Лафранк, аббат нормандского монастыря в Беке, поднялся на защиту догмата преосуществления и выступил против турецкого монаха. Тогда-то Беренгарий и написал свое нашумевшее сочинение, в котором утверждал, что если его считают еретиком, то таковыми надо полагать и Августина или Амвросия, ибо у них он почерпнул эти мысли. Следует отметить, что книга написана довольно убедительно, хотя слог у Беренгария тяжеловат и сух. Но Лафранк отправился в Рим, чтобы поставить папу в известность о том, что происходит в Галлии.

– Папой тогда еще был Лев? – спросил король.

– Совершенно верно, Лев Девятый. Он отлучил Беренгария от церкви. Непослушный монах удалился в Шартр и написал там дерзкое послание святейшему отцу.

Король, видимо, слушал такие подробности не без удовольствия.

– Как тебе известно, это произошло всего несколько месяцев тому назад, – закончил Готье и, вынув из кармана сутаны красный платок, стал вытирать вспотевшее чело.

Рассказ епископа о Беренгарии взволновал Анну. Она не могла бы выразить свои переживания точными словами, как это умел делать Готье, но всем своим существом чувствовала, что не в силах разорвать путы, которыми связали ее душу люди в монашеских одеяниях, угрожающие ей вечными муками за гробом и требующие смирения и покаяния. А вот нашелся человек, восставший против них. Король же подходил к вещам с более житейской точки зрения. Он хотел знать, с какими людьми ему приходится иметь дело, и спросил:

– Чем прославлен Лафранк?

– Лафранк? Он написал трактат в защиту евхаристии, под названием «О плоти и крови». Беренгарий ответил на него своим сочинением, о котором я тебе говорил. Оно называется «О тайной вечере»...

Король подивился в душе умению монахов писать подобные книги.

Теперь Анна с любопытством смотрела на человека, поднявшего в жизни Франции такую бурю, и вспоминала рассказ Готье. По всему было видно, что он не ошибался, когда говорил о гордыне Беренгария. Этот мятежник стоял перед высоким собранием не как грешник, пришедший сюда, чтобы в смирении покаяться пред епископами, а как борец за свои пагубные измышления. Лицо его выражало решимость и непреклонную волю, хотя монах и склонил голову набок, как бы в большой душевной печали. Анна заметила также, что епископ Брюнон, сидевший недалеко от дверей, уже по-братски улыбался своему единомышленнику, поддерживая тем твердость в его душе. Зато Лафранк в негодовании вскочил со своего места и, забывая, что тут находятся более почтенные люди, чем он, по сану и по возрасту, обратившись лицом к королю, а руки простирая в ту сторону, где стоял разоритель церкви, вскричал:

– Доколе же мы будем терпеть, чтобы этот волк в овечьей шкуре...

Его слова потонули в шуме негодующих голосов. Только на лице короля ничего не отразилось. Он выжидал, какой оборот примут события.

Но аббат уже взывал ко всему Собору:

– Пусть этот безумец изложит свои заблуждения, и мы разобьем его жалкие доводы!

Начались многословные прения. Анна не внимала спорящим, тем более что речи произносились по-латыни. Беренгарий страстно отстаивал свои убеждения, но никто не произнес в его защиту ни одного слова; молчали даже подозреваемые в принадлежности к ереси Санлисский епископ Фролан, называвший турецкого монаха своим сеньором, и лангрский пастырь Гуго. Вандомский епископ предпочел заболеть и на Собор не явился. Готье пожевывал губами, мысленно вздыхая о слабости человеческой плоти. Только Брюнон поднялся в минуту самых жестоких нападков на еретика и сказал:

– К заблуждениям человеческим, если они порождены стремлением сердца убедиться в истине, надо относиться со всем возможным милосердием...

И уронил голову.

Король подумал, что надлежит использовать эти слова, чтобы не допустить вынести слишком суровое решение. Однако страсти накалились до предела. Особенно неистовствовал Лафранк.

Оправдываясь, Беренгарий заявил с гордо поднятой головой:

– Не верю в возможность божественного произвола, ибо даже такой произвол несовместим с законами природы, установленными самим Богом...

Анне показались эти слова убедительными. Но Лафранк завопил:

– Место для таких – на костре!

Король уже не думал о том, чтобы использовать учение Беренгария. Легче брать неприятельский замок приступом, чем председательствовать на подобном Соборе! Он видел, что все были против этого непокорного человека. Генрих наклонился к королеве и сказал, почти не разжимая зубов:

– Что я могу сделать? Пожалуй, он в самом деле будет гореть на костре.

Анна строго посмотрела на мужа. Он боялся таких взглядов и отвел глаза в сторону. Но Анна прошептала:

– Не запятнай себя опрометчивым поступком.

– Разве ты не слышала, какие обвинения возводят на этого безумца? Они кричат как одержимые.

– Громкие голоса еще не доказательство истины.

– Чего же ты хочешь от меня?

Анна подумала и, наклонившись еще ниже к мужу, сказала:

– Пусть его осудят на заключение в темнице.

– Это хорошее решение. А потом мы увидим, как поступить.

Генрих вздохнул с облегчением.

Король был в отсутствии. В тот вечер трапезу Анны разделили епископ Готье и Милонега. Ужин приходил к концу. Епископ, в самом благодушном настроении, допивал вино из стеклянного бокала и даже любовался, прищулив один глаз, рубиновым цветом напитка на огонь свечи в серебряном подсвечнике. Это доставляло большое удовольствие епископу, научившемуся у латинских поэтов пить сок виноградной лозы со смакованием, а не лить его бессмысленно в глотку, как это делают грубые рыцари или бродячие монахи. Попивая винцо, он отвечал на недоуменные вопросы королевы по поводу его разговора на Соборе с аббатом Лафранком.

– Он утверждает, что универсалии существуют в реальности, – горестно говорил Готье.

Анна слушала его, пытаясь пробраться в чашу этих хитросплетений. Милонега думала о чем-то своем, рассеянно доедая кусок пшеничного хлеба.

– Но скажи мне, милостивая госпожа, – издевался Готье над невидимыми врагами и даже хихикнул от уверенности в своей правоте, – скажи мне, где находятся эти универсалии! Пусть покажут мне их, как Фоме Неверному. Я не поленюсь карабкаться на самую высокую

гору, если они там, чтобы прикоснуться к ним, потрогать руками, убедиться в их существовании собственными глазами!

Епископ глотнул вина, и, с осторожностью ставя хрупкий бокал на стол, сказал, глядя вдаль:

– А по-моему, это только пустой звук, дуновение ветра. Постигаешь ли ты мои слова, госпожа?

Анна ответила, что постигает. По взволнованному лицу королевы можно было заметить, что ее радует восхождение по лестнице мудрости. Еще одна ступенька преодолена, чтобы приблизиться к пониманию вещей! Каждый раз, когда она слушала Готье, у Анны было такое ощущение, точно она поднималась на высокую гору, откуда открывается вид на земные красоты. Она не читала книг, что тихо, храня какую-то тайну, стояли на полке у епископа, – ни аристотелевского трактата «Об истолковании», ни сочинений Боэция или Сенеки, но умела как никто внимать словам Готье Савейера, и старик любил развивать перед королевой свои затаенные мысли, если поблизости не торчали лопухие соглядатаи.

Бокал был пуст, епископ умолк и поставил его на стол. Погруженная в созерцание мира, который медленно раскрывался перед нею, королева не догадалась позаботиться о том, чтобы подали еще один кувшин вина; но, заметив, что епископ грустно рассматривает искусное произведение итальянского стеклодува, встрепелась и позвала чернокудрого полусонного пажа. Мальчик стоял у двери, бессознательно придав своему телу милую позу.

– Гильом, – сказала королева, – ты принесешь из погреба вина и потом можешь удалиться. Вижу, твои глаза слипаются от дремоты.

Смакуя реймское вино, рождающее у глупца сонливость или желание затеять драку, а у мудреца – щедрость мысли и яркость восприятия, и не опасаясь, что его осудят здесь за ересь, епископ Готье, предавший по слабости плоти Беренгария Турского и Брюнона, с которыми у него было много общего в помышлениях, но уже предчувствовавший в ослином реве глупцов какие-то далекие рассветы, рассказывал королеве обо всем, что ему приходило в голову.

– Тебе известно, милостивая госпожа, что я учился у прославленного Герберта. Потом изучал теологию у Фульберта Шартрского и от обоих узнал многое. Но разве может человеческий разум постичь и вместить все знание мира? Есть город в Испании. Он называется Кордова. Дома и мосты в нем построены из камня, а вода в сады халифа проведена по свинцовым трубам. Говорят, в Кордове двести тысяч домов. Книгохранилище халифское не знает себе равных. Будто бы этот властитель способен уплатить тысячу червонцев за рукопись, если она имеет какую-нибудь ценность. А какие там ученые и звездочеты! Якобы арабские математики измерили расстояние до Солнца и Луны... Хотелось бы побывать в этом городе, но с каждым днем силы мои слабеют.

Анна с грустью посмотрела на учителя. Его тучное тело напоминало развалину.

– Один человек, имя которого я не припомню сейчас, – вздохнул Готье, – сообщил мне, что где-то очень далеко на Востоке, в стране, которая называется Бухара, не то умер, не то еще живет некий замечательный ученый. Его зовут, если мне не изменяет память, Авиценна. Будто бы он написал трактат под названием «Книга о выздоровлении»... Говорят, что прочитавший это сочинение может продлить свою жизнь до бесконечности.

– Ты хотел бы жить возможно дольше?

– Да, как папа Сильвестр.

– Ах, никому не хочется расставаться с земным существованием!

– Нет, у меня особые соображения.

– Все люди смертны... Но о чем ты хотел сказать?

– Увы, по моим великим прегрешениям мне уже уготовано место в аду. А там препротивно. Вот почему я не спешу покинуть сей мир. Впрочем, может быть, я встречу в преисподней некоторых грешников, с которыми будет занятно побеседовать. Например,

Аристотеля! Хе-хе!

Анна не знала, говорит ли епископ серьезно или шутит под влиянием выпитого вина. Самой же ей не хотелось думать о смерти.

– Я вспоминал об этом бухарском ученом, когда мы с тобой беседовали о Беренгарии. Как и наш турецкий еретик, он утверждает, что мир вечен и никем не сотворен.

– Откуда они знали друг друга?

– Едва ли Беренгарий читал Авиценну. Я сам только случайно услышал об его книге. Но это носится в воздухе.

– Разве не осудил Собор подобные мысли? – строго спросила Анна, опасаясь, что Готье опять станет говорить предосудительным образом.

Однако епископ успокоил ее плавными движениями рук:

– Не опасайся ничего! Я отвергаю эту ересь. Хе-хе!

Королева не очень-то поверила ему, видя, как поблескивают у старика глаза. В них светились лукавые огоньки. Но каким образом он мог соединять в себе огромную ученость с неизменно веселым настроением? Она же читала книги о любви, и такие повести роят в сердце печаль.

Когда тучный епископ удалился, Анна подумала, что иногда бессмертная душа пребывает в жире и все-таки она как жемчужина, а во многих красивых телах души как пар. Значит, имеет значение не телесная красота, а духовная? Но чей-то голос, – может быть, то был голос вездесущего сатаны, – шептал ей, что важнее всех книг и философий любовь. Анна сплела пальцы и потянулась так сильно, что хрустнули суставы. В окно она увидела, что над Парижем поднималась огромная луна.

Как обычно, Милонегга помогла Анне раздеться и уложила ее в постель. В такие часы, заплетая рыжие косы, Анна имела обыкновение разговаривать со своей наперсницей о всяких житейских пустяках.

– Знаешь ли ты, как поживает Елена? – спросила она Милонеггу о подруге детства, что жила теперь в далеком замке, народив мужу кучу детей.

– Елена живет, как все живут.

– Как все?

– Хлопочет по хозяйству. Плачет порой в своей каменной башне.

– Откуда ты знаешь?

– Говорил Волец.

– Волец? Где ты видела его?

– Волец приезжал в Париж. Продал коров и купил новую кольчугу.

– Что он еще говорил тебе?

– Говорил, что у него два сына.

– А Янко?

– Янко хворает. Его на охоте олень рогами бодал.

Милонегга принесла тюфяк, набитый шерстью, и, положив его на пол у двери, улеглась на нем, как она всегда делала, когда короля не было во дворце. Но вскоре во внутреннем дворе послышался звук подков о камень, раздались громкие голоса.

– Милонегга! – позвала королева свою любимицу.

– Что, госпожа? – очнулась от сна Милонегга.

– Король вернулся.

Теперь Анна уже хорошо различала голос мужа, бранившего какого-то оруженосца за нерадивость. На лестнице загремели знакомые шаги. Милонегга вскочила и отодвинула на двери засов. Генрих вошел в спальню, и преданная прислужница, схватив в охапку свою постель, проскользнула мимо него на лестницу.

Король провел день в Марли.

Анна спросила:

- Удачная была охота?
- Два вепря.
- Сам затравил?
- Одного сам, другого граф Рауль.
- И он был с тобой?
- Был.
- Не голоден ли ты?
- Не голоден.
- Где же вы ели?
- В Марли.
- Ты очень устал?
- Нет. После охоты мы отдыхали у прево.
- Граф говорил о чем-нибудь?
- О тебе.
- Что же он говорил обо мне?
- О твоей красоте.

Королева тихо рассмеялась.

- Чему ты смеешься?
- Твоим словам. Какое ему дело до меня?
- Ты – королева. Граф должен почитать тебя и твою красоту.

Генрих разделся и лег рядом с супругою. От него пахло потом и лесной сыростью. Они поговорили еще некоторое время, король рассказал, как он удачно загнал зверя, потом, щадя целомудрие королевы, погасил масляный светильник...

Король уснул и спал до утра. Но Анна долго лежала с открытыми глазами. Пропели петухи. Ей захотелось, чтобы поскорее наступил рассвет.

## IX

Текли годы, отмечаемые только празднованием Пасхи и Троицы или удачной охотой. Но для Анны и короля они были полны событий. После Филиппа у королевской четы родился сын, которого назвали Робертом, а еще год спустя – третий сын, Гуго. Генрих благодарил Небеса, что не ошибся в плодовитости королевы, и очень восхвалял ее разум и рассудительность. Анна нередко принимала участие в Совете, ставила наравне с супругом свое имя на хартиях и дипломах. Иногда она подписывалась под ними по-русски.

Когда это произошло впервые, Генрих очень удивился. Однажды ему подали на подпись какую-то хартию. По своему обыкновению он поставил латинскую букву «S» и перечеркнул ее небрежно наклонной палочкой<sup>11</sup>. Настала очередь королевы подписать документ. Анна взяла тростник, обмакнула его в чернила и стала собственноручно выводить на пергамене свое имя, хотя обычно это делали клерки. Король, нахмуясь, следил за рукой жены. Королева написала: «Ана реина»...<sup>12</sup>

– Почему ты начертала такие странные слова? Кто может прочесть это? – недоумевал Генрих.

– Пройдет много лет, какой-нибудь книжник прочтет мою подпись и будет спрашивать себя, что за странная королева жила на свете... – тихо ответила Анна.

Король, привыкший к причудам супруги, ничего не сказал.

Но это не было причудой. Анне казалось, что, подписывая хартии славянскими буквами, она как бы освящает своим именем единение двух народов. Снова предстояла война, тучи заволакивали небосклон, а Франция не имела верных друзей. Только отец мог

11

12

прислать Генриху воинов и табуны боевых жеребцов, помочь золотом.

Кроме Анны на королевском совете присутствовали епископ Готье Савейер, уже некоторое время выполнявший обязанности канцлера, а также граф де Монморанси, граф де Пуасси, рыцарь Гвиберт и другие лица, случайно оказавшиеся поблизости. Приложил руку к хартии и епископ Роже. Он шепнул своему ученому другу:

– Почему, собственно говоря, мы не скрепляем подпись короля на различных государственных документах полностью начертанными именами, а только условным значком?

Готье усмехнулся.

– Ты можешь объяснить это? – настаивал Роже.

– Вероятно, так стали делать, чтобы не поставить в неловкое положение какого-нибудь графа или рыцаря. Ведь далеко не все из них способны нацарапать свое имя на пергамене.

...Но назревали события огромного исторического значения, и на этих страницах своевременно было сказано, что еще до того, как Анна явилась во Францию, нормандский герцог Роберт, по прозвищу Дьявол, следуя примеру многих благочестивых людей, возымел желание совершить паломничество в Иерусалим. Отправляясь в далекое путешествие, он просил короля Генриха быть в его отсутствие опекуном малолетнего сына, будущего покорителя Англии. Роберт умер в Палестине. Однако и после его смерти французский король продолжал честно выполнять опекунские обязанности, деятельно охраняя юного нормандского герцога от разнузданных баронов. В 1047 году, в битве при Валь-эс-Дюн, Генрих пролил свою кровь, и в песнях об этом сражении нормандские поэты прославляли благородную самоотверженность короля Франции. Однако Вильгельм мужал, и вскоре его отношения с опекуном испортились. Дело дошло до того, что король даже перешел на сторону врагов юного герцога и поддержал восстание его вассалов. Именно к этим годам относится засада в Сен-Обен, когда под нормандскими боевыми топорами погиб цвет французского рыцарства и сам Генрих едва избежал смерти. Битва произошла спустя несколько месяцев после того, как у Анны родился Филипп.

После сен-обенского разгрома положение короля Франции не стало более прочным: подняли голову собственные непокорные вассалы, а денег для набора нового войска – тех же воинственных нормандцев – не хватало. Приходилось подумать о будущем. Для упрочения короны за своим потомством Генрих решил, по примеру отца, короля Роберта, короновать Филиппа заблаговременно.

Коронация состоялась в Реймсе 23 мая 1059 года, и о ней хронист написал несколько сухих латинских строк, но для Анны она превратилась в событие, полное волнений. Это было, вероятно, самой большой ее материнской радостью. Совершал церемонию архиепископ Реймский Жерве, в присутствии двух папских легатов – епископа Безансонского Гуго и Эрманфруа, титулярного епископа Сиона.

Хотя Филиппу едва исполнилось семь лет, но Генрих пожелал, чтобы древний обряд совершили полностью. Король опасался всего. Ведь в противном случае враги могли оспаривать в будущем священные права Филиппа и на престол, сославшись на какое-нибудь упущение.

За несколько дней до этого события, захватив с собой малолетнего наследника, король и королева отправились в Реймс. Парижские швеи и башмачники уже смастерили для Филиппа скроенную на его рост шелковую тунику, такие же башмачки и детскую мантию из пурпура. Золотых дел мастер сделал для него корону по образцу настоящей, скипетр и другие царственные инсигнии. Но меч для совершения коронации решено было использовать тот самый, которым опоясывался Генрих.

Архиепископ Жерве почтительно объяснял Анне:

– В ночь с субботы на воскресенье особо приставленные к этому делу стражи будут бдительно охранять базилику, чтобы в нее не проникли ни злодеи, ни бездомные нищие, ни

волшебники. Как тебе известно, помазаннику положено войти в храм среди ночи и молиться в ночной тишине о благоденствии своего царствования. Но, принимая во внимание возраст нашего принца, сделать это невозможно. Поэтому вы прибудете в церковь в первом часу, когда раздастся звон колокола к утрени. В церкви для вас приготовят три трона. Когда же наступит третий час, явятся монахи из монастыря Сен-Реми и принесут священную скляницу...

Анна вспомнила, что аббат Сен-Реми нес эту реликвию под красным балдахином, когда короновалась она сама. Скляница была сделана в виде птицы, в память той белой голубки, что принесла священное миро непосредственно с Небес.

Когда король и королева и сын их Филипп, которого они вели за руки, вступили на порог базилики, архиепископ Жерве и весь капитул встретили королевское семейство с горящими свечами в руках. Архиепископ истово покропил Филиппа, пухлого мальчика с розовыми щеками, святой водою, и будущий монарх морщил детский нос, когда брызги капали с кропила ему на лицо.

Дальше церемония протекала, как ей надлежало протекать.

Архиепископ Жерве, по обычаю, просил перепуганного Филиппа:

– Обещай предоставить нам, епископам и капитулу сего храма, и сохранить за нами все канонические преимущества...

Генрих, опасавшийся, что во время коронации может произойти какое-нибудь выступление против его дома, поспешил ответить за сына:

– Обещаю! Обещаю также всем защиту от несправедливости, хищений, вымогательств...

Он загнулся. Архиепископ тихо подсказал:

– И неправедного суда!

– И неправедного суда! – поспешно повторил Генрих. – Обещаю требовать от судий милосердия...

Снова наступило неловкое молчание. Жерве, не глядя на короля, шепнул:

– Истреблю на моей земле...

– Истреблю на моей земле еретиков, осужденных Церковью...

– Да поможет мне Бог! – подсказывал архиепископ.

– Да поможет мне Бог!

Заглушая эти слова, раздались торжественные, очень громкие звуки латинского гимна.

Архиепископ стал читать длинную древнюю присягу:

– «Я, король Франции, обязуюсь помнить, что тремя королевскими добродетелями являются благочестие, справедливость и милосердие...»

В церкви было множество народа, потому что на торжество, чтобы сделать его всенародным, позвали даже ремесленников и торговцев, хотя благородные и косились на них с неприязнью. Пользуясь давкой и теснотой, некоторые рыцари нескромно прижимались к соседкам, и знатные дамы, обращившись, поощряли их улыбками.

В душном церковном воздухе слышался голос архиепископа, произносившего за малолетнего Филиппа древние слова королевской присяги:

– «Клянусь судить без лицепрятия, взять под свою защиту вдов, сирот и чужестранцев, наказывать татей и прелюбодеев...»

После каждого обещания Генрих отвечал за сына:

– Клянусь!

– «Клянусь не предаваться в благополучии гордыне, с терпением переносить невзгоды, принимать пищу только в часы, указанные обычаем для трапезы...»

Церемония была длительная и скучная, люди устали, но многие с удовольствием наблюдали за поведением маленького Филиппа в этом своего рода театральном действе. Зрителем подобных представлений приходилось быть не всякий день. Присутствующие

видели, как король и королева подвели сына к алтарю и Анна с материнской заботой посмотрела на лежавшие там детские одежды. Наклонившись к ребенку, она сняла с него тунику, и мальчик остался в одной длинной полотняной рубашке. Архиепископ развязал у испуганного Филиппа ворот, взял золотой иглой немного мира в склянице и совершил старинный обряд, сначала коснувшись иглой чела, потом груди, наконец правой и левой руки. Присутствующие неистовыми голосами затынули:

Так помазали на царство Соломона!

Увы, это было еще не все. На мальчика стали надевать коронационные одеяния, и Анна шептала ему раздраженно:

– Подними же руки!

Наконец Филипп послушался матери и сделал, что она просила. В таком положении Анне было легче надевать на сына узкое одеяние из негнушейся парчи.

Затем герцог Аквитанский Ги опустился перед своим будущим повелителем на колени и привязал к ногам Филиппа крошечные золотые шпоры...

Одним словом, король вздохнул спокойно, когда раздались клики:

– Мы все желаем, чтобы Филипп царствовал над нами!

Генрих обменялся с женой понимающими взглядами. Анна сияла красотой тридцатилетней женщины. Даже придворные дамы любовались ею. Среди присутствующих находились представители графа Анжу и маркиза Фландрии, многие другие графы и бароны, и в числе их – Рауль де Валуа. Некоторые наблюдательные кумушки заметили, что граф не сводил глаз с королевы.

На алтаре лежала широко раскрытая книга – то самое, написанное славянскими буквами Евангелие, на котором несколько лет тому назад Анна присягала на верность Франции. Она подвела сына к алтарю, показала, как надо положить руку на украшенную золотом и киноварью страницу... Филипп покорно выполнял все, что от него требовали.

Эрманфруа, титулярный епископ Сиона, чрезвычайно гордившийся своим званием, прикрыл рот рукой и сказал Готье:

– Позволительно ли французскому королю присягать на Евангелии, написанном славянскими письменами? Ведь они непонятны для него.

Готье, по своей привычке подсмеиваться над самыми святыми вещами, добродушно ответил:

– Наши короли не больше смыслят и в латинских книгах.

– Как ты можешь говорить так... – обиделся за помазанников Божьих Эрманфруа, епископ Сиона.

Увы, святой град уже находился во власти сарацин, и только этот пышный титул еще напоминал о намерениях Рима, не оставившего надежду при удобном случае завладеть Иерусалимом.

– Впрочем, Филипп немного знает язык матери, – добавил Готье.

Старик любил маленького принца, который часто задавал ему вопросы, свидетельствующие об уме и любознательности, а порой и непозволительно дерзил. Но епископ не был злопамятным человеком.

Эрманфруа умолк, поджимая тонкие губы. Он вообще с презрением относился к этому обжоре и даже подумывал иногда, не сообщить ли папе, что епископ Готье Савейер больше интересуется латинскими поэмами и каплунами, чем благом Церкви. Впрочем, он даже не догадывался, о чем думал толстяк в эти священные мгновения, когда, может быть, решались грядущие судьбы Франции. В свою очередь не подозревая о предательских планах собеседника, Готье благодушно взирал на церемонию, сцепив пухлые пальцы на парчовом брюхе. Просвещенный епископ спрашивал себя мысленно, будут ли сегодня на пиршественном столе знаменитые на все королевство архиепископские цыплята. Реймское вино тоже способно доставить смертному немало радостей, если вкушающий его не пьяница,

а в меру приемлет сок благословенной виноградной лозы. Приятно было бы, конечно, сидеть на пиру не с каким-нибудь тупицей, а с соседом, с которым можно поговорить о философии, этой утешительнице всех одиноких и грустных людей. Так размышлял под пение псалмов епископ Готье.

Прошел год. Еще раз весна улыбалась природе и зеленые лужайки покрылись желтыми цветами. Но так как зимою дни слишком коротки для ведения военных действий, долгие ночи утомляют стражей, то опытные военачальники предпочитают начинать войны в марте. Поэтому не было ничего удивительного в том, что французский король выступил в поход против Нормандии в месяце, посвященном римлянами богу войны. Задача заключалась в том, чтобы захватить замок Тийер.

Немало пролилось французской и нормандской крови ради этого важного стратегического пункта, неоднократно переходившего из рук в руки. Завладев замком, нормандцы еще более укрепили тийерскую твердыню – ключ к плодородным долинам Франции – и построили вместо бревенчатого укрепления каменную башню, окружив ее стеною, сложенной из огромных плит и кирпича, и снабдив замковых воинов большим количеством оружия и запасов. Здесь имелось все для того, чтобы выдержать длительную осаду: колодезь с питьевой водой, полные провианта погреба и хорошо оборудованная кузница.

Как всегда во время таких войн, и та и другая стороны старались нанести ущерб противнику, сжигая его селения. И вот еще раз на горизонте поднялись черные зловещие столбы дыма...

Это по приказу короля Генриха граф де Мартель разорял деревни, расположенные по обоим берегам реки, а сам король неожиданно появился под стенами замка. Но не приходилось и думать о захвате его приступом, хотя желательно было избежать и слишком долгой осады, чтобы на выручку крепости не явились главные нормандские силы. Поэтому военный совет решил построить мощный таран и с помощью такой военной машины пробить в каменной стене более или менее широкую брешь, в которую могли бы ворваться королевские воины.

Король лично руководил постройкой тарана. В его основание, в виде четырехугольника, положили крепкие и чудовищной толщины дубы, а поперек приладили не меньшей величины другие бревна, скрепив их деревянными брусьями, и уже на этой площадке установили при помощи крепких подпор два огромных столба с перекладиной. На ней надлежало подвесить на железных цепях тяжкую колоду, конец которой окован медью в виде головы барана, откуда и название машины. Воины раскачивают подобное сооружение и ударяют медным лбом в стену, постепенно разрушая камень. Это действие очень напоминает бодание барана, который обычно отбегает назад, чтобы тем сильнее нанести удар врагу.

Стоя на высокой башне, осажденные с тревогой взирали на сооружение стенобитной машины. Бойко стучали топоры. Но вдруг плотники оставили работу и все как один повернули головы в сторону реки, откуда в облаке пыли приближался какой-то отряд. Сам король тоже с опасением посмотрел туда, спрашивая себя, что это значит. Однако вскоре уже можно было рассмотреть, что идут люди графа Мартеля. Они уводили во Францию захваченных в недавних стычках пленников, вернее, крестьян из сожженных во время набега неприятельских деревень.

Граф в это время находился вместе с королем и давал ему ценные советы по устройству военной машины. Но оба тотчас поспешили на соседний холм, чтобы удобнее наблюдать за проходящим мимо отрядом. Это было вполне привычное для них зрелище. Впереди конные воины гнали рогатый скот – волов и коров; позади, тоже под стражей, брели длинной вереницей крестьяне и крестьянки. Мужчины держали в руках мотыги, или серпы, или какой-нибудь горшок, женщины несли младенцев; детей постарше они тащили за руки. Один из сервов даже вел на веревке каким-то чудом оставленную в его распоряжении козу, правда

тощую и лохматую. В хвосте отряда ковыляли старики и старухи, которых приходилось подгонять древками копий. Это совсем измотало бедных воинов, и без того утомленных ночным набегом, но кто же станет считаться с простым копейщиком! Большинство пленников, старые и молодые, смотрели в тупом безразличии себе под ноги, уже привыкнув к мысли, что страдание стало их вечным делом.

Отряд вел рыжеусый рыцарь, весь в медных бляхах на кожаных доспехах и в остроконечном шлеме. Он посмотрел на замок и спокойно продолжал путь. Приложив руки ко рту, граф де Мартель крикнул ему:

– Эй! Ренуар!

Рыцарь натянул поводья. Сообразив, что его зовут, он повернул коня и направился к графу. Подъехав к тому месту, где сооружали таран, Ренуар остановился и, не слезая с коня, ждал графских приказаний. В отсутствие своего начальника отряд расположился на дороге.

Рыцарь был рыж, а лицо его украшал розоватый шрам через всю правую щеку. Приходится сказать, что глаза этого вояки не блистали умом.

Граф де Мартель уперся кулаками в бока и спросил его:

– Откуда гонишь скот?

Рыцарь неопределенно махнул рукой в ту сторону, где еще поднимался за зеленой дубравой бурый дым:

– Оттуда, где монастырь.

– А людей?

– И людей оттуда.

– Сколько?

Рыцарь окинул равнодушным взглядом отряд и сказал:

– Может быть, пятьдесят. А может быть, шестьдесят.

– Не считая женщин и детей?

– Не считая.

– Перепиши всех.

– Где же взять писца?

Граф подумал, что рыцарь прав; в военной обстановке найти писцов было нелегко, а ему даже в голову не пришло спросить, умеет ли Ренуар писать. Водить тростником по пергамену не рыцарское дело.

Мартель с озабоченным лицом кинул взгляд туда, где находились пленники. Воспользовавшись остановкой, они бросились на землю или без стеснения отдавали дань природе, присев на лужайке. Граф в гневе стал выговаривать рыцарю:

– А зачем стариков взял?

И постучал пальцем по лбу.

Ренуар тоже посмотрел на дорогу. Действительно, среди захваченных поселян были дряхлые старики и старухи, уже не пригодные ни к какой хозяйской работе.

– Я дармоедов кормить не намерен! – кричал граф.

Рыцарь что-то соображал.

– Как же мне поступить с ними?

– А как же ты думаешь?

– Перебить их? – недоумевал Ренуар.

– Проще прогнать беззубых на все четыре стороны.

Рыцарь ничего больше не сказал и направил коня к отряду. С холма было видно, что среди пленников началась суета. По приказу рыцаря стариков и старух отделили от остальных. Король и граф смотрели и ждали, как он выполнит приказ.

Вдруг конные воины погнали этих никому не нужных людей к реке, подгоняя их остриями пик. С дороги доносилось:

– Уходите! Уходите!

Старики бежали вприпрыжку по полю, усеянному ромашками, и за ними ковыляли кое-как старушки, нелепо размахивая руками и падая порой на землю. Но жало пики снова поднимало неловких, и они опять трусили, пока не исчезли за кустарником. Один из стариков упал и не поднялся. Всадник склонился с лошади, посмотрел на него и потом поехал медленно назад...

Граф сказал королю:

– Этот Ренуар никогда не отличался большой сообразительностью. Не проще ли было не брать беззубых, чем возиться с ними или, может быть, даже принять на себя грех человекоубийства?

– А почему ты раньше не объяснил ему? – хмуро спросил король. – Мы должны думать за глупцов.

Граф процедил сквозь зубы:

– В конце концов...

Вероятно, он хотел сказать, что на свете существуют более важные вещи, чем несколько стариков и старух.

Но сборка стенобитной машины приходила к концу. Когда таран был готов, под него подложили катки и придвинули тяжелое сооружение к внешней стене замка; под прикрытием передвижных дощатых щитов, в которые немедленно застучали нормандские стрелы, французские воины приступили к опасной работе. Раздался первый глухой удар тарана о камень...

Напрасно осажденные метали в воинов короля стрелы, лили на них кипяток и расплавленную смолу, бросали камни... Сооруженные из прочных досок навесы хорошо защищали смельчаков, орудовавших с тараном. Только смола заставила прекратить работу. Однако спустя некоторое время снова послышались тяжкие удары: туп! Туп!

Этот звук тупых ударов не могли заглушить ни перебранки с осажденными, ни шум сражения, ни человеческие крики и вопли, когда стрела поражала кого-нибудь. Удары следовали один за другим, как неумолимая судьба: туп! Туп! Туп!

Стена содрогалась, но выдерживала упрямство медного лба. Над тем местом, где действовал таран, к небесам поднималось огромное облако каменной пыли. Стоявшие на стене были в крайнем смятении.

Однако в тот день была среда, и назавтра, с девятого часа четверга, наступало Божье перемирие. Оно длилось до утренней молитвы в понедельник. В течение этого времени запрещалось пролитие крови, нападение на врагов и, в особенности, на безоружных людей, идущих в церковь или возвращающихся из нее, на всех клириков, а также на дома, расположенные не дальше тридцати шагов от церковной ограды. Между тем Генрих опасался, что во время перерыва военных действий осажденные смогут укрепить стену дубовым частоколом, и поэтому таран продолжал действовать в четверг с утра до вечера.

Комендант замка, старый барон де Болье, человек с длинными седыми усами, в кольчуге, в блистающем шлеме, с мечом на перевязи через плечо, кричал с башни старческим голосом:

– Ваш король антихрист! Разве вы не знаете, что наступило Божье перемирие. Никто в эти дни не должен проливать христианскую кровь!

Генрих, сидя на коне, на почтительном расстоянии от замка, куда не долетали стрелы нормандских арбалетчиков, мрачно ждал, когда же наконец рухнет стена и можно будет начать приступ. Уже были заготовлены вязанки хвороста и другие горючие материалы, чтобы в случае надобности выкурить защитников огнем и дымом из их логова.

В шуме сражения удары тарана казались биением какого-то огромного сердца. Но в самый разгар битвы, когда человеческие глотки уже охрипли от криков и проклятий, случилось неожиданное. Над холмом заблестели кресты. Оказалось, что это явился аббат соседнего французского монастыря. Воины графа Мартеля, по ошибке или из озорства,

сожгли одно из селений, принадлежавших монастырю, и старый приор поспешил с перепуганными монахами к замку Тийер с твердым намерением потребовать возмещения за понесенные убытки. Считая неприличным начинать разговор сразу о вещественном, аббат решил напомнить королю о духовном.

– Неужели тебе не ведомо, король французов, – взывал он, – что уже наступило Божье перемирие? А посмотри, как поступают твои воины!

Хмурый король снял шляпу под торопливым благословением аббата, державшего в руках серебряный крест. Многие воины опустили на колени. Гул битвы стал затихать, удары тарана прекратились. Барон де Болье воспрянул духом, и стоявшие на стене перестали метать стрелы.

Аббат жаловался Генриху:

– Королевские воины сожгли монастырское селение. Мы бедные иноки, а ты лишаешь нас куска хлеба. Кто же возместит аббатству потери? Где наши сервы? Они разбежались, и я не мог без слез смотреть на пепелище. А все это происходит потому, что ты нарушаешь постановление святых Соборов.

– По обычаю, мир наступает с девятого часа в субботу и длится до первого часа понедельника, – мрачно возразил король.

– В других областях! А у нас Богу посвящены четыре дня. Четверг – по причине вознесения Христа на небо, пятница – ради крестных мук, суббота – чтобы почтить его пребывание во гробе, а в воскресенье следует воздержаться от человекоубийства в память восстания Христа из мертвых.

– Когда же воевать? – рассердился король.

– В остальные дни недели. Их вполне достаточно для тех, кто хочет проливать кровь. Страшно подумать, что творится на земле! Селения сжигаются, жители уводятся в плен, кони топчут нивы. Кроме того, дороги стали небезопасными, и купцы не имеют возможности торговать, а паломники посещать монастыри. Прошу тебя, останови войну!

– Вот о чем ты заботаешься больше, чем о мире, – негодовал король. – Сокрушаешься, ибо паломники не несут тебе свои денарии? Уходи отсюда и не мешай мне карать врагов. Твое дело – молиться, мое – воевать.

Напрасно аббат грозил церковными карами и даже вечными муками. В пылу борьбы адский пламень перестал казаться королю таким страшным, каким представлялся порой в часы раздумий. Необходимо было покончить с этим осиным гнездом. Иначе дорога в Париж оставалась открытой для врага. Замок Тийер запирали долину Эвра как на ключ.

В субботу, когда надлежало вспоминать о пребывании Христа в гробнице, неутомимый таран сделал свое дело. Стена рухнула с ужасающим грохотом, и французские воины устремились на приступ. В конце концов им удалось ворваться в башню, где началась резня в каждом закоулке. Защитники крепости были перебиты. В ожесточении битвы и некоторые женщины, из тех, что обитали в замке со своими мужьями, погибли или подверглись насилию.

Когда тесную замковую лестницу очистили от трупов и выбросили их через бойницы во двор, Генрих поднялся на закопченную пожаром башню и окинул взором окрестности. Казалось, он смотрел не только на завоеванную область, а и на двадцать лет тяжелой борьбы. Битвы его были по большей части неудачны, им не хватало блеска и славы больших сражений, воспетых и увековеченных в памяти народа поэтами. Чаще всего дело ограничивалось небольшими стычками. Только сражение при Валь-эс-Дюн и переход у Бервиля наполнили историю Франции некоторым громом. Но что великого мог совершить король, имея в своем распоряжении триста или четыреста рыцарей и две или три тысячи пехотинцев и арбалетчиков! Даже удивительно, что и с такими незначительными силами ему удавалось более или менее успешно бороться с феодалами за объединение Франции. Правда, уже начали оказывать поддержку королю богатейшие города.

В первые годы этой затянувшейся войны Генрих с грехом пополам сколотил сильную коалицию для борьбы с Вильгельмом, герцогом Нормандии. Под знамя короля стали Бургундия, Овернь, Анжу, Шампань и Гасконь. В то время как сам Генрих вместе с преданным ему графом де Мартелем разоряли области вокруг Эвра, брат короля грабил города и селения, расположенные на нижнем течении Сены. В таких случаях сеньоры кое-как отсиживались в своих замках, но беззащитные крестьяне очень страдали от меча и огня, поэтому при первых признаках войны забирали имущество и убегали в леса и болота. Но король и его брат слишком увлеклись легкими победами, а в это время Вильгельм собрал прекрасно вооруженное войско. Силы Генриха были разбросаны. Вассалы не спешили на помощь. В 1054 году французские рыцари потерпели от нормандцев жестокое поражение под Мортемаром. Три года спустя упрямый Генрих предпринял еще одну попытку сокрушить Вильгельма и вторгся в самое сердце Нормандии, стремясь захватить город Байе, где теплились древние нормандские традиции. Однако разгром под Варавилем разрушил все планы короля, и ему пришлось снова отдать врагам стоивший столько крови французский замок Тийер.

В дни, когда произошло варавилское сражение, Анна находилась в Париже, переживая большую тревогу. Надеясь услышать победные трубы, она часто подходила к окну и прислушивалась, не возвращается ли король. Но за окошком стояла тишина. Париж мирно засыпал. А Генрих где-то скитался по щебнистым дорогам Нормандии, под холодными осенними дождями. Королева снова опускалась в кресло и закрывала лицо руками. Напротив нее вздыхал епископ Готье Савейер...

Третий день шумел проливной дождь, какие бывают только в Нормандии. В сопровождении немногих спутников французский король возвращался тайком в Париж после поражения под Варавилем. Рядом с ним трусил на муле шартрский епископ Агобер. Королевство очутилось на краю гибели, и верный друг разыскал Генриха на ночной дороге, чтобы утешить его и помочь советами. Стояла ночь. Королевский конь ступал по лужам. Дождь шумел и шумел в придорожных деревьях. Со всех сторон лежала непроницаемая тьма. Только иногда вспыхивала молния и вдруг озаряла то сухое дерево у дороги, то хижины, то церковь молчаливого аббатства. Король вытирал рукой мокрое лицо и говорил епископу с горечью:

– Я верую в Троицу... Но, может быть, сатана сильнее Бога и побеждают те, кому он помогает? Скажи мне, есть дьявол или нет его?

Несмотря на шерстяной плащ с куколем, епископ Агобер промок до последней нитки и едва поддерживал под дождем тягостный разговор. И все же, будучи разумным человеком и понимая душевное состояние короля в эти минуты, ответил кротко:

– Если есть Бог, то существует и сатана.

– И архангел не смеет поразить его огненным мечом?

Король, мало обращавший внимания в этом несчастье на погоду, привыкший во всяких превратностях фортуны переносить голод и холод, желал сегодня знать, помогает ли сатана тем, кто припадает к нему с мольбой. Чтобы победить Вильгельма, Генрих готов был продать даже бессмертную душу.

– Настанет день, и Бог сокрушит силы ада, – опять наставительно сказал Агобер. – И тогда сатана погибнет постыдным образом.

– А в ожидании этого он пакостит Франции?

– По своим непостижимым замыслам Господь терпит козни дьявола для нашего испытания.

– Вместо того чтобы помочь мне.

В отчаянье от всего того, что произошло, Генрих заскрежетал зубами.

Епископ со вздохом произнес:

– Умоляю тебя, мой король, не относись к подобным вещам с легкомыслием.

– Но разве христианский король не возвращается еще раз в Париж с позором? Несмотря на молитвы епископов и монахов и на святыни, заключенные в рукояти его меча...

– Будь осторожен! Сатана неистощим в злобных выдумках против христиан. Опасайся попасть в его западню! Потому что мы часто даже не знаем, в каком образе он является и какие мысли нашептывает в часы сомнений.

Среди ночи сам епископ, в остроконечном куколе плаща, на ушастом муле, казался королю странным привидением. Как однажды и у его супруги во время беседы с Готье, у Генриха мелькнуло подозрение: не дьявол ли едет с ним рядом под личиной Агобера? Но он отогнал искушение.

Епископ продолжал скорбным голосом:

– Чувствую великое смятение в твоём сердце. Однако не надо падать духом, это недостойно французского короля. Ты взял на плечи тяжкое бремя, тебе еще многое надлежит совершить, чтобы Франция была счастливой...

Генрих неоднократно видел на полях битв, как умирали люди. Настанет и его час. О, неужели и королям грозят вечные муки, о которых ему прожужжали все уши монахи? Помазанник Божий метался, как загнанный зверь, между страхом перед геенной и необходимостью выполнять трудное королевское дело.

Епископ Агобер поддерживал короля в борьбе за независимость галльской церкви, но многие другие прелаты выполняли волю далекого Рима. Генрих знал, что по единому слову папы они отлучат его от церкви и запретят богослужения в церквях. Тогда народ может отвернуться от законного государя.

– Какая мерзкая погода, – проворчал Агобер.

Король ничего не ответил. Перед ним возникло вдруг красивое лицо Анны... Что она делает в эту дождливую ночь? Читает свои странные книги? Или беседует с болтливым толстяком? Или, может быть... Но никто никогда не видел, чтобы в опочивальню ее входил кто-нибудь в ночные часы, кроме короля.

Вновь особенно ярко вспыхнула молния. В сиянии небесного огня король увидел на мгновение недалеко от дороги засохшее, черное дерево с безлиственными ветвями и на одном из суков – висельника с судорожно искривленными голыми ступнями. Тотчас вновь наступила кромешная тьма и загредел чудовищный гром...

В Париже тоже в продолжение нескольких дней шел дождь. Наутро Анна выглянула в окно, но увидела только дымы из труб, мокрые крыши, потемневшую реку, ивы, склонившие в тумане длинные ветки к воде. Небо было затянуто хмурыми облаками. Природа точно позабыла о солнце.

Это происходило в той самой горнице, где Анна обычно беседовала с епископом Готье. Огромная, написанная киноварью Псалтирь на деревянной резной подставке, предусмотрительно прикованная цепью, наклонный стол с глиняной чернильницей, обитый медью ларь с хартиями...

Анна опустила на подушку сиденья. На королеве было узкое платье из зеленой материи без всяких украшений. Она догадывалась, что зеленый и голубой цвета лучше всего оттеняют золото ее волос. Но груди уже стало тесно в этом одеянии. Своими сосцами королева вскормила трех сыновей и дочь Эмму, умершую в младенческом возрасте. Роберт тоже умер...

Все-таки королева была еще очень хороша собою. В этой простой и невысокой горнице с очагом из красных кирпичей и обыкновенными побеленными стенами она казалась не похожей на других женщин и наделенной особенной судьбой.

В другом кресле, сложив на животе пухлые ручки, скромно устроился Готье Савейер. Пользоваться таким сиденьем – а не табуретом – в присутствии королевы епископу разрешалось из уважения к его учености, а также принимая во внимание дородность пастырского тела. Мудрый наставник с удовольствием взирал на Анну. Но на него

действовали не чары красоты, к которым он оставался совершенно равнодушным, а стремление этой женщины понять смысл вещей, на что весьма редко оказывался способным и мужской ум.

Происходила очередная беседа королевы с учителем, одна из тех, что приоткрывали для нее среди мелочных забот суетной жизни высшие области мира, в каких жили Готье и ему подобные. По-прежнему она впитывала слова поучения, как пустыня – пронесшийся над песками дождь. В тот день они занимались повторением пройденного. Речь шла о семи свободных искусствах. Еще раз епископ разъяснял с отеческой улыбкой:

– Грамматика учит нас говорить членораздельно, диалектика помогает открыть истину, риторика украшает нашу речь, арифметика считает, астрономия изучает течение небесных тел, музыка поет, а философия приносит утешение. Это и есть семь свободных искусств.

– И начало их грамматика?

– Она – как бы мать всего. На картинах ее изображают в виде царицы, покоящейся под деревом познания добра и зла. На голове у нее корона, в правой руке она держит нож, служащий для подчистки сделанных писцом ошибок, а в левой – розгу, чтобы наставлять нерадивых.

Анна вздохнула, вспомнив Всеволода и Святослава, и подумала, что, вероятно, братьям было бы приятно слушать подобные наставления.

Когда Анна впервые приступала к учению, Готье сказал:

– Мы начнем изучение грамматики с басен Эзопа. С подобной книгой в руках легче всего постичь тайны латыни. Я имею отличный перевод. Затем придется перейти к другим книгам.

– А изучив грамматику...

– Изучив грамматику, мы приступим к риторике, и я научу тебя составлять латинские хартии. Что не лишнее для королевы.

Во время этих бесед у Анны было такое чувство, что у нее вырастают крылья. Она сказала со вздохом:

– Сладостно познавать мир.

– Человек познает как ангел, – заметил епископ, – умозаключает как человек, ощущает как животное, прозябает как растение...

– Прозябает как растение... – задумчиво повторила Анна.

– Мы познаем все, что живет и что не живет. Но жизнь – как древо. Корни древесные – материя, ветви и листья – все преходящее, цветы – наши души...

– А плоды?

– Плоды – добрые дела.

Это было непонятно, но прекрасно, и в глубоком волнении Анна сжала руки.

Разговор их прервали звуки трубы. Анна вскочила и стала прислушиваться, приложив розоватый палец к устам. Звук трубы повторился, такой же тягучий и унылый.

– Это возвращается король, – сказала Анна.

– Он возвращается с победой, – утешал ее епископ.

– Но, может быть, он ранен? Почему так печально звучит труба? Король возвращался в Париж после поражения под Варавилем...

## X

Пришло время, и в самом разгаре приготовлений к новой войне с Вильгельмом, которого во Франции называли Побочным, а история назвала Завоевателем, король Генрих I скончался. Печальное событие произошло 4 августа 1060 года в замке Витри-о-Лож, недалеко от Орлеана.

Король уже давно чувствовал недомогание, хотя как будто не было причины думать о

близкой развязке. Во всяком случае, он не почел нужным вызвать супругу из Парижа даже в тот день, когда не мог уже встать с постели. А между тем ему очень хотелось побеседовать с королевой наедине, и о многих важных вещах. Анна часто помогала ему дельными советами. Правда, порой они казались ему довольно странными, напоминали те химеры на колокольнях, что начали вырезать из камня во Франции, но разве вина королевы, что жизнь требует не мечтаний, а точных расчетов и больших денежных средств.

Когда Генрих думал о смерти, а такие мысли стали посещать его на ложе болезни в этом вдруг притихшем замке, он утешал себя мыслью, что Франция не останется без кормчего. У нее будет законный король, именем Филипп, а рядом с ним останется умная мать, и в государственных делах им обоим поможет своим мечом преданный кузен Балдуин Фландрский.

Генрих уже давно собирался возвратиться в Париж, но неотложные дела требовали его присутствия в угрюмых пограничных замках, над которыми по вечерам кружилось шумное воронье.

Узнав о болезни возлюбленного короля, епископ Агобер, преданный королевский советник, поспешил в Витри-о-Лож и немедленно отправил гонца в Париж, считая, что необходимо предупредить королеву.

Агобера сопровождал врач Жан, по прозвищу Глухой, худощавый, бритый, как епископ, человек в красном колпаке и длинном черном одеянии до пят. По отзывам больных, которых пользовал медик, он понимал толк в клистирах и рвотных средствах. Благоприятное или неблагоприятное течение болезни Жан определял по цвету мочи.

Вместе с врачом явился его ученик, красивый юноша и, судя по черным кудрям и смуглому цвету кожи, итальянец. Он привез мешок с сушеными травами и прочими таинственными снадобьями, а под мышкой держал какую-то медицинскую книгу.

Врача тотчас привели к больному. Король лежал со страдальческим выражением лица; голова его покоилась на зеленой подушке, утопая в ней, как камень; нос у Генриха посинел и заострился, а борода, уже седеющая, сбилась в неприятный клок волос. Епископ Агобер, стоявший у ложа, на котором раньше спал кастелян, сказал нарочито бодрым голосом медику:

– Постарайся поскорее вылечить нашего короля!

Генрих кисло посмотрел на вошедшего, однако Жан поклонился и приступил к обследованию болящего: сначала положил руку на лоб короля, пощупал запястье, стараясь определить по пульсу, насколько сильна лихорадка. Но жара не было. Ощущался лишь страшный упадок сил, изнеможение, усталость от земных дел. Врач подумал, что, может быть, причиной болезни является в данном случае тлетворный печеночный гумор, или, говоря языком непросвещенных людей, желчь, как это часто бывает у стариков, и, задрав королю на голову холщовую рубаху, помял то место, где у человека помещается печень. Король поморщился и сказал:

– Там у меня болит.

Епископ Агобер с испугом посмотрел на медика.

Врач сидел некоторое время у изголовья больного в большом смущении, не зная, какое применить здесь лечение. Даже у графов или епископов недомогания не такие, как у простых людей, а перед ним лежал больной король...

Генрих делал все, что от него требовали, высовывал покрытый белым налетом язык, поворачивался на другой бок и рассказывал подробно, что он испытывает при испускании мочи, но это ничего не дало для определения болезни. Жан снял с головы красный колпак и потер растерянно лоб, но потом опомнился и снова принял важный вид.

Уповая на свою счастливую звезду, ибо всякому известно, что если человеку суждено умереть от какого-нибудь недуга, то он умрет, а если определено исцелиться, то он выздоровеет и без дорогих лекарств, врач решил дать королю то средство, которое он

прописывал страдающим желтухой и которое даже возвращало старцам мужские силы, чем они были очень довольны.

Около часу времени потребовалось на приготовление лекарства. Медикус начал колдовать над пучками трав, выбирая одни, откладывая за ненадобностью в сторону другие; в это время молодой итальянец с веселыми глазами что-то толк с приятным звоном в медной ступе.

Но, занимаясь своим делом, юноша почтительно расспрашивал медика о заболевании короля и о том, какие снадобья собирается прописать он больному. Жан Глухой лишнего не говорил, отделяваясь сведениями общего характера, которые, по его мнению, могли помочь Антонио, как звали ученика, в распознавании болезней.

– Главное, – говорил Жан под бодрый звон пестика в медной ступе, – обращай особое внимание на биение сердца. Как бьется сердце, так бьются и все жилы. По пульсу ты можешь определить род пищи, принятой накануне человеком. Если ты легко определяешь биенье жилы и даже на глаз замечаешь, что удары ее сильные, то такой пульс считается опасным. Если же удары сотрясаются, то такой пульс – острый. Хуже всего, когда пульс бывает слабым. Но обычно он – двух родов: у молодых – тупой, влажный, у стариков – острый, сухой. Весной у всякого человека пульс становится сильнее. Вино тоже увеличивает силу пульса, ускоряет его больше, чем всякий другой напиток, и это тебе необходимо запомнить.

Ученик, повернув лицо в сторону врача, слушал, одновременно действуя пестиком.

– Какой пульс у короля? – спросил он.

– Слабый, сухой.

– А если сделать кровопускание?

– Подумай, что ты говоришь, – рассердился медик. – Кровопускание еще больше ослабит пульс. Наоборот, надо укрепить силы короля. Для этого я и составляю это лекарство.

Генрих покорно проглотил снадобье, поднесенное ему в плоской серебряной чаше, и врач предупредил короля, что он ни в коем случае не должен пить до завтрашнего утра, иначе лекарство превратится в желудке в пары и может повредить.

Уже наступал вечер. С часу на час ожидали прибытия королевы из Парижа. Больной все так же молча лежал на постели, и никто не знал, о чем он думает в своем одиночестве. Даже на вопросы епископа Агобера Генрих отвечал неохотно. Но вскоре его стала мучить жажда, и он попросил воды. Находившийся в это время у ложа недужного медик стал уговаривать короля потерпеть до утра, и тот уступил.

Однако ночью, когда епископ отлучился на некоторое время, а медик, человек уже в летах, задремал в отведенной ему горнице и у постели короля оставался один оруженосец, сын графа де Пуасси, Генрих велел ему принести поскорее воды. Юноша не знал, как поступить. Его предупредили, что болящему нельзя пить до утра. Но король таким не допускающим возражений тоном повторил свое приказание, что оруженосец не посмел послушаться на этот раз и сделал так, как ему было сказано. Больной с жадностью осушил чашу и попросил еще воды...

Казалось бы, все обошлось благополучно. Ночь прошла спокойно, и король даже уснул. Оруженосец тоже захрапел, растянувшись на полу, так как его молодое тело требовало отдыха. Но когда рано утром проведать страждущего явились епископ Агобер и Жан Глухой, они с ужасом увидели, что король мертв.

Епископ зарыдал, упав на колени перед ложем смерти, а медик снял красный колпак, и на лысине у него появились капельки пота. Увы, непоправимое совершилось. Ничего не оставалось, как закрыть усопшему глаза и прочитать латинскую молитву. И тут взор врача упал на пустую чашу, стоявшую на столе. Он взглянул на оруженосца, на котором лица не было, и понял, что произошло. Схватив юношу за руку, Жан потащил его вон из горницы и за дверью стал допытываться:

– Ты дал королю воды, несчастный?

Оруженосец молчал, тяжело дыша.

– Говори, ты дал королю воды?

Вышедший из горницы Агобер всплеснул руками.

– Ты погубил нашего господина! – воскликнул он.

Врач стал спрашивать оруженосца, сколько воды выпил король. Путаясь от страха в словах, юноша рассказал, как все произошло. Однако епископ не поверил ему.

– Ты лжешь! Это враги подослали тебя, чтобы ты подсыпал яду в питье короля.

Все уже забыли о предупреждениях лекаря.

Не очень соображая по молодости лет, в каком отчаянном положении он очутился, Пуасси тем не менее клялся, что сам пил эту воду без всякого вреда для себя. Она была чистая и прозрачная, принесенная из замкового колодца. Конюхи видели, как он доставал ее, приводя в движение вертушку с черпалом на веревке. Но по лестнице уже поднимались, услышав о трагическом событии, графы и рыцари, которые тотчас же схватили оруженосца и увели в темницу, где несчастный должен был оставаться до тех пор, пока не придет королева.

Агобер вернулся в горницу, где находилось тело короля, и долго смотрел на лицо усопшего, такое хмурое при жизни, а теперь совершенно спокойное. Смерть есть естественное завершение бытия. Поэтому недостойно и бесполезно для разумного человека предаваться чрезмерному горю даже по поводу кончины близких людей. Епископ вздохнул и пошел распорядиться относительно гроба и всего, что полагается совершить в подобных случаях. На молодого Пуасси надели железный ошейник, и он плакал, как ребенок, в зловонной подземной темнице.

В это время с замковой башни донеслись звуки рога и послышались крики стража, увидевшего на парижской дороге всадников. Он еще не знал о том, что король умер, и весело орал, приложив ладони ко рту, стоявшим на замковом дворе и обсуждавшим событие:

– Скажите королю, что его супруга спешит к нему. Она уже приближается к замку!

На него замахали руками, чтобы он замолчал.

Тяжело дыша и сдерживая рукой биение сердца, Анна поднялась по винтовой лестнице. Ей уже сообщили о том, что произошло. Наверху царственную вдову встретил опечаленный Агобер. Склонив голову набок и разведя руками, епископ пытался утешить королеву.

– Где король? – тихо спросила Анна, как будто бы Генрих был живым.

– Милостивая королева...

– Где он лежит?

– Здесь, – показал Агобер на дверь, в которую приходилось входить согбенным. – Но покорись воле...

Не слушая епископа, Анна отворила страшно скрипнувшую дверь и увидела труп. У изголовья усопшего горели две церковных восковых свечи...

Генриха I похоронили в аббатстве Сен-Дени, находившемся много лет в личном владении королевской семьи. После положенных молитв и псалмов гроб опустили в яму, вырытую в церкви, недалеко от алтаря. Для этого пришлось вынуть из каменного пола несколько плит. В могиле Анна рассмотрела прах земли – обыкновенный желтоватый песок, но уже столетие не орошаемый дождями и потому такой сухости, что в нем трудно было завестись даже гробовым червям. Потом камешки снова положили прислоненные к стене плиты на старое место и замазали щели известью, старательно очищая испачканные пальцы о собственную одежду... Опечаленная Анна возвратилась с двумя сыновьями во дворец.

По завещанию короля Анна стала опекуншей сына, малолетнего короля Филиппа, вместе с Балдуином. Покойный король не доверял своим графам, способным при первом же удобном случае вновь начать гражданскую войну и устранить Филиппа от престола. К счастью для малолетнего короля и его матери, в первые годы ее регентства никаких волнений не произошло: титул короля Франции действовал на людей как некое магическое заклинание,

и ни один граф не посмел поднять руку на помазанного священным миром отрока... Тем более что Балдуин был могущественным сеньором, а Филипп очень рано стал проявлять недюжинные способности и стремление к самостоятельности. Он даже мальчиком неохотно выслушивал нарекания матери, хотя относился к ней с нежностью. Но едва успела Анна оплакать мужа и обдумать создавшееся положение, как увидела, что Филипп уже не ребенок, а твердо заявляющий о своих правах король, такой же красивый юноша, каким был ее брат Изяслав, хотя и расположенный к полноте. Иногда королева смотрела на Филиппа и спрашивала себя, неужели это тот самый младенец, что плакал, когда она отнимала его от груди.

С юных лет Филипп отличался острым умом, подозрительностью, недоверием к людям, презрением к их слабостям и неразборчивостью в средствах для достижения какой-нибудь дальновидно поставленной перед собою цели. Как и у Генриха I, у него было мало воинских сил, но с самого начала своего правления юный король заставил слушаться себя, и в этом отношении ему помогала мать, так как трудно было избежать сетей ее очарования и не сделать того, чего она хотела. Еще ребенком, играя у ног матери в той горнице, где она имела обыкновение беседовать с епископом Готье о возвышенных предметах, Филипп привык к словам, каких никогда не произносят ни в походе, ни на судилищах обыкновенные люди и даже графы. Но, изучая науки и хорошо зная латынь, юноша без большого уважения относился к болтовне ученых мужей, которые, по его мнению, переливали из пустого в порожнее. Филипп предпочитал песни менестрелей и проделки жонглеров, и никогда еще во Франции не сочиняли столько стихов, как в годы его царствования. Он любил окружать себя молодыми людьми, которые видели в нем не только короля, но и предводителя в веселых проказах и любовных похождениях. Филипп пробовал таким образом прочнее привязать к себе своих сподвижников. Юный король трезво смотрел на окружающий мир, и его язык был резким, а выражения часто площадными. Но суждения короля давали повод думать, что французское проникновение в суть вещей соединилось у него со спокойным русским умом. Филипп никого не щадил в своих высказываниях, ибо считал, что каждый должен отвечать за свои поступки, и в этом отношении не делал исключения даже для самого папы, чем весьма огорчал королеву.

Во время одной трапезы произошел такой случай. За столом сидел Готье, еще более располневший за последние годы. Кроме королевы, епископа и Филиппа, никого на этом ужине не было. Как обычно, разговор шел о предметах, какие с юности интересовали Анну: о сказочном мире, таинственным образом существовавшем в книгах.

Продолжая беседу, Готье поучал:

– Диалектику надо считать искусством искусств и наукой наук. Тот, кто обращается к ней, взывает к разуму. Какое ее самое ценное свойство? А вот... Она дает нам возможность соединять понятие и разделять и снова указать каждой вещи принадлежащее ей место...

Епископ на минуту прервал свою речь, чтобы опять заняться едой. Он держал в обеих руках до золотистости поджаренную утку, которую уже обглодал наполовину; капли жира запачкали его сутану. Потом продолжал:

– Отправляясь от общего, диалектика нисходит до самых единичных явлений, с тем чтобы снова возвыситься до всеобщего, следуя по тем же самым ступеням, по которым происходит нисхождение.

Филипп, с презрительным вниманием слушавший эти рассуждения о возвышенных понятиях, вдруг сказал в гневе:

– Лучше бы ты не обжирался!

Все так же держа птицу, Готье от удивления широко раскрыл рот, поворачивая мясистое, розоватое лицо то к королеве, как бы ища у нее защиты, то к Филиппу.

– Как можешь ты говорить так служителю церкви? – возмутилась Анна. – Подобными словами ты рискуешь погубить свою душу.

Но юный король, уже покончивший со своим цыпленком, вытирая рукой губы, ответил матери:

– Боишься, что он не будет молиться за меня и я не попаду в рай? С меня довольно провести время приятно и на земле.

– О небесном ты не помышляешь... – вздохнула королева.

– Кто-нибудь видел, что есть на Небесах? Вернулся к нам хоть один человек, побывавший в раю? Мало ли что будут рассказывать епископы, – рассердился Филипп.

– Папа, возглавляющий Церковь... – начал было Готье.

– Оставь меня в покое с твоим папой.

Епископ в крайней скорби (у него даже пропал аппетит), впрочем оскорбленный не столько неверием юноши, сколько грубостью его слов, положил недоеденную утку на оловянную тарелку и не знал, что теперь делать со своими руками. Он так и держал в воздухе растопыренные масляные пальцы.

– Кто видел, как пылает адский огонь? – опять ехидно спросил Филипп.

– Сын мой, опомнись! За такие слова тебя могут отлучить от церкви.

Анна вспомнила безбожные речи графа Рауля и его гордыню. Неужели ее сын будет таким же безбожником? Не от него ли он воспринял эту дерзость в отношении к Богу и презрение к людям?

Филиппу не сиделось за столом. Ему едва исполнилось четырнадцать лет, но его уже влекли к себе многие тайны жизни, от приближения к которым сердце начинает биться в груди, как кузнечный молот.

Вскоре Анна покинула Париж и переселилась в милый ее сердцу Санлис, где все признавали ее своей госпожой. Филипп уже не нуждался в ее советах. У него были теперь другие советники и среди них – граф Рауль де Валуа.

Каждый раз, когда Анна подъезжала по лесной дороге к Санлису и вместе с рощей кончался лесной сумрак, а на возвышении возникал серый каменный замок и такие же угрюмые городские стены, за которыми поблескивали на солнце петушки колоколен, у нее радостно и грустно сжималось сердце. Как будто очень давно она уже видела все это, или, может быть, такое приснилось ей и вдруг встретилось еще раз наяву на жизненном пути.

Анна знала, что если подняться на самую высокую из этих башен и смотреть в ту сторону, где стоял замок Мондидье, то при ветре оттуда можно было услышать, как трубят охотничьи рога. Они напоминали Анне, что там живет граф Рауль, неутомимый охотник, не упускавший ни одного случая, чтобы преследовать оленей в далеких голубых дубравах.

Почти у подножия холма, на котором возвышался Санлис, стояла в те годы на берегу прозрачной реки, весело струившейся мимо прибрежных деревьев и цветущих кустов, сельская часовня Викентия Сарагосского, пришедшая в крайнее запустение. Как-то, еще при жизни короля, Анна отдыхала здесь, возвращаясь с охоты, и подумала, что настало время восстановить часовню или построить на этом живописном месте аббатство, чтобы потом найти в его ограде место для погребения, когда пробьет и ее час покинуть земную жизнь. Но в дворцовой суতোлке королева позабыла о благочестивом намерении. Теперь она сделалась полновластной хозяйкой здешних рощ и полей, и вдруг перед нею снова возник тот тихий вечер, когда она сидела на покрытой ромашками лужайке и столько хотела совершить добрых дел. Анна решила привести свое желание в исполнение.

Собственными руками, как некогда старый отец в Вышгороде, когда закладывали церковь во имя Бориса и Глеба, королева вырыла лопатой небольшую ямку и положила в нее камень. Ему надлежало быть основанием будущего здания. На этом месте зодчий, горбун, в одежде, напоминавшей монашескую сутану, с печальными, но прекрасными и ласковыми глазами, как это часто бывает у горбатых, должен был возвести храм. Он показывал королеве планы, начертанные на пергамене, и объяснял с улыбкой:

– Всякое строение имеет четыре стены, в знак того, что люди живут в четырех концах

земли. Каждый камень определяется четырьмя углами, потому что существуют четыре главных добродетели: мудрость, сила, умеренность и справедливость.

Анна старалась припомнить, существует ли что-либо более важное, чем эти душевные качества, перечисленные строителем, человеком с глазами, полными тайны.

– А любовь? – спросила она.

Зодчий с улыбкой покачал головой:

– Любовь не добродетель, а цемент, связующий два человеческих сердца. И если он замешен правильно, никакая сила, даже смерть, не разъединит их.

Королева нашла, что зодчий очень хорошо сказал о любовном чувстве, и у нее почему-то сделалось легко на душе. По-детски хмуря брови, она стала рассматривать план будущего аббатства, пытаясь постичь начертанные на пергамене тонкие линии, красные и черные.

– Что это означает? – показала Анна пальцем с длинным ногтем.

– Различные части строения. Церковь делится на хор и корабль. Хор – только для духовенства, корабль – для мирян, ибо они еще находятся в море суетной жизни.

Не имея привычки к подобным вещам, Анна блуждала в линиях, как в умозрительном лесу.

– А это? – спрашивала она в недоумении.

– Стены здания.

– Почему же они лежат?

– Все нарисованное на плоскости скорее кажется положенным на землю, чем поднимающимся вверх. Так и стены. Они на чертеже простерты ниц, и телесное око не в состоянии увидеть их. Поэтому все это следует испытывать разумением сердца. Ведь план не есть точный слепок строения, а лишь совокупность знаков, читаемых мысленно. Как лучше объяснить это? Представь себе, будто бы ты смотришь на какое-нибудь строящееся здание с высокой башни. Тогда ты увидишь не только площадь пола, но и стены с внутренней стороны. Как бы некий раскрытый перед тобою ларец. Именно так надо взирать на план.

– Где ты научился такой строительной премудрости? – удивлялась королева.

– В Клунийском аббатстве. Камнестроению учил меня один итальянский зодчий. Он принес чертежи из монастыря, расположенного на реке Фарфе, недалеко от Рима, и показал, как надо возводить свод. Распределение всех частей храма этот строитель производил на примере Ноева ковчега и скинии Завета.

– Как же надо приступать к возведению церкви?

– О, это великая тайна. Не осуди меня за подобный ответ, но даже тебе я не имею позволения открыть ее.

– Жаль. Тогда бы мне было легче понять твои замыслы, – грустно улыбнулась королева.

– Я предварительно сделаю подобие храма из послушного пальцам воска. Со всеми церковными частями и в полном соответствии с подлинным зданием. Постараюсь вылепить эту модель с красотой, достойной ангелов и сонма святых.

– Но воск недолговечен.

– Когда он растает от солнца, храм уже будет создан из прочного камня. А такое подобие поможет тебе обсудить соотношение отдельных частей, их число и порядок, поверхность каменных стен и прочность сводов и крыши.

Все-таки Анне было досадно, что она не в состоянии проникнуть в тот творческий мир, где горбун создавал в своем воображении прекрасные громады.

Строитель продолжал объяснять:

– Смотри! Здесь мы поставим статую Девы Марии, а в этом месте купель для крещения младенцев, наполненную водою.

Королева спросила:

– И все это ты узнал, изучая скинию?

– Читая мысленно ее чертеж на плоскости. Скиния была как прямоугольник, длиной в

тридцать локтей, шириной – в десять. В одном конце находилась за четырьмя колоннами святая святых. Подножие их из серебра, главы – из золота. Между ними – пурпуровая завеса. Вокруг ограда, чтобы козы и ослы не могли проникнуть в святилище. Так я начал строительную науку...

– Странное создание человеческих рук эта скиния...

– Еще более скрыто чудес в храме Соломона. Когда великий зодчий Хирам строил его, он сообщил каменщикам тайные слова. Мастерам – одно, подмастерьям – другое, ученикам – третье. При получении платы за труд они шептали на ухо выдающему деньги свое слово, и каждый получал положенное ему.

Королева вздохнула, еще раз очутившись перед загадками мира, и, легко ступая мягкими башмачками по тропинке, отошла к строителям. Горбун долго смотрел ей вслед. Анна научилась у греческих цариц делать походку привлекательной, и женская красота наполнила сердце горбуна неизъяснимой печалью.

Время текло как вода. Среди санлиссских лужаек прелестным видением выростала изящная церковь. Но она была прочным созданием человеческих рук. Сияя черными, как ночь, глазами, горбун говорил Анне:

– Колонны необходимо сделать достаточно мощными, чтобы они могли до скончания века выдержать тяжесть сводов.

Теперь уже приходилось высоко поднимать голову, чтобы посмотреть туда, где работали каменщики.

– Внизу будет усыпальница, – объяснил строитель.

Анне опять пришла в голову мысль, что, может быть, именно здесь назначено ей лечь под тяжким камнем гробницы, на которой молодой каменотес выбьет ее имя и годы рождения и смерти. Но среди такой красоты, на берегу этой струящейся по белым камушкам прозрачной и веселой реки, не хотелось думать о печальном. Вокруг все было усыпано белой кашкой. Над цветами боярышника гудели пчелы. В роще трижды прокуковала кукушка и умолкла...

По совету епископа Готье, в новое аббатство Анна пригласила на жительство монахов регулярного ордена Августина, у которых куколь цвета крови.

По-прежнему королева приходила каждое утро на место строительства. В такой час травы еще были покрыты обильной росой, тропинка извивалась среди белых цветов, склонивших головки под тяжестью ночной влаги. Над синей рощей, завешенной дымкой тумана, уже поднималось солнце. На лужайке дымились костры. Около одного из них растрепанная старуха мешала в закопченном котле деревянной поварешкой варево для каменотесов. Прикрыв глаза ладонью, она долго всматривалась в сторону города и, увидев королеву, радостно воздела руки к небесам.

Работы по возведению церкви не прекращались до наступления сумерек, и каменщики спали у костров, чтобы с первыми лучами солнца взять в руки молоток и резец. Из окрестных селений и даже из отдаленных областей люди пришли сюда, чтобы безвозмездно принять участие в работах по возведению здания. Одни тесали камень, другие лепили кирпичи, третьи замешивали известь, а каменотесы выбивали железом капители колонн. Никто из них не мог вложить в этот труд больше того, что ему было отпущено при рождении; каждый руководствовался в своем искусстве собственным пониманием красоты, поэтому никогда одна капитель не походила на другую: то ее украшал гигантский трилистник, то листья дуба и желуди, которые мастер мог подсмотреть на соседнем дереве, то цветы, какие художник, может быть, видел во сне. Подобное же происходило и с химерами, отгонявшими на колокольне злых духов, и с резьбой на портале. У всех людей явно чувствовалось стремление выразить в этих каменных вещах самые сокровенные мечтания и запечатлеть в них хотя бы малую частицу своего бытия... Те же, кто не умел держать в руках резец или не мог тесать камень, выполняли другие работы: обжигали кирпичи, собирали хворост в

соседнем лесу или варили пищу для строителей, но все трудились по мере сил, а когда наступала ночь, под сенью дубрав и на лужайках, покрытых ромашками, слышались любовные вздохи. Это была жизнь.

Анна ежедневно наблюдала за работами. Особенно королеву занимал труд одного юноши, выбивавшего равномерными ударами молотка по железному зубилу женскую фигуру на каменной плите. Это было ее собственное изображение, предназначенное для украшения портала. По мысли художника, она держала в руках подобие храма и как бы препоручала его покровительству Богородицы, восседавшей на троне.

Работа казалась на первый взгляд неисконной, почти детской. Но чем прилежнее смотрела Анна на это создание резца, тем более узнавала свои черты. Молодой каменотес трудился с пламенным увлечением и, чтобы длинные белокурые волосы не мешали, ему, укрепил их узким ремешком. Иногда он поднимал глаза на королеву, пытаясь передать ее красоту в камне, однако рука его еще не могла с легкостью изобразить окружающий мир и прекрасное, что заключалось в нем.

К церкви примыкала колоколенка. Кузнец из соседней деревни выковал для нее веселого медного петушка, чтобы он раньше всех приветствовал восход солнца.

В 1065 году церковь была закончена, и вокруг аббатства постепенно выросло целое поселение. Анна часто приходила сюда для беседы с монахами, и те всячески намекали на свою бедность. Королева решила передать монастырю водяную мельницу в Гувье, земельный участок в Блан-Мезаль, что неподалеку от Бурже, и еще одно угодье, расположенное в Крепи, а также предоставила аббатству право требовать от жителей Санлиса возы для перевозки монастырских грузов, что имело немаловажное значение для его хозяйства.

Когда Анна спросила у Филиппа, который уже был для нее не только сыном, но и королем, не имеет ли он что-нибудь возразить против ее благочестивых намерений, тот ответил, пожимая плечами:

– Ты можешь поступить как тебе угодно. Эти имения – твое достояние.

Сам Филипп относился к монахам и монахиням без должного уважения, считал первых бездельниками, а вторых – распутницами, и церковные люди платили ему тою же монетой, распространяя о короле всякие небылицы, хотя жизнь его действительно не отличалась большой святостью и воздержанием.

Получив разрешение от сына, Анна привела свое желание в исполнение и сама составила дарственную хартию, ученические ошибки в которой исправил, добродушно покачивая головою, Готье, доживающий последние дни на земле, правда еще не лишившийся аппетита и растерянно шептавший в часы одиночества латинские вирши, хотя и не думал о том, что на пороге смерти христианину надлежит покаяться и смириться...

Передача дара происходила в трапезной аббатства, в присутствии монахов, стоявших с лицемерно опущенными долу глазами, а в душе ликовавших. Филипп сидел рядом с матерью и откровенно зевал. Королева для вступления в деловую часть хартии взяла несколько строк из «Песни песней», так как любила трогательную историю пастушки Суламифи, возлюбленной царя Соломона, и намекала этим текстом о своей привязанности к вертограду Божьему. Она с блаженной улыбкой слушала, как писец, лысый, наделенный от природы скрипучим голосом и не постигавший, какую прелесть таят слова, которые читал, громогласно возглашал:

– «Veni de Libano et coronaveris...»<sup>13</sup>

Со дней юности Анна мечтала о такой любви и завидовала смуглянке, чьи перси возлюбленный сравнивал в аравийской пылкости с гроздьями винограда. Это происходило в какой-то райской стране, среди лоз, где бегали проворные лисицы. Об одной из таких любительниц винограда Эзоп написал забавную басню...

– «Ego autem Anna corde intelligens quod scriptum est...»<sup>14</sup>.

Анна подумала, что пастушка стерегла зеленый сад братьев от лисенят, а своего виноградника не уберегла...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Как в некоторых поэтических сагах, которые скальды рассказывали в Киеве дочерям Ярослава, все началось с ночного пения петухов. Затем страж на башне протяжно затрубил в рог, возвещая приход утра. Анна проснулась и поспешно подошла босыми ногами к окошку, чтобы удостовериться, будет ли сегодня погода благоприятствовать охотничьим забавам. Глубокий провал замкового двора еще наполняла тьма, но из окна на другой стороне опочивальни королева могла видеть, что на востоке уже занимается розовой полоской заря. Рощи скрывала предутренняя мгла, но в полях еще стлались ночные туманы, а каждому поселянину известно, что это предвещает солнечный день.

Вскоре внизу с веселым остервенением залаяли собаки. Их выпустили из псарни во двор, чтобы хорошенько осмотреть перед отправлением на охоту. Анна прошептала славянскую молитву, которой ее научил в детстве пресвитер Илларион. Милонегга принесла кувшин с водой из замкового колодца, и госпожа, подставив сложенные корабликом руки под живительную струйку, умыла лицо. Королева торопилась. Но перед тем как надолго покинуть дом, необходимо было подкрепиться пищей. Она велела принести кусок холодного мяса на ломте пшеничного хлеба и запила еду молоком.

Все существо Анны охватывала приятная дрожь, когда она представляла себе, что ее ждут знакомые волнения лова, ветер в полях и дерзкие глаза Рауля. Когда Анна думала об этом вассале, ей хотелось потянуться в истоме и смеяться, – чему, она сама не знала. А граф был семейным человеком, его жена, деятельная Алиенор, учила королеву солить впрок грибы. Но разве слушается женское сердце благоразумных советов? Впрочем, с некоторых пор Рауль жил в размолвке с супругой. Что-то произошло в замке Мондидье, и графиня уехала погостить в Париж. Алиенор считалась второй женой графа. От первой у него росли два сына.

Анна спустилась во двор, и все сняли перед нею шляпы. Подошел старый ловчий, служивший еще королю Роберту, и доложил, что все готово к отправлению на охоту. Действительно, лошади были уже оседланы; они грызли удила, фыркали, били копытом о землю. Паж Гийом, счастливый, что сегодня ему выпала эта честь, подвел серую в яблоках кобылицу, которой королева дала русскую кличку Ветрица, в память первой своей лошади. Когда Анна проехала мимо собак, они дружно замахали упругими хвостами, – все как на подбор белые с рыжими подпалинами, с радостными янтарными глазами.

Подковы зацокали о камни улицы, спускавшейся с холма. Над головой на мгновение повис каменный свод, отлично выпавшиеся за долгую осеннюю ночь стражи с удовольствием смотрели на свою добрую королеву. Кавалькада всадников выехала из городских ворот, и за стенами туманное утро как бы приняло охотницу в свои объятия.

Дорога проходила мимо огородов, на которых монастырские сервы уже сняли овощи и разворошили землю мотыгами. Кое-где оставались кочерыжки капусты...

Анна сидела на коне, как в те дни стали ездить все благородные дамы: свесив ноги на одну сторону, удерживая тело в седле легким отклонением плеч. Но некоторые из сопровождавших ее женщин ехали сидя по-мужски; среди них были благоразумные девы, ушедшие вчера в опочивальни вместе с курами, и неблагоразумные, засидевшиеся за столом.

Впрочем, и те и другие имели такой вид, точно провели ночь легкомысленно и не выспались.

За поворотом дороги показалось аббатство. Анна по привычке посмотрела на свое изображение над порталом. Веселые собаки бодро бежали к дубраве, высунув розовые языки, махая хвостами и принюхиваясь к земляным запахам. Позади переговаривались грубыми голосами охотники и псаря. Все это, и даже старые рога, окованные избитой от долгого употребления медью, напоминали о Вышгороде и русских ловах. Но когда Анна с высоты кобылицы увидела, как монахи в красных куколях шли попарно в церковь, засунув руки в широкие рукава сутан и опустив благоприлично головы, все снова стало Францией...

Впрочем, сегодня королеве было не до монахов и благочестивых бесед. Она все дальше и дальше гналась за этим туманным утром, догоняла его, а оно как бы удалялось к далеким рощам и уходило в сырые поля. Охотники перебрались по горбату каменному мосту, построенному еще в римские времена, и очутились в тихой дубраве, где вдруг пахло осенней сыростью.

Уже над лесом всходило солнце. Порой утренний луч играл на радужной паутинке, зацепившейся в своем легком полете за дубовую ветку. Кое-где на кустах уже поспели красные и черные ягоды, какие собирают только колдуньи, потому что в этих плодах прозябает страшный яд, причиняющий мучительную смерть. С полей прилетал свежий ветерок, и еще один лист медленно падал на землю. Всюду пахло опавшей листвой, грибной сыростью и лесной гнилью.

На голове у Анны была, как обычно, парчовая шапочка, опушенная бобровым мехом. Привезенная из Киева уже давно пришла в ветхость, но для королевы шили другие, по ее указаниям. Две рыжих косы лежали на высокой груди. Рассеянно отвечая на вопросы, охотница чего-то ждала. Вдруг далеко впереди послышались протяжные звуки рога. Это подавал о себе весть граф Рауль, и Анна поскакала на зов, уже для удобства по-мужски сидя в седле и ловко наклоняясь под ветками деревьев.

Весь день охотники бесплодно преследовали прекрасного зверя. После таких неудачных охот в волшебных сказках появлялись олени с крестом между рогами и вели короля или рыцаря к тому месту, где вдруг открывалось чудесное видение, вроде мраморного дворца, в котором ждала избавителя спящая красавица.

Увы, несмотря на желание Анны, чтобы в ее жизни произошло что-нибудь необыкновенное, ничего не случилось, что могло бы вдохновить певца. Елизавету воспел Гаральд. Может быть, и Филипп сложил о ней стихи после того, как они расстались и она уехала во Францию. Но где эти песни и кто слушал их? И вот неожиданно вспыхнуло чувство, которое Анна заглашала, пока носила корону. Конечно, Рауль не походил на тех воинов, о которых она читала в юности. О нет, это был жестокий и жадный человек, за всю свою жизнь не державший ни одной книги в руках, кроме молитвенника, и наделенный невероятной гордыней. Современники ужасались, записывая в хрониках, сколько крови пролил и сколько мирных селений сжег на своем веку этот сеньор, владелец неприступных замков в Крепи, Перроне, Вермандуа, Витри и Мондидье, господин многих тысяч сервов. Иногда он вел себя как сатана. Например, в 1066 году лишь потому разграбил во время набега и предал огню город Верден, что епископ верденский не уплатил ему положенной дани в размере двадцати ливров, а до этого угнал у него восемнадцать коров и не возвратил, несмотря на требования короля.

Анна иногда встречалась с этим красивым и гордым графом на судебных разбирательствах, на королевских советах или на пирах. Однако лишь после смерти короля она появилась перед ним как свободная женщина, так же страстно предающаяся охотничьим забавам, как и граф. Рауль дождался своего часа. Но, кажется, впервые в жизни у него не рождались похоть и хозяйственные расчеты, когда он смотрел на Анну или слушал ее беседы с епископом Готье о труднодостижимых вещах. Королева не походила на других женщин и на его супругу, полногрудую Алиенор. Рауля влекло к Анне, как в глубокую воду. Рауль почел

бы за счастье упасть перед королевой на колени и поцеловать край ее платья. Так он и поступил однажды, когда случайно остался наедине с госпожой в одном из дворцовых помещений. Анна отступила на шаг и тихо сказала:

– Не забудь, что я королева Франции!

Но с той поры она ловила рассказы о графе Рауле. Конечно, никто не решался говорить с королевой о жестокости или жадности графа, наоборот, все прославляли его мужество, храбрость и богатство, и Анна более тщательно выбирала платье, опрыскивала свое горячее тело благовониями, если предполагала встретиться с этим уже не очень молодым человеком, хотя уверяла себя, что он для нее такой же рыцарь, как все другие. Она чувствовала на себе взгляды Рауля, но делала вид, будто его поведение докучает ей, а ее сердце наполнялось томлением при одном воспоминании о графе! Не потому ли, что каждой женщине суждено хотя бы раз в жизни испытать подобную бурю любви? Между тем в хищной душе Рауля происходили с годами странные перемены. Некоторые удивлялись, видя, как на лице у него самодовольство и гордыня постепенно сменялись чувством тревоги и даже разочарования. Как бы то ни было, граф узнал о существовании в мире таких вещей, какие невозможно приобрести ни за какие сокровища и которыми нельзя завладеть силой, и впервые усумнился в своем могуществе.

В тот день Анна и граф Рауль сидели на колоде огромного дуба, поваленного на землю пронесшейся здесь много лет тому назад бурей. Спутники и спутницы, принимавшие участие в лове, уже возвратились в Санлис. Невдалеке четыре коня щипали спокойно траву под присмотром графского оруженосца Гуго и пажа королевы, пятнадцатилетнего Гийома. Воспользовавшись случаем, молодые люди играли в кости, и всякий раз, удачно выбросив пятерки и шестерки, Гийом разражался звонким и еще детским смехом.

Королева вдовствовала второй год. Она находилась в полном расцвете своей красоты, между тридцатью четырьмя и тридцатью пятью годами, способная внушить любому человеку пламенную любовь и разделить ее. Несмотря на неудачную охоту, Анна была в хорошем настроении и шутила с графом, не находившим слов, чтобы отвечать на ее острые уколы. Вообразив, что эти шутки дают ему теперь право на обладание, Рауль вдруг протянул руки и, не обращая внимания на юношей, прекративших игру и повернувших головы в ту сторону, где сидела королева, сжал молодую женщину в бесстыдном объятии. Кровь застучала у него в висках.

Королева вырвалась и, тяжело дыша, сказала:

– Знаю, что ты никого не боишься... Но молния поразит тебя, если ты еще раз прикоснешься ко мне!

В этих словах звучало такое убеждение в своей неприкосновенности, что граф опустил руки, как провинившийся мальчишка.

Граф не был достаточно вдумчивым, чтобы понять, что, если бы в эти мгновения на земле стояла темная ночь, прикрывающая женскую стыдливость звездным плащом, а не светил ослепительный день, Анна, может быть, не сказала бы этих горделивых слов и он получил бы все, чего добивался. Теперь же она отвернулась и смотрела на лужайку, где паслись кони. Скорбно сжав губы, королева молчала. Рауль сидел рядом. Он чувствовал ее запах – смесь здорового пота и греческих благовоний. На Анне было голубое платье, и граф удивлялся вкусу этой красавицы, носившей на охоте одежду подобного цвета. Чтобы скрыть свое смущение, хотя столько графинь были благодарны ему при таких же обстоятельствах за страсть и смелость, он спросил:

– Скажи, почему ты носишь эту странную шапочку из парчи? Ни одна из благородных французских дам не носит такой.

– Разве я похожа на других женщин?

Подняв голову, Анна свысока посмотрела на Рауля.

– Не похожа.

- Вот видишь!
- Она на твоей голове как корона!
- Такие шапочки носят русские принцессы.
- А графы?
- И графы. Разве ты не видел во дворце икону, где изображены наши мученики княжеского рода?
- Нет, я не видел.
- На них такие же шапки.

При французском дворе хорошо знали, что Анна – родственница святых, предстоящих у престола Всевышнего, и это обстоятельство еще больше делало ее в глазах людей необыкновенной.

Анну давно влекло к этому сильному человеку. Но книги, за чтением которых она проводила порой, как и старый отец, ночи напролет, рождали у нее тоску по великолепной любви. А между тем как все просто было на земле: мужчина обнимал женщину, и когда она, воспламенная своим женским естеством или уступая силе и необходимости, отдавалась ему, он удовлетворял свое желание и храпел или тут же покидал любовницу и на пирушке бесстыдно рассказывал приятелям о ее прелестях.

Совсем другая жизнь – в книгах и сагах. Там люди любили друг друга с нежной страстью и были верны до гроба; там прекрасные юноши пели под окнами своих возлюбленных, играя на кифаре; там в садах росли книжные цветы, которые назывались розами, каких она нигде не видела в королевских садах; там женщин сравнивали то с цветком, то с утренней зарей, то с белым лебедем, то с кораблем. Недавно она со слезами на глазах прочла книгу, которую прислал с путешествующим купцом брат Святослав. Она называлась «Приключения Дигениса Акрита». Совсем недавно ее список приобрел в Константинополе русский посланец и привез князю Святославу, а тот, не без любопытства прочитав повесть и даже подивившись описанным в ней подвигам, решил послать сочинение Анне, зная, что она любит читать про любовь. Сам князь предпочитал хроники и философские рассуждения.

Теперь Анна вспомнила об этой истории и сказала со вздохом:

– Мы живем в грубости, как бессловесные. А существуют высокие чувства, которые, может быть, не испытаем до смерти.

– О чем ты говоришь? – не понял граф Рауль.

– Недавно читала я в дождливые дни книгу. В ней рассказывается о необыкновенной любви. Это было в греческой земле, за синим морем. Где греки воюют с сарацинами. Там горы поднимаются до самого неба, а лужайки покрыты лазоревыми цветами.

– Что же случилось там?

– Там жила вдова царского рода. В свое время она произвела на свет трех могучих сыновей, прославившихся своими подвигами, и дочь, блистающую необычайной красотой. Услышав о ней, Амир, царь Аравийской земли, собрал множество воинов и начал войну с греками. Однажды мать молилась в церкви, а в это время Амир увидел прекрасную деву, тотчас же полюбил ее и увез на своем быстром коне в неприступный замок, возымев желание сочетаться с красавицей браком.

– Как может быть, чтобы сарацин женился на гречанке? Ведь греки христиане?

– Послушай меня с терпением! Братья стреляли лебедей, когда Амир похитил их сестру. Но, вернувшись с охоты домой и обнаружив похищение, они, как три золотокудых ястреба, полетели на бой с Амиром и после ужасного сражения отбили сестру. Царю ничего не оставалось, как нагрузить триста верблюдов золотом и драгоценными камнями и отправиться с этими дарами в греческий город, где жила красавица. Там Амир принял крещение от самого патриарха в реке Евфрате и женился на своей возлюбленной. И вот что произошло потом! В назначенное время у счастливой четы родился сын, которого назвали

так: Дигенис Акрит. Дигенис – значит двоеродный, так как он происходил от сарацина и гречанки, а что означает слово Акрит, я не знаю. Кажется, пограничный житель.

Граф Рауль с интересом слушал эту историю, в которой принимали участие даже верблюды. Ему никогда не приходилось видеть таких животных, но возвращавшиеся с Востока пилигримы рассказывали, что у верблюдов чудовищные горбы и что они наделены многими желудками, поэтому могут три дня обходиться без водопоя и по этой причине приспособлены для длительного передвижения в безводных пустынях. Все было смутно в его представлениях о мире. Где-то там протекала река Евфрат и был расположен рай, дорога в который уже заросла для людей непроходимыми терниями...

Оруженосец и паж продолжали метать кости. Они могли предаваться этому занятию целыми часами с неослабевающим интересом.

– Но послушай, что произошло дальше! Дигенис вырос и превратился в красивого юношу с черными кудрями. Глаза у него блистали, как две чаши. Он научился читать и писать, красиво говорить и петь, сопровождая свое пение игрой на кифаре. Дигенис изучал также науку о звездах и умел различать полезные для врачевания травы. А когда юноше пришлось сделать рыцарем, отец подарил ему белого как снег и быстрого как ветер коня, и Дигенис стал предаваться звериным ловам и воинским упражнениям. Он во множестве убивал оленей, вепрей и даже львов, но презирал охоты на зайцев. А потом, подобный розе, садился на коня и возвращался в свой дворец, целиком построенный из мрамора. Гриву его скакуна украшали золотые колокольчики.

– Но разве бывают дворцы, целиком построенные из мрамора? – сомневался граф Рауль.

– Тот дворец, в котором жила Евдокия, дочь греческого военачальника, выглядел еще прекраснее. Когда юный Дигенис Акрит проезжал под окном Евдокии, он брал в руки кифару и пел о том, что юноша, страстно влюбленный в красавицу и желающий обладать ею, но не видящий милых прелестей, тоскует днем и ночью...

– А разве я не тоскую днем и ночью? – перебил Анну граф.

– Он не был таким нетерпеливым, как ты, и добивался обладания любимой нежными мольбами. Только так можно настроить женщину для любви, как многострунную арфу.

– Разве я не обращаюсь к тебе с нежной мольбой?

Анна отстранила графа руками.

– Лучше послушай, что было потом.

– Что же было потом?

– Дигенис Акрит воевал с сарацинами, побеждал полчища врагов и приводил тысячи пленников. Но он не мог забыть прекрасную Евдокию и каждый раз, когда проезжал мимо ее дворца, пел и играл на кифаре. Однажды девушка, забыв об осторожности, спустилась к нему по мраморной лестнице, и Дигенис поднял Евдокию, как ребенка, посадил на своего коня и умчал красавицу.

Анне вдруг захотелось, чтобы и в ее жизни случилось нечто подобное, чтобы и ее увезли в далекие края.

– А кто меня похитит? – прошептала задумчиво Анна, не зная еще, что этими опрометчивыми словами она подписала свой приговор. Королеве в голову не приходило, что граф осмелится снова посягнуть на нее, и она уже забыла об осторожности, с какой держала себя возле этого страшного человека. Она не заметила, что граф вновь переживает бурю в своем сердце. Анна мечтала. А Рауль запутался в нежных тенетах Анны, как зверь в охотничьей сети, и чем больше пытался разорвать путы, тем сильнее покоряла его странная женщина, не похожая ни на одну из тех, которых он целовал. Но, не имея привычки размышлять, граф не спрашивал себя, почему же именно к королеве испытывает подобное чувство. А в эти минуты любовь Рауля снова превратилась в телесное влечение. В своей рассеянности Анна не видела, что приближалась гроза... Лицо графа потемнело. Он тяжело

дышал.

Наклонив голову, как бык, у которого кровь застилает зрение, граф схватил Анну и, прежде чем она успела крикнуть, легко поднял ее на воздух.

– Гуго! Коня! – прохрипел он.

Оба юноши вскочили на ноги и смотрели, раскрыв рты, на то, что происходит у поваленного бурей дерева.

– Коня!

Голос у графа сделался таким пронзительным, что Гуго, как на поле битвы, бросился стремглав к белому жеребцу, схватил за повод и бегом привел к своему сеньору. Анна теперь отчаянно билась в сильных руках Рауля и с искаженным от негодования лицом напрасно зывала о помощи к пажу:

– Гийом! Гийом!

В ужасе от того, что происходит, мальчик, еще по-детски тонкий и хрупкого сложения, сжимал непривычные к дракам кулаки. Он не имел при себе никакого другого оружия, кроме ножа, которым помогал охотникам потрошить туши убитых животных. Но паж победил наконец свое оцепенение и поспешил к королеве, повторяя растерянно:

– Я здесь, госпожа! Я здесь!

Но граф грубо оттолкнул Гийома ударом ноги, и юноша упал. Графский конь, прижавший уши от этой суеты, кружился на одном месте и не давался всаднику, руки которого были отягощены сладостной ношей. В конце концов Раулю все-таки удалось положить Анну на шею коня. Из-под голубого платья, узкого в груди и широкого внизу, чтобы удобнее было ездить верхом, в воздухе на мгновение мелькнули обнаженные ноги, блистающие белизной... Чулки у королевы были красного цвета, подвязанные под коленами золотой тесьмой.

Уже Гийом со стоном поднялся с земли и протянул руку, чтобы схватить стремя, в которое граф успел поставить ногу.

– Что ты уставился на меня, как осел! – крикнул своему оруженосцу Рауль. – Помоги же мне, сатанинское отродье!

Гуго помог господину вскочить на плясавшего коня. Взволнованный жеребец косил черным глазом и с железным скрежетом грыз удила, чувствуя хребтом двойную ношу.

– Гийом! – зывала Анна, продолжая вырываться из объятий графа. – Где ты, Гийом!

Как будто этот пятнадцатилетний отрок мог защитить ее от обидчика!

Верный паж, считая, что он обязан явиться на призыв госпожи, обнажил нож и кинулся на графа, готовый нанести удар, но не смел прикоснуться к самой королеве, отнимая ее у похитителя.

– Хочешь, чтобы я зарезал тебя, как поросенка! – вдруг завопил на юношу Гуго и наполовину обнажил меч...

Холодный блеск оружия напомнил о смерти. Это был боевой клинок, с зазубринами от ударов о железо и человеческие кости; на нем виднелся желобок для стекания крови...

Граф Рауль уже прищпорил коня и помчался в ту сторону, где находился неприступный замок Мондидье. Он крепко сжимал Анну, потерявшую сознание, и даже не потрудился оглянуться на схватку оруженосца с пажом. А Гийом совершенно обезумел, видя, что граф, как вор, похищающий овец во время набега, увез его королеву...

Паж считался сыном благородных родителей, они не простили бы ему такого позора, и, с ножом в руке, он крикнул Гуго:

– Защищайся, или я тебя убью, как собаку!

Оруженосец, двадцатилетний рыжий верзила, длинноносый, с низким лбом в морщинах, то бросал тупой взгляд на пажу, то поворачивал голову туда, где среди деревьев развеялся красный плащ графа. Он, очевидно, с трудом соображал, как надо поступить в подобных обстоятельствах, так как никогда не был в таком положении. Но, не придумав

ничего лучшего, Гуго выхватил меч и ударил Гийома, не решавшегося нанести первым удар. Паж упал с предсмертным криком, успев поднять руки и закрыть лицо, точно устыдясь, что мир так жесток и коварен. Белый его плащ, недавний подарок королевы, обильно обагрился кровью. Гуго грубо сорвал его с плеч юноши, хотя Гийом еще дышал. Затем оруженосец устремился к коням. Ему хотелось, конечно, как это полагалось по древнему обычаю войны и поединков, завладеть всей одеждой пажа – снять колет, кожаный пояс и обувь, – но он опасался замешкаться. Надо было догонять графа. Гуго вскочил на коня, скосив глаза на истекающего кровью Гийома, и в этом взгляде никто не заметил бы ни злорадства, ни сожаления. Сегодня тебя поразил меч, а завтра, может быть, настанет моя очередь! Пришпорив жеребца, Гуго поскакал вслед за сеньором, уже скрывшимся в дубах. Однако в своем замешательстве оруженосец не забыл захватить коней Анны и паж.

Спустя некоторое время Гуго удалось догнать графа, конь которого нес двойную ношу и вскоре стал убавлять ход. За дубравой дорога сворачивала к замку Мондидье. Граф, крепко прижимая Анну к груди, оглянулся на мгновение и снова погнал жеребца.

Оруженосца в эти минуты беспокоило лишь одно: отдаст ли ему граф коня паж, как военную добычу, или возьмет себе. Но плащ, во всяком случае, принадлежал тому, кто победил в поединке, и Гуго даже успел попробовать на скаку добротность материи... Кровь же можно было отмыть в горячей воде с золою.

## II

Жизнь в Мондидье была скучной и неудобной. Однако граф Рауль облюбывал этот сильно укрепленный замок, где чувствовал себя в полной безопасности, и именно сюда привез пленницу из санлиских лесов.

Впервые в жизни Анны произошло необычайное событие. Вскоре душа ее успокоилась, и, покорившись вечной женской участи, она уже отвечала на ласки Рауля привычными поцелуями. Но испытывала стыд перед сыновьями. Однажды в Санлис приехала королевская охота, и графа вызвали туда для объяснений. Когда он вернулся после свидания с сюзереном в замок, Анна спросила:

– Что тебе говорил Филипп обо мне?

– Не высказывал никакого недовольствия. Ограничился легкомысленной шуткой. Ты знаешь его...

Все-таки она некоторое время не решалась встречаться со своим язвительным в суждениях сыном.

Замковый двор в Мондидье напоминал глубокую каменную яму: его сжимали с четырех сторон огромная башня, капелла, помещение для воинов и другое башенное строение, где хранили всякие военные припасы, пики и глиняные, обожженные на огне шары для пращей. Внизу находились погреба, кузница, в которой подковывали лошадей, конюшня, где иногда тоскливо ржали боевые жеребцы, а также печь для выпекания хлебов и поварня с огромным очагом в копти и саже и высоким дымовым ходом. В главной башне, в подземелье, куда вели двадцать скользких ступенек, зияла черной дырой замковая темница. Там стоял вечный мрак, в изобилии развелись крысы и жабы, и порой отвратительный смрад доносился из узилища до жилых горниц. Если туда бросали какого-нибудь пленника, в надежде получить за него выкуп, или схваченного на месте преступления злодея, ему надевали железный ошейник и засовывали руки и ноги в мучительные колодки. В нижнем ярусе обитали оруженосцы и любимые псы, а в верхних – семья графа. Окна в этих помещениях были скупые, и мутноватое стекло плохо пропускало свет; такое новшество обходилось не дешево, и подобные кругляшки привозили за большие деньги из Италии и Богемии.

Жизнь в замке начиналась на заре, когда страж трубил на башне в рог о наступлении нового дня. Раньше всех поднимались слуги и конюхи. Переругиваясь и сквернословя, они

приступали к работе и чистили скребницами графских коней. Оруженосцы приводили в порядок оружие. Когда все было в полном порядке, кто-нибудь из них поднимался в верхнюю опочивальню, чтобы разбудить господина и подать ему в медном сосуде воду для умывания. В этот утренний час графиня еще лежала в постели, под одеялом, не скрывавшим округлость ее бедер, но молодые люди опасались задерживать свой взгляд на госпоже, чтобы не навлечь на себя страшный гнев графа. Умываясь, он спрашивал обычно хриплым еще голосом о чем-нибудь важном. Например, о том, оценилась ли лотаргинская овчарка или приехал ли в Санлис король.

По большей части графские оруженосцы, сыновья родовитых рыцарей, были красивыми и стройными воинами, с телами, точно вылитыми из бронзы, с золотыми, падающими на плечи кудрями, и по утрам располневший граф смотрел на них с завистью, а графиня думала при виде красавцев, что и они тоже состарятся, потому что молодость проходит, как сон. Но если воду приносил Гуго, она отворачивалась к стене, чтобы не видеть его наглых и зверских глаз, зная, что этот любимец Рауля, беспрекословно выполнявший любое его приказание, убил бедного Гийома...

Настал еще один зимний ненастный день. Анна сидела у очага, поглаживая белую собаку. Несколько таких длинномордых псов, с высоким пахом и мощной грудью, прислал в подарок Генриху ее отец, и французы называли их по-русски – борзыми. Сегодня Анна в десятый раз прочла книгу о приключениях Дигениса Акрита и скучала, мечтая, чтобы в замок заглянули какие-нибудь бродячие жонглеры или фокусники. Рауль сражался в шахматы с местным кюре. Граф выигрывал партию и потому напевал песенку:

Когда я молод был,  
Лизетт я полюбил...

Действительно, черная королева находилась в затруднительном положении, и партнер, игравший черными, в досаде чесал затылок: он проворонил одну фигуру.

Кюре, по имени Антуан, был тот самый служитель алтаря, с которым имел однажды столкновение на любовной почве жонглер Бертран, закончивший свои дни при весьма печальных обстоятельствах. Лиловый нос священника красноречиво свидетельствовал о его склонности к соку виноградной лозы. Этот невежественный человек, с кулаками как кузнечные молоты, хотя и знал наизусть необходимые молитвы, но плохо понимал смысл латинских слов. По настоянию своей супруги, граф однажды приобрел для кюре молитвенник, выменяв его у одной святой женщины за виноградник в шестьдесят лоз. Прижимистая вдовица взяла за книгу не дешево, зная, что достать такую вещь, как латинский требник, трудно, и графу пришлось согласиться на обмен.

Этот Антуан был пьяница, большой любитель игры в кости и развратник, хотя весь его разврат заключался в том, что он напропалую волочился за смазливими деревенскими девчонками. Однажды обитатели посада, расположенного у подножия графского замка, нещадно побили повесу за такие похождения. Больше всего огорчило кюре в тот день бессердечие графа. Когда, подобрав полы сутаны, он спасся от злодеев бегством и стал жаловаться сеньору на нечестивцев, не пощадивших даже церковного звания, то этот безбожник не только не наказал насильников, а издевался над пострадавшим и хохотал, держась за бока. Впрочем, кюре вскоре помирился с графом за очередной партией в шахматы. Что же касается святости сана, то считалось, что на всяком священнике, будь он трижды грешен, почиет благодать и все совершенные им таинства имеют законную силу. Однако Анна решительно отказалась от услуг легкомысленного Антуана, когда захотела освятить браком преступную связь с графом Раулем.

– Какими глазами я буду смотреть на своих детей и на твоих? – говорила она. – Пусть нас обвенчает достойный служитель алтаря.

Совершил таинство брака аббат Леон, ведавший у графа письменными делами и до глубины души ненавидевший кюре, которого считал последним прощелыгой на свете.

История с этим бракосочетанием наделала много шума. Предварительно Раулю пришлось развестись с женой. Сделать это не представляло больших затруднений для графа, так как ее уже не было в замке. Незадолго до похищения Анны он неожиданно вернулся с охоты, вывихнув ногу, и ему показалось, что жена нежничала с Бертраном. Никто не видел, что произошло затем в замке и в соседней роще, но поселянки, искавшие в лесу грибы, набрали спустя несколько дней на страшный труп. Жонглер висел на суку, полуголый, в окровавленной рубашке, высунув длинный синий язык. Потом оруженосец Гуго появился в той самой куртке, которую носил певец Изольды, а заплаканная Алиенор очутилась у родственников в Париже.

Во время одной из встреч с графом Раулем Анна спросила, давно не видя жонглера:

– Где же Бертран?

– Он навеки покинул мой замок, – ответил граф.

– Почему?

– Разве ты не слышала, что я застал его с моей женой?

Тогда Анна узнала о том, что произошло в Мондидье.

– Ты убил его? – ужаснулась она, когда Рауль стал рассказывать о бегстве жонглера в Прованс.

– Не все ли равно тебе? – равнодушно сказал граф.

– А где Алиенор? Как ты поступил с нею?

– Она уехала к парижской тетке. Пусть подумает там о своем легкомысленном поведении.

Так покинул Бертран нашу землю, полную песен и приключений. Сердобольные крестьяне тайно похоронили его в дубраве, где весной поют соловьи, и после него осталось только несколько песен, с которыми другие менестрели еще много лет бродили по дорогам Франции и Прованса, обольщая где-нибудь на чердаке харчевни или на ночной росистой лужайке хороших поселянок.

Но слухи о том, что произошло с бывшей французской королевой, поползли по всей Европе. Развод графа Рауля и его брак с Анной были незаконными с точки зрения канонических установлений. В дело вмешался Реймский архиепископ Жерве. Встретив как-то графа в королевском дворце, он пытался уговорить нечестивца отпустить Анну и вернуть на супружеское ложе Алиенор, в противном случае угрожая гневом папы.

Рауль с присущей ему дерзостью ответил:

– Наплевать мне на твоего папу!

Он даже прибавил другие слова, какие ни один писец не решился бы внести в свою хронику, настолько они были неуважительны по отношению к наследнику святого Петра. Но что можно было поделаться с этим отпетым безбожником! Архиепископ покашлял в кулак и прекратил разговор. Однако не замедлил сообщить обо всем папе Александру.

Поведение графа Рауля вызвало всеобщее негодование. Между тем Алиенор не удовлетворялась обещанием святого отца, что он отлучит прелюбодея от церкви, а отправилась в Рим, имея намеренье лично изложить папе все подробности потрясающего события и добиться от него восстановления своих прав. Но графиня была простодушная женщина. Когда Александр спросил ее, что же представляет собою Анна, ради которой Рауль решился на такой проступок, она ответила:

– Второй такой нет на земле!

Во всяком случае, обрушившиеся на голову графа Рауля анафемы ни в какой степени не помешали ему жить в свое удовольствие, счастливо охотиться и приумножать богатство...

Партия в шахматы продолжалась. Фигуры на черно-белых квадратах меняли положение, следуя незыблемым законам игры, которые не мог нарушить сам Господь Бог.

Рауль не сомневался, что скоро объявит Антуану мат. Черная королева находилась на краю гибели.

Граф весело мурлыкал себе под нос:

Моя Лизетт в истоме  
Лежала на соломе...

На скамье, устроенной вдоль стены, где светились окна, сидели рядом сыновья графа Рауля от первой жены, Симон и Готье, ненавидевшие Анну, как только могут ненавидеть мачеху пасынки, хранящие память о матери. Это злое чувство еще больше разжигала старая служанка Эльдвиг, уверявшая юношей, что русская еретичка молится Богу по-иному, чем это делают французские христиане. Оба исподлобья следили за Анной, державшей в руках книгу с непонятными письменами, может быть, даже заключавшую в себе заклинания, какими колдуньи привораживают мужскую любовь, насылают несчастья на добрых людей или вызывают дьявола.

Когда сыновья поднялись по скрипучей деревянной лестнице наверх, граф проводил их взглядом и сказал, обращаясь к Анне:

- Аббат Леон сообщил мне, что архиепископ опять получил послание от папы.
- Что же пишет он?
- Объявляет наш брак недействительным.

Анна закрыла лицо руками. Папские гневные буллы потрясли ей душу. Но Рауль, оторвавшись от шахматной доски, подошел к жене и с нежностью стал успокаивать ее:

– К чему эти волнения? Пусть папа объявляет все, что ему угодно. Мы сочетались браком, и уже никто и ничто не может нас разъединить.

Анна нуждалась в поддержке мужа в эти трудные дни и ответила Раулю на его слова благодарной улыбкой. Ее кружило в омуте страсти. Но она не знала, счастье это или только сладость запретного греха.

Пока граф разговаривал с супругой, хитрый Антуан обдумал очередной ход, который сразу же изменил положение на шахматной доске. Надо прямо сказать, что старый греховодник просто передвинул рукавом сутаны одну пешку. Когда Рауль вновь приступил к игре, он вытаращил глаза: гибель грозила не черной, а белой королеве! Теперь уже кюре потирал руки и бодро пел:

Когда я молод был,  
Лизетт я полюбил...

Граф выругался по-площадному и стал спорить с Антуаном, доказывая, что, очевидно, свой предыдущий ход он сделал по рассеянности и его нельзя считать действительным. Раулю в голову не приходило, что можно мошенничать в такой благородной игре, как шахматы, и он ни в чем не подозревал кюре.

Но священник хихикал:

- Нет, господин граф! Прикоснулся к фигуре – значит сыграл!
- И затянул гнусным голосом:

Моя Лизетт в истоме  
Лежала на соломе...

Он поставил около себя на полу кувшин с вином и прикладывался к нему время от времени, чем, вероятно, и объяснялось его приподнятое настроение.

Однако партию пришлось отложить до более удобного часа. Не успел граф сделать ход,

как услышал, что у замковых ворот происходит какая-то суматоха. Видимо, кто-то домогался попасть в замок. Рауль прислушался и потом крикнул:

– Гуго!

В провале лестницы, ведущей вниз, показалась взлохмаченная рыжая голова оруженосца. Он без стеснения носил куртку несчастного Бертрана.

– Посмотри, что там происходит! – приказал граф.

Выяснилось, что это очередное посещение купцов. Их было двое: высокий старик в потрепанной лисьей шапке и юркий человечек, какие часто встречаются среди торговых людей, которым необходимо обладать большой ловкостью и предприимчивым умом, чтобы среди всевозможных препятствий пробираться с товарами из одного конца разбойничьей Европы в другой. Торговцы привезли греческие материи.

К своему изумлению, Анна узнала в высоком старце Людовикуса. Переводчик еще жил на свете и занимался торговлей! Впрочем, ничего удивительного в его посещении не было... Просто купец побывал в Киеве и по прибытии во Францию решил разыскать бывшую королеву. Старик не только надеялся получить награду за новости из русской страны, невзирая на то, что таковые были по большей части печальными, и хотя никаких писем на этот раз он не привез, но бедняге также хотелось вспомнить при виде этой благородной женщины лучшие дни.

Купцы разложили товары на полу и, стоя на коленях, разворачивали один кусок шелка за другим. Анна пробовала на ощупь качество материи, но мысли ее были заняты тем, что Людовикус успевал сообщить о событиях на Руси. Вести оказались в самом деле невеселыми. Впрочем, братья уже давно ни о чем другом не уведомляли, как только о смерти и погребениях близких. Еще в 1050 году скончалась в Ладоге мать, по ее просьбе положенная под каменным полом новгородской Софии, построенной старшим братом Владимиром, поэтому считавшим себя чуть ли не вторым Юстинианом или новым Соломоном. Почему она избрала такое место для своего последнего успокоения? Может быть, хотела лежать поближе к своему северному городу, где покоились останки Олафа? Четыре года спустя, разболевшись вельми, умер на семьдесят восьмом году от рождения и отец, великий князь Ярослав. Это случилось в Вышгороде, 20 февраля, на память мученика Феодора Тирона. Некий человек, переписывавший для князя книги, начертал на стене св. Софии:

«Двадцатого февраля скончался царь наш...»

Русские книжники, ум которых туманила гордыня, считали Ярослава царем наравне с греческим.

Всеволод уже сообщил в свое время об этих печальных событиях и о том, что на смертном одре отец завещал сыновьям жить в любви и согласии между собою, чтобы не рассыпалась хранимая русским государством, и Анна плакала над письмом брата.

У старого отца, дух которого был ослаблен недугом, не хватило решимости оставить верховную власть какому-нибудь одному из сыновей. Кроме того, он опасался междоусобия. Поэтому сыну Изяславу дал Киев и Новгород, надеясь, что он, стоя во главе этих двух городов, сумеет держать в повиновении и другие области. Святослав получил Чернигов и земли по реке Десне. Всеволоду достался Переяславль со всем его богатством и беспокойством. Вячеславу были поручены Суздаль и Белоозерский край, а Игорю – Смоленск.

Теперь Анна узнала подробности печальных перемен. Людовикус, которому разрешили присесть на табурет, рассказывал:

– В час смерти блаженной памяти твоего родителя, князя Ярослава и царя, при нем находился только Всеволод, благороднейший господин. Ты знаешь, что он никогда не расставался с отцом и даже, как я слышал, изъявил желание и после смерти, когда настанет и его последний час, лежать рядом. Это князь Всеволод привез тело отца из Вышгорода в Киев и похоронил его своими руками. Все оплакивали смерть такого просвещенного правителя. Я

видел гробницу. Она из красного камня, сделана по греческому образцу, и кресты и пальмовые ветви на ней выбиты искусно резцом.

Людовикус сообщил и о многом другом. За два года до смерти отца умер в Новгороде старший брат, задумчивый князь Владимир, водивший некогда с Вышатою русское войско в греческую землю. В 1058 году скончался в Смоленске брат Вячеслав, а в 1060-м, в год смерти короля Генриха, не стало на земле Игоря, незадолго до смерти переведенного из Смоленска на Волынь. Тогда Смоленск передали Вячеславу, где он и умер вскоре. В те же дни покинул земную юдоль новгородский епископ Лука Жидята.

– На русских границах, – рассказывал Людовикус, – появились в степях новые враги. Никому не ведомо, откуда они пришли и куда идут. Воевода Коснячко говорил мне, что число их как песок морской.

– Что же это за племя? – спросила Анна, горестно подпирая голову рукой.

– Половцы. Кони их подобны птицам. Они налетают, понукая скакунов ногами и бичом, выпускают во врагов стрелы и вдруг поворачивают и мчатся назад, исчезая в облаке пыли. Потом снова несутся в бой с дикими криками. От этого воя у хлебопашцев стынет кровь в жилах. Твой брат Всеволод доблестно вышел против половцев, однако потерпел поражение и вынужден был укрыться за валами Переяславля.

По лицу Анны текли слезы. Уже немало лет прошло с тех пор, как она покинула Киев, а Русскую землю забыть было невозможно. Теперь она поняла, почему брат Всеволод не мог выполнить ее просьбу и не прислал в помощь королю Филиппу наемников-варягов, как обещал. Бывают непреодолимые препятствия. А ведь с помощью Всеволода ее сын мог бы легко сокрушить всех врагов Франции.

– Что еще ты слышал и видел там? – спросила Анна, вытирая глаза голубым платком.

– В Киеве рассказывали мне, что недавно над городом появилась страшная комета и в течение семи дней, от сумерек после захода солнца и до рассвета, плыла на небосклоне, сияя красными лучами.

– Недоброе предзнаменование... – прошептала Анна.

– Такие звезды предвещают людям войны, нашествия иноплеменных.

– Или смерть правителей.

– Или мор...

Так они перечисляли бедствия.

Сердце Анны разрывалось от горя. Русская земля лежала далеко, и она ничем не могла помочь близким. Но Людовикус, постаревший за эти годы, потрепанный жизненными неудачами, уже стал равнодушно относиться к несчастьям, своим и чужим, и не щадил свою слушательницу.

– Еще мне рассказывали в Киеве, что в реке Сетомле... Есть такая река?

Анна кивнула головой.

– Будто бы в этой реке рыбаки выловили сетями младенца столь страшного вида, что об этом невозможно рассказать словами.

– Не знаешь ли, что случилось с князем Ростиславом? – спросила графиня. До ее слуха дошла весть о смерти молодого воина, княжившего в Тмутаракани, но как это произошло, она не знала.

Людовикус одним выражением морщинистого лица дал понять, что в этом далеком городе было совершено подлое преступление.

– Не имеет предела человеческая хитрость. – сказал он.

– Почему так рано покинул землю молодой князь? – недоумевала Анна.

– Он погиб от яда. Могу подробно рассказать тебе об этом.

– Кто же умиротвил Ростислава?

– Его отравил греческий царедворец. А по словам многих людей, тмутараканский князь был щедр, благороден по своему характеру и милостив к бедным.

Лицо Людовикуса изображало в эти мгновения искреннее сожаление.

– Ты ведь знаешь, – говорил он, – что Ростислав правил в том странном городе, который русские называют Тмутаракань, а греки – Таматарха. Мне приходилось бывать там в дни моей юности. В этом городе много чужестранцев и у пристаней стоят большие торговые корабли. Да, молодость... Ростислав тоже был молод, любил пиры, красивых наложниц. Но в Константинополе уже зрел злой умысел. Не знаю, по какой причине коварный царь решил избавиться от такого соседа. Может быть, этот молодой князь слишком высокими пошлинами облагал греческие товары?

– Как же они погубили Ростислава?

– В Тмутаракань прибыл царский наместник Армении. Известно тебе, что армянский царь передал грекам свою страну и за это получил земли в Каппадокии?

– Об этом здесь ничего не было слышно.

– Теперь Арменией управляет константинопольский вельможа. Он посетил Тмутаракань, и никто не предполагал, какой он таит в своем сердце сатанинский замысел. По случаю его прибытия устроили большой пир. Как обычно, вино текло рекой... Когда настало время пить за здоровье хозяина, царедворец поднял чашу и провозгласил: «Будь здоров, князь!» И отпил половину. А то, что осталось в ней, протянул Ростиславу, и князь осушил сосуд до дна. Но у грека была зажата под ногтем малая крупинка смертельного яда, и злодей незаметно опустил ее в вино...

Анна не могла удержаться от того, чтобы не вскрикнуть, слушая о таком коварстве.

– Молодой князь умер в ужасных мучениях, – шептал Людовикус, не обратив большого внимания на ее горестное восклицание, – но никому в голову не могло прийти, что его отравил царедворец. Ведь пили-то они из одной чаши!

– Ты тоже присутствовал на том пиру? – спросила Анна.

– Нет, меня там не угощали. В те дни я находился в Херсонесе. Когда грек совершил свое злое дело, он отправился в Константинополь с докладом и за получением царских милостей, а по пути тоже остановился в этом городе. Я тогда покупал перец у херсонесского купца Вениамина Мусхи. Знаешь ли ты Вениамина Мусху? Не знаешь. А между тем его имя известно от Трапезунда до Майнца. Может быть, слышала о его племяннике, Якове Шайя? Он тоже неоднократно возил товары во Францию. Ты могла покупать у него шелк. Но на чем я остановился?

В старости Людовикус сделался болтлив и забывчив.

– Ты начал рассказывать о том, что коварный царедворец оказался в Корсуни...

– Да, да... Там он и нашел свой конец. Я, помню, побывал у Мусхи, закупил у него по приличной цене весь перец, какой нашел на складе, и отправился в свою гостиницу. Для этого мне нужно было пройти через весь город. Когда я приблизился к тому дому, в котором, по словам знающих людей, проживал в свое время ваш царь Владимир, мне преградила путь на площади огромная толпа людей. Из любопытства я подошел к месту происшествия. На земле лежал труп человека в богатом одеянии. Я спросил какого-то словоохотливого горожанина, что тут произошло. Оказалось, что отравитель всюду трубил о своем поступке, видимо считая его за подвиг, и жители, вообще недовольные царской властью, побили его камнями.

– До смерти? – ужаснулась Анна, прижимая от волнения ладони к щекам.

– Пока он не перестал дышать. Когда я возвращался обратно и опять проходил мимо того места, то убедился, что кто-то уже успел снять с убитого ценные одежды. Предатель лежал нагой, брошенный на растерзание бездомным псам.

Людовикус привез недобрые вести. Черные тучи обложили со всех сторон Русскую землю. Половцы дикими волками рыскали под стенами Переяславля. О многом другом печальном рассказал купец. Но ни от него, ни от других путешественников Анна не могла узнать, что случилось с митрополитом Илларионом. После смерти Феопемпта отец возвел его в

этот высокий сан, чтобы во главе церкви на Руси стоял не чужеземец, а русский. Но потом митрополит как бы растаял в тумане. Купцы, проходившие из Киева, были по большей части евреи, мало знакомые с церковными делами, и, конечно, не могли ответить на недоуменные вопросы королевы, а братья так и не написали об Илларионе. Людовикус морщил лоб, стараясь припомнить судьбу этого святителя, но и он ничего верного не сообщил. Не то митрополит умер, не то ушел в монастырь, поссорившись с князьями, не то скрылся где-то в Тмутаракани под именем схимника Никона. Анна очень сожалела, что никто не знал об участии этого замечательного писателя и ее учителя с детских лет.

У ног Анны торговцы развешивали шелковые ткани. Рауль сидел рядом с нею и думал, что если бы захватить эти товары, а купцов выгнать в шею, то шелка и сукон им обоим хватило бы на платья и плащи до конца жизни. Но поступить так он не смел. Весть о грабеже распространилась бы с быстротой молнии по всем дорогам, и никто не привез бы в Крепи и Мондидье ни материй, ни перцу, ни соли. Приходилось платить за все чистою монетой. Поэтому графу до зарезу нужны были деньги, и в последние годы он стал требовать от сервов, чтобы известная часть оброка вносилась серебряными денариями, а не натурой. И без того уже некуда стало девать огромное количество солонины, яиц, меду, шерсти и полотна.

Рауль торговался с Людовикусом до седьмого пота и купил для супруги три куска шелка различных цветов. Анна прикладывала к высокой груди нежно-зеленую, шуршащую ткань и спрашивала мужа:

– Это мне к лицу?

Рауль подумал, что никогда не видел на земле подобной женщины.

Но, получив за товары что полагалось, купцы поспешили покинуть замок и направились с громыхающей повозкой в Крепи, надеясь добраться до этого городка еще до захода солнца, и в замке снова наступила каменная скука.

Наутро граф Рауль приказал собрать всех прево. Когда они явились на замковый двор, в недоумении спрашивая себя, зачем их потребовали в такое неурочное время, сеньор спустился по лестнице и заявил среди мертвой тишины:

– До меня дошло, что некоторые из вас выгоняют своих собственных свиней в графские леса, кормят желудями с моих дубов и не платят десятины. Разве вы не должны подавать пример другим? Поэтому замеченные в подобных проступках уплатят пеню в размере десяти денариев. Кроме того, мне известно, что некоторые прево требуют от сервов дары. Если эти глупцы будут удовлетворять ваши требования, то что же у них останется для графа? Я составил список таких вымогателей. Пусть они тоже внесут по двадцати денариев.

У многих управителей лица стали совсем постными, хотя они утешали себя надеждой, что выжмут эти взыскания из опекаемых.

– Требую также, – угрожающе помахал граф в воздухе пальцем, – чтобы вы исполняли возложенные на вас обязанности со всем возможным прилежанием, дабы мое хозяйство не терпело ущерба. Понятно ли это вам?

– Понятно, – мрачно ответили прево.

– Если же вы будете выполнять работу небрежно, то мне ничего не останется, как взять в руки посох и собирать подаяние.

В ответ на эти горестные слова раздался гул голосов. Толстомордые служители уверяли своего господина, что не допустят такого позора.

– А если так, – воскликнул граф, – то не ленитесь и заставляйте трудиться других. Пусть работают не покладая рук. Труд облагораживает человека. Забыл вам сказать, что особенно надлежит смотреть за тем, чтобы боевые кони не застаивались на конюшне. Такое небрежение я наблюдал неоднократно. Впредь я буду строго взыскивать за подобные упущения. Следует также вовремя подпускать жеребцов к кобылицам, а жеребят пригонять не позже как к празднику святого Мартина, память коего мы скоро будем праздновать. Еще я заметил следующее. В некоторых селениях виноград для моего вина давят ногами. Я не

мужлан, а благородный граф. Надо, чтобы эту работу производили прилично, особыми давилками...

Перескакивая с одного распоряжения на другое, ибо он не изучал ораторское искусство, Рауль говорил еще о своевременной уплате оброка, мытных пошлинах, поставках меда и воска, приплоде рогатого скота и овец. Головы прево опускались все ниже и ниже. Поэтому они не видели, что Анна со скукой смотрела на эту сцену из высокого окна.

### III

Наступило еще одно ненастное утро. Засидевшись накануне за обильным ужином, Рауль и Анна нежились в постели, лениво переговариваясь о всяких незначительных вещах. Торопиться было некуда: за окном шумел холодный зимний дождь, и все хозяйственные работы закончились. Вдруг они услышали протяжные звуки рога, которые показались непривычными для уха. Рауль нахмурил брови, спрашивая себя, какой человек просит у него пристанища, и подошел поскорее к окошку, откуда мог с удобством обозревать часть дороги у самого подъемного моста, довольно неуклюжего и не всегда исправно действовавшего. Но граф весьма гордился этим сооружением из толстых досок и бревен, скрепленных железом. Ни в одном соседнем замке не существовало ничего подобного. А между тем в поднятом положении мост надежно закрывал ворота. В случае же надобности воины опускали его на цепях при помощи вертушек, и тогда всадники и повозки могли беспрепятственно проезжать над широким рвом на замковый двор.

Рауль выглянул в окно и, к своему удивлению, увидел, что перед воротами мокли под дождем два всадника. На довольно ребристом коне, которого без большой натяжки можно было бы назвать клячей, сидел незнакомый рыцарь в сером мокром плаще, в шлеме с широким наносником и угрюмо смотрел на замок. Позади него, на таком же одре, молодой оруженосец, надувая румяные щеки, из всех сил трубил в рог, окованный медью. По всему можно было предположить, что этот рыцарь не из знатных и беден. С ним уже начали перекликаться с башни сторожевые воины, расспрашивая приехавшего, кто он такой. У Рауля вспыхнуло любопытство к этому неожиданному гостю, и, как бы предчувствуя, что встреча будет занимательной, он крикнул в пролет лестницы, ведущей в помещение оруженосцев:

– Гуго, скажи людям, чтобы отворили ворота и впустили рыцаря. Проводи его к очагу. Пусть путники обогреются у огня.

Послышался грохот шагов. Затем раздался привычный для слуха лязг цепей. Это означало, что воины опускали мост. Пожав плечами, Рауль рассказал Анне, кого разглядел в окно, и плеснул в лицо водой из миски, которую принес Гуго, как всегда тупо взиравший на все, что его окружало...

В те дни Францию и всю Европу потрясло известие о завоевании норманнами Англии. Этому предшествовали такие события. Умер английский король Эдуард. Перед смертью он назначил своим преемником Гарольда Годвинсона, первого советника королевства. Но вот, вселяя ужас в сердца людей, над Англией появилась кровавая комета. Народ выходил на улицы, чтобы посмотреть на это страшное чудо, в котором многие видели подтверждение печальных предчувствий. А между тем герцог Вильгельм Нормандский уверял, что Эдуард некогда обещал отдать английскую корону ему, и через Роберта Жюмьежского и аббата Лафранка просил папу разрешить вопрос о престолонаследии. Вскоре они привезли ему священную хоругвь и папскую буллу, благословлявшую вторжение в непокорную Англию, и тогда народ понес Вильгельму все, что мог, а матери охотно посылали в его войско сыновей в надежде получить за это в награду вечное блаженство. Рыцари спешили в Руан толпами. Они приходили из Аквитании, Бургундии, Бретани, Пуату, Анжу и даже Франции. Одни из них соглашались служить на определенном жалованье, другие – ради военной добычи, третьи просили угодья и замки в Англии или жен из знатных саксонских родов. В тихих гаванях

Нормандии спешно строились и смолились морские корабли.

Обо всем этом было известно и в замке Мондидье. Граф Рауль и Анна знали, что Вильгельм даже отправил королю Франции тайных посланцев с такими словами: «Ты мой сеньор, и если поможешь мне в сем предприятии, то обещаю поклониться тебе Англией, как если бы я получил ее из твоих рук!»

Граф советовал Филиппу не вмешиваться в это дело. Он говорил на совещании:

– Разве нормандцы слушаются тебя? А если им удастся захватить остров, то они совсем отвернутся от французского короля. И не забудь, что помощь обойдется тебе не дешево.

Несмотря на свою молодость, сын Анны отличался большой осторожностью. Он соглашался с графом:

– А кроме того, попытка завоевать Англию может и не удалась, и тогда английский король будет против нас.

Затем бродячий монах по имени Люпус, случайно забредший в Мондидье и продавший графу за сравнительно недорогую цену три волоса святого Мартина, сообщил, что местом для сбора нормандских кораблей назначено устье реки Див, впадающей в океан между Секваной и Орной. Но с того дня, как корабли вышли в море, сообщения о походе Вильгельма прекратились, так как еще мало людей вернулось с британского острова во Францию...

Вытерев лицо полотенцем, Рауль спустился вниз. Незнакомый рыцарь и его оруженосец сидели у огня, щедро разведенного в широком очаге. Рыцарь был худ, высок, белобрыс, с веснушками на лице, а оруженосец румян и поблескивал черными провансальскими глазами.

– Кто ты такой? – спросил граф рыцаря и только тут заметил, что одна рука у него оканчивалась деревяшкой, из которой торчал железный крюк.

– Я Жак де Монтегю, бакалавр, – ответил рыцарь. – А это мой верный оруженосец, по имени Шарль, из города Нима.

Догадка Рауля о бедности гостя подтвердилась: бакалаврами назывались рыцари, не имевшие поместья.

Жак де Монтегю, родом из Пуату, волею судьбы попал в Нормандию в тот самый год, когда туда собирались со всех сторон рыцари в надежде на войну и обильную добычу. Вместе с другими он тоже участвовал в знаменитой битве под Гастингсом, и, когда участь сражения была уже решена и нормандцы преследовали разбитых врагов, на дороге, ведущей в Лондон, во время случайной ночной стычки Монтегю отцепил кольчужную перчатку, чтобы поправить шлем, и уронил ее. И тогда какой-то английский воин нанес ему удар мечом и отрубил руку немного выше кисти. Люди часто умирают от таких увечий вследствие обильной потери крови или черного помертвения тела. К счастью для Монтегю, в нормандских рядах нашелся ученый монах, понимавший толк во врачевании ран, и вылечил рыцаря, прикладывая к страшному обрубку собранные на гастингском поле травы. К удивлению окружающих, Монтегю избежал горячки. Рана вскоре зарубцевалась, и мясо закрыло торчавшую из нее кость. Но рыцарь знал, что он уже никогда в жизни не возьмет в руки меч; видя в этом знак свыше, Монтегю решил отправиться в Палестину. Путь в Иерусалим лежал через Нормандию и Францию. Таким образом Жак очутился при дворе короля Филиппа и в течение многих вечеров рассказывал ему о событиях, свидетелем которых ему довелось быть.

Услышав, что храбрый вояка не только сражался под Гастингсом, но даже может рассказывать о неудачном походе на Англию Гаральда Норвежского, замужем за которым была сестра матери, король решил, что ей будет интересно послушать обо всем этом, и направил рыцаря в Мондидье, хотя и забыл одарить его в дорогу, будучи занятым в тот час государственными делами. Монтегю вздохнул от огорчения и покинул Париж с пустыми руками, а веселый оруженосец на чем свет стоит ругал скупого короля. К этому времени некий искусный столяр из предместья св. Евстафия уже смастерил для рыцаря Жака

деревяшку с железным крюком на конце, и бакалавр, нацепив на него повод, отправился в путь. За этот крюк Жака и прозвали Железной Рукой.

Когда выяснилось, что перед ним рыцарь, только что прибывший из Англии, Рауль возблагодарил Небеса, пославшие ему такого редкого гостя. Монтегю тоже был рад пожить в этом на первый взгляд гостеприимном замке, а оруженосец Шарль надеялся подкормить на графской конюшне отощавших скакунов. В тот же вечер, после обильного ужина, Анна услышала рассказ о своей сестре Елизавете.

Скорее это была печальная повесть о Гаральде Смелом. Но разве смерть на поле сражения не лучшее, что может пожелать себе всякий воин?

Отдохнув и обогрившись у огня, съев огромное количество мяса и запив еду кувшином вина, Монтегю пришел в самое приятное расположение духа и на некоторое время даже забыл о несчастье, постигшем его в расцвете лет.

– Обо всем расскажу тебе, прекрасная госпожа, – уверял рыцарь, пряча под столом проклятую деревяшку. – А если о чем-нибудь забуду, о том напомнит мне Шарль, самый верный оруженосец от Прованса до Фландрии.

Можно было предположить, судя по заплатам на тувиях рыцарского сподвижника, что похвалы служили ему единственной наградой. Но темные глаза юноши весело поблескивали. Шарль не унывал. Он тоже выказывал полную готовность служить здешним господам, а пока успел заметить, что на птичнике кормила цыплят смазливая девушка.

– Расскажи о сестре моей Елизавете, – попросила Анна рыцаря, раскрасневшегося от жары и вина.

Жак де Монтегю не спешил. Во-первых, молодой человек испытывал смущение перед этой красивой дамой, во-вторых, чувствовал ответственность за свои слова: ведь только из сообщений таких странников, как он, люди могли получить представление о том, что творится на белом свете. Кроме того, бакалавр уже убедился на опыте, как невыгодно выкладывать слушателям все истории за один вечер. О чем же тогда рассказывать завтра?

Елизавета, старшая дочь Ярослава, покинула Киев еще до отъезда Анны во Францию. Она отплыла с Гаральдом Смелым на корабле в Скандинавию и спустя два года сделалась норвежской королевой. Впрочем, ее супруг правил только половиной страны. Другой половиной Норвегии управлял его родственник Магнус, проведенный в юности значительное время при дворе киевского князя. Там он многому научился и славился мудростью и книжным просвещением. С его именем, между прочим, связан древний судебник, знаменитый «Серый гусь», названный так по цвету пергамента, на котором были записаны различные строгие законы. В этом сборнике имелись даже статьи относительно городского благоустройства и правила для гостиниц, составленные по примеру Киева и Новгорода, где были водопроводы и мощные улицы, а большое количество иноземных купцов требовало забот об их охране и ночлеге.

Гаральд же прославился воинскими подвигами. Скальды любили слагать о нем песни, потому что характер и приключения ярла представляли для этого неистощимый источник. Достаточно было немного приукрасить какое-нибудь малопримечательное военное событие или приписать Гаральду подвиги древних героев, и создавалась новая сага. В одной из них ярл берет неприятельский город, проникнув в городские ворота под видом мертвеца в гробу, в другой в северного красавца влюбляется сама золотоволосая императрица Зоя, хотя он не пожелал ответить ей взаимностью. За отвергнутую любовь царица заточила Гаральда и его товарищей в темницу. Некоторые историки предполагают, что причиной тюремного заключения было нечто другое, в частности не очень разборчивое отношение к военной добыче, считавшейся собственностью ромейского государства. Но сага не удовлетворяется подобными прозаическими темами. Она передает, что, освободившись, варяги проникают во дворец, где в этот час спала невинным сном Мария, юная племянница императрицы. Воины похищают ее (попутно ослепив в ложнице василевса) и, прорвавшись с тремя кораблями

сквозь заградительные цепи Золотого Рога, даруют Марии свободу, не прикоснувшись к ней даже пальцем, и благополучно прибывают в Киев.

Так рассказывали скальды, и люди верили этим волнующим похождениям. Но была и добыча, и Гаральд имел обыкновение отсылать ее на хранение Ярославу, чтобы русский конунг мог воочию убедиться в его богатстве. По возвращении же ярла из Константинополя Ярослав отдал за него Елизавету, и, когда теплая погода укротила зиму, варяг увез супругу в Упландию. С тех пор об Елизавете до ее родных доходили только скудные известия. Но Анна знала, что сестра родила Гаральду двух дочерей, Марию и Ингигерду. Сын короля, Олаф, был прижит от красивой наложницы.

– Ты, вероятно, знаешь, прекрасная госпожа, – рассказывал рыцарь, – что после смерти Магнуса Гаральд сделался королем всей Норвегии. Один скандинавский воин, который очутился в наших рядах, а до этого сражался в войске Гаральда, говорил мне, что норвежский король был хранителем гроба Олафа Святого. Будто каждые двенадцать месяцев он стриг Олафу волосы и подрезал ногти. Так меня уверял этот рыцарь. Соответствует ли это истине, я утверждать не могу, но сам наблюдал, что у покойников растет борода.

Анна слушала бакалавра, стараясь не пропустить ни одного слова.

– Храбрый северный воин говорил, что Гаральду стало скучно. У него возникла мысль обессмертить свое имя чем-нибудь необычайным, и тогда он решил предпринять завоевание Англии. Но сначала послушайте, что произошло в те годы в Лондоне. Как вы знаете, после смерти Эдуарда на престол взошел Гарольд Годвинсон, весьма достойный муж. Против него и направил оружие Гаральд. Может быть, желая поддержать супруга в таком трудном и опасном предприятии, твоя благородная сестра Елизавета решила сопровождать его в морском путешествии. Возможно также, что Гаральд, которому все удавалось в жизни, настолько был уверен в победе, что захватил с собой и семью, чтобы поселиться в покоренном Лондоне. Однако, когда настало время ступить ногой на английский берег, норвежский король оставил Елизавету и дочерей на Оркнейских островах, а сам с сыном Олафом произвел высадку.

Анна тяжело вздохнула. Это была ее кровь и плоть, единоутробная сестра, а вместе с нею счастливое детство, Вышгород, кафизма в Софии и стихи, которые пел на пиру в честь сестры мужественный Гаральд.

– Скандинавский рыцарь, сражавшийся рядом с Гаральдом, рассказал мне, как все случилось. Битва между двумя королями произошла у Стаффордского моста. А надо вам сказать, что оба хорошо играли на арфе и сочиняли стихи. Перед битвой английский король увидел вдали воина. «Кто этот рыцарь в блистающем шлеме и голубом плаще?» – спросил он приближенных. Ему объяснили, что это Гаральд. Тогда Годвинсон написал в виде вызова песню, в которой прославлял мужество саксонских ратников, простых хлебопашцев или ремесленников, вышедших с топорами в руках на защиту своих очагов. Но когда стихи прочли норвежскому королю, он поморщился: «Неважные стишки. Попробую написать получше!» И тоже сочинил песню.

– Ты знаешь слова?

– Нет, моя госпожа, – смутился рыцарь.

– Тебе никогда не приходилось слышать, как ее пели?

– Я слышал, как скандинавский друг пел ее в шатре, но не помню теперь, о чем там шла речь.

– В песне говорилось о том, что герои не ищут в сражениях тишины и не стоят коленопреклоненными за щитами, – вмешался в разговор оруженосец.

– А еще о чем говорится в этой песне?

– Не помню, – ответил оруженосец.

– Но послушайте, что произошло у этого проклятого моста, – с увлечением продолжал Монтегю. – Когда началась битва, в которой воины с обеих сторон сражались как львы,

предательская стрела поразила Гаральда в горло – слишком широкий вырез для шеи был на королевской кольчуге. Она носила женское имя. Ее называли «Эмма»...

– И что же случилось с бедным Гаральдом? – горестно спросила Анна.

Она и граф сидели на широких креслах, на которые были положены для удобства набитые шерстью подушки. Рыцарь и оруженосец должны были довольствоваться обыкновенными дубовыми табуретами, ставшими совсем полированными от длительного пользования.

– Вот что случилось с королем. Он захлебнулся собственной кровью! Так погиб на поле брани, а не на соломе Гаральд, прославленный в песнях воин! После неудачного сражения, потому что со смертью короля ряды норвежских воинов смешались, сын его Олаф отплыл с остатками войска на Оркнейские острова, где твоя сестрица Елизавета томилась в полной неизвестности. Но такие вещи случаются на свете! Послушайте! Скандинавский воин уверял, что Мария, любимая дочь Гаральда, умерла в то самое мгновение, когда погиб король на поле брани. Таким образом, Елизавету посетило двойное горе.

– Не говоря уже о крушении всех надежд, – заметил Рауль.

Все посмотрели на него.

– Ведь Гаральд надеялся завоевать Англию. Жаль беднягу! Но война – подобие игры в кости.

– Поистине это так, – согласился рыцарь.

– Что же дальше? – торопила рассказчика Анна. – Как поступила тогда сестра моя Елизавета?

– Она возвратилась с Олафом и дочерью Ингигердой в свое королевство и перевезла на родину гробы с телами Гаральда и Марии. В знак этого на корабле подняли черный парус. Таков обычай в северных странах. Короля погребли в построенной им самим церкви, в городе, который называется Нидарос. Там он и спит вечным сном. Королем же стал его сын Олаф.

На другое утро, невзирая на плохую погоду, граф Рауль уехал в сопровождении рыцарей и оруженосцев в соседний Санлис. Не прекращался ни на одну минуту дождь, все время налетал бурный ветер.

Анна осталась в одиночестве. Но, покидая замок, граф строго наказал Жаку де Монтегю не начинать своих рассказов до его возвращения, а жене обещал быть дома еще до ужина. Анна знала, что в Санлисе находится сын, король Филипп, приехавший посоветоваться с графом Раулем о предстоящем походе на север. Он помышлял о присоединении к французской короне Фландрии. Слушая рассказы матери о ее стране, Филипп понял, какое значение имеет для государства торговля, а Фландрское графство – это трудолюбивые ткачи, вырабатывающие знаменитые сукна на продажу; следовательно – большие доходы.

Король не решался вызывать графа Рауля в Париж, из опасения, что получит отказ, но не считал удобным и приезжать в Мондидье или Крепи и поэтому избрал местом для встреч с гордым вассалом город Санлис.

Когда Рауль явился в этот тихий город, в королевском замке царил суета; король прибыл неожиданно, к его приезду не готовились, и теперь служанки мыли и скребли полы, а разленившиеся конюхи приводили в порядок лошадей и выбрасывали из конюшен вилами навоз.

Граф вошел в приемную залу. Филипп, совсем еще молодой, высокого роста и предрасположенный к полноте человек, сидел у пылающего очага и дружески приветствовал гостя. Как всегда, он раньше других дел расспросил о здоровье матери, к которой относился с неизменной нежностью, хотя не видел ее по целым месяцам, точно старая королева жила в другой стране.

– Слышал? – спросил король графа, когда тот уселся на табурете.

– О чем ты говоришь? – не понял Рауль.

– Папа сочинил еще одну буллу против меня. Клянусь громом и молнией! На этот раз святой отец называет короля Франции хищным волком и антихристом!

Филипп рассмеялся не без злости, и Рауль охотно вторил ему.

– За что он на тебя так разгневался?

– За то, что я немного пощипал итальянских купцов.

Граф уже слышал об этой истории, но ему хотелось узнать, как будет рассказывать о нападении на торговцев сам король.

– Как же это все произошло? – спросил Рауль.

– Очень просто. Я возвращался после охоты в замок Марли. Злой, как сатана. Ни одного зайца не затравили. Вдруг навстречу едут торговцы. Несколько повозок. Итальянская речь. Тогда я решил вознаградить себя за неудачу...

Видимо, король не без удовольствия вспоминал об этом приключении, на которое его толкнуло юношеское озорство, зависть к людям, набивающим свои кошельки денариями, в то время как у французского короля нет ни гроша в кармане.

– Если бы ты видел, какая началась кутерьма, когда мы налетели на них, подобно ястребам. Только пух летел!

– А купцы?

– Разбежались кто куда. Мы их подгоняли остриями пик в ягодицы. Все выглядело очень забавно.

Королю едва исполнилось двадцать лет. Но Рауль тоже хохотал, как мальчишка. Потом вдруг стал серьезным и заметил со знанием дела:

– Напрасно только вы не прикончили их там, тогда все было бы шито-крыто. Места глухие... А теперь получился скандал на весь мир. Монахи не простят тебе подобное разорение. Товары могли принадлежать какому-нибудь папскому монастырю.

– Не подумал об этом, – скривил губы король.

– Вы их копьями в ягодицы! – не мог успокоиться граф и хлопал себя по ляжкам.

– Да, мы изрядно повеселились. А главное, теперь мои оруженосцы ходят в шелку.

На скамье, поставленной по другую сторону очага, сидели в ряд несколько рыцарей и оруженосцев, одетых действительно щеголевато. Очевидно, они и принимали участие в том грабеже, о котором Рауль и Анна узнали от возмущенного архиепископа Жерве. Анна тоже очень сокрушалась по этому поводу, в страхе, что папа может отлучить сына от церкви. Как оказалось, она была недалеко от истины.

Молодой король и граф Рауль сидели друг против друга, как два приятеля, и Филипп, в знак любви к своему надменному вассалу, шутливо ударял его кулаком по колену, и оба смотрели друг на друга понимающими глазами, потому что, несмотря на разницу в годах, были одного поля ягода – два беспощадных хищника, наделенных сильными челюстями, острыми зубами и неутолимым аппетитом.

Граф сообщил королю об опасениях его матери.

– Все обстоит хуже, чем она представляет себе, – сказал Филипп. – История с нападением на итальянцев еще полбеда. Нет, папа гневается на меня не за разбой, а за облечение епископов пастырской властью. Он считает, что только наследники Петра могут замещать епископские кафедры удобными им людьми. Но мне объяснили законники. Епископов выбирать должен не папа, а клир, и утверждать – король!

– В чем еще обвиняет тебя папа?

– В том, что я торгую золотыми митрами. Но чем же прикажешь торговать французскому королю? Соленой рыбой?

Рауль рассмеялся, представив себе, как король продает на базаре щук и карпов.

– А правда ли, что скончался санский епископ? – вспомнил он сообщение случайно встреченного на дороге монаха.

– Да, старый скупердяй отправился в лучший мир.  
– Богатый был прелат.  
– Богатейший. Третьего дня забрал в его дворце имущество. Серебряные кубки, светильники. Заодно прихватил коней и все прочее.  
– А денарии?  
– Деньги я оставил для вдов и сирот, – сказал король, и в его глазах мелькнул веселый огонек.

Граф знал, что, по древнему обычаю, наследником французских епископов, если у них не оставалось близких родственников, являлся король, и позавидовал Филиппу. Вероятно, немало он приволок серебра из Санса!

Так они дружески разговаривали о разных вещах. Но вошел оруженосец и молча посмотрел на короля, вероятно желая говорить с ним с глазу на глаз. По его озабоченному лицу можно было предположить, что речь идет о чем-то очень важном. Рауль насторожился.

– Ну? – нетерпеливо спросил король.

– Согласен.

– За сколько?

Оруженосец ослабил и прикрыл рот рукой:

– За пятьдесят денариев.

– Уплати! И скажи девице, что ей будет от меня подарок.

Граф Рауль, догадавшийся, о чем шла речь, смотрел на короля неодобрительно.

– Ты недоволен? Разве сам не был молодым? – рассмеялся король.

– Я думал о другом. На что ты тратишь деньги?

– Когда я ехал в Санлис, понадобилось остановиться в грязной придорожной харчевне.

Хотя пиво там не плохое.

– У каменного моста?

– У каменного моста. Дочка трактирщика – алмаз в навозе. Но приходится заплатить отцу.

– К чему эти траты? – не понимал граф излишней щедрости короля. – Разве не обязаны красотки любить своего молодого короля всем сердцем? Ты красивый юноша.

Но Филипп, должно быть, от матери унаследовал равнодушие к деньгам.

– Ничего, – сказал он, – поцелуй девчонки будут горячее.

При этих словах короля рыцари, сидевшие на скамье с видом людей, не привыкших утруждать себя мыслительной работой, заржали.

Филипп посмотрел на них и сказал:

– Идите на двор!

Сподвижники короля лениво поднялись и вышли один за другим, неуклюже нагибаясь в низенькой двери.

– Теперь поговорим о государственных делах, – вздохнул король.

Филипп ко многому относился со смехом и шуткой, с презрением к дворцовому окружению; он знал, что каждый из придворных был способен предать его при первом удобном случае. Король смеялся над человеческими слабостями и даже несчастьями, уверяя, что всех рано или поздно постигнет та же участь, от шелудивого пса до могущественного короля. Но когда речь заходила о делах королевства, он переставал шутить. Всем было известно, что, с тех пор как Вильгельм завоевал Англию, французскому королю стало не до шуток. Филипп склонился к графу Раулю, и они начали обсуждать положение во Фландрии.

#### IV

Весь день шел дождь... Но Жак де Монтегю провел время неплохо, валяясь на соломенной постели в помещении для оруженосцев, где большой очаг приятно согревал все

члены и очищал затхлый и кислый воздух под бревенчатым потолком. В ногах у рыцаря сидел румяный Шарль, и они с удовольствием обсуждали будущие путешествия.

– Отсюда мы направимся в Шампань и Лотарингию, – мечтал вслух бакалавр.

– Не худо бы заглянуть по пути в Бургундию, – предложил оруженосец. – Мне рассказывали в Париже, что герцог Бургундский – щедрый сеньор и хорошо относится к тем, кто странствует по дорогам с добрыми намерениями.

– Ну что ж, ничто не мешает нам побывать и у него. Бургундские лозы славятся на всю Францию. А оттуда прямой путь в Майнц...

На этом географические познания бакалавра кончались. Дальше уже начинался сплошной туман, среди которого лежали неведомые земли и богатая золотом Руссия. Из случайно подслушанных разговоров паломников и монахов, читающих латинские книги, рыцарь знал, что на русских тучных пастбищах пасутся огромные табуны великолепных скакунов. Еще ему было доподлинно известно, что там живут красивые язычницы и кузнецы делают замечательные кольчуги. Одну такую, из крепких железных колечек, он видел на одном знатном бароне, который заплатил за нее бешеные деньги. А на плечах у него красовался русский плащ, подбитый соболями. По-видимому, это великая страна. Оттуда доносились слухи о победах князей над каким-то ханом, страшным господином Беглого поля, и над племенами Гога и Магога, или орканами. Где-то там жили также страшные лютичи – великаны ростом и свирепые, как дикие вепри, – оказавшие чудовищное сопротивление императору Карлу. Вообще, по словам многих путешественников, лучше не предпринимать войн против Руссии, ибо это сулит верную гибель...

За Руссией и Орканией находился таинственный Константинополь, а еще дальше стоял на высокой горе Иерусалим. Земля бакалавру представлялась в виде огромной лепешки. Но что находилось в ее отдаленных краях, он совершенно не знал.

Побеседовав с Шарлем и выслушав его восторженные замечания о прелестях большеглазой птичницы, Монтегю спустился на двор, чтобы проведать своего исхудавшего коня. Его поставили вместе с графскими жеребцами, в меру упитанными и с любопытством смотревшими на незнакомого товарища черными выпуклыми глазами, в которых вдруг заигрался в темноте на мгновение дневной свет. Но костлявый одер не обращал на них никакого внимания и с большим усердием пережевывал ячмень, наполняя хрустом конюшню.

Холоп, обнаглевший на службе у богатого сеньора, дерзко заметил рыцарю:

– Плох твой конь. На таком не доедешь и до Санлиса.

Монтегю, привыкший в своей бедности ко всяким унижениям, но не утративший рыцарской спеси, закричал:

– На этом коне я сражался с королем Гарольдом. А ты, дуралей, знай свою скребницу!

Хотя у рыцаря не было правой руки, но он так грозно размахивал деревяшкой с железным крюком под самым носом у конюха, что тот предпочел замолчать и больше не задевал бакалавра.

На конюшне стоял приятный для всякого конного воина кисловатый запах навоза и аромат сухой соломы. Жак с удовольствием вдыхал этот воздух.

Его жеребца звали Буря, хотя он и не отличался большой борзостью. Жак почесал ему холку, и соскучившийся конь положил голову на плечо хозяина, шумно вздохнув. Но потом снова принялся за ячмень.

В соседнем стойле один скакун лягнул другого, и конюх орал:

– Это не лошади, а дьяволы!

От безделья Монтегю поднялся затем на замковую башню и смотрел с нее на соседние поля и рощи, закрытые мглистой завесой дождя. Всюду была вода и сырость. С полей прилетал холодный ветер. От такой слякоти хотелось поскорее спрятаться в теплое помещение, где истопники поддерживали неугасающий зимний огонь, и бакалавр вернулся в башню. Около очага оруженосцы с клятвами и ругательствами бросали кости, проигрывая

друг другу последний денарий, или кожаный пояс, или нож, рукоятка которого сделана из ноги серны с черным копытцем, или почти новый шерстяной плащ, отнятый у какого-нибудь зажиточного горожанина в уличной драке. Монтегю стал с интересом наблюдать, как ложатся костяшки.

К вечеру вернулся граф Рауль, промокший под дождем, но, видимо, сохранивший самое приятное воспоминание о встрече с королем. Он заявил, что надо устроить пиршество. Филипп подарил ему два десятка фазанов, пойманных силками, а мясо дичи, полежавшей два дня в погребе, становится особенно нежным. Но уже оказалось поздно собирать гостей из соседних замков, поэтому за стол уселись только обитатели Мондидье, и среди них барон Альфред де Монсор, рыжеусый великан, которого граф всегда оставлял в замке своим заместителем, если уезжал на продолжительное время. Жена барона убежала с красивым, но низкорослым и похожим на задиристого воробья оруженосцем, и с тех пор Монсор пил много вина, не столько от тоски по твоей неверной супруге, сколько из-за насмешек по поводу того, что на поприще любви, оказывается, не в росте дело. Но это был мужественный воин и верный до гроба вассал.

Впрочем, в замке было немало и других рыцарей, и двое из них, самые молодые, по имени Эвд и Бруно, такие же бакалавры, как и Монтегю, бросали на Анну влюбленные взоры. Только что входили в обычай гербы, на которых каждый знатный человек изображал какой-нибудь условный предмет, напоминавший о храбрости или благородстве, о силе и могуществе, например, орла или льва, короны или мечи. Когда Генрих спросил супругу, что она желает избрать в качестве эмблемы, Анна, вспоминая разговор с кесарем, сказала, что на своем гербе просит изобразить Золотые врата. Придворный живописец, расписывавший дворцовую капеллу, намалевал сусальным золотом на красном поле ворота и три серебряных ступени. С разрешения королевы, Эвд и Бруно стали носить такой же герб и, когда Анна переселилась в Санлис, продолжали служить ей. Не оставили они ее и в Мондидье.

Старшие рыцари пришли на ужин со своими полногрудыми женами, к которым немедленно присоседился кюре. Аббат Леон, составлявший для графа латинские хартии, не пожелал сидеть за одним столом с прелюбодеем, каковым считал Антуана, и на пиршество не явился. Аббат метал молнии на голову грешника и грозил, что уведомит обо всем епископа, и кюре помалкивал, хотя и уверял, что переносит эти нападки исключительно из христианского смирения и нежелания прослыть гордецом, ибо гордыня – один из смертных грехов. При этом он многозначительно подмигивал и намекал на такие пороки некоторых аббатов, о каких христианин и подумать не может без омерзения, хотя эти монахи и ведут пред людьми строгий образ жизни. Но какие именно были аббатские грехи, он не сообщал, по своему простодушию будучи не в силах придумать что-нибудь в области разврата, кроме проказ с деревенскими девчонками.

Когда все насытились, граф Рауль обратился к бакалавру Жаку де Монтегю, по прозвищу Железная Рука:

– А теперь, рыцарь, расскажи нам, не торопясь и ничего не упуская, о том, что произошло на полях Гастингса!

– Вернее, на его холмах. Но с чего же начать? – вздохнул рыцарь, медленно обводя взором сидящих за столом.

Зрелище оказалось не из вдохновляющих. Кюре дремал, по обыкновению упившись; один из рыцарей в задумчивости ковырял пальцем в носу, а другой зевал и щелкал зубами, как собака, что ловит мух в жаркую пору. Впрочем, остальные как будто бы выражали желание послушать рыцаря, участвовавшего в такой знаменитой битве. Но какое дело было Жаку де Монтегю до этих людей, раскрасневшихся от вина и мяса, если перед ним сияло красотой милое лицо Анны. Бакалавр был молод, в его душе не утихали нежные чувства, а железный крюк на деревяшке пугал девушек, как дьявольские когти. Сегодня вино еще больше обострило душевную печаль, и рыцарь смотрел на прекрасную графиню с такой

скорбью, что она улыбнулась ему, и в благодарность за эту улыбку Жак де Монтегю решил рассказывать о битве под Гастингсом для одной повелительницы здешних мест. Но он знал обычаи суетного света и начал так:

– Позволь мне, сеньор, прежде всего описать наши приготовления к отплытию. Мы не сразу покинули Нормандию. Целый месяц дули противные ветры. Потом разразилась страшная буря и разбила в щепы множество кораблей. Долго после этого море выбрасывало на берег трупы погибших во время кораблекрушения. Малодушные роптали и готовы были покинуть наши ряды. Сам Вильгельм впал в уныние и каждый день с тоской смотрел на вертушку над церковью святого Валерия, в надежде, что порыв воздуха повернет петушка в другую сторону. Наконец двадцать седьмого сентября солнце, до того закрытое облаками, вдруг появилось во всем своем блеске, и на следующее утро, в канун Михайлова дня, ветер переменился. Но герцог рассчитывал совершить неожиданное нападение, поэтому отдал приказ к отплытию только ночью. Когда наступила темнота, тысяча четыреста кораблей подняли якоря и вышли при трубных звуках в море.

Монтегю уже не в первый раз повествовал об этих событиях, и речь его текла очень плавно. Все внимали его хрипловатому голосу. Очнулся даже Антуан и тоже стал слушать. Анна милостиво улыбалась рыцарю, и ее благосклонность вдохновляла его больше, чем вино.

– Впереди двигался корабль Вильгельма. Он назывался «Мора». На мачте горел огромный фонарь, и за этим светильником, как за путеводной звездой, медленно плыли остальные суда. Герцог был уверен в победе, и я видел, как он потирал в нетерпении руки, предвкушая тот час, когда наденет английскую корону.

Граф Рауль понимал кое-что в военном деле. Обращаясь не к рассказчику, а к барону, которого считал единственным достойным собеседником для подобного разговора, он начал объяснять:

– Годвинсон тоже неплохо составил план войны, решив поражать противника порознь. Сначала скандинавов, затем – нормандцев. Первую часть задачи он выполнил великолепно, но в борьбе с последними его постигла неудача. У английского короля не было таких опытных воинов, как у Вильгельма, и его войско составляли главным образом сельские жители. Когда Гарольд Годвинсон победил норвежцев у Стаффордского моста, эти поселяне поспешили разойтись по домам, где их ждали хозяйственные работы. В дни высадки Вильгельма английскому королю уже трудно было собрать вновь саксонское войско...

Рассказчик, обиженный, что его перебили на самом интересном месте, сказал, угрюмо оглядывая собрание:

– Не знаю, что решали короли. Могу рассказать только о том, что видел своими собственными глазами.

Не обращая внимания на рыцаря, граф прибавил, по-прежнему повернувшись к барону:

– У Гарольда не было конницы, а ядро нормандских сил составляли хорошо вооруженные рыцари.

Барон понимающе кивал головой.

Жак де Монтегю помолчал немного, чтобы соблюсти собственное достоинство, потом задрал нос и спросил, ни к кому не обращаясь, а глядя прямо перед собой:

– Могу я теперь продолжать?

– Продолжай, – сказал граф, даже не заметив в голосе молодого бакалавра тяжелой обиды.

Снова послышался неторопливый голос рассказчика:

– Чтобы преградить нам дорогу, английский король выступил к Гастингсу. Между прочим, наши арбалетчики были с бритыми головами, и он думал, что это монахи. Так говорили потом пленные англы. Королевские ратники заняли удобную позицию на холмах, где росло много яблонь, отягощенных плодами, и я видел, как там развевалось красное знамя

с изображением змеи. А надо заметить, что Гарольд происходил из простых людей. Об этом тоже рассказывали пленники. Будто бы еще в далекие времена, когда на Англию напали датчане, один из их баронов заблудился в лесу, преследуя врагов, и встретил молодого поселянина, пасшего на лугу отару овец. Он спросил юношу, как добраться до датских кораблей. Но пастух ответил, что не станет помогать врагу. Тогда барон снял с пальца золотой перстень и протянул парню. Соблазненный подарком, поселянин привел рыцаря в свою хижину, спрятал до вечера на сеновале, а с наступлением ночной темноты проводил к тому заливу, где стояли неприятельские корабли. Пастуха звали Годвин. Позднее он сделался благодаря покровительству того барона графом западных саксов. Гарольд был его сыном, а дочь вышла замуж за короля Эдуарда, о котором говорили, что он жил с королевой как брат с сестрой и не имел от нее детей. Но время течет как вода. Умер старый Годвин. Графом западных саксов стал его сын Гарольд. А когда король Эдуард почувствовал приближение смерти, он передал ему корону, как достойнейшему.

– Ты очень хорошо рассказываешь, Жак, – сказала Анна.

Лицо рыцаря, не ожидавшего похвалы из уст прекрасной графини, расплылось в счастливой улыбке; он осушил кубок, не спуская с нее взора, а потом с загоревшимися глазами воскликнул:

– Ах, послушай, госпожа, о том, что произошло в Руане. Никогда мне не приходилось слышать более занимательной истории!

Слушатели удвоили внимание.

– Это случилось задолго до смерти Эдуарда. Однажды Гарольд, сын Годвина, отправился в Нормандию, чтобы выкупить у Вильгельма заложников. Но буря бросила его корабль на скалы во владениях графа Понтье. Вместо того чтобы помочь потерпевшим кораблекрушение, он пленил Годвинсона, увел к себе в замок и отпустил только за большие деньги. Так Гарольд очутился в Руане. Там Вильгельм сказал ему: «Знай, что король Эдуард намерен в случае смертельной болезни назначить меня своим преемником. Помогни норманцам в этом деле, построй в Дувре крепость с колодцем для питьевой воды, и я сделаю для тебя все, чего ты ни пожелаешь, а в доказательство твоей дружбы женись на моей дочери Аделиз!» Испытывая благодарность за гостеприимство и не имея в душе решимости отказать герцогу в его просьбе, Гарольд согласился, хотя тут же решил, что не будет выполнять обещание. Но Вильгельм заставил гостя принести клятву над большим сосудом, тщательно прикрытым парчовой тканью. Потом вдруг отдернул парчу, и под нею оказались все святыни Нормандии. Говорят, Гарольд затрепетал в это мгновение и даже изменился в лице. Вы сами понимаете! Одно дело присягать на зубе какого-нибудь святого или на его ноге, и совсем другое, когда клянешься на собрании многих мощей!

– Да, это страшная клятва, – подтвердил барон де Монсор.

– Но позвольте мне продолжать. О чем я говорил? – обратился рыцарь к своему верному оруженосцу.

– О том, как враги укреплялись на холмах, где ты заметил королевское знамя со змеей, – подсказал Шарль.

– Именно так. Красное знамя со змеей. Но вот наступила ночь. Мы с трепетом исповедовались и причащались, потому что предстояла кровавая битва, в которой многие должны были погибнуть. В нашем лагере наступила тишина. А на вражеской стороне до утра слышались песни. Англы пили пиво у костров и веселились.

Граф Рауль мановением руки пригласил рыцаря прервать рассказ и крикнул:

– Слуги, принесите еще вина!

Но Жак де Монтегю, вытирая пот на лбу, продолжал:

– Наутро началась битва. Даже епископ байеский, брат Вильгельма, был в панцире под облачением. Это он взял жезл и построил конницу в боевом порядке...

– И, невзирая на данную клятву, Гарольд решил выступить против герцога с оружием в

руках? – спросила Анна, качая головой.

– Невзирая на клятву, моя прекрасная госпожа.

– Остались ли после короля дети? – полюбопытствовала она.

– Остались... Но они не от королевы, а рождены любовницей, по имени Эдит. Ее зовут также Лебединая Шея.

– Почему?

– За красоту. Шея у нее тонкая и гибкая, как у лебедя.

– Она не погибла?

– Это мне неизвестно, моя прекрасная госпожа. Однако думаю, что Эдит еще живет и оплакивает свою судьбу где-нибудь в укромном уголке земли. Впрочем, речь о ней будет впереди.

Лебединая Шея! Об этой красавице Анна слышала от Бертрана Жонглера уже не было на свете. Смерть беспощадно уносила родных, друзей, встреченных на пути певцов, воинов... Анна вздохнула при мысли, что и для нее когда-нибудь пробьет последний час. Все останется на земле, как теперь, а брэнное тело станет пищей гробовых червей. Вспомнились две строки из школьной книжки, по которой она изучала грамоту у пресвитера Иллариона:

Геенны меня избави вечныя,  
И грозы, и черви неусыпающа...

Но Анна улыбнулась рассказчику, и он стал с волнением повествовать о страшной битве под Гастингсом.

– Конное войско разделили на три отряда. Впереди и по бокам шли лучники. Вильгельм ехал на белом испанском жеребце. На шее у герцога были подвешены в серебряном ковчеге те самые святыни, над которыми некогда произнес клятву Гарольд Годвинсон.

Анна сжала руки, представляя себе ужас короля англоv, когда он узнал об этом.

– Папскую хоругвь, присланную из Рима, нес рыцарь по имени Тустен ле Блан. Я хорошо знал его, так как мы вместе ночевали в одном шатре. Третьим был с нами обычно певец Талльефер. Вместе мы пошли и в битву. Нормандцы двинулись сплошным строем. Монахи же отделились и поднялись на соседний холм, чтобы молиться о даровании победы. Но Талльефер выехал вперед и запел песню о Роланде. При этом он ловко подбрасывал копье и ловил его на скаку.

– Ты непременно споешь нам это! – прервала рассказ Анна.

Рыцарь смутился.

– Госпожа! Я никогда не держал в руках арфы, и Бог не наградил меня приятным голосом, но я постараюсь напеть слова, какие остались у меня в памяти. Это прекрасная песня!

Рыцарь вдруг поднялся со скамьи, откашлялся и пропел:

Чудная битва! Страшная битва!  
Дьявол уносит души врагов!  
Трубит Роланд в свой рог Олифант,  
Высокие горы тот звук повторяют,  
И слышно его за тридцать три лье...  
И Карл говорит; «Не рог ли Роланда  
Вдали за горами трубит?»

– Голос у него действительно как у козла, – шепнул соседке, внимательно слушавшей рыцаря, ревнивый кюре Антуан.

– Замолчи! – ответила та, толкнув его локтем.

Жак опустился на скамью, положил голову на стол и так оставался несколько мгновений неподвижно, очевидно весь во власти боевых воспоминаний и жалости к самому себе, ибо судьба так жестоко поступила с ним. Лучше гибель в бою!

Анна, сидевшая в кресле против певца, поднялась, изгибая стан, протянула руку через стол и погладила косматую голову Жака де Монтегю, бакалавра. Он вскочил и воскликнул:

– Госпожа! Скажи одно слово, и я умру за тебя!

Но граф Рауль горел нетерпением узнать, что происходило в дальнейшем на поле сражения.

– На чью же сторону стало склоняться военное счастье?

Монтегю не торопясь, так как чувствовал себя в центре всеобщего внимания, стал рассказывать о дальнейшем:

– Сблизившись с врагом на расстояние полета стрелы, лучники выпустили свои оперенные жала, а арбалетчики стали метать железные шипы. Мы тоже подошли вплотную к холмам с намерением ворваться в неприятельский лагерь. Но англы храбро сопротивлялись и рубили наши длинные копья топорами. Нам пришлось отступить в беспорядке. Что же придумал Вильгельм? Он велел лучникам стрелять отвесно, чтобы стрелы не втыкались без всякой пользы в частокол. Теперь они начали удачно поражать королевских воинов. Одна из них пронзила глаз самому Гарольду! А он вырвал ее из глазицы и остался в строю.

– Это был рыцарь! – восхитился барон де Монсор.

– Мало таких на земле! – поддержал его граф.

– Да! Мы снова пошли в бой, но еще раз вынуждены были отступить с большим уроном. Дело в том, что там находились овраги, скрытые кустами, и многие рыцари падали в них вместе с конями, ломая себе руки и ноги. Даже распространился слух о смерти Вильгельма. Этого оказалось достаточно, чтобы нормандцы обратились в бегство. К счастью, герцог тотчас появился среди беглецов и кричал: «Смотрите, я жив!» И поражал робких копьем. Тогда мы снова вернулись в битву.

У рассказчика пересохло в горле. Помогая себе деревяшкой, Жак не без труда поднял глиняный кувшин с вином и отпил из него добрую половину, и потом вытер рот рукавом коричневой рубахи.

– Видя, что нет никакой возможности взять неприятельское укрепление в лоб, Вильгельм решил прибегнуть к хитрости. Тысяча рыцарей ринулись на частокол, а потом обратились в притворное бегство. Повесив тяжкие секиры на шею, англы преследовали наших, но из засады выскочили другие всадники. Началось избиение врагов. Им трудно было действовать на бегу топорами, которые необходимо поднимать для удара обеими руками. Таким образом и удалось сделать пролом в частоколе. В английский лагерь ворвались конные и пешие нормандцы. Я тоже был в их числе и видел, как под ударами мечей погибли оба брата короля, Гирд и Леофин. В это же мгновение упало английское знамя и накрыло их широким красным полотнищем. Вместо него на холме водрузили папскую хоругвь. Нужно сказать правду, эти мужланы сражались очень храбро, но нас было больше и в наших рядах насчитывалось много опытных воинов в крепких кольчугах. Больше всего повредила англам рана короля. Гарольд истекал кровью и в беспамятстве упал с коня на землю...

Теперь уже никто не прерывал рассказчика. Все смотрели на него с раскрытыми ртами, настолько слушателей захватила картина битвы. Жак де Монтегю снова вскочил на ноги и стал петь, захмелев от вина:

Чудная битва! Страшная битва!  
Дьявол уносит души врагов,  
Трубит Роланд в свой рог Олифант...

Еще раз бакалавр схватил кувшин и стал выливать его содержимое себе в глотку.

– Когда король Гарольд упал, враги дрогнули, и мы стали избивать их без всякой пощады. Я находился близко от того места, где лежал английский король. Он еще дышал. Но какой-то незнакомый нормандский рыцарь пронзил его копьем, а другой ударом меча отсек ему голову. Третий в дикой ярости стал рубить тело на части и потом разбрасывать ногами кровавые куски. Четвертому уже ничего не оставалось, кроме одной ноги, и он разрубил ее пополам.

Видя недоумение слушателей, потому что даже эти люди с душой волка не понимали такой кровожадной расправы, Монтегю пояснил:

– Нормандцы были в неистовстве, что Гарольд нарушил страшную клятву, которую произнес в Руане над святынями.

– Но ведь он же не знал, что под парчой находится святыня! – пробовала защищать несчастного короля Анна.

– Увы, моя госпожа, – горестно ответил ей Монтегю, – клятва была произнесена, и Гарольд уже не имел права от нее отречься. Как бы то ни было, мы победили. Наступала ночь. На холме, где еще недавно развевалось королевское знамя, Вильгельм велел водрузить свое... С тремя геральдическими львами Нормандии... Победители снимали с убитых кольчуги и одежду, собирали брошенное оружие. Все это по праву принадлежало победителю. Затем тела павших, и нормандцев и врагов, оттащили в сторону, чтобы они не мешали живым мерзким видом, и на поле битвы устроили пиршество. Мне не пришлось принять в нем участие. Меня послали преследовать отступающих. В ночном лесу у нас произошла стычка с английскими рыцарями. В темноте мы узнавали друг друга только потому, что говорили на разных языках. Я случайно уронил боевую перчатку и не мог ее найти, и какой-то рыцарь отрубил мне правую кисть. С той минуты я стал жалким калекой...

В подтверждение своих горьких слов он показал страшную деревяшку с железным крюком. Нужно отдать справедливость людям: некоторые отводили от нее глаза.

– Почти все англй погибли. Остальных рыцарей настигали на дорогах и убивали. Но наутро, с разрешения Вильгельма, женщины из соседних селений пришли искать среди убитых родственников. Они переворачивали окровавленные трупы, стараясь распознать в лицах мертвецов знакомые черты мужа или сына. Тело короля разыскивали монахи из аббатства Вальтама. Его Гарольд построил, надеясь этим замолить свое клятвопреступление. Будто бы помогла найти Гарольда та самая Эдит, знавшая у любимого каждую родинку. Лебединая Шея! Изуродованный до неузнаваемости, разрубленный на части, нагой, в запекшейся крови, король лежал недалеко от того места, где еще вчера шумели на ветру английские знамена. Это был даже не труп, а жалкие куски мяса...

Так Вильгельм отомстил за смерть Гарольда, за горе Елизаветы. Но по щеке Анны скатилась предательская слеза: она подумала о несчастной Эдит, и когда представила себе красоту этой женщины, ей почему-то пришло на ум влажное поле, усыпанное голубыми незабудками. Однако Рауль, считавший победы и поражения в порядке вещей, ибо сильный побеждает слабого и на этом зиждется земное устройство, спросил:

– Богатая ли добыча досталась герцогу Вильгельму?

– Огромная. У меня тоже оказались три меча, две кольчуги, серебряная чаша, найденная в мешке у одного из убитых мною рыцарей, два золотых перстня. Все это я передал на хранение оруженосцу Роберту. Но его закололи в сражении, и я не знаю, что случилось с моим достоянием. Сам же я преследовал врагов.

– А Шарль? – спросил граф, сурово посмотрев на румяного и беззаботного оруженосца. – Почему он не сохранил твое добро?

– Шарль еще не был тогда моим оруженосцем. Следует, однако, сказать, что особенно повезло тем, кого наградили землями и сервами, принадлежавшими раньше саксонской знати.

– Что же случилось с семьей короля? – спросила Анна.

– Расскажу и об этом, моя госпожа. Королевская семья находилась в Лондоне и в крайнем волнении ждала исхода сражения. Гарольд пал на поле битвы в четверг... Да, в четверг... А в ночь с субботы на воскресенье в Лондоне уже стало известно о поражении и о гибели короля и его братьев. Несчастливая мать Гарольда умоляла победителя отдать ей тело павшего с оружием в руках сына, чтобы достойно похоронить его в Вальтаме. Она предлагала столько золота, сколько мог весить гроб с останками короля. Но Вильгельм отказал. Герцог называл Гарольда ненасытным честолюбцем и клятвопреступником, по вине которого погибло такое множество людей. По приказанию Вильгельма воины засыпали останки Гарольда камнями, где-то там, на берегу моря, без всяких христианских обрядов.

– Так закончилась битва под Гастингсом, – сказал граф Рауль в раздумье.

– Да, так закончилась битва под Гастингсом, – повторил бакалавр.

– Тебе не известно, что теперь происходит в Англии? – опять спросил граф.

– Я некоторое время лежал в госпиталии у монахов святого Иоанна и кое-что слышал от них, пока мне лечили руку. Якобы теперь вся страна в руках Вильгельма. Вскоре после поражения под Гастингсом ему сдался Винчестер. Затем покорился Лондон. Последним подчинился ему город, который называется Экзония. В нем нашла прибежище семья короля. Это морской порт. Но он не был обложен с моря, и поэтому мать короля, вместе с дочерью Гунгильдой и внучкой Гитой, имела возможность уплыть на корабле. Одни говорят, будто эти женщины до сих пор скитаются где-то среди пустынных островов, другие – что они благополучно прибыли в Данию и нашли там убежище.

Анна вспомнила, как много изгнанников находило приют при дворе ее отца. Малолетней Гите следовало бы отправиться на Русь и сделаться там женой какого-нибудь молодого русского князя.

– Но не забудь, – сказала Анна, – что ты обещал нам спеть стихи о Роланде.

Монтегю пел плохо, в его голосе не было той нежности, которая отличала голоса прославленных певцов, но Анне хотелось послушать знаменитую песню.

Монтегю смущался.

– Я не привычен к пению.

– Тогда расскажи об этой песне.

– Разве можно рассказать песню, госпожа? Впрочем... Это происходило давно, когда Карл Великий воевал с сарацинами. Эмир Сарагоссы вынужден был просить у него мира. Карл послал к нему Ганелона, заклятого врага Роланда, и Ганелон из мести предал великого франкского короля. Когда франки покидали Испанию, он предложил Карлу оставить позади Роланда, Оливье и Реймского епископа Турпина, надеясь, что сарацины уничтожат их в Ронсевальской долине.

Но Монтегю не выдержал, встал и пропел:

Горы высоки, во мраке – долины,  
ужасны ущелья и черные скалы!  
Ныне проходят там франки в уныньи,  
на целых пятнадцать лье слышен их топот.  
Но, обратив свои взоры на север,  
они увидели Гасконь! Домен короля!  
И вдруг их по дому тоска охватила —  
по брошенным замкам, отцовским угольям,  
по благородным супругам и детям,  
и никто не сдержался, чтоб не заплакать.  
Но более прочих сам Карл сокрушался,  
покинув в испанских ущельях Роланда...

Монтегю оборвал песню и снова стал рассказывать:

– Когда сарацины окружили Роланда, его верный друг Оливье предложил трубить в рог, чтобы Карл, уже ушедший в Гасконь, вернулся. Роланд не послушал друга, опасаясь, что потомки обвинят его в трусости. Началась беспощадная битва. Но напрасно Роланд поражал врагов своим мечом, который назывался Дюрандаль. Напрасно Оливье рубил врагов мечом, имя которого Готеклер, – франки погибали один за другим. А когда Роланд затрубил в рог Олифант, было уже поздно, потому что в битву вступили пятьдесят тысяч эфиопов, все люди чернее чернил, с длинными носами. Роланд знал, что погибнет. Он не хотел только, чтобы была посрамлена прекрасная Франция. И все франки полегли до одного. Роланд лежал на поле битвы без чувств. Один сарацин хотел украсть у него знаменитый меч, но Роланд очнулся, ударил вора по шлему, и у злодея лопнули глаза.

– Вот это удар! – закричал какой-то рыцарь.

– Да, меч у Роланда был замечательный. В его рукояти хранились зуб святого Петра, волос святого Дионисия и ноготь святого Фомы.

Сидевшие за столом рыцари покачивали головами от зависти. Рауль сказал:

– Если бы я имел такой меч! Где он теперь, Жак?

– Этого я не знаю. Но в песне говорится, что, когда Карл вернулся в Аахен и невеста Роланда узнала о смерти жениха, она упала бездыханной.

– Кто же сочинил эту прекрасную песню? – спросила Анна.

Монтегю посмотрел на своего оруженосца. Тот сказал:

– Будто бы сочинил ее какой-то монах, но доподлинно неизвестно.

Когда кончилась зима, над замком Мондидье прояснилось небо и снова на зеленых лужайках появились жонкили, граф Рауль и его супруга выехали на соколиную охоту. Они взяли с собой Симона и Готье, а также Гуго, сына Анны, который жил вместе с матерью в замке и часто ссорился с невзлюбившими его отпрысками графа. Но все трое уже входили в возраст, когда молодых людей надлежало обучать искусству обращаться с ловчими птицами.

Отправился в поле и Жак де Монтегю. Рыцарь провел в Мондидье всю зиму, развлекая по вечерам графскую чету рассказами о своих приключениях. Он крайне жалел, что не способен стать менестрелем и услаждать слух благородной дамы звучным пением. Анна просила иногда бакалавра, не может ли он пропеть хотя бы несколько строк из поразившей ее песни о Роланде, но Жак, и без того не отличавшийся приятным голосом, совсем простудил горло, выпив под праздник Рождества холодного пива, и с тех пор из его гортани исходили только хриплые звуки. Монтегю проклинал себя, что не догадался заучить наизусть со слов певца Талльефера, увы, погибшего одним из первых в жестокой битве под Гастингсом, всю песню, с начала до конца. Тогда бы он мог по крайней мере рассказывать ее графине.

После пропахнувшего дымом за зиму скучного замка Анне было приятно вдыхать прохладный, свежий воздух и ехать верхом по весенним лужам, в которых уже отражалось голубое небо. На низких лугах кое-где появились первые незабудки, и при виде этих скромных цветов она еще раз вспомнила про Эдит Лебединую Шею.

Позади ехали два сокольника. На их кожаных перчатках сидели белые птицы. Головы их были прикрыты колпачками, чтобы они не бросились опрометчиво и преждевременно на недостойную добычу, вроде какой-нибудь несчастной вороны или сороки. Охотники ехали, как это полагалось: прижимая локти к телу и сгибая руку под прямым углом. Все считали такую манеру держать птиц самой красивой.

Между тем, когда всадники очутились на широкой равнине, Анна услышала, как один из сокольников, поседевший на этом деле, стал объяснять мальчикам, как надо обращаться с соколами. Каждый слушал его соответственно своему характеру: Гуго и Готье – как будущие страстные соколятники, Симон – с явной скукой на лице. Это был богомольный отрок, мечтавший стать со временем монахом. Что ему и удалось впоследствии. Его даже причислили к сонму святых.

Старик подул птице в перья, потом пригладил их морщинистой рукой и сказал:

– Примечайте, что я буду говорить... Из птиц самая красивая – сокол. Перо у него обычно белое. Как у этого. Но бывают и серые. Белые, конечно, красивее. А если их выращивают, вынув из гнезда птенцами, то таких называют глупышами. Но им, воспитанным без матери, трудно линять...

– Чем ты кормишь птицу? – спросил Гуго, глаза которого уже разгорелись от предвкушения будущей забавы.

– Лучше всего ее кормить мясом диких животных, когда оно еще теплое. Или подогреть его. Можно давать и сыр. Только не забудьте, что надо всегда держать ловчих птиц грудью против ветра.

Жак де Монтегю тоже слушал наставления старого охотника. Ему не повезло в жизни. Его отец был бедным рыцарем. Их сюзерен, граф де Пуату, отнял у семьи замок и земли. Вернее, отец Жака должен был перед смертью завещать графу поместье в награду за покровительство сыну. Монтегю сделался одним из графских оруженосцев. Однако вскоре покинул сеньора и отправился вместе с матерью искать счастья у Вильгельма, в город Руан. Там вдова поселилась в монастыре, а Жака вскоре возвели в рыцарское достоинство, и он не мог без волнения вспоминать ночь, проведенную перед посвящением в холодной церкви, едва озаренной светом красной лампы. Бакалавр часто рассказывал об этом Анне.

– Какую же присягу ты произнес? – спрашивала она.

– Меня опоясали мечом, и я должен был поклясться, что не буду ни замышлять против жизни своего сюзерена, ни выдавать его тайн, ни вредить его чести, а, наоборот, во всем оказывать помощь и давать совет... Потом паж привязал мне шпоры.

По молодости лет Жак де Монтегю не получил никакого земельного феода, хотя ему были обещаны в будущем золотые горы. Очевидно, Вильгельм уже тогда помышлял о завоевании Англии.

– Когда я отправился на первый пир Вильгельма, мать, вытирая слезы, учила меня, как я должен вести себя за столом. Помню, она говорила: «Не съдай хлеб еще до того, как принесут мясо! Не ковыряй в ухе, не чеши спину, не очищай нос при помощи пальцев, но всегда имей при себе платок».

Анна смеялась.

– Не смейся, госпожа. Моя мать была достойной женщиной и благородного рода.

– Я смеюсь не над твоей достопочтенной матерью.

– А над чем?

– Над тем, что тебя учили не чесать спину.

– Этому каждый должен учиться. Но помню, что в тот день пиршество было великолепное. Мы сидели на скамьях за устроенными на козлах столами, и перед каждым гостем лежал ломоть хлеба, ложка и нож. Так бывает лишь у епископов и во дворцах.

– Даже в Мондидье дают каждому ложку и нож.

– Но разве ты не королева? – сказал Жак де Монтегю, и в голосе его послышалась нежность.

Чтобы не переводить разговора на скользкую почву, Анна спросила:

– Что же подавали на том пиру?

– Оленину, пироги с различной начинкой, жареных каплунов. Потом принесли форелей, лещей и щук. Подавали и другие блюда. Чтобы отбить вкус жира, мясо было приправлено имбирем и мускатными орехами. Я впервые в жизни сидел за таким столом...

В поле веял весенний ветер. Анна с удовольствием вдыхала сырой воздух и, запрокинув голову, следила, как высоко в небе летал сокол, выпущенный на проносившийся над рощей косяк диких уток, прилетевших из-за моря. Птицы отошдали в долгом полете, но годились для соколиной науки. Еще мгновение, и сокол камнем упал на тяжело махавшую крыльями утку, и птица, перевертываясь в воздухе, стала стремительно падать на землю. Охотники поскакали

туда, где, по их предположениям, должна находиться добыча.

Граф Рауль кричал на скаку Анне:

– Как он налетел! Не разучился за зиму бить птиц!

Все радовались удаче, хвалили удар железного соколиного клюва. Только бледный и молчаливый Симон не был захвачен этой древней, как жизнь, жаждой крови, победы, пищи. Анна видела, как серо-голубой селезень лежал, распластав крылья, и судорожно поджимал желтые лапки. Его голова и перья на спине были окровавлены, кровь текла струйкой из широко раскрытого клюва. Рядом сидел на земле сокол и злыми глазами смотрел на бросившихся к добыче людей. А недалеко, на лужайке, блестевшей весенними лужами, голубели незабудки.

Жак де Монтегю, по прозванию Железная Рука, одевался теперь как щеголь, получив от Анны многочисленные подарки – плащ из белой шерсти, верхнее длинное одеяние с медными пуговицами, кожаный пояс с серебряной бляхой, войлочный головной убор. Хотя от этой одежды бакалавр не стал более красивым. Иногда его звали наверх, разделить ужин с графом и его супругой, так как он занятно рассказывал о своей жизни и о Вильгельме. Обычно же он насыщался вместе с оруженосцами, и им подавали не вино, а домашнее пиво и черный ячменный хлеб. Таково было распоряжение графа Рауля.

На обратном пути в замок к Монтегю подъехал оруженосец Гуго и сказал погруженному в глубокую задумчивость бакалавру, что с ним хочет говорить графиня. Жак тотчас направил своего коня в ту сторону, где рядом с графом сидела на серой кобылице бывшая королева.

– Я здесь, госпожа, – прохрипел рыцарь, снимая шляпу.

– Послушай меня, Жак, – заговорила Анна, как будто бы рядом и не существовало мужа. – Я знаю, что у тебя благое намерение совершить путешествие к гробу Христа. Мне самой хотелось бы побывать там. Однако знай, что когда вернешься или если на твоём пути возникнут непреодолимые препятствия, то ты всегда найдешь в нашем замке кров и пищу. Не забудь об этом во время странствия...

Рядом с Анной ехал граф Рауль и насвистывал какую-то песенку, и рыцарь еще раз удивился той власти, которую красота дает женщине над королями и графами. Анна распоряжалась в Мондидье, как королева, не потрудившись даже спросить у мужа, можно ли дать приют в доме Жаку де Монтегю.

Впрочем, разве не сияла в течение многих лет королевская корона на голове Анны? Бакалавр слышал много рассказов о графине, о ее щедрости, милосердии и любви к книжному чтению. Обычно о ней рассказывали Жаку оруженосцы, знавшие каждый шаг своей госпожи. Сидя за столом, они иногда ссорились, поднимали невероятный шум, и тогда из верхнего помещения спускался по лестнице граф Рауль и грозил, что отошлет невеж на конюшню, чтобы они жили там вместе с конюхами.

Однажды такая ссора произошла у молчаливого Эвда с горячим и скорым на худое слово Бруно, не очень почтительно отозвавшимся о прелестях графини. Жак всегда считал, что женщина создана для того, чтобы удовлетворять желания мужа, и ничего обидного в словах рыцаря не нашел. Но, к его удивлению, Эвд кинулся вдруг к мечу, висевшему на стене, с явным намерением убить товарища. Драчунов с трудом разняли. Глядя на их лица, искаженные от гнева и ненависти, как будто бы люди были оскорблены в самых своих дорогих чувствах, Монтегю впервые понял, что на земле существует не только мужская похоть, а и нечто иное, подобное тому чувству, какое он сам испытывал к графине Анне, но так смутно, что он не мог бы сказать, что это такое.

## V

Вскоре Жак де Монтегю, по прозванию Железная Рука, сел на коня, оставил замок

Мондидье и в сопровождении верного оруженосца отправился в Бургундию, а оттуда еще дальше, держа путь в далекую Палестину. Анна видела из окна, как рыцарь, которому теперь никто не хотел дать феода, считая его калекой, медленно ехал по извилистой тропинке и вслед за ним, на своей рыжей лошади, следовал Шарль. Бакалавр иногда оглядывался на замок, прикрывая глаза рукою от солнца. Когда раздобревший на графских кормах конь поднялся на холм, за которым дорога направо вела в Шалон, а налево – в Аррас, Монтегю помедлил некоторое время на перевале и затем, точно не решаясь расстаться с местом, где прожил такую приятную зиму, стал медленно спускаться по склону и вскоре исчез за холмом.

Оруженосец не оглядывался, хотя навеки покинул хорошенькую Лизон. Его уже влекли новые приключения, а бедняжка с утра тихонько плакала в птичнике, куда каждую ночь к ней поднимался по скрипучей лесенке красивый провансалец.

Прошел мало чем примечательный год. Люди, приезжавшие из Нормандии, рассказывали, что Вильгельм окончательно покорил остров и короновался в Вестминстере.

Миновал еще один год, более памятный, потому что был отмечен в жизни замка Мондидье необыкновенно удачной охотой. В течение трех дней убили множество вепрей, оленей и косуль. Об этом лове шли разговоры целый месяц.

В следующем году случайно забредший в посад пилигрим из Рима рассказывал, что греческие мастера построили в некоем городе Венеции замечательный храм, сияющий золотом и мозаиками, и что нигде в Италии нет подобной красоты. Слушая благочестивый рассказ, Анна с грустью подумала о том, как много есть на земле городов, которых она никогда не увидит.

Спустя некоторое время дошли слухи о восстании славян против кесаря. Король Филипп радовался, когда мятежники разрушили Гамбург, считая, что этим нанесен ущерб немецкому могуществу.

Восстания в Германии не прекращались. Доведенные притеснениями до отчаяния, саксы тоже разрушали один за другим замки, построенные на их земле Генрихом III, в том числе прославленный Гарцбург.

В тот год папой сделался Гильдебранд, сын простого плотника, принявший имя Григория VII. Он составил новый молитвенник для священников и стал вводить celibат, или безбрачие, для духовенства и отлучал женатых священнослужителей от церкви. Об этом тоже немало говорили в замке, если, конечно, не было за обедом или ужином чего-нибудь более интересного для разговора – предстоящего выезда на охоту или очередной драки оруженосца Гуго с кюре, которые в последнее время почему-то не ладили между собой. Что же касается охотничьих забав, то Анна уже не садилась на кобылицу: давали себя знать годы, и вместе с возрастом приходила потребность спокойствия. Известную роль сыграл в этом отношении аббат Леон. Он все более и более забирал власть в замке, изгонял из капеллы Антуана, когда тот являлся туда в неподобающем виде, и намекал Анне, что уже настала пора подумать о спасении души...

Минул в вечность еще один год, засушливый и неурожайный, оставивший после себя бедность и голод в селениях. Только города богатели с каждым днем и жены горожан стали одеваться не хуже графинь, а денариев в графских кошельках становилось все меньше и меньше. Гости в замке Мондидье появлялись редко. К Раулю тихими стопами подкрадывалась старость, и он сделался по-стариковски брюзглив. Анна молча выслушивала его ворчание: не все ли равно было теперь, когда лучшее время в жизни прошло, растаяло как дым и мечты, обуревавшие ее, оказались пустыми призраками. Нет, не мечтания, а она сама обманула себя, ожидая чего-то необыкновенного, хотя вокруг тянулось самое обычное существование...

Граф Рауль все чаще жаловался на боли в сердце, и хотя врач шалонского епископа, крещеный еврей, по его словам учившийся в знаменитой Салернской академии, запрещал графу есть жареное мясо, сало и жирных гусей, а особенно не злоупотреблять вином, тем не

менее он съедал за столом по несколько кусков говядины и выпивал кувшин крепкого вина, отчего его лицо становилось багровым, теряя последние следы былой красоты.

Шел 1074 год... В одну из темных ночей граф Рауль де Валуа и де Крепи скончался, и Анна вторично осталась вдовой. Все продолжало на земле идти своим чередом, по-прежнему кишели дичью санлиссские рощи, ржали нетерпеливо кони на графской конюшне, а могущественный сеньор лежал на смертном одре, на том самом ложе под балдахинном, на котором ласкал Анну и многих других женщин.

В замке наступила тревожная тишина, запахло фимиамом. Люди говорили шепотом. У изголовья усопшего горели две высоких церковных свечи. Безмолвный рот мертвеца был плотно сжат. Уже никогда эти уста не прикажут ловчим преследовать оленя, а воинам – сжигать селения мятежных сервов. Но и мертвый граф вызывал страх у людей.

Анна стояла на коленях у смертного одра, и ей не верилось, что мужа уже нет больше среди живых, а потом ей начинало казаться, что вообще ничего не было, ни Рауля, ни их встречи и страсти и многих лет успокоенной жизни. Все прошло как сон...

По другую сторону ложа молился коленапреклоненный аббат Леон; сложив ладони рук, он шептал латинскую молитву. Позади него опустился на колени Антуан. Красноносый священник сделал это не без труда, – сказывалось на его раздобревшем теле невоздержание всякого рода. Тут же находились дети покойного графа, Готье и Симон, и сын Анны Гуго, по прозвищу Большой. В дверях опочивальни толпились рыцари, оруженосцы, конюхи, псары, воины, служанки. Они тихо переговаривались между собою и старались разглядеть лицо господина, который уже никогда теперь не будет наказывать и гневаться на провинившегося только за то, что недостаточно вычищен скребницей конь или сломалась рукоятка у плуга.

Аббат поднялся с колен и сказал Анне, как бы утешая ее, проникновенным, соответствующим обстановке голосом:

– Твой супруг принял христианскую кончину!

Этим он хотел сказать, что граф успел сделать все, что полагалось благочестивому христианину, чтобы обеспечить себе место в райских садах. Действительно, перед тем как отдать Богу душу, Рауль пожелал завещать некоторые угодья аббатству св. Мартина, покровителя храбрых французских воинов, надеясь в предсмертном смятении, что этот святой не оставит его в трудную минуту среди адского пламени. В последние часы жизни перед Раулем промелькнуло лицо графа Эвда де Блуа, построившего ради вечного спасения мост через Луару, по которому путники могли переходить реку, не платя никакой пошлины. Разве за такое деяние святой Мартин не спасал графскую душу, спрятав ее от когтей сатаны в складках французского знамени? Да, никто не знал, где теперь витает и дышит горняя душа графа Рауля и что ей уготовано. Казалось бы, не было большего грешника на земле. Но ведь пожертвования и дары церквам и молитвы епископов...

Замковые рыцари и оруженосцы находились в крайнем унынии, сожалея, что уже не будет больше пышных пиров и волнующих ночных набегов на селения соседних сеньоров, когда так весело горят крестьянские хижины и такими заманчивыми кажутся на соломенных постелях заплаканные деревенские красотки. Конец военным утехам. А ведь возможность получить удар мечом и желание пронзить врага заставляют сильнее биться сердце! Молодые оруженосцы опасались, что если графом Валуа станет богомольный Симон, то погонит всех на утрени и вечерни, а если Раулю унаследует младший сын, по имени Готье, то из скарденности заставит обитателей Мондидье есть вареную репу и пить воду из замкового колодца. Антуан тоже вздыхал, в полной уверенности, что его теперь окончательно выгонят, как старую собаку, и на склоне лет он останется без крова и куска хлеба. Встречаясь с ним на лестнице или в каком-нибудь помещении, аббат Леон еще строже поджимал тонкие, синие губы.

Неясно было, что станется и с самой Анной. Все любили графиню, но отлично знали о неладах в графской семье. Симон ненавидел мачеху всеми силами своей христианской души,

и аббат Леон разделял эту неприязнь.

Анна не отрываясь смотрела на лицо мужа. Смерть сделала особенно хищным орлиный нос Рауля, но рот уже провалился и стал жалким, потому что в последние годы один за другим выпадали зубы, некогда с таким наслаждением разрывавшие твердое мясо вепря. Она не испытывала никакого волнения при мысли, что ведь в объятиях этого человека впервые узнала яростное женское счастье.

Со двора доносились мерные удары резца о камень. Это каменотес уже терпеливо выбивал на плите, под которой должен был лежать владетель сих мест, его титулы:

Граф де Валуа и де Крепи,  
Граф де Перрон,  
Граф де Вексен,  
Граф де Вермандуа,  
Сеньор де Бар на реке Об...

Горделивый потомок Карла Великого стал бездыханным, и участь его теперь должна превратиться в прах.

В горнице, где Анна часто беседовала с Жаком де Монтегю и паломниками, возвращавшимися из Иерусалима, стоял ларь. В нем она хранила свои книжные сокровища, привезенные много лет тому назад из Киева. Благодаря стараниям епископа Готье бывшая королева сносно изучила латынь, но не могла привыкнуть к латинским писаниям и предпочитала им славянские книги. Ей доставляло большое удовольствие порой поставить на хартии русскую подпись.

Когда закончилась заупокойная месса, Анна поднялась с колен, оставила на некоторое время замковую капеллу, где стоял гроб, освещенный лампадами и свечами, и тихо побрела в заветную горницу. Присев на скамеечку, она открыла крышку сундука и стала перебирать книги. Под руку попадалось не то, что ей было нужно сегодня, в эти горестные часы. Вот столько раз перечитанные «Приключения Дигениса Акрита», сыгравшие такую роль в ее жизни, в тот день, когда они сидели с графом на поваленном бурей дубе. Вот «Песнь Бояна» – несколько пергаменных листков, сшитых струной, может быть от тех гуслей, на которых играл прославленный певец, этот русский соловей. На каком пиру порвалась она? В Чернигове или в Тмутаракани? Вот «Громовник» Путизла, обитавшего в таинственной пещере недалеко от города Русы. Вот «Александрия», из которой она узнала о подвигах великого героя. Вот Псалтирь с ее красивыми словами. На дне ларя Анна нашла еще одну большую книгу, искусно переписанную в Киеве, с украшениями в виде птиц, хвосты которых причудливо переплетались с заглавной буквой или со сказочным цветком, изображенным киноварью. От нее пахло затхлостью давно не читанных страниц. Но стоило только перелистать их, и уже вставали в воображении величественные образы. Смуглая дочь фараона с упоительным книжным именем Фермуфь обрела в нильских тростниках плетеную корзинку с младенцем... Началом каких потрясающих событий оказалась эта находка!

Да, был Египет, поражаемый тьмой, песьими мухами, жабами и избиением первенцев. Потом играл на кифаре пророк Давид, царствовал Соломон, влюбленный в пастушку Суламифь... Однако сегодня не эту книгу хотелось прочитать Анне и найти в ней утешение. Она продолжала искать и рыться в своем богатстве. Вот опять попалась на глаза книжечка, по которой она училась грамоте, и в ней стихи:

Геенны меня избави вечныя,  
и грозы, и черви неусыпающа...

Наконец она нашла то, что искала. Книга называлась «Златоструй». В ней Илларион

черпал вдохновенные слова для своих речей и проповедей, когда учил паству милосердию или прославлял Русскую землю. Пресвитер подарил это творение Ярославне перед ее отъездом из Киева, завещая не забывать на чужбине родную речь. Анна раскрыла наугад книгу и прочла, беззвучно шевеля губами:

– «Ныне они душатся дорогими благовониями, а наутро смердят во гробе...»

И ей показалось, что она слышит гневный голос Иллариона в киевской Софии, где она слушала утрени за завесой кафизмы...

Анна похоронила мужа в Мондидье. Но, зная отношение к себе Симона, ставшего после смерти Рауля графом де Валуа, да и неприязнь многих его приближенных, она покинула замок, с которым было столько связано в ее жизни, и переехала в Париж, к сыну Филиппу.

Король неустанно трудился на пользу Франции, был деятельным и полным сил, хотя заметно толстел с каждым годом. Заметив однажды, что мать с огорчением рассматривает его молодую, но уже отяжелевшую фигуру, Филипп всколыхнул живот, поднимаясь с сиденья, и беззастенчиво рассмеялся.

– Что ты смотришь на меня? Я стал тучен? Это правда. Скоро мне будет трудно взбираться на коня. Кто тогда поведет в бой французских рыцарей? Брат Гуго?

Король знал, что брат не предаст его.

В парижском дворце наступал вечер. Анна сидела на скамье у окна, смотрела на туманный Париж и размышляла, вспоминая мудрые наставления епископа Готье Савейера. Да, все в мире разумно. Человек рождается, живет и в назначенный час умирает. Земное существование не может длиться без конца, и если бы люди не боялись смерти, то и жизнь потеряла бы для них всякую сладость. Уже покинули сей суетный свет отец и мать, многие братья, великий Боян, искусный писец Григорий, слепой воевода Вышата, епископ Готье. Погиб где-то в сарацинской земле Филипп, истек кровью на поле сражения Гаральд, пропал без вести жонглер Бертран. Множество других скосила неумолимая коса.

В тяжелые минуты жизни Анна всегда вспоминала свое детство, Киев, широкий Днепр, Вышгород, пир, на котором скальд пел песню, посвященную сестре Елизавете, о корабле, огибавшем Сицилию. В тот вечер случайно рядом с нею за столом оказался голубоглазый ярл. Но тогда она еще не знала, что ей предстоит дальняя дорога. Опять в представлении Анны возникли огромные Золотые ворота...

Около королевы уже почти никого не было из тех, кто приехал с нею во Францию. Борислав с женою возвратились на Русь. Елена и Добросвета вышли замуж за франков, Янко покинул госпожу и переселился в далекий Арль, а Волец тоже теперь жил в Колумье, под Орлеаном. Только Милонегга не расставалась со своей Ярославной, и по-прежнему конюх Ян ухаживал старательно за ее конями.

Но иногда Волец являлся в Париж поклониться королеве. Он тоже стал рыцарем, еще от короля Генриха получил замок в Колумье. После беседы с королевой он обычно сидел долго в горенке Милонегги, вспоминал вместе с нею свой Курск, бревенчатый город, и слезы текли у него по лицу.

Анна часто оставалась в полном одиночестве: Филипп при каждом удобном случае отлучался из Парижа, младший сын Гуго женился на богатой наследнице, дочери графа Вермандуа, чтобы узаконить захват этих земель, и переехал в замок. Никому теперь не было дела до королевы, и навеки ушли в прошлое годы, когда люди считали Анну счастливой и любовались ее красотой.

Время тянулось в сводчатых залах парижского дворца томительно. Иногда королеву мучила бессонница. А если она спала, то первая мысль Анны утром, по пробуждении, летела к милым сестрам и братьям, и однажды у нее родилось пламенное желание отправить кого-нибудь на Русь, чтобы этот человек посетил близких, своими глазами посмотрел на то, что там происходит, и, вернувшись во Францию, обо всем рассказал.

Но кого послать? Выбор Анны пал на Вольца. Преданный до гроба рыцарь долго

вздыхал, крутил головой, когда ему сказали, что от него требуют. Киев был далеко, и Волец не имел большой охоты покидать жену, детей, хозяйство, но не посмел нарушить волю королевы, быстро собрался в путь, и когда сел на коня, чтобы в сопровождении двух слуг пуститься в далекое путешествие, его самого охватила такая тоска по родным местам, что он ни одного дня не промедлил в пути. Горькое желание посетить милый Курск и дорогие могилы подгоняло его как ветром. У него сердце сжималось при одной мысли, что вскоре настанет час и он вновь увидит бревенчатую церковь, а за нею хижину под горой, в которой прошло его детство. В Париже, сидя у окна, с такой же тоской ожидала его возвращения Анна.

Путешествие Вольца продолжалось несколько месяцев, а по истечении времени, которое требуется для такого далекого пути, он вернулся во Францию, и рассказы его были полны волнения. Поездку на Русь он совершил и обратную дорогу проделал с попутными купцами, и ничего достойного упоминания во время этих странствий не произошло, но в Киеве самый воздух был наполнен тревогой, и новые враги угрожали Русской земле. События задержали Вольца дольше, чем он рассчитывал, и Анна уже отчаялась увидеть своего посланца, как вдруг однажды утром он возвратился в Париж и, обливаясь слезами, стал рассказывать королеве о том, что видел и слышал.

Печальные вести привез Волец из родных пределов. Преграждая путь торговым людям к морю, которое называлось Русским, и к солеварням, киевскую область обложили со всех сторон половцы. Еще до приезда Вольца Изяслав, Святослав и Всеволод, как три сияющих солнца, вышли в поле против страшных врагов. Но князья потерпели жестокое поражение на реке Альте, и ее воды обагрились русской кровью. Изяслав и Всеволод бежали с остатками дружины в Киев, Святослав заперся в Чернигове, где он незадолго до этого построил каменный дворец. Враги волками рассыпались по мирным полям. Они метали огненные стрелы с серным составом, наводившие ужас на непривычных княжеских коней, разоряли селения и сжигали гумна.

При прорыве неприятельских рядов половцы применяли особое построение для своих всадников, так называемый клин, обращенный острием на поле битвы. Выдержать их удар было трудно. Перед битвой они обычно устанавливали возы в виде укрепления, оставляя между ними проходы, чтобы в случае неудачи отступающие всадники могли найти убежище от врага, перевести дух и снова броситься в бой.

В далеких степях было затруднительно гоняться за летучими ордами кочевников, поэтому князья предпочитали захватывать половецкие обозы, отягощенные награбленной добычей, и великая радость веселила сердца, когда удавалось освободить пленных христиан. Но половцы также умели хорошо устраивать засады и производить неожиданные нападения. Пленников они гнали в Сурож и, если несчастные не погибали в пути от голода и жажды, продавали их там, и работоторговцы везли людей через Константинополь в Александрию, а благочестивые василевсы вжимали с каждого пленника пошлину, обогащаясь на торговле христианскими душами.

Волец прибыл в Киев в те дни, когда Изяслав и Всеволод уже вернулись из губительного похода. В городе скопилось множество беглецов из пограничных селений. Все это были хлебопашцы, искавшие защиты за высокими киевскими валами. В самом Киеве также насчитывалось немало бедных ремесленников. В гнев люди явились к Изяславу и требовали копьей и коней, чтобы прогнать кочевников. Но князь опасался выдать им оружие, а они видели, как горели гумна, полные снопов, и как половцы топтали нивы.

Тогда горожане устроили шумное вече на Подолии, где находился Житный торг, и на сборище поносили последними словами воеводу Коснячко, которого считали виновником всех своих бед. Затем гневные толпы народа поднялись на гору и разграбили двор ненавистного воеводы. Отсюда часть мятежников направилась ко двору Брючислава, а другие пошли на княжеский двор, где в темном порубе томился князь Всеслав, беспокойный

человек, посаженный киевским князем за попытку посеять смуту на Руси.

Хотя Волец и родился сыном бедного плотника, но был теперь посланцем королевы Анны и находился среди княжеских дружинников, когда ко дворцу явились взволнованные смерды. Он слышал, как люди требовали от Изяслава:

– Дай нам оружие и коней, и мы еще будем биться с половцами!

Волец рассказывал Анне:

– Князь тогда совещался с дружиной. Я тоже сидел с ними. Вдруг мы услышали крики и гул человеческих голосов. Народ ворвался на княжеский двор, и я своими глазами видел, как князь Изяслав в страхе смотрел на непокорных из оконца, не зная, что предпринять. Они выкрикивали имя Всеслава, желая освободить узника. Тогда Тука, брат Чудин, сказал князю: «Пусть его позовут под каким-нибудь предлогом к выходу из погребца и пронзят мечом!» Но Изяслав не захотел слушать дьявольских наущений.

Анна боялась проронить хоть одно слово в рассказе посланца.

– Почему Всеслав сидел в узилище? Кто посадил его туда? – спрашивала она с недоумением.

– Твои братья схватили его и бросили в яму. Но в то время, когда я находился в Киеве, горожане освободили заключенного и объявили своим князем, а княжеский двор предали разорению и захватили бесчисленное множество серебра и золота. Другие взяли деньги или меха.

– Что же случилось с братьями?

– Князья бежали в Переяславль. И я с ними ушел. Мы с большим трудом пробились сквозь толпу, спасая свои жизни, а все богатство великого князя досталось татям... Многие в тот день из бедных стали богатыми, а богатые – бедняками.

– Где же теперь Изяслав? Где Всеволод? – спрашивала Анна.

– В Переяславле я разлучился с ними, но мне говорили, что князь Изяслав хотел искать помощи у свойственника, польского короля Болеслава.

– Изяслав женат на его дочери.

– Так мне и говорили в Киеве. И будто бы он собирался посылать послов в Рим, к папе. А сам пришел с польским войском против Всеслава.

– Ты видел его, когда он явился в Киев?

– Нет, я задержался в Курске и только по рассказам знаю, что Всеслав вышел с киевским ополчением против Изяслава, но устранился и, тайно покинув своих воинов, бежал в Полоцк. Тогда киевляне вновь собрали вече и обратились к Святославу и Всеволоду, чтобы они пришли княжить в их городе, угрожая в противном случае сжечь все и уйти в греческую землю.

– В греческую землю? – широко раскрыла глаза Анна.

– Так они говорили князьям.

– И как же поступили мои братья?

– Князь Святослав был в это время в Чернигове, а князь Всеволод в Переяславле. Оба послали просить Изяслава не губить русский город. Однако Изяслав направил в Киев своего сына.

– Ярополка?

– Мстислава. Он – недобрый человек. Этот молодой князь казнил в Киеве семьдесят горожан, а многих других ослепил. Когда потом в город вступал Изяслав, я уже вернулся из Курска и удивлялся, как все трепетали перед князем. Вот что я узрел своими собственными глазами.

– И Всеслава видел?

– Дважды. О нем ходит дурная слава. Будто мать зачала его от волхвования. Знаешь ли ты, что он сделал на Руси еще при жизни блаженной памяти твоего родителя? Предательски напал на Новгород с полоцким войском, взял в Софии паникадила и священные сосуды и

даже колокола снял с колокольницы, а тысячи жителей увел в плен. Но светлый князь Ярослав настиг его своей десницей на реке Судомири и отнял добычу.

Волец понизил голос:

– Говорят, что Всеслав – оборотень. Когда князь спасался из Киева в Полоцк, то превратился в серого волка. Может он и по воздуху птицей летать. Однажды князь бежал из Белгорода. Уже тьма тогда опустилась на землю, а он еще до третьих петухов был в Тмутаракани. Если в Полоцке звонят к утрени, Всеслав слышит звон в Киеве...

Анну стал трясти озноб. Страшные дела творились на Руси, русская кровь текла рекой, а братья, вместо того чтобы беречь от врагов достояние предков, тратили напрасно силы в междоусобной войне.

– Изяслав пришел с ляхским королем, – рассказывал Волец, – и велел перенести торг с Подолия на гору, чтобы во дворце было слышно, о чем шумит народ. Все волнения начинаются на торжищах. Там каждый может говорить и кричать, что ему вздумается.

– О чем же кричал народ?

– О том, что стало тяжело жить на Руси.

– Половцы по-прежнему тревожат русские пределы?

– Над половцами твой брат Святослав одержал великую победу. С тремя тысячами воинов разгромил множество кочевников и далеко гнал в степи, а их было более двадцати тысяч. Но другие бедствия постигли Киев. В те дни случился мор, три года тому назад произошел великий пожар, сгорело много домов.

– Живы ли твои в Курске? – спросила Анна, чтобы своим участием в судьбе рыцаря поблагодарить его за службу.

– Никого не осталось. И там свирепствовал мор, и моих погребли в скудельнице.

– Худо нам с тобой, Волец, – сказала Анна.

– Худо нам с тобою, госпожа, – ответил рыцарь.

Над землею пролетали черные годы. Темная ночь стояла на земле, и люди ослепли от слез. Лишь те, кому было внятно книжное чтение, лелеяли в душе надежду, что когда-нибудь настанут лучшие времена. Сверкали молнии, слышался гром приближающейся бури, и пламя светильника металось на ветру, но люди верили, что после непогоды вновь займется над Русской землей светлая заря.

Волец рассказывал средь ночи:

– Но это еще не конец бедам. Князь Святослав и князь Всеволод напали на брата Изяслава. Польский король не оказал ему помощи, ибо за это время Святослав успел выдать за Болеслава свою дочь.

Анна кивала головой. Она знала дочь Святослава еще светловолосой девочкой, и вот она уже польская королева.

– Рассказывали мне в Киеве, что Святослав тоже вел переговоры с папой. А Изяслава король обманул и отнял у него сокровища. Будто бы князь теперь появился где-то в Саксонии, у графа, которого зовут Деде, и этот вельможа хочет везти его к кесарю Генриху, чтобы просить о поддержке в борьбе с братьями за киевский престол. Свою просьбу Изяслав подкрепил дарами – серебряными сосудами, которые ему еще удалось сохранить. Но когда и где это было, чтобы русский князь иноплеменную помощь дарами покупал? Горько узнать мне про это.

Анне стало стыдно за брата. Простой человек, как Волец, не княжеского рода, и имеет гордость. А князь постыдно ползает у ног кесаря...

– Спасибо тебе, друг, что выполнил мою волю, – сказала она, опустив голову. – Я награжу тебя.

– Награды я не ищу. Но сними камень с сердца. Напиши князю Изяславу, чтобы не воевал Русской земли с чужеземцами.

– Уже ты учишь меня, как быть, – с горечью сказала Анна.

- Не я учу, судьба наша учит.
- Какая судьба?
- Чтоб путь был свободный на Руси от моря до моря.

Так Волец понимал величие русского государства. До другого еще не дано было ему подняться. Нивы и гумна, торговые лады, плывущие в греческую землю с мехами, медом и воском, счастливые девичьи хороводы... Вот была Русь! Границы ее – Варяжское море на севере, Русское море на юге. А вдали плескался океан...

## VI

Изяслав скитался по чужим краям, готовый заключить союз с любым королем, лишь бы вернуть себе отцовское наследие и растроченное в этом страшном переполохе богатство – бесчисленные серебряные сосуды. В конце концов он очутился в Госларе. Оттуда граф Деде, на дочери которого Изяслав был в свое время женат, повез его в Майнц, к императору Генриху IV.

Князь много слышал от своей первой супруги и регенсбургских купцов о жизни в немецких землях, но, очутившись в Германии, растерялся. Вокруг все предстало как чужое и непонятное. Люди пили здесь горькое пиво, а не хлебный напиток. К тому же кесарю было не до него: Генрих занимался саксонской войной, и русский князь целые дни проводил в бездействии, не зная, к кому обратиться за помощью и советом.

Юный император принял беглеца любезно. Изяслав, наслышавшийся всяких ужасов об этом правителе, удивился, увидев, что перед ним стоит скромный, высокий, но узкогрудый, черноволосый юноша с большими задумчивыми глазами. Судя по цвету лица, можно было подумать, что кесарь болезненный человек, во всяком случае не обладающий большой физической силой. Из беседы, с помощью переводчика, выяснилось, что Генрих плохо разбирался в том, что происходило по другую сторону Одера, в далеких славянских землях, но смотрел на Изяслава с любопытством и велел графу Деде сделать все, чтобы гость остался доволен пребыванием в Майнце. Граф поселил русского князя в своем доме, делил с ним обильный стол, однако ему было трудно объясняться с Изяславом из-за незнания языка. В свою очередь русский князь не имел никакого понятия о латыни и остался очень доволен, когда к нему приставили поистине вездесущего Людовикуса. Купец успел окончательно поседеть за эти годы, но сохранил прежнюю ловкость и ясный ум. Он получил от графа Деде строгое повеление находиться при незадачливом князе и служить ему проводником в том мире, в котором Изяслав волей судьбы очутился, и от него киевский беглец узнал много интересного о жизни и нравах кесаря.

Отцом кесаря был Генрих III, убежденный христианин и тиран, монах и король одновременно. Когда однажды ко двору явился невысокий черномазый аббат с пламенными итальянскими глазами, хотя и с немецким именем Гильдебранд, Генриху IV было три года. Ему не понравился смуглый незнакомец, и он по-детски обругал монаха, бросив ему в лицо недоеденный кусок хлеба. Гильдебранд улыбался, снисходя к детскому непониманию, и никому тогда в голову не приходило, что настанет время, и этот умный, хотя незначительный и скромный на вид, человек будет папой, и кесарь пойдет по снегу молить у него прощения.

В те дни трехлетнего Генриха помолвили с Бертой Савойской, девочкой такого же возраста. Они должны были сочетаться браком по достижении совершеннолетия. Всем представлялось, что после императора Генриха III, властно державшего в твердых руках кормило правления, с одинаковой решимостью распоряжавшегося в светских и церковных делах, не останавливавшегося даже перед тем, чтобы при случае перевалить через Альпы и показать в Риме силу своего оружия, его сыну обеспечено спокойное царствование. Но когда кесарь умер от чахотки, сторонники папы воспрянули духом и стали ратовать за независимость Церкви от императора. В Киеве текла другая жизнь, и там ничего не знали об

этой борьбе, а также о том, что в стенах Ключийского монастыря возникло движение за чистоту нравов в среде духовенства. В этом отношении Людовикус оказывал Изяславу большие услуги, знакомя его с западной жизнью.

Скромно устроившись на неудобном деревянном табурете, потому что людям низкого происхождения не полагается красоваться на широких седалищах, он поведал русскому князю о том, что творится при императорском дворе. Людовикус сгорбил под бременем лет, но не расстался со своей лисьей шапкой, уже сильно потертой и попорченной молью. Изяслав угощал его вином, зная, что оно подогревает преданность и развязывает языки.

– Когда Генриху исполнилось пятнадцать лет, – докладывал Людовикус, – отпраздновали свадьбу с Бертой. Это происходило в Госларе. Но кесарь вскоре оставил юную супругу, заявляя всем и каждому, что один вид жены приводит его в негодование.

– Столь она некрасива лицом? – спросил Мстислав, присутствовавший при беседе. Он слыл большим знатоком женской красоты.

– Супруга кесаря в те годы была прекрасна.

– Почему же он отверг ее? – недоумевал молодой князь.

Как бы намекая, что имеет по этому поводу свое особое мнение, но не находит возможным высказать его, Людовикус прервал речь и широко развел руками с многозначительной улыбкой. Изяслав слушал его со скукой, не видя пока в рассказе ничего такого, что можно было бы использовать в своих целях.

– Впрочем, кесарь примирился с женой, когда она родила ему сына, – добавил переводчик.

Граф Деде считался при дворе великим хитрецом. Он всю жизнь разумно и трезво смотрел на вещи и не имел ни малейшего желания портить свои отношения с императором из-за русского князя, хотя тот и подарил ему редкостные меха лисиц и бобров. Однако граф не догадывался, что в лице Людовикуса, которого сам приставил к Изяславу, в графский дом вползла змея. Уверенный, что не в интересах князя выдавать его немцам, Людовикус раскрывал одну за другой тайны Гослара.

– Говорят, что кесарь был в детстве нежным мальчиком, наделенным блестящими способностями. Эти дарования и помогли ему в совершенстве изучить латынь и все, что требуется для образованного правителя, но порывистость желаний толкала юношу в объятия непотребных женщин.

Изяслав неодобрительно покачал головой. В этой побеленной скучной горнице с черным распятием на стене киевский князь был довольно странной фигурой в своей красной русской рубахе, расшитой золотом вокруг плеч, в синих широких штанах, засунутых в желтые сапоги. Рядом с ним сидел за столом Мстислав, мрачный юноша, с крепко сжатым ртом, свидетельствовавшим о жестокости, которую он, может быть, унаследовал от матери своей, Гертруды.

Но Людовикус, окончательно превратившийся в болтуна, продолжал выкладывать госларские сплетни и в особо сомнительных случаях прикрывал рот рукою, как щитком, ибо известно, что и стены имеют уши.

– Монахи рассказывают о кесаре разное. Будто бы он творит блуд с монахинями и аббатисами. И не только в разврате его обвиняют. Будто бы он втайне поклоняется египетскому идолу.

От отвращения Изяслав плюнул на пол.

– Я своими ушами слышал, что говорил Рудольф Баварский, когда однажды привез ему отличный голубой шелк. Замечательный шелк! Подобные ткани...

– Так что же сказал этот Рудольф? – мрачно спросил Мстислав.

– Он говорил смеясь, что у кесаря по меньшей мере три любовницы одновременно, а кроме того, он отнимает у мужей красивых жен.

– Может быть, лжет Рудольф и монахи лгут? – недоверчиво заметил Изяслав.

– Возможно, – поспешил согласиться переводчик, не желая перечить князю, хотя видно было, что Людовикусу доставляло большое удовольствие ворошить в доме Генриха все его неблагоприятные поступки. Всю жизнь он метался из одного конца Европы в другой, встречал на пути тысячи людей, передавая дальше полученные от них известия о налете саранчи или смерти очередного короля. Ныне жизненное путешествие приходило к печальному концу, а у Людовикуса ничего не было, кроме старой лисьей шапки. Правда, он повидал мир и знал почти всех замечательных людей, от королевы Анны до папы Григория VII, а кроме того, кучу всяких вещей: например, ему было известно, что Берту, жену благочестивого Роберта, изобразили на одном портале с гусиными лапами, что епископ Адальберт пытался разводить виноградные лозы на берегах реки Эльбы, так как церкви нуждались в вине для совершения таинства. Рассказывая об этом, старый бродяга потирал руки и уверял, что пока еще ни одной грозди на этих виноградниках не собрали. Причина такого ехидства лежала в том, что Людовикус одно время пытался торговать бургундским вином и видел в епископе соперника.

Людовикусу хотелось направить мысли Изяслава и его сына на борьбу императора с монахами; по его мнению, русский князь мог извлечь для себя из этих столкновений немалую пользу.

– Самое важное для тебя, – убеждал он князя, – что кесарь и Рим грызутся, как два волка. Папой стал теперь кардинал Гильдебранд. У меня был случай встретиться с ним в Павии. Его тетка замужем за одним из Пиклеони. Это – богатая банкирская семья. Мне тоже приходилось иметь с ними дело. С помощью Пиклеони один из родственников Гильдебранда, простой учитель латинского языка, несколько лет тому назад сел на престол святого Петра, но кесарь обвинил его в торговле епископскими жезлами и привез из Рима в Кельн. С ним и приехал в числе других монахов Гильдебранд. Пребывание в Германии принесло ему большую пользу. Обладая наблюдательным умом, который не упускает ничего важного, он изучил положение в Германии и нрав кесаря. Но теперь он борется за небрачие духовенства. Можешь представить себе, что творится сейчас в наших странах. Ведь епископы не очень-то хотят расставаться со своими женами и наложницами. Значит, у Генриха найдутся союзники даже в церковном мире. Это – одно из слабых мест папы... В конце концов все сводится к борьбе за власть. Григорий хочет отнять у кесаря и франкского короля право вручать епископам посох и перстень. Ты должен учесть все это и подумать хорошенько, нельзя ли сыграть на вражде папы и кесаря.

Приблизительно в таких выражениях объяснял Людовикус запутанное положение в Европе. Изяслав и его хмурый сын внимательно слушали, хотя и не все понимали. Они попали в незнакомый мир.

– Уже бывали случаи, – шамкал Людовикус, – когда Рим помогал земным правителям. Мне доподлинно известно от одного банкира, из тех же Пиклеони, что папа щедро снабжал золотом Вильгельма, когда тот завоевывал Англию. Но, конечно, святой отец потребовал от нормандца присягнуть ему на верность.

– Как же поступил этот правитель? – любопытствовал княжич, все-таки лучше разбирающийся в здешних делах, так как его мать была латинской веры.

– Деньги он брал, а клятву не захотел дать.

Мстислав рассмеялся.

– Это действительно достойно смеха. Вильгельм водил его за нос. Но папа продолжает искать королей, которые были бы покорны ему, и помышляет овладеть всей землей. Почему бы вам не последовать примеру хитрого нормандца? Рим даст вам деньги.

– Какую же награду папа потребует за это? – спросил Изяслав. – Переменить веру?

Людовикус опять развел руками.

– Бог один. А кроме того, кто вам помешает, когда достигнете своей цели, уклониться от уплаты?

– Так русские князья не поступают, – гордо заявил Изяслав.

Но Мстислав рассмеялся:

– С волками жить – по-волчьи выть.

– А ты почему хлопчешь об этом? – опять спросил Изяслав купца.

Людovicус прикоснулся пальцами к груди и с обидой ответил:

– Единственно из желания помочь знаменитому принцу, впавшему в несчастье. Тебе или одному из твоих сыновей необходимо ехать в Рим. Я помогу в этом деле. Найдутся люди, которые окажут вам поддержку. Например, братья Пиклеони.

Изяслав задумался. Ему пришла в голову мысль, что в этом чужом мире нельзя отказываться от услуг такого человека, как Людovicус. У него же самого был лишь один способ снискать расположение – подкуп, серебряные сосуды, а здесь требовалось нечто другое – знание обстановки, тонкая лесть, уловление человеческих слабостей.

Он сказал с горькой улыбкой, обращаясь к Мстиславу:

– Вот, мой сын! Мы гонялись в степях за половцами, и нам некогда было подумать о прочем, а люди в немецких землях живут не так, как у нас.

– Нужно использовать слабые места у врага, – пояснил Людovicус.

– Какое же слабое место у кесаря? – спросил Мстислав.

– Саксонская война.

Людovicус стал рассказывать о борьбе Генриха с непокорными саксами.

– Саксония всегда была золотым дном для кесарей. Саксонцы трудолюбивый народ. Из года в год они поставляли немецким королям тысячи быков, свиней, овец, а также огромное количество кур, гусей, яиц, меда, воска, хотя в душе питали надежду на свободу. Чтобы держать их в повиновении, Бенно, знаменитый строитель, воздвиг по повелению Генриха III целый ряд сильно укрепленных замков и среди них неприступную крепость Гарцбург. Но саксонские хлебопашцы восстали, и ты уже слышал, что там произошло. Король прибыл в этот замок, чтобы принять участие в охоте, и как раз в этот день восставшие осадили крепость. Сам Генрих спасся по подземному ходу, а крестьяне взяли град приступом и разрушили в нем церковь. Прах королевских предков мятежники вырыли из могил и развеяли по ветру. Теперь восстание распространилось на всю Саксонию...

Об этом говорили открыто во всех немецких харчевнях. Но Изяслав слушал рассказ о победе крестьян, нахмутив брови.

События напомнили ему о том, что случилось в Киеве, когда народ ворвался на княжеский двор и бедняки разграбили его сокровища. Везде в мире происходило одно и то же, и казалось, что Бог не помогает больше правителям и королям.

Людovicус, не догадываясь, что его слова вызвали у русского князя печальные воспоминания, продолжал рассказывать:

– Теперь всех почтенных людей охватил страх. И сами саксонские графы, еще вчера мечтавшие отложиться от короля, уже считают, что лучше его власть, чем гибель от руки мятежников.

Наблюдательный старик был прав: всюду чувствовалось в воздухе беспокойство, и крестьяне только ждали удобного случая, чтобы расправиться со своими угнетателями...

Как только слухи о том, что Изяслав, преемник Ярослава, находится в Майнце, дошли до Парижа, Анна решила отправить к нему посланца. Королева опасалась, что в сутолоке событий и среди развлечений кесарского двора брат может не навестить сестру или замедлить с прибытием во французскую столицу, и необходимо было напомнить о себе. Но никто теперь в ее окружении, кроме Милонегги и конюха Яна, не говорил по-русски. Анна подумала о Вольце. К сожалению, этот рыцарь жил как медведь в берлоге, заперся в Колумье. Впрочем, любой верный человек мог передать Изяславу письмо и получить ответ, а так как время не ждало, то она остановила свой выбор на преданном Бруно, вместе с некоторыми другими рыцарями последовавшем за королевой, чтобы служить ей. Анна щедро снабдила воина в дорогу деньгами и сказала, отправляя его в Майнц:

– Не медли в пути и не задерживайся ни в одной придорожной харчевне. А когда передашь письмо русскому королю, возьми у него ответное послание и тотчас садись на коня. Знай, что я буду ждать твоего возвращения с замиранием сердца, и когда ты вернешься, протруби трижды в рог у дворцовых ворот...

Зашив послание королевы в подкладку одежды и набив серебряными денариями кожаный пояс, на котором висел меч, рыцарь быстро собрался в путь.

Хотя солнце уже давно покинуло меридиан, как ученые называли полдень, Бруно заявил, что не станет ждать завтрашнего утра, а тотчас сядет на коня и пустится в дорогу, чтобы некоторую часть путешествия совершить ночью. Гордый доверием королевы, он так и сделал и в сопровождении слуги Жака, захватив с собою двух запасных коней, отправился в Майнц. Но ему пришлось проезжать мимо харчевни, над воротами которой висела на шесте грубо вырезанная из дерева чаша, некогда покрытая церковной позолотой, и сатана надоумил рыцаря остановиться у таверны, чтобы глотнуть на дорожку вина.

Кроме толстого хозяина с тяжким брюхом под кожаным передником и его служанки, румяной Гертруды, ради которой, если говорить правду, и забрел сюда наш рыцарь, в харчевне находилось несколько посетителей. Среди них – истопник Фелисьен, его приятель конюх Ян, бродячий монах Люпус, вновь очутившийся в Париже, поседевший, как и многие другие, за последние годы, но все такими же вытаращенными глазами глядевший на мир Божий, а кроме них два или три горожанина, какой-то подозрительный бродяга со щетинистой бородой, возможно, убежавший из темницы злодей, и пономарь соседней церкви, богопослушный человек, однако несколько приверженный к вину. Люди сидели за неуклюжим столом посреди таверны, на длинных скамьях, столь тяжелых, что их даже невозможно было использовать во время драк, случавшихся в этом заведении довольно часто. Но у стены стоял еще один стол, предназначенный для почетных гостей, если они заглядывали сюда, хотя бы ради той же проказницы Гертруды, девицы с совершенно непонятным прозвищем «Два гроша», которое ничего не говорило ни уму, ни сердцу даже догадливых людей. За этим столом старательно выскребывал оловянной ложкой остатки рыбной похлебки из глиняной миски молодой человек, судя по виеле, что лежала на земляном полу у его ног, – жонглер. Бруно уселся напротив него и стал рассматривать незнакомца, не представлявшего собою ничего примечательного. Белобрысая челка, длинный нос между двух глубоких морщин на худощавом лице, тонкая шея с кадыком, коричневая рубаха с фестонами. Но жонглер уже отодвинул миску, вытер рот обратной стороной руки и, обводя взглядом присутствующих, от рыцаря до монаха Люпуса, заявил:

– А теперь я позабавлю вас, друзья!

Бруно остановил его речь величественным мановением руки и крикнул трактирщику:

– Эй ты, олух!

Хозяин харчевни, не привыкший к другому обращению со стороны благородных посетителей, если они оказывали честь его таверне, поспешно явился на зов.

– Кувшин старого вина!

– Твое желание будет тотчас выполнено, почтенный рыцарь. Но только как же...

– Что тебе надо? – нахмурился Бруно.

– Как же с теми тремя денариями, которые ты мне задолжал с самой Троицы?

Рыцарь самодовольно рассмеялся.

– Все заплачу, до последнего гроша. Сегодня у меня пояс набит серебром.

Услышав такие приятные слова, проворный хозяин покатился колобком к лесенке, ведущей в погреб, где стояли три бочки с вином, и не мешкая нацедил полный кувшин. Но не сам подал его на стол, а толкнул в бок кулаком нерасторопную Гертруду и сунул ей в руки сосуд. Девица, соблазнительно покачивая бедрами, понесла вино рыцарю, который тут же посадил ее к себе на колени.

– А где же кубок? – спросил он.

Гертруда все той же сонной походкой направилась за кубком.

– Два кубка! – бросил вдогонку ей Бруно. – Жонглеру тоже надо промочить глотку.

В ответ на эти любезные слова молодой человек не очень ловко приподнялся с табурета и потрогал рукой неказистую свою шляпу, некогда черную, но побуревшую от дождей и солнца.

– Что же ты нам споешь? – спросил его Бруно, находившийся в самом благодушном настроении.

– Не знаю, понравится ли тебе эта история, но хотелось бы сегодня спеть песню, сочиненную одним моим другом, которого, возможно, уже нет на земле.

– Тоже был жонглер?

– Жонглер.

– Что с ним случилось? Умер?

– Может быть, умер, или навсегда ушел в далекие края, или утонул где-нибудь с пьяных глаз. Его звали Бертран, моего друга.

– Бертран! Вот так штука! – изумился рыцарь.

– Клянусь честью!

– С длинными черными волосами? Красивый молодчик?

– Он самый. Значит, ты тоже знал его?

Рыцарь подумал, что, пожалуй, лучше не говорить лишнего, и ответил с деланным равнодушием:

– Не помню, где-то слышал его песни.

Но жонглера взволновала встреча с человеком, который знал исчезнувшего друга. Он не мог успокоиться:

– Значит, ты встречал Бертрана? Где же это было?

– Где-то в Валуа. Он там ходил по замкам, потом следы его пропали.

– Верно. Он как сквозь землю провалился. Но раз ты знал Бертрана, то послушай его песенку. Это все, что осталось от бедняги. Так иногда бывает с жонглерами: человек уже давно в могиле сгнил, а его стишки гуляют по свету и вызывают смех или слезы...

– Да, грустная история, – согласился Бруно.

– Но, может быть, тебе будет неприятно слушать песню про мужика?

– Я тоже не барон, – со смехом заявил рыцарь. – Мой отец был мельником. Это граф Рауль дал мне рыцарское звание. Пей за мое здоровье! Теперь Бруно пойдет в гору, если выполнит достойным образом повеление королевы!

– Тогда послушай...

Жонглер взял в руки виелу, настроил ее и провел по струнам напряженным, как лук, смычком. Раздались довольно жиденькие звуки. «Бертран играл лучше», – подумал Бруно. Но глаза у жонглера уже задорно заблестели, и, издав еще несколько игривых нот на виеле, он пропел:

Угости меня вином,  
я тебе спою о том,  
как один мужик был хвор,  
утром в пятницу помёр.  
Но архангел в этот час  
дрыхал, не продравши глаз,  
душу в рай нести не мог,  
на другой улегся бок...

– Здорово! – похвалил Бруно, в то время как за длинным столом люди покатывались от хохота, и даже у конюха Яна, не все понимавшего в этой безбожной песенке, вокруг глаз

собрались веселые морщинки.

Ободренный успехом, жонглер снова попиликал на виеле, а потом затынул высоким голосом:

В кущи райские спеша,  
полетела ввысь душа.  
Там апостол Петр с ключем  
говорит: – Ты здесь при чем?  
Умирай не умирай,  
а простым нет входа в рай! —  
Но мужик был не дурак  
и Петру ответил так:  
– Я, как мученик, страдал,  
я трудился, сеял, жал,  
ты же трижды неспроста  
отрекался от Христа!

Песенку прервал восторженный хохот трактирных завсегдатаев. Смеялся даже рыцарь. Жонглер вдохновенно озирал собрание.

Тут смутился страж святой  
и скорее за Фомой!  
Прибежал Фома к воротам,  
мол, сейчас ему задам!  
Стал на мужика орать:  
– Как ты смеешь бунтовать! —  
А мужик ему в ответ:  
– Почему мне входа нет?  
Ну, а кто неверным был?  
В рану кто персты вложил? —  
Тут заткнулся и Фома  
от крестьянского ума!

Бертрана уже не было в живых, а вот он смешил людей. Трактирщик хохотал, поддерживая красными лапами колыхавшийся живот. Однако самым звонким смехом обладала Гертруда. Он был подобен серебряному церковному колокольчику. Так по крайней мере казалось простодушным посетителям таверны.

Девушка сидела на коленях у Бруно и, когда смеялась, запрокидывая голову, показывала свои жемчужные зубки и нежную белую шею, а ее груди, упругие, как набитые песком жонглерские мячики, готовы были выпрыгнуть из полотняной рубашки, на вороте которой, как нарочно, развязалась тесемка. Не мудрено поэтому, что рыцарь Бруно несколько задержался в харчевне и даже спустился вслед за Гертрудой в погреб, исключительно с намерением помочь бедной девушке цедить вино в кувшины.

Сверху доносилась, порой прерываемая раскатами смеха, песенка Бертрана. Беднягу уже никто не целовал на земле.

Павел прибежал на крик,  
непоседливый старик,  
топает ногами он,  
как разгневанный барон.

Но мужик прищурил глаз:  
мол, мы знаем и про вас!  
– А Христа кто злобно гнал?  
Кто Стефана побивал? —  
И апостол в тот же миг  
прикусил себе язык.  
Пошептались тут отцы  
и, надев свои венцы,  
к Богу все втроем идут,  
тащат мужика на суд...

Гертруда томно сказала:

– Бруно, что ты со мной делаешь! Ведь я пролью вино...

Одним словом, когда рыцарь и его слуга после препирательства с городской стражей, начальником которой, к счастью, оказался знакомый сержант, выбрались из парижских ворот, уже давно наступила ранняя осенняя тьма. Двое всадников утонули в ночи вместе с запасными конями, как в море чернил. Створка ворот снова со скрипом затворилась. Выбравшись на шалонскую дорогу, Бруно прищпорил коня...

Анна с нетерпением ждала ответа от Изяслава или его приезда. Иногда она плакала по ночам, сидела на постели и простирала руки во тьму, такое у нее рождалось желание обнять брата. Но дни проходили за днями, а Бруно не подавал о себе вестей. Уже истекли все сроки. Анне казалось, что сердце ее не выдержит ожидания и разорвется. По утрам она спрашивала наперсницу:

– Возвратился ли Бруно?

Милонегга с печалью отвечала:

– Нет, госпожа! Рыцарь еще не приехал. Наверное, он будет к вечеру в Париже.

Приходил вечер, наступала ночь, но посланец не возвращался и никто не трубил трижды у ворот.

Это было непонятно и странно, и Анна терялась в догадках. Она ни минуты не сомневалась в честности Бруно. Может быть, он умер в пути или его зарезали в какой-нибудь придорожной харчевне во время драки, за игрой в кости? Или неверный слуга убил рыцаря и бежал, завладев конями и поясом с серебряными денариями? И вдруг королева решила, что сама отправится в дорогу, чтобы поскорее повидать брата. Ей даже захотелось посетить в Дании сестру Елизавету, вышедшую после смерти Гаральда за датского короля Кнута. Разве она, дважды вдовица, не была свободной, как ветер? Разве у нее не хватит сил совершить путешествие даже на Русь? До Киева было далеко. Однако если ехать не торопясь и с частыми остановками в монастырях, то и немолодая женщина может совершить такой путь, если около нее будут верные люди.

Когда король Филипп узнал о безрассудном намерении матери совершить путешествие в Майнц, а может быть даже поехать с братом на Русь, хотя сама королева с замиранием сердца думала о таком трудном предприятии, он стал уговаривать ее отказаться от подобного паломничества.

– Что тебя ждет на родине? Одни могилы остались там.

– А братья?

– Они уже стали чужими тебе, забыли сестру. У каждого полно забот. Мы с тобой для них – латыняне.

Но Анна твердо стояла на своем. До нее доходили определенные слухи, что Изяслав находится в Майнце, при дворе кесаря. Королева стала собираться в путь, и ей казалось, что она уже покидает Францию навеки. Предстоящая дорога обещала всякие неожиданности, и перед большим странствием Анне страстно захотелось побывать в Санлисе, где она столько

пережила. Королева решила, что отправится туда, хотя эта поездка тоже могла занять пять или шесть дней, а приходилось торопиться, чтобы застать Изяслава в немецкой столице. И вот она еще раз выезжала из роши на ту долину, с которой открывался вид на каменный город, на аббатство св. Викентия, построенное ею, и римские развалины в плюще. Но теперь Анна ехала уже не верхом, а в повозке. Все же у нее хватило сил ступенька за ступенькой подняться на замковую башню, и с этой высоты королева вновь увидела голубеющие дубравы, где некогда охотилась с графом Раулем на оленей. Может быть, по-прежнему лежал там поваленный бурей дуб, на котором они сидели в день, изменивший ее судьбу...

Это было прощание с греховным прошлым, со сладостными поцелуями, горестное, но успокоительное прощание, потому что каждому цветку, каждому плоду свое время. Жизнь уже не бурлила в ее сердце, и поступь старости полна спокойствия и величия.

В последние годы в санлисском замке обитали только королевские воины, и ничего не было приготовлено к прибытию Анны. Но служанки растапливали очаг на поварне, щипали городских петухов, погибших в тот день в огромном количестве, и с усердием цедили в погребу вино, чтобы в чаше у госпожи не оставалось осадка. Анна, в сопровождении Милонегги, захотела посетить аббатство св. Викентия.

С переселением королевы из Санлиса это святое место захирело, монастырь, не обладавший редкими реликвиями, не привлекал большого количества паломников, и дорога к нему превратилась в тропу. Но было приятно идти по ней мимо знакомых лужаек и старых ив, и все так же струилась по белым камушкам прозрачная Нонетт.

Приблизившись к монастырю, Анна остановилась на мгновение... Белая церковь... Круглый портал с каменным изображением строительницы... Колоколенка с медным петушком... Огороды, засаженные репой... Запустение...

Привратника у входа не оказалось. Когда Анна, никем не замеченная, вышла в монастырский двор, она увидела, что монахи принимают пищу в трапезной. В такой час по уставу полагалось соблюдать тишину, но, к удивлению королевы, из раскрытых окон доносилась болтовня многих голосов, к которой примешивался беззастенчивый стук оловянных ложек. Однако вскоре весь монастырь узнал о прибытии благодетельницы.

Видя радость монахов, Анна растрогалась и объяснила причину твоего неожиданного посещения:

– Скоро я покину Францию и, может быть, даже возвращусь в страну, где родилась и где мне хотелось бы покоиться в земле. Кто знает, увижу ли я вас вновь?

Взволнованные известием монахи тут же стали жаловаться на свое бедственное положение, умоляя королеву не покидать их. Одни говорили, что не имеют теплой одежды, чтобы прикрыться от холода в зимнее время, другие жаловались на отсутствие восковых свеч; аббат же сетовал, что трапезная пришла в ветхость и требует перестройки. Анна слушала монахов с огорчением. Прошло время, когда они вели строгую жизнь и добывали хлеб насущный трудами рук своих; теперь обленились, жили тем, что доставляли сервы из пожертвованных селений, и в сердце у Анны стало больше одним разочарованием. В ответ на мольбы приора остаться в Санлисе она покачала головой и промолвила:

– Я только осенний лист, сорванный ветром с ветки...

Королева еще раз взглянула на свое изображение над порталом, вынула из-за пояса белый платочек, обшитый кружевами, на который монахи смотрело как на принадлежность ангельского одеяния, и утерла горячую слезу. Ее не будет на земле, а этот камень переживет века и не перестанет напоминать людям о существовании странной королевы. Потом случится пожар или землетрясение, храм разрушится, и только в какой-нибудь латинской хронике, сочиненной благочестивым книжником, сохранится ее имя, потому что написанное тростником на пергамене – прочнее, чем каменные здания.

Такие же печальные разговоры и мысли ожидали Анну в аббатстве Сен-Дени, где она побывала перед отъездом и где недалеко от алтаря лежал под каменным полом ее супруг,

король Генрих. В последний раз она преклонила колени на этом месте и, чтобы утешить огорченных монахов, подарила им редкостной красоты яхонт для украшения статуи мадонны. Но королеве было затруднительно попрощаться с прахом Рауля. Симон, ставший владельцем замка Мондидье, перенес гроб отца в Крепи, где была похоронена первая жена графа, мать его сыновей, и Анна не решилась поехать туда. Дело в том, что Филипп окончательно отобрал у Симона графство Вермандуа и на вечные времена закрепил его за братом, Гуго Большим, женив его на богатой наследнице этих земель. Завершив выгодное предприятие, король с сыновней нежностью облобызал мать и поспешил со своими рыцарями в богатый город Корби, безрассудно отданный Генрихом I в приданое за сестрой Аделью фландрскому графу Болдуину, и заставил корбийцев присягнуть королю Франции. Сын Анны ковал будущее французского государства, и рядом с ним сражался брат Гуго.

Путешествие началось при неблагоприятных обстоятельствах. Уже наступила осенняя пора. Старая королева совершала путь не верхом, а в неуклюжей повозке, и, несмотря на подложенные под бока подушки, очень страдала из-за дурных дорог, превратившихся в сплошные выбоины и лужи. Порой колеса по самую ось увязали в грязи, и лошади с трудом преодолевали крутые подъемы.

Анна взяла с собой Милонегу. Сопровождать королеву захотел также Волец с двумя юными сыновьями, только что посвященными в рыцарское звание. Жена у Вольца неожиданно скончалась в прошлом году, и теперь ничто уже не удерживало его от служения королеве, а сыновья готовы были пуститься в любое странствие, лишь бы на пути встречались красивые девушки и веселые приключения. Юноши без большого сожаления расстались со своей каменной башней, где пахло конским навозом и дымом. Сопровождал также свою госпожу в далекое странствие верный Эвд. Он все так же хранил в своем сердце преданность королеве, за которой поехал бы на край света. К сожалению, в одном из поединков в Мондидье ему выбили ударом деревянного копья левый глаз, с тех пор рыцарь окривел. Еще отправился в путь конюх Ян.

По небу ползли низкие растрепанные тучи, с полей прилетал холодный ветер, и мокрое воронье кружилось над голыми деревьями. Когда же наступал вечер и путники, приблизившись к какому-нибудь аббатству или замку, просили о приюте, Анну уже не встречали с такой радостью, как в прежние времена. Много изменилось теперь, монахи считали ее сына антихристом, графы все больше и больше чувствовали на себе тяжелую руку Филиппа, поэтому не испытывали особенной нежности к его матери. А красота королевы, некогда привлекавшая все взоры, поблекла...

Но, несмотря на все затруднения, поезд Анны, состоявший из нескольких повозок и дюжины всадников, благополучно добрался до столицы немецкого королевства, хотя путешественница чувствовала себя совсем разбитой от передвижения на колесах.

В Майнце, богатом и оживленном городе, Анна остановилась в женском монастыре, настоятельница которого хорошо знала французский язык, прожив долгое время в Бургундии. Это была высокая и худая женщина, скопидомная и себе на уме, а по происхождению баронесса. Принимая Анну, она тотчас же подсчитала, сколько ей будет стоить накормить путников и какую пользу можно извлечь из посещения гостей. Но Анну ожидало здесь большое огорчение.

Знатной путнице отвели келью, чтобы она могла отдохнуть с дороги, опрятную, чисто побеленную, но холодную. Среди ее белизны особенно четко выделялась черная деревянная кровать с соломенным тюфяком. Похлопывая по нему рукой, аббатиса сказала нравоучительно:

– Мы спасаем здесь свои души от греха и спим на соломе, ибо пуховая постель опаснее чревоугодия.

Устроившись на отдых, Анна начала расспрашивать аббатису о том, где же в настоящее время находится двор кесаря и гостит ли у него по-прежнему русский князь Изяслав.

Эмма, как звали баронессу, сначала отговаривалась незнанием, видимо не очень-то довольная прибытием непрошенных гостей, но, когда Анна подарила ей несколько жемчужин для аббатства, сделалась разговорчивее и, взвешивая на ладони жемчуг и как бы мысленно определяя его цену, стала рассказывать о майнцской жизни, видимо полной всяких не очень-то благовидных событий:

– Кесарь еще неделю тому назад пребывал в Майнце, и всем известно, что в его дворце часто видели русского короля, изгнанного злыми братьями. Он привез из России Генриху богатые дары в виде золотых и серебряных кубков. Таких сосудов никто никогда не дарил нашему государю. Но ныне двор переехал в Вормс, и туда же отправился и знатный гость, проживавший в Майнце у графа Деде. Впрочем, этот советник короля тоже находится в Вормсе, где собираются военные силы для борьбы с нечестивыми саксонцами, поднявшими руку не только на своего господина, но и на самого Бога.

Отчаянью Анны не было предела. Она уже не слушала болтовню Эммы, а соображала, как поскорее добраться до того города, куда уехал брат. Проведя ночь в холодной келии и подкрепившись козьим сыром и хлебом, Анна на другое же утро поспешила в Вормс, хотя Милонегга и уговаривала госпожу не торопиться, а отдохнуть после тряской повозки в этом тихом монастыре. Ведь вормские ворота были недалеко, и королева в любое время могла послать Эвда или еще кого-нибудь, чтобы предупредить князя о прибытии. Но Анна упрямо настояла на своем, и весь поезд снова двинулся в путь, напутствуемый сладкими пожеланиями аббатисы. Ничего особенного в дороге не произошло, хотя королева прибыла на место назначения больной, и здесь ее как громом поразило известие, что Изяслав уже покинул Вормс.

Прибежище Анна нашла в гостеприимном доме епископа Оттона. Он дважды ездил в Париж в качестве посланца кесаря Генриха III и, узнав, что к ним неожиданно явилась сама вдовствующая французская королева, поспешил предложить ей кров. Как это часто бывает у толстяков, епископ оказался любезным человеком, взиравшим на мир с добродушной улыбкой, и большим любителем семейной жизни. Он напомнил Анне незабвенного Готье.

Видя недомогание путешественницы, ее тотчас уложили в постель, и за больной стала ухаживать полная белокурая женщина, которую Оттон не без некоторого смущения представил как дальнюю родственницу, хотя всем в городе и далеко за его пределами было известно, что эта особа – мать двух епископских детей, уже довольно больших, мальчика и девочки, таких же светловолосых, как она, и пяливших на королеву голубые глаза.

– Где же мой брат? Где мне теперь искать его? – плакала Анна.

– Не предавайся отчаянью! Ты обретешь его! – с участием склонялся к болящей епископ. – Нет никакой причины скорбеть и плакать. Ведь твой брат жив и здоров. Все любили его здесь за благородство и щедрость, но два дня тому назад, после беседы с епископом Бурхардом, весьма влиятельным советником кесаря, и графом Деде, получив много ценных советов и даже заручившись обещанием императора оказать несправедливо обиженному помощь в борьбе с захватчиками престола...

Мысли Анны совсем помутились от жара, как бы сжигавшего ее в лихорадке. Она хотела знать, где искать брата, а Оттон успокоительным голосом бубнил:

– Приобретая великолепное епископское облачение, чтобы возложить на гроб святого Адалберта в городе Гнезно, русский король Изяслав покинул Вормс и в благородном стремлении восстановить справедливость поспешил в Польшу, оставив нам сожаление, что встреча была столь краткой. Но твой брат несет огромную ответственность перед Богом за порученную ему страну. Уверен, что он рвался к тебе мысленно, однако голос долга позвал его возвратиться, чтобы покарать мятежников, поднявших руку...

Епископ еще долго подбирал утешения подобного рода, но Анна уже не слушала пустые слова.

– А сын Изяслава? – спросила она, зная, что кто-то сопровождал брата в скитаниях по

чужим странам.

– И о нем могу сообщить тебе. Прекрасный молодой граф отправился по поручению князя в сопровождении некоего Людовикуса в Рим, чтобы просить помощи у святого отца. Мы все надеемся, что это путешествие принесет свои плоды.

Он отправился в Рим! Анна с горечью подумала, что никогда еще русские князья не обращались за помощью к папе, вспомнила, едва справляясь со своим знойным дыханием, что матерью Мстислава и Ярополка была Гертруда, даже в Киеве не пожелавшая расстаться с латинством.

– И с ним Людовикус?

– Людовикус. Весьма подозрительный старик, но опытный в житейских делах.

В воспаленном мозгу Анны вихрем пронеслись невеселые мысли. Необходимо было принять какое-то решение: или поспешить вдогонку за Изяславом, или возвращаться в Париж. Спросить совета? Но у кого? Королева знала, что спутники потребуют возвращения во Францию. Может быть, только Милонегга, знавшая ее сокровенные намеренья, помогла бы уехать на Русь. Анна пожалела, что при ней нет больше мудрого епископа Готье Савейера. Он сумел бы найти в ее непреодолимых затруднениях причину и следствие и, согласовав отрицательное с положительным, сделал бы из всего этого вывод, как в данном случае предписывает поступать разум. Но учитель уже не мог давать советы своей доброй королеве, ибо в прошлом году покинул сей мир, как молнией пораженный во время трапезы апоплексическим ударом. Печальное событие произошло в парижском дворце. По словам слуги, подававшего в эту минуту на стол жареного гуся, старик, с налившимся кровью лицом, вдруг затрепетал и, успев прошептать только два слова: «В руки Твои...», грохнулся на пол... Потом епископ Агобер, в крайнем раздражении на этого легкомысленного пастыря, часто пренебрегавшего благом церкви, говорил, что еще неизвестно, в чьи руки передал свой дух покойный канцлер, хотя его и погребали со всеми положенными для прелатов молитвами и каждениями.

Анна слишком близко принимала к сердцу интересы Франции и в достаточной мере делила с Генрихом его труды, чтобы забыть, сколько неприятностей доставили королю Рим и преданные папе епископы, эти волки в овечьей шкуре, произносившие сладкие слова, но жаждавшие власти или богатства. Готье не был таков. Он стремился только к тому, что возвышает душу. Странно, именно этот ленивый толстяк и чревоугодник мечтал о прекрасном будущем Франции и уважал только то, что разумно. Но разве она сама не стремилась к истине?

В ушах Анны звенели колокола невидимых храмов, и она тяжело дышала. Да, люди живут как волки, и в этом мире царит злоба. Когда же засияет заря для всех людей после черной ночи? Мысли королевы переметнулись на другое... Башмачки, вышитые жемчужинами... Взяла ли их Милонегга в дорогу? В них так покойно ногам. Потом представились большие красивые глаза Изяслава. Он, вероятно, уже не тот. Годы никого не щадят... Она хорошо знала своего брата. Князь считает, что Русская земля – его достояние. Отец думал по-другому и понимал, что правитель есть пастырь, поставленный для того, чтобы защищать вдовиц и сирот, хранить Русь от врагов, что шелкают со всех сторон зубами.

Слуги внесли дымящиеся яства и знаменитое рейнское вино, золотистое на свет и утоляющее жажду, как вода источника. Но Анна отказалась от еды и только отпила немного из чаши. Обеспокоенный епископ послал за врачом.

Вино подкрепило силы Анны. Погладив пылающий лоб, она спросила Оттона:

– Что же обещал кесарь брату?

Ничего утешительного епископ не изрек в ответ.

– Он выслушал русского короля с большим благожелательством, однако в настоящее время ничем ему не может помочь, так как занят войной с саксами. Впрочем, велел Трирскому епископу Бурхарду отправиться в русскую страну и рассудить твоих братьев по

справедливости.

Анне было больно слышать, что чужестранец едет на Русь наводить порядки.

– Разве его послушают там? – прошептала Анна.

Епископ широко развел руки.

– Твой брат уверял императора, что послушают.

Опять Анне явственно представился брат Изяслав. Любыми средствами, но вернуть себе власть!

Во рту у Анны пересохло, и она попросила:

– Дайте мне пить!

Зубы стучали о край серебряной чаши. Масляный светильник горел порывисто, и пламя его металось от движения воздуха, бросая на стены и на потолок длинные суетливые тени людей. Около ложа находился епископ со своей белокурой подругой, видимо доброй женщиной, крайне опечаленной душевными страданиями Анны. В горнице стояли также Волец и оба его молчаливых сына, рыцарь Эвд, преданный до гроба той, что озарила грубую жизнь людей своей красотой. Милонегга поминутно поправляла подушки. Только конюха Яна не было с королевой. Он где-то разговаривал с конями на конюшне, в темноте, среди теплых лошадиных вздохов.

Явился врач, толстенький человечек с бритым, как у клирика, лицом, в высоком красном колпаке на голове. Эта шапка еще больше подчеркивала самодовольный вид медикуса. А между тем, хотя мантия его из сукна зеленого цвета и падала величественными складками до пят, однако на локтях виднелись заплаты. Одна – черная, другая – синяя, и это говорило о том, что здешние жители отличаются завидным здоровьем. Если же они хворали, то предпочитали обращаться к диакону Губерту, мазавшему, как святой Пантелеймон, от всех болезней елеем. Поэтому Бонифациус, безошибочно определявший по пульсу состояние больного и изучивший гуморальное учение Гиппократата, влачил в Вормсе жалкое существование.

Врач учтиво поклонился епископу и затем попросил, чтобы все отошли от ложа больной, о высоком звании которой его уже предупредили. Для большей наглядности он даже показал короткими руками, как надо это сделать. Присутствующие беспрекословно выполнили требование медикуса. Тогда Бонифациус склонился над больной, внимательно осмотрел ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, и взял пухлыми пальцами горячую руку королевы. Глядя куда-то в потолок, точно прислушиваясь к чему-то, врач считал удары жилки. Они были частые и резкие.

Епископ подошел к лекарю с озабоченным видом.

– *Ignis fibrarum maximus est. Febris accessio,*<sup>15</sup> – грустно сказал ему медикус.

– *Una salus est – misericordia dei nostri,*<sup>16</sup> – вздохнув, ответил епископ.

На ученых мужей, способных изъясняться по-латыни, все взирали с уважением, смешанным с некоторым страхом. Для малых сих наука была закрытым миром, в который они даже не пытались проникнуть. Всякая книга оставалась для простодушных полной заманчивых тайн.

Бонифациус заметил произведенное им впечатление, и лицо медика стало еще более надменным. Такие мгновения вознаграждали лекаря за бедность и все житейские невзгоды. Красноватый носик между отвисающих щек и плотно сжатый, маленький, как у младенца, рот – все дышало величием философского мышления.

Епископ отозвал его в темный угол и шепотом спросил:

– Чем больна королева? Обыкновенная ли это болезнь или что-либо другое?

Врач захватил рукою пухлый подбородок и о чем-то размышлял.

– Полагаю, что у королевы поражена недугом плевра.

15

16

– Болезнь ее в легких?

– Там она гнездится и наполняет все тело жаром и холодом. Да будет тебе известно, что в человеческом организме четыре жидкости. Кровь, лимфа, желтая и черная желчь. От них и зависит здоровье человека. Оно заключается в равновесии этих жидкостей, и когда одна из них убывает, то наступает нарушение телесной крепости.

– Чем же ты будешь лечить королеву? – спросил епископ, практический ум которого не удовлетворился учеными разглагольствованиями медикуса.

– Я еще не знаю, какая у больной мокрота. Но если она будет вначале бесцветной, а на шестой день желтого цвета и на девятый – гнойной, значит, я не ошибся в определении болезни.

– Но какие снадобья ты намерен давать больной?

– Потогонное. Врачи с острова Кос, о которых я читал в трактате «О природе человека», советуют в подобных случаях делать уколы, чтобы удалить гной из легких. Но это весьма рискованное предприятие.

– Как же нам поступать?

– Надо потеплее укрыть больную. Чтобы тело покрылось испариной, и тогда вытереть ее вином, смешанным с уксусом.

– Каким вином, красным или белым?

– Лучше белым, потому что красное оставляет следы на белье...

Пообещав немедленно приготовить потогонное средство, врач удалился, совершенно уверенный во всемогуществе своей медицины. Самое важное было – определить болезнь. А если человек умирал по всем правилам, то это не умаляло торжества науки.

Но жизнь Анны висела на волоске. К полуночи ее дыхание стало хриплым и мучительным. Она металась на постели и прижимала к подушке то правую щеку, то левую...

Почти все покинули королеву. У ложа остались только Милонегга и Волец. Когда время перевалило за полночь, Анна начала бредить, выкрикивала непонятные слова. Потом вдруг приподнялась на кровати и сказала:

– Милонегга? Ты здесь?

– Я здесь, – упав на колени перед ложем, ответила наперсница.

– Милонегга!

– Что, госпожа?

– Надо торопиться...

– Куда торопиться?

– Пусть приготовят коней... Скажи Яну...

– Что с тобой, госпожа?

– Собери меня в путь...

– Куда же ехать в такой час! – уговаривала королеву Милонегга. – Смотри, на дворе – черная ночь. Ветер воет в трубе. Поспи! А завтра настанет утро, взойдет солнце, и мы поедем по следам князя Изяслава...

Всю ночь Анна бредила, призывала к себе сыновей, когда же пропели третьи петухи и уже можно было ждать наступления рассвета, больная очнулась, пришла в себя и села на постели. Рыжие волосы, еще не тронутые сединой, хотя королеве уже перевалило за пятьдесят, упали на плечи обильными прядями. Глаза у Анны горели лихорадочным огнем.

– Милонегга! – звала она шепотом верную прислужницу.

– Я здесь, госпожа, – бросилась к ней измученная старуха.

– Неужели я умираю? – спросила Анна.

Она не отрываясь смотрела куда-то вдаль. Милонегга, как могла, успокоила больную и опять уложила в постель.

Душа Анны снова погрузилась во мрак. Борьба между жизнью и смертью продолжалась. Анна жила в мире бредовых видений, цепляясь пальцами за ворот рубашки, за

шерстяное покрывало, за руки Милонегги.

Король Генрих и граф Рауль, ложе которых она делила, стояли у постели и спорили грубыми голосами о том, кому принадлежит город Крепи, и Анна плакала от бессильного отчаянья, что не может примирить их... Вдруг появился епископ Готье Савейер... Он держал в руках толстую книгу, раскрыл ее и показывал королеве какое-то полное значения место, однако латынь уже перестала быть для болящей понятным языком... Потом возник из тьмы Людовикус и, прижимая к груди лисью шапку, стал говорить о Риме. Что он рассказывал о Риме? Анна махнула рукой, и Людовикус исчез... Теперь уже вышгородские дубы шумели над головой, и Ветрица радостно заржала, почуяв свою всадницу, и все было так ярко, что Анна даже увидела тревожный и полный отраженного сияния глаз кобылицы, вспомнила ее нежные розоватые губы...

Наступил четвертый день. Епископ Оттон с позором изгнал медикуса Бонифация. Ученейший врач горестно брел по улицам Вормса, размахивая руками и бормоча себе под нос латинские слова, и встречные сторонились от него, как от безумца. Был вызван другой врач, старый Рихард, пользовавший Трирского епископа Бурхарда, уехавшего вместе с Изяславом на Русь. Но и этот медик был бессилен перед недугом Анны, хотя иногда сознание возвращалось к королеве, и тогда она просила пить, узнавала Милонегу, жаловалась на ужасную головную боль. Стискивая голову похудевшими руками, Анна медленно вспоминала то, что случилось с нею за последние дни, и даже охватывала мысленным взором всю свою жизнь, от счастливого детства до парижского дворца, точно предчувствуя, что приходит конец.

Было пять часов пополудни. Но день выдался облачный, и в горнице уже стоял сумрак. Анна вдруг приподнялась, села на постели и позвала страшным голосом Милонегу.

– Я здесь, – ответила та в смятении, потому что никогда не видела королеву в подобном волнении. Обезумевшими глазами, в которых мешались печаль и радость, Анна смотрела куда-то вдаль и простирала трепетные руки к чему-то невидимому для других.

– Милонегга!

– Что, госпожа? – со слезами в голосе бросилась к ней прислужница.

– Смотри, Милонегга!

Старая женщина повернула лицо в ту сторону, куда устремила свой взор больная, точно возможно было увидеть зримое в бреду только Анне.

– Разве ты не видишь, Милонегга?

– Ничего не вижу, госпожа!

– Дорога поднимается в гору, а на горе – Вышгород.

– Вышгород! – повторила потрясенная Милонегга.

– Днепр внизу голубеет...

– Еще что ты видишь, госпожа?

– Вижу милого брата Всеволода. Он идет ко мне, спускается из города. Узнаю его красную рубаху, с золотым оплечьем... Рядом с ним – король, мой сын, и Гуго...

Но все заволочло туманом... Анна в бессилии упала на подушку. Ей послышались далекие звуки скандинавской арфы. Над королевой веяли прохладой вышгородские дубравы. Вот знакомая бревенчатая хижина. Беловатый дымок все так же струится над тростниковой крышей. Как в тот вечер. Филипп стоял на пороге. Не сын, а другой. На нем был длинный голубой плащ. Ярл что-то говорил беззвучными устами и улыбался. Так печально, что душа у нее наполнилась горечью и сердце пронзила острая боль. Молодой воин протянул к ней руки, и Анна могла рассмотреть тонкие пальцы, даже золотое кольцо, которое носил некогда Локки...

*Москва, 1960*

## Словарь малоупотребительных слов, встречающихся в романе

*Апсида* – полукруглая пристройка в церковном здании.

*Августа* – титул византийской императрицы.

*Архонт* – в Древней Греции высокая выборная должность, позднее титул, соответствующий владетельному князю.

*Василевс* – титул византийского императора.

*Вирник* – судебный чин Древней Руси.

*Гетерия* – см. этерия.

*Гинекей* – часть византийского дома, отведенная для женщин.

*Друнгарий* – командующий византийским флотом.

*Кампагии* – башмаки пурпурного цвета, которые мог носить только император.

*Логофет дрoма* – высший чин, ведающий иностранными делами.

*Магистр* – высокое придворное звание в Византии.

*Манихеи* – религиозная секта, ведущая свое начало от Манеса, жившего в III веке нашей эры.

*Патрикий* – высокое придворное звание.

*Ромеи* – римляне в греческом произношении. В официальном языке и в литературе византийские греки называли себя римлянами.

*Скифы* – древний народ, обитавший на северном берегу Черного моря; византийцы обычно так называли русских.

*Спафарий* – придворное звание.

*Спафарокандидат* – придворное звание.

*Схоларии* – воины схол (гвардейских частей).

*Тиун* – управитель княжеского имения.

*Тувши* – узкие штаны.

*Экскувиторы* – воины отборных воинских частей.

*Эпарх* – губернатор Константинополя. *Этериарх* – начальник этерии.

*Этерия* – отряд дворцовой гвардии.

*Ярл* – скандинавский титул, соответствующий графу.